

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования

<i>Ю. Д. Апресян.</i> Правила взаимодействия значений и словарь	7
<i>В. С. Храковский.</i> Аспектуальные тройки и видовые пары	46
<i>А. Н. Баранов.</i> Метафорическая модель ФАУНЫ в политическом дискурсе эпохи перестройки	60
<i>И. В. Нечаева.</i> Мотивированность иноязычных заимствований: орфографический аспект проблемы	83
<i>Ф. Р. Миндос.</i> Рифмованные сочетания в русском фольклоре. Редупликация и парные слова	96
<i>К. А. Максимович.</i> Региональные лексические архаизмы в моравских книжно-славянских памятниках IX в.	116
<i>О. Ф. Жолобов.</i> Заметки о древнерусских числительных. III: '5'—'10'	163
<i>А. П. Майоров.</i> Союзы <i>какъ, когда, егда</i> в деловом языке XVII—XVIII вв.	177
<i>М. И. Ройтерштейн.</i> Заметки о композиции и метро-ритме русских пословиц	188

Дискуссии

<i>Н. Б. Мечковская.</i> О книге Е. А. Земской «Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь». М.: Языки слав. культуры, 2004. 688 с.	200
---	-----

Публикации

<i>Р. И. Аванесов.</i> Из истории Московской фонологической школы (фрагменты беседы). Публикация <i>Н. Е. Ильиной</i>	214
---	-----

Из неизданного лингво-семиотического наследия А. А. Реформатского. <i>Публикация и подготовка текста Е. А. Ивановой;</i> <i>Предисловие С. И. Гиндина и Е. А. Ивановой</i>	229
<i>А. А. Реформатский.</i> «Приметы» в языке и их распознавательная и опознавательная роль	235
Из статьи «Семиотические заметки	241

Информационно-хроникальные материалы

Отчет о диалектологических экспедициях Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 2004 года (<i>О. Г. Ровнова и Т. Б. Юмсунова</i>)	247
Международная конференция «Проблемы современной русской диалектологии» (<i>О. Г. Ровнова</i>)	261
VII Международная конференция Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов «Мотивированное слово в лексической системе языка» (<i>А. В. Никитевич</i>)	272

Рецензии и обзоры

Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта / Гл. ред. чл.-кор. Ю. Н. Караулов. Вып. 1—3. М.: Азбуковник, 2001—2003 (<i>Н. А. Фатеева</i>)	277
Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. ред. В. В. Бурцева. М.: Рус. яз., 2000 (<i>О. Е. Иванова</i>)	282
С. А. П о п о в. Ойконимия Воронежской области в системе лингвокраеведческих дисциплин. Воронеж: Изд. Дом Алейниковых, 2003 (<i>А. Л. Шилов</i>)	291
Классика научной русистики в газете «Русский язык» и на ее сайте (<i>С. И. Гиндин</i>)	295

Новые книги:

Отцы и дети Московской лингвистической школы: Памяти Владимира Николаевича Сидорова: Сб. ст.	302
Жанр интервью: Особенности русской устной речи в Финляндии и Санкт-Петербурге (<i>Е. Протасова</i>)	303
Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Gegenwart. Beiträge zur Konferenz der Internationalen Kommission für slavische Schriftsprachen, Dresden, 25.—28. Oktober 2000	305
Агрессия в языке и речи: Сб. науч. ст. (<i>Н. Г. Семенова</i>)	305
С. А. М ы з н и к о в. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: этимологический и лингвогеографический анализ (<i>А. В. Тер-Аванесова</i>)	307
Alan T i m b e r l a k e. A Reference Grammar of Russian	308
Б. А. У с п е н с к и й. Часть и целое в русской грамматике	310

В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус. Новгородские грамоты на бересте: (Из раскопок 1997—2000 гг.).....	310
А. А. Зализняк. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста.....	311
К. А. Максимович. Законъ соудьныи людъмь: Источниковедческие и лингвистические аспекты исследования славянского юридического памятника	312
Т. И. Афанасьева. Славянская литургия Преждеосвященных Даров XII—XV вв.: текстология и язык (А. А. Пичхадзе)	313
Е. К. Пиотровская. «Христианская Топография Козьмы Индикоплова» в древнерусской письменной традиции (А. А. Пичхадзе).....	314
И. Христов-Шомова. Служебният Апостол в славянската ръкописната традиция. Т. 1. Изследване на библиейския текст (А. А. Пичхадзе)	315
В. М. Круглов. Русский язык в начале XVIII века: узус петровских переводчиков	315
А. И. Соболевский. Труды по истории русского языка. Т. 1.....	316
Житие Антония Сийского: Текст и словоуказатель / Сост. И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, Д. Г. Демидов и др.	316
Жития Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского: Тексты и словоуказатель / Сост. И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, Л. А. Захарова, К. Н. Лемешев.....	317
Житие Кирилла Новоезерского: Тексты и словоуказатель / Сост. И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, Л. А. Захарова, К. Н. Лемешев.....	318
Житие Корнилия Комельского: Текст и словоуказатель / Под ред. А. С. Герда ...	319
О. А. Седякова. Церковнославянско-русские паронимы: Материалы к словарю.....	319

ИССЛЕДОВАНИЯ

Ю. Д. АПРЕСЯН

ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗНАЧЕНИЙ И СЛОВАРЬ*

Импульсом для возвращения к проблеме взаимодействия значений (см. ранее опубликованные работы [Апресян 1974: 79—94; 1980: 73—94; 2001 и 2004]) стало завершение работы над словарем [НОСС 2004], в котором был собран новый материал на эту тему¹. Возникла задача систематизировать известные к настоящему времени типы правил взаимодействия значений и развить на более широком материале и более детально аргументировать ряд высказанных ранее соображений. Поэтому местами к рассмотрению привлекаются уже обсуждавшиеся в другой связи примеры, но с уточнениями и дополнениями, отражающими нынешний уровень их понимания.

В статье будут рассмотрены: а) принцип композициональности и понятие нетривиального правила взаимодействия значений; б) типы контекстуальных факторов, наиболее активных в правилах; в) типы смыслов, наиболее активных в правилах; г) части полного семантико-прагматического представления лексемы, на которые воздействуют правила; д) типы правил в зависимости от природы взаимодействующих значений; е) типы правил в зависимости от самого механизма взаимодействия.

Все перечисленные темы рассматриваются преимущественно на глагольном материале. Тому есть две причины — объективная и субъективная. Во-первых, по богатству и разнообразию правил глагольный материал не имеет себе равных. Во-вторых, именно этот материал был предметом исследования в большинстве работ автора, включая работу над НОСС'ом.

* Исследование было выполнено при финансовой поддержке РГНФ (гранты № 05-04-04190а и 04-04-00263а), РФФИ (грант № 05-06-80361), Президента РФ (грант № НШ-1576.2003.6 на поддержку ведущих научных школ) и Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте», раздел 4.15.

¹ В состав эмпирической базы исследования был включен, в частности, материал разработанных автором словарных статей из этого словаря; в ряде случаев (см. обсуждение глаголов *каяться*, *клясться*, *обещать*, *признаваться*) использовался материал словарных статей, составленных совместно с М. Я. Гловинской.

1. Принцип композициональности и понятие нетривиального правила взаимодействия значений

Основополагающим для правил взаимодействия значений является принцип композициональности. В сжатой формулировке И. М. Богуславского, который много им занимался, он звучит так: значение целого высказывания является «функцией значений его частей и способа их синтаксического соединения» [Богуславский 1996: 9]. Говоря более детально, значение высказывания складывается по определенным правилам из значений лексем, граммем, синтаксических конструкций, просодий и других значимых единиц языка.

Простейшие правила взаимодействия значений носят чисто аддитивный характер: прототипические толкования связанных друг с другом единиц языка просто складываются друг с другом, не претерпевая никаких изменений. Именно по таким правилам получают значения словосочетаний *наш дом, деревенское стадо, мимо дома, прошло стадо* и т. п., а также значение высказывания *Утром мимо нашего дома прошло деревенское стадо*. Во всех этих случаях имеет место тривиальное взаимодействие значений языковых и текстовых единиц.

В языке, однако, возможны и нетривиальные взаимодействия, когда значения языковых единиц или их компоненты, объединяясь во все более крупные блоки, определенным образом влияют друг на друга — согласуются, снимаются, добавляются, переподчиняются или даже трансформируются. Рассмотрим сочетание глагола *налечь* (*на что-л.*) с существительными, обозначающими действия: *налечь на работу* (*на учебу, на тренировки*). В таких сочетаниях глагол *налечь* значит ‘начать интенсивно или более интенсивно делать то, что обозначено существительным’. Это прототипическое словарное толкование неприменимо в случае, когда *налечь* сочетается с существительным, имеющим предметное значение (обычно значение пищи); ср. *налечь на закуску* (*на арбуз, на икру, на семгу, на чай, на водку*). Чтобы получить правильную интерпретацию таких метонимий, словарное толкование *налечь* нужно модифицировать следующим образом: ‘начать интенсивно или более интенсивно использовать то, что обозначено существительным, в соответствии с его назначением’; см. похожие правила для глаголов *хотеть, хотеться, просить, требовать* и *предлагать* в разделе 2.2.

Ниже речь пойдет только о нетривиальных семантических правилах.

Всякое семантическое правило, как и любое другое правило, состоит из условий применения и собственно операции.

Условия применения правила могут содержать ссылки на грамматические формы (у глаголов особенно активны формы СОВ, НЕСОВ, 1-Л и 2-Л НАСТ, а также формы наклонения ПОВЕЛ и СОСЛ), на синтаксические конструкции (особенно на модели управления и на отрицательные, вопросительные и вводные предложения), на сочетаемость (особенно семанти-

ческую), на просодию (особенно на способность — неспособность нести главное фразовое ударение) и на связанную с просодией коммуникативную структуру (как правило, на способность — неспособность быть темой или ремой высказывания). В большинстве случаев эти факторы действуют не изолированно, а в составе целой группы.

Операции могут включать добавление, снятие или замену отдельных смысловых компонентов, порождение новой семантической валентности, перераспределение сфер действия смысловых компонентов с изменением значения всего высказывания, изменение иллокутивной функции высказывания, смену коммуникативного режима, а также установление семантической правильности или неправильности высказывания.

Ниже, в разделе 2 дается представительная подборка примеров, иллюстрирующих спектр типичных для русского языка условий, в которых возникают определенные семантические эффекты. Она позволяет составить представление о наиболее активных в русском языке факторах, ответственных за формирование смысла целых высказываний в нетривиальных случаях. Что касается порождаемых ими семантических эффектов, то их типология, в сущности, совпадает с классификацией самих правил по механизмам взаимодействия и будет предпринята в разделе 6.

2. Типы контекстуальных факторов, наиболее активных в правилах

2.1. *Формы слова, отрицательность, вопросительность*

Глагол *воображать* в значении ‘иметь в сознании образ объекта или ситуации X, когда X органами чувств не воспринимается’, вообще говоря, может предполагать и фантастические, и реалистические образы. Ср. *И проплывающие облака / Воображать большими парусами* (Г. Иванов, «Глядит печаль огромными глазами»); *Тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации* (М. Слоним, О Марине Цветаевой)). Форма ПОВЕЛ НЕСОВ этого глагола, при условии, что валентность содержания реализована у него пропозицией (*что*-предложением), а высказывание в целом употреблено с референцией к моменту речи, тяготеет к отрицательным предложениям и обозначает призыв отказаться от заведомой и неприятной для говорящего фантазии, чаще всего — от заведомо неправильного мнения. Ср. *Не воображай, что ты незаменим; Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно* (Б. Пастернак, Доктор Живаго); *Не воображай, что мы здесь ничего не знаем* (А. и Б. Стругацкие, Гадкие лебеди); *Никогда не воображай, что ты крепость, что ты неприступен* (Д. Рагозин, Дочь гипнолизера). Форма ПОВЕЛ СОВ *вообрази(те)* в тех же условиях тяготеет к утвердительным предложениям и семантически менее ограничена. В частности, она вполне может обозначать призыв сформировать некий реалистический образ: *Вообразите озеро посреди леса и*

маленькую избушку на берегу; Вообразите, что вы едете не со мной, а с кем-то другим (Куприн, МАС)².

Глагол *ошибаться*, который может обозначать неправильное суждение или впечатление о конкретной и несложной бытовой ситуации (*Я ошибся, я думал, мы встречаемся в десять*), в отрицательном императиве выражает тривиальное для этого случая побуждение не повторять ошибок; ср. *Больше не ошибайся*³. Между тем его синоним *заблуждаться*, обозначающий глубоко укорененное в сознании неправильное мнение или убеждение по серьезному вопросу, в тех же условиях приобретает значение мягкого призыва отказаться от него; ср. *Дело не в страхе, не заблуждайтесь* (А. и Б. Стругацкие, Улитка на склоне).

Глагол *спрашивать* в форме НЕСОВ в отрицательном императиве и в абсолютивной конструкции, в отличие от своего синонима *любопытствовать*, может указывать на оценку ситуации как нежелательной; ср. — *Как ты себя чувствуешь? — Не спрашивай* [‘плохо’]; — *А сколько у нас осталось? — Не спрашивай* (В. Аксенов, Звездный билет) [‘мало’].

Глагол *обещать* под отрицанием в форме 1-Л ЕД НАСТ без дополнений имеет не отрицательное значение ‘Не обещаю’, а несколько сдвинутое значение ‘Вряд ли удастся сделать то, о чем ты меня просишь’; ср. — *Так ты придешь? — Не обещаю*⁴.

Интересные семантические особенности в форме 2-Л в вопросительных предложениях обнаруживает глагол *знать*. Обычно человек спрашивает о чем-то, когда он сам этого не знает и считает, что нужными ему сведениями располагает адресат. Однако вопрос с глаголом *знать* не предполагает в обязательном порядке отсутствие у субъекта нужной ему информации. Значение такого вопроса зависит от синтаксической конструкции, в которой употреблен *знать*.

Если *знать* управляет придаточным предложением с союзом *что*, то вопрос в целом всегда значит, что спрашивающий определенным знанием

² Похожий материал, но с другой точки зрения и в рамках другой понятийной системы, рассматривался в [Зализняк 1992: 142].

³ Речь идет только о пропозициональном, или путативном *ошибаться*; в значении ‘сделать ошибку’ (в вычислениях, расчетах и т. п.) такого сдвига в отрицательном императиве не происходит; ср. *Лучше говори медленно, только не ошибайся в формах*.

⁴ Семантический сдвиг, происходящий в таких примерах, уже был предметом комментариев в специальной литературе; ср. следующую экспликацию: ‘Говорящий сообщает слушающему, который хочет, чтобы говорящий сделал Y, что он постарается сделать Y, но не уверен, что у него это получится’ [Иорданская 1985: 255]. Аналогичные утверждения по поводу французского глагола *promettre* делает Р. Форест: по его мнению, *promettre* под отрицанием приобретает значение ‘слабого обязательства’ в отличие от просто обязательства в утвердительных предложениях; ср. *Je ne promets pas de venir* (un faible engagement) VS. *Je promets de venir* (engagement) [Forest 1983: 88] (цитируется по упомянутой работе Л. Н. Иорданской).

располагает и интересуется только тем, есть ли оно у адресата. Вопрос представляет собою другую форму сообщения: в сущности, субъект делится с адресатом своим знанием. Ср. *Вы знаете, что Оля развелась (что первый отдел расформировали, что в институте будет реорганизация)?*

Если *знать* управляет придаточным предложением, вводимым союзным словом, то вопрос в целом может использоваться в двух разных ситуациях. Во-первых, он может иметь нормальную функцию вопроса, т. е. предполагать неосведомленность субъекта; ср. *Вы знаете, кто этот человек (что тут происходит)?* Тогда, кстати, чисто вопросительные и вопросительно-отрицательные предложения в значительной мере сближаются; ср. *Вы не знаете, кто этот человек (что тут происходит)?* Во-вторых, он еще более уместен в ситуации, когда спрашивающий располагает определенным знанием и интересуется только тем, есть ли оно у адресата, одновременно выражая готовность или желание поделиться им с адресатом в случае необходимости. *Знаешь, зачем следователь приехал (кто на тебя донес)?* Данное значение близко к значению разделяемого знания и экзаменационного вопроса.

Тот же глагол в форме НАСТ в отрицательных вопросах с частицами *что, или* и, может быть, еще некоторыми приобретает значение ‘говорящий знает, что X знает, что P, и крайне удивлен или недоволен тем, что X ведет себя так, как если бы он не знал этого’, причем все высказывание иногда приобретает грубоватый оттенок. Ср. *Он что, не знает, что мы его ждем?; Я что, не знаю, что вы меня ждете?; Или он не знает, что мы его ждем?*

Интересные семантические особенности имеют краткие формы некоторых параметрических прилагательных. Речь идет прежде всего о прилагательных линейного размера, т. е. словах *высокий — низкий, глубокий — мелкий, длинный — короткий, широкий — узкий*, а также о прилагательных «общего размера» *большой* и *маленький*. Назовем две из них; обе были коротко описаны в [Апресян 1974: 93, 214].

Во-первых, прилагательные со значением *большого* полюса в контексте вопросительных слов *как* и *насколько* утрачивают присущий им в других конструкциях семантический компонент ‘больше нормы’ и становятся обозначениями в сей шкалы соответствующего линейного измерения, т. е. семантическими эквивалентами слов *высота, длина, ширина, глубина* и т. п. Ср. вопросы типа *Насколько высок забор в этом месте? ≈ Какова высота забора в этом месте?, Насколько (как) длинны каналы Марса? ≈ Какова длина каналов Марса?, Насколько широк (глубок) ручей в нижнем течении? ≈ Какова ширина (глубина) ручья в нижнем течении?*

В этом отношении краткие формы перечисленных русских прилагательных напоминают параметрические прилагательные со значением *большого* полюса в ряде европейских языков. Многие прилагательные этого класса (разные для разных языков) употребляются в значении шкалы соответствующего размера и соответствуют перечисленным выше русским па-

раметрическим существительным. Ср. англ. *ten meters high* (*deep*), нем. *zehn meter hoch* (*tief*) ‘высотой (глубиной) в десять метров’, фр. *long de deux mètres* ‘длиной в два метра’, *un mètre de large* ‘шириной в один метр’ (правда, здесь *large* выступает в роли существительного). Однако есть и различие. В названных языках такие употребления разработаны гораздо шире и синтаксически (см. примеры выше), и лексически (ср., например, аналогичные английские и немецкие конструкции со значением возраста — *ten years old*, *zehn Jahre alt* ‘в возрасте десяти лет’). Поэтому они приобретают статус самостоятельных лексических значений слова, отличных от значения большого полюса. Между тем в русском языке их естественнее всего получать по правилу семантической модификации из основного значения.

Во-вторых, большинство параметрических прилагательных со значением линейного размера, включая и те, которые обозначают малый полюс шкалы, равно как и оба прилагательных со значением «общего размера», а также некоторые другие прилагательные со значением физических параметров претерпевают в краткой форме семантический сдвиг вида ‘больше нормы Р’ ⇒ ‘слишком большой по Р’. Ср. *Забор высок* (*низок*), *Кровать широка* (*сюда не встанет*), *Протока узка* (*мелка*) (*на катере не пройдешь*), *Юбка коротка* (*длинна*), *Ботинки малы* (*велики*), *Мешки тяжелы* (*один человек не справится*) и т. п. Прилагательные других семантических классов сохраняют свои обычные значения и в краткой форме; ср. *Он был красив* (*умен, строен, глуп*), *Надо признать, что замысел его был весьма глубок* и т. п.

Достоинны внимания еще два обстоятельства. а) Указанный сдвиг особенно характерен для кратких форм в позиции ремы; в позиции темы они могут сохранять свое обычное значение большого полюса. Так обстоит дело в предложениях типа *Широка страна моя родная*, *Велика Россия*, *а отступить некуда*, *Мал золотник, да дорог* и других подобных. б) Смысл ‘слишком’ делает естественными дополнения или обстоятельства со значением предназначения, агенса, аспекта или множества, к которому принадлежит субъект; ср. *Труба длинна* (*коротка*) *для этого участка водопровода* [предназначение], *Ранец велик* *для ребенка* [агенса], *Пиджак широк* (*узок*) *в плечах* [аспект], *Джон высок даже для масаи* (*низок даже для пигмея*) [множество].

2.2. Модели управления и способы реализации валентностей

В этом разделе мы будем рассматривать только такие валентности, которые в прототипических условиях насыщаются именами предикатов или целыми высказываниями. Многие глаголы русского языка, принадлежащие к этому классу, допускают метонимическую реализацию своей предикатной валентности предметным именем. Мы проследим семантические эффекты таких метонимических замен на материале трех типов валентностей — содержания, цели и причины.

Валентность содержания. В прототипическом случае валентность содержания глаголов *хотеть* и *хотеться* реализуется инфинитивом или целым высказыванием; ср. *Я хочу* ⟨мне хочется⟩ гулять, *Я хочу* ⟨мне хочется⟩, чтобы ты мне помог⁵. Интересный семантический сдвиг происходит в тех случаях, когда валентность содержания желания метонимически выражается предметным существительным в форме ВИН⁶, РОД или ПАРТ: *Ребенок хочет конфетку* ⟨молока, чаю⟩, *Ребенку хочется молока* ⟨чаю⟩. В таких контекстах по умолчанию обычно предполагается, что предмет желаний будет дан субъекту для использования по его прямому назначению (ср. рассуждения о глаголе *налечь* в разделе 1).

Аналогичным правилам подчиняется употребление глаголов *просить* и *требовать* в их основных значениях. Если валентность содержания просьбы или требования реализуется формой ИНФ, подчиненной пропозицией или предикатным существительным, то смысл высказывания получается по тривиальному правилу. Ср. *Я прошу тебя помочь мне* ⟨чтобы ты помог мне⟩, *Я прошу тебя о помощи*; *Врачи требуют от правительства повышения зарплат* ⟨чтобы правительство повысило им зарплату⟩, *Два часа ругался с Риббентропом, который требует считать Францию суверенной страной* (Ю. Семенов, Семнадцать мгновений весны). Если же эта валентность метонимически выражается предметным существительным в форме ВИН, РОД или ПАРТ, то речь идет о том, чтобы предмет просьбы был физически предоставлен субъекту для использования по его прямому назначению. Ср. *Ребенок просит конфетку* ⟨молока, чаю⟩, *Требуй у него документы* ⟨номер в лучшем отеле⟩. Ср. также употребление глагола *предложить* в значении ‘сказать о своем желании или готовности оказать кому-л. какую-л. услугу’: *Я предложил подвезти его* ⟨предложил ему свою помощь⟩ ≈ ‘предложил сделать Р’ VS. *Я предложил ему кофе* ≈ ‘предложил дать X-у Р, с тем чтобы X использовал Р по назначению’.

Валентность цели. Глаголы перемещения в случаях типа *Мы ходили гулять* ⟨на прогулку⟩, *Мать водила детей гулять* ⟨на прогулку⟩ имеют двунаправленное значение (≈ ‘пойти и вернуться’) с валентностью цели. Если эта валентность метонимически выражается предметным именем в составе предложно-именной группы за + ТВОР, как в случае *Мы ходили за газетами* ⟨за хлебом⟩, *Мать гоняла нас за газетами* ⟨за хлебом⟩, в выска-

⁵ Эта валентность может насыщаться еще одним типом предикатов — существительными со значением положения вещей в форме РОД. В этом случае в высказывании возникает дополнительный смысл существования или наличия: *Я хочу* ⟨мне хочется⟩ *большей свободы* ⟨мира в семье⟩ = ‘...чтобы у меня было больше свободы ⟨в семье был мир⟩’.

⁶ Для предикатных имен этот способ оформления валентности содержания невозможен; ср. неправильность **хотеть мир в семье* ⟨большую свободу⟩. Это замечание относится и к рассматриваемому ниже глаголу *просить*; ср. *просить помощи* ⟨сочувствия⟩, но не **просить помощь* ⟨сочувствие⟩.

звании возникает дополнительный смысл приобретения и доставки соответствующего предмета в определенное место⁷.

Валентность причины. У глаголов со значением эмоциональных состояний типа *беспокоиться, бояться, радоваться, стыдиться* и т. п. есть валентность причины, которая стандартно и единообразно выражается при них придаточным предложением, вводимым союзом *что*. Ср. *Он беспокоился, что детей до сих пор нет; Она боялась, что не успеет на поезд; Все радовались, что экзамены уже позади; Я стыжусь, что состоял в вашей партии*. Метонимически та же валентность может выражаться предложно-именной группой вида *за X-а*, где позицию X занимает предметное существительное, чаще всего — имя человека: *беспокоиться* *⟨бояться, радоваться, стыдиться⟩ за своего сына*. В таких условиях в контексте глаголов со значением положительной эмоции возникает дополнительное значение ‘причиной эмоции является что-то хорошее, к чему X имел, имеет или будет иметь отношение’, а в контексте глаголов со значением отрицательной эмоции — дополнительное значение ‘причиной эмоции является что-то плохое, к чему X имел, имеет или будет иметь отношение’.

Добавим к сказанному, что при некоторых глаголах этого класса валентность причины может выражаться еще формой ИНФ, ср. *Он боялся ходить туда, Он стыдился говорить об этом*. При этом в утвердительном предложении, как в только что приведенных примерах, чаще всего дополнительно выражается тот смысл, что субъект избегал совершать соответствующее действие, а в отрицательном — что он совершал его; ср. *Он не боялся ходить туда* *⟨не стыдился говорить об этом⟩*.

2.3. Сочетаемость, синтаксис и просодия

Сочетания глагола *надеяться* с модальными словами *можно, будем* (именно в форме 1-Л МН) и *надо* понимаются по-разному в зависимости от просодических и синтаксических факторов. Если модальные слова фразово безударны, а второй актант *надеяться* выражен отдельной пропозицией, то все три словосочетания имеют предположительное значение: *Можно* *⟨будем, надо⟩ надеяться, что к концу года положение стабилизируется*. В указанных просодических условиях они могут употребляться и как вводные обороты; ср. *К концу года положение, надо* *⟨будем, можно⟩ надеяться, стабилизируется*. При этом семантические различия между модальными словами минимальны: *надо* указывает на несколько большую, чем *можно*, уверенность говорящего в том, что ситуация реализуется, а *будем* — еще и на желательность ее реализации. Если же модальные слова несут главное фразовое или синтагматическое ударение или если второй актант выражен предложно-именной группой вида *на* + ВИН, то значения

⁷ Отметим, что в выражениях типа *Ходили в город за помощью* существительное в позиции ТВОР — предметное, а не предикатное, несмотря на обманчивую внешность: это *люди*, которые должны прийти на помощь.

соответствующих словосочетаний различны и складываются из обычных словарных толкований лексем. Ср. ↑*Можно надеяться, что зрение полностью восстановится?*; Не ↓*надо надеяться, что зрение полностью восстановится*; *Мы по-прежнему будем надеяться на лучшее.*

2.4. Просодия и коммуникативная структура

Глагол *выглядеть* в конструкции *X выглядит Y-ом* может быть истолкован следующим образом: *X выглядит Y-ом* = ‘Внешний вид или поведение X-а дают наблюдателю основание считать X Y-ом, причем наблюдатель может быть не вполне уверен в истинности того, что X — Y’. На основании этого толкования можно допустить, что *выглядеть* одновременно и сближается с «объективным» глаголом-связкой *быть*, и противопоставлен ему. Сближение с *быть* происходит в тематической позиции; ср. *Она выглядела помолодевшей и немного таинственной* (С. Довлатов, Чемодан); *Грибы выглядели довольно свежими, потому что она отобрала для продажи самые крепкие* (М. Ганина, Бостолочь). *Выглядеть* противопоставлен *быть* по признаку ‘кажущееся’ — ‘реально существующее’ в нескольких условиях, из которых здесь важно лишь одно — наличие главного фразового ударения на глаголе *выглядеть* и, следовательно, его тематичность. Ср. *Она только ↓выглядит здоровой (а на самом деле она очень больной человек)*⁸.

3. Типы смыслов, наиболее активных в нетривиальных правилах

К числу таких смыслов относятся: а) отрицание; б) кванторы; в) количественные смыслы; г) оценки; д) модальности (особенно желание, возможность и необходимость).

3.1. Отрицание

Глаголы *ждать* и *ожидать* в значении ‘зная или считая, что должно или может произойти событие Р, нужное субъекту или касающееся его, быть в состоянии готовности к нему, обычно находясь в том месте, где оно произойдет’, в отличие от своего ближайшего синонима *дождаться*, (слабо) положительно поляризованы, т. е. обычно не употребляются с нейтральным отрицанием. Во фразах типа *Он не ждал (не ожидал) меня* чаще всего реализуется не рассматриваемое значение, а значение ‘считать, что в недалеком будущем произойдет некое событие Р’.

Значение чистого отрицания обычно реализуется при одном из следующих условий: а) субъект состояния неопределенный, ср. *(Он вовремя пришел на место встречи, но) никто его там не ждал (не ожидал)*; *Никто*

⁸ Ср. похожие наблюдения над семантически близким глаголом *казаться* в [Зализняк 1992: 142].

меня не ожидает там, / Моей жене давно другое снится (А. Городницкий, Деревянные города). б) Отрицается не самый факт ожидания, а какое-то сопутствующее ему обстоятельство, названное в подчиненной глаголу группе, ср. *Он никогда не ждал (не ожидал) меня больше пяти минут* (\approx ‘ждал не больше пяти минут’, так называемое смещенное отрицание). в) Имеет место не значение чистого отрицания, а значение опровержения; ср. — *Простите, что заставил вас ждать. — Я совсем не ждал вас, я сам только что пришел.* г) В ситуации побуждения, особенно когда побуждение облекается в форму отрицательного императива, ср. *Не жди меня, я сам не знаю, когда освобожусь.*

3.2. Кванторы

Сошлемся на известный пример из [Падучева 1974: 143] (см. также [Богуславский 1985: 13]), иллюстрирующий взаимодействие квантора и отрицания: фраза *Он не решил всех ваших задач* синонимична фразе *Он решил не все ваши задачи*. Объясняется это тем, что в первой фразе областью действия отрицания является не глагол *решить*, от которого оно синтаксически зависит, а квантор *все*, т. е. имеет место ситуация смещенного отрицания. Ср. также анализ фразы *Я первый тебя спросил* в [Богуславский 1985: 14]. В зависимости от того, как заполняются в ней семантические валентности кванторного слова *первый*, она может иметь следующие две интерпретации: ‘Тебе задали вопрос несколько человек, и среди них я был первым’ и ‘Мы с тобой спросили друг друга, причем я спросил тебя раньше, чем ты меня’.

3.3. Количественные смыслы

Рассмотрим наречие постепенно во фразах типа *Гости постепенно разъезжались, Дерево постепенно засохло* и т. п.

Его значение и основные условия употребления были сформулированы в [Апресян 1980: 80] и [Гловинская 1982: 27—28, 75]. Результаты этого анализа можно суммировать следующим образом: *постепенно* — одностепенный предикат, единственная семантическая валентность которого заполняется именем сложной ситуации. С помощью *постепенно* эта сложная ситуация членится на ряд более простых ситуаций, которые упорядочиваются во времени так, что каждая следующая наступает вслед за предыдущей через более или менее равные временные отрезки. М. Я. Гловинская справедливо добавляет к сказанному, что «говорящий оценивает эти промежутки как более или менее значительные».

Главным в этом анализе является утверждение, что предикат *постепенно* применим лишь к сложным ситуациям, которые можно мыслить как упорядоченные во времени множества более простых ситуаций. Представление о множестве простых ситуаций возникает либо за счет того, что в сложной ситуации есть не один участник, а несколько (так обстоит дело в случае *Гости постепенно разъезжались*), либо за счет того, что сама опи-

сываемая ситуация является не одномоментным событием, а развивающимся во времени процессом, членимым на ряд фаз (так обстоит дело в случае *Дерево постепенно засохло*). Если данную ситуацию нельзя расчленивать на ряд более простых ни тем ни другим способом, предикат *постепенно* неприменим; так, нельзя сказать **Иван постепенно уехал*, **Она постепенно забеременела*.

Из этого анализа вытекает одно интересное следствие для интерпретации предложений типа *Дома постепенно разрушились*, *Белье постепенно высохло* и т. п.⁹ В них, как легко заметить, *постепенно* синтаксически зависит от глагола со значением процесса, первый актанта которого выражается существительным в форме МН (*дома*) или собирательным существительным (*белье*). В таких условиях становятся возможны оба способа членения сложной ситуации на ряд более простых. Например, в случае *Дома постепенно разрушились* речь может идти либо о том, что все множество домов разрушалось равномерно и окончательно разрушилось к одному и тому же времени, либо о том, что разные подмножества домов разрушались в разные моменты времени одно за другим, пока не разрушились все дома. Формально эта омонимия объясняется с помощью двух разных правил заполнения валентности предикатов, называющих более простые ситуации. В первом случае таким предикатом является выражение ‘становиться / стать более ветхим’, а его актантами — группа *все дома*: все дома через равномерные промежутки времени становились все более ветхими, пока не разрушились окончательно. Во втором случае предикатом более простой ситуации остается глагол *разрушиться*, а его актантами становятся имена произвольных подмножеств домов: сначала разрушились такие-то дома, потом — другие и т. д.

3.4. Оценки

Рассмотрим лексические единицы типа *вкус*, *класс*, фразему *Голова варит* и конструкцию *X-у работается* (*пишется* и т. п.), которые по умолчанию обозначают положительную оценку: *У нее, безусловно, есть вкус*, *Она одевается со вкусом* [= ‘тонкий вкус’], *Ай, класс!*, *Он снова показал класс* [= ‘высокий класс’], *Голова у него варит* [= ‘хорошо варит’], *Ей сегодня работается* [= ‘легко работается’].

Выражаемая по умолчанию положительная оценка всегда образует слабый смысл, т. е. смысл, который в контексте явно выраженного противоположного смысла элиминируется. Ср. фразы *У нее плохой вкус*, *Обе команды показали низкий класс игры*, *Голова у него плохо варит*, *Мне сегодня что-то плохо работается*. При сочетании слабого смысла с наречиями положительной оценки не создается нового смысла, а уже выраженный по умолчанию смысл превращается в сильный, т. е. не элиминируемый.

⁹ Предлагаемый анализ этих примеров окончательно сложился в ходе их обсуждения с М. Я. Гловинской.

Отметим мимоходом близость отрицательной оценки и отрицания в контексте таких предикатов: *У него плохой вкус ≈ У него нет вкуса, Голова у него плохо варит ≈ не варит, Мне сегодня плохо работается ≈ не работается*. Семантические различия между такими фразами очевидным образом меньше, чем различия между фразами типа *Он не работает ≠ Он плохо работает*¹⁰.

Интересно ведут себя оценки в контексте предикатов знания, из которых мы обсудим только глагол *знать* в пропозициональном значении.

Правила взаимодействия пропозиционального *знать* с оценочными словами зависят от типа синтаксической конструкции.

В конструкции с придаточными предложениями, вводимыми союзными словами, а также в эквивалентной ей конструкции со словами типа *адрес, телефон, дорога* и т. п. в роли прямого дополнения действуют тривиальные правила сложения значений¹¹. Во-первых, *знать* в таких условиях сочетается и с наречиями положительной оценки, и с наречиями отрицательной оценки. Во-вторых, и те и другие реально градуируют знание. Ср. *Проводник хорошо (отлично, прекрасно) знает, как идти на перевал (дорога на перевал); Она уже твердо знала, что будет; Никто толком не знал, что там произошло; Пилот вертолета плохо (лишь приблизительно) знал, где (в каких условиях) ему предстоит посадить машину*.

В конструкции с подчинительным союзом *что*, прототипической для значения истинного знания, действуют другие, более интересные семантические правила. Во-первых, в этих условиях глагол *знать* в норме сочетается только с наречиями положительной оценки типа *хорошо, отлично, прекрасно, точно, твердо, достоверно* и т. п. Ср. *Тихон Ильич хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришли в ветхость* (И. Бунин, *Деревня*); *Они прекрасно знали, что я должен был бежать, чтобы предотвратить утечку* (А. и Б. Стругацкие, *Далекая Радуга*). Нельзя сказать **Они плохо (приблизительно) знали, что я должен был бежать*: истинное знание не может быть неточным или плохим. Во-вторых, наречия утрачивают собственно оценочное значение, а различия в степени между *хорошо, твердо, отлично, прекрасно* и т. д. в значительной мере нивелируются. Они приобретают, в сущности, усилительную функцию эмфатического утверждения простого наличия знания, без уточнения его качества или полноты. В этом отношении разница, например, между *хорошо знать, что сопротивление бесполезно* и *прекрасно знать, что сопротивление бесполезно* гораздо меньше, чем разница между *хорошо знать дорогу* и

¹⁰ Мы здесь намеренно отвлекаемся от важнейшего различия между *Он работает* (занятие) и *Ему работается* (состояние).

¹¹ Эквивалентность конструкций объясняется тем, что слова типа *адрес, дорога, телефон* в контексте *знать* представляют собой, по существу, свернутое предложение: *Знаю его адрес ≈ Знаю, где он живет, Знаю ее телефон ≈ Знаю, каков номер ее телефона* и т. д.

прекрасно знать дорогу. В самом деле, в первом случае знание реально не градуируется; недаром нельзя сказать **Он плохо <неважно> знал, что сопротивление бесполезно*. Между тем во втором случае *прекрасно* реально градуирует знание; ср. *плохо <хорошо, прекрасно> знать дорогу*.

3.5. Модальности

Этот класс активных смыслов будет представлен глаголом *хотеть* и прилагательным *намерен*.

Некоторые словари (СУ, БАС, МАС, в отличие от СОШ и БТС) выделяют у *хотеть* два самостоятельных значения (имеющих разные номера), которые можно условно назвать значениями 'чистого желания' и 'намерения'; ср. *Я хочу есть* [чистое желание] VS. *По пути я хочу зайти на почту* [намерение]¹². 'Желание' и 'намерение' считаются разными лексическими значениями глагола *хотеть* и в некоторых теоретических работах; см., например, [Зализняк 1992: 62].

Что касается слова *намерен*, то все названные словари трактуют его как строго однозначное. Даже когда в его толкование включается смысл 'хотеть' (так поступают СУ, БАС, МАС и БТС), он дается не под отдельным номером, а в обрамлении смыслов типа 'собираться', 'иметь намерение' и 'предполагать', т. е. как их синоним. Ср. 'Собираюсь (-аешься, -ается), хочу, имею намерение' (СУ), 'Имею (-ешь, -ет) намерение, предполагаю (-аешь, -ает), хочу (хочешь, хочет), собираюсь (-аешься, -ается)' (МАС) и другие подобные толкования.

Однако возможно решение, которое позволяет трактовать 'намерен' не как самостоятельное лексическое значение глагола *хотеть*, а как употребление этого глагола, получаемое по определенному правилу семантической модификации из прототипического значения 'хотеть'. С другой стороны, можно показать, что и предикат *намерен* при некоторых условиях меняет свой смысл на 'хотеть', так что оба смысла трансформируются друг в друга.

У глагола *хотеть* значение чистого желания выражается в следующих условиях: а) при релативности *хотеть* (т. е. под главным фразовым ударением, под отрицанием, в контексте слов со значением интенсивности типа *очень, безумно, страстно, как, так, всеми силами души* и т. п.). Ср. *Коля ↓хотел жениться на ней (но мать была против); Но я уже не хотел, чтобы она вернулась ко мне* (Ф. Искандер, Сандро из Чегема); *Как он хотел спать!*; *Час назад он так хотел отдохнуть* (А. Урусов, Крик далеких муравьев); *Сашика мой так хотел сына* (М. Веллер, Мимоходом); *Как раз то, чего мы так хотели избежать* (А. Битов, Пушкинский дом). б) В контексте стативных глаголов; ср. *Я хочу знать, о чем вы с ним толковали; Люди так устроены, что хотят верить в разные чудеса* (Е. Тарле, На-

¹² Любопытно, что ближайший синоним *хотеть*, а именно глагол *желать*, ни при каких обстоятельствах не может значить 'намерен'.

полеон). в) При несовпадении субъекта желания и субъекта действия; ср. *Хочешь, валенки сниму, / Как пушинку подниму* (О. Мандельштам, «Жизнь упала, как зарница»).

По контрасту значение намерения у глагола *хотеть* и у других аналогичных предикатов, в частности прилагательного *намерен*, тематично, требует указания на планируемое действие, потому что состояние планировать нельзя (ср. неправильность **Я намерен радоваться <верить тебе, считать, что тебе повезло>*), не допускает градуирования (ср. неправильность **Я очень <безумно> намерен попасть на эту премьеру*)¹³ и возможно только при совпадении субъекта состояния и субъекта действия: нельзя намереваться, чтобы кто-то другой совершил какие-то действия.

Для значения намерения у глагола *хотеть* характерно указание временных рамок данного состояния. Это происходит в трех случаях: а) при сочетании *хотеть* с инфинитивом акционального глагола в форме СОВ, особенно при наличии однородной цепочки инфинитивов, указывающей на последовательность действий или событий; ср. *Третья, гостья из Болгарии, почувствовала себя неловко и тоже хотела уйти* (А. Райкин, Только после вас); *Я хочу поработать в архивах, побывать на месте событий и поговорить с их участниками*; б) в контексте частиц *уже* и *было*, обозначающих отказ от почти предпринятого действия, независимо от видовой формы подчиненного *хотеть* глагола; последний может стоять и в форме НЕСОВ. Ср. *Он хотел было <уже хотел> выключить рацию, но передумал*; *Он уже хотел ложиться, но тут в передней раздался звонок*; ср. также *Он хотел было лечь, но тут в передней раздался звонок*; в) в контексте временных слов и выражений типа *теперь, как раз, только что, перед этим, после этого, потом, несколько раз* и т. п. тоже независимо от видовой формы подчиненного *хотеть* глагола; ср. *Он как раз хотел ложиться, но тут в передней раздался звонок*; ср. также *Я только что хотел сообщить вам, что собрание отменяется*; *У Кати было такое лицо, что я несколько раз хотел заговорить с ней и не смог* (В. Каверин, Два капитана); *Я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения* (Б. Пастернак, Доктор Живаго). Все перечисленные контексты характерны для ситуации планирования, а планирование с неизбежностью предполагает намерение сделать что-то.

Перейдем к слову *намерен*. Его семантическая структура является до известной степени зеркальным отражением семантической структуры глагола *хотеть*: главным для него является значение намерения, из которого в ряде случаев может получаться употребление, близкое к 'хотеть'. Не совсем ясно, каковы в точности условия этого преобразования, но один характерный класс контекстов указать можно. Это контексты, в которых

¹³ Возможность сочетания *намерен* с наречием *твердо* (*Я твердо намерен попасть на эту премьеру*) никак не опровергает этого утверждения: *твердо* при *намерен* (как и при *знать*, см. раздел 3.4) выполняет лишь усилительную функцию.

прилагательное *намерен* употреблено под отрицанием, т. е. в рематической позиции, и управляет глаголом со значением относительно несложного действия, хотя и контролируемого субъектом, но не требующего планирования и производимого более или менее автоматически — в силу простого присутствия субъекта в определенном месте, склада характера, отношения к другому человеку и т. п. Ср. *Я не намерен слушать эту чушь!* ≈ ‘не хочу и не буду’, *Отец не намерен потакать твоим капризам* ≈ ‘не хочет и не будет’. Заметим, что похожий семантический сдвиг в похожих условиях претерпевает и ближайший синоним *намерен* — глагол *собираться*: *Я не собираюсь слушать эту чушь!* ≈ ‘не хочу и не буду’¹⁴.

Добавим к сказанному еще одно замечание. В значении чистого желания *хотеть* сопрягается с актуально-длительным значением формы НЕ-СОВ. Это особенно характерно для тех случаев, когда глагол *хотеть*, сам по себе или в контексте соответствующего наречия, обозначает интенсивное физическое желание; ср. *Я безумно хочу есть (пить)*, *В этот момент он безумно хотел спать*. В значении намерения *хотеть* с актуально-длительным значением НЕСОВ не сопрягается; ср. примеры типа *Я сейчас хочу пойти домой*, где *сейчас* по смыслу относится не к *хотеть*, а к *пойти домой* и значит не ‘в данный момент’, а ‘в самом скором времени’.

Таковы пять групп смыслов, на и более активных в правилах взаимодействия значений. Ясно, что существуют и другие подобные смыслы. Так, смыслы ‘начинать’ и ‘склонен’ в контексте ментальных путативов *думать*, *считать*, *сомневаться* образуют с ними сложные семантические амальгамы, значение которых не выводится прямо из значений их составных частей. Фразы типа *Я начинаю (склонен) думать, что он не так прост, как кажется* имеют не начинательное, а перфективное значение, т. е. обозначают в какой-то мере уже возникшее, хотя и не бесповоротно сложившееся мнение. Есть и другие смыслы, активные в правилах взаимодействия значений. Некоторые из них были упомянуты выше, другие будут упомянуты ниже. Однако для общей ориентации в материале и формирования правильных лексикографических ожиданий важно подчеркнуть, что большая часть нетривиальных семантических правил разыгрывается на проанализированных выше пяти группах смыслов.

4. Части полного семантико-прагматического представления лексемы, которые могут стать объектом правил

Напомним, что лексема (слово в определенном значении) трактуется нами как знак, со своим означающим, означаемым, синтактикой и прагматикой, и что ее лексикографическое описание, или интегральное лексико-

¹⁴ В других случаях *намерен* и *собираться* под отрицанием могут сохранять свое словарное значение; см. [Левонтина 2004: 1068].

графическое представление, складывается из полного семантико-прагматического представления, характеристики существенных для правил морфологических, синтаксических, сочетаемостных, коммуникативно-просодических и иных свойств и указания семантических связей лексемы в словаре (синонимов, антонимов, конверсивов, дериватов и т. п.). Полное семантико-прагматическое представление лексемы, в свою очередь, складывается из ее аналитического толкования на специальном метаязыке, словарных правил взаимодействия значений и еще трех типов сведений: (а) нетривиальных семантических признаков лексем, (б) коннотаций и (в) прагматической информации.

Основной тип правил взаимодействия значений — это правила, объектом которых являются аналитические толкования лексем. Однако существуют правила, объектами которых оказываются и другие, более периферийные элементы полного семантико-прагматического представления лексемы; см. пункты (а)—(в) выше. Целью данного раздела будет продемонстрировать релевантность этих периферийных компонентов полного семантико-прагматического представления лексемы для правил взаимодействия значений.

4.1. Взаимодействие с нетривиальными семантическими признаками лексем

Этот случай будет представлен правилами семантического «рассогласования» стативных глаголов с настоящим предстоящим (профетическим, «запланированным будущим»), общефактическим результативным и актуально-длительным значениями граммы НЕСОВ. Эти правила рассматривались в [Бондарко 1971: 155; Апресян 1980: 38 и сл.; Булыгина 1980: 341; 1982: 80; Гловинская 1989: 89; 2001: 164]; здесь они будут изложены в уточненном виде.

Стативные глаголы не сочетаются с предстоящим значением граммы НЕСОВ; ср. неправильность фраз типа **Завтра я точно знаю, когда начинается сессия* (надо *Завтра я буду точно знать, когда начинается сессия*), **Скоро он ненавидит Соню за то, что сделал ее несчастной* (надо *Скоро он возненавидит Соню за то, что сделал ее несчастной*) и т. п.

Стативные глаголы, за исключением глаголов физического восприятия *видеть* и *слышать*, не сочетаются с общефактическим результативным значением граммы НЕСОВ; нельзя сказать **Я (уже) знал теорему Бернулли* в том самом смысле, в каком можно сказать *Я (уже) видел где-то его книгу*. В примерах *Ты когда-нибудь радовался чужому горю?*, *Она когда-нибудь в жизни нуждалась хоть в чем-нибудь?*, *Он не раз хотел попасть на премьеру в Большой театр* и других подобных представлено не общефактическое результативное значение НЕСОВ, а общефактическое нерезультативное; см. о нем [Гловинская 1982: 124 и сл.].

Что касается правил сочетаемости стативных глаголов с актуально-длительным значением граммы НЕСОВ, то здесь картина более пестрая,

чем предполагалось раньше¹⁵. По-видимому, большинство правил такого рода должно формулироваться отдельно для разных классов стативов, а в ряде случаев — для разных глагольных лексем и разных употреблений одной лексемы.

Наибольшую степень рассогласования с актуально-длительным значением обнаруживают глаголы ментального состояния *знать* и *считать*. Нельзя, например, сказать **Сижю и знаю (считаю), что пора брать отпуск*. Однако если заменить *считать* синонимичным глаголом *думать*, получится вполне правильное высказывание: *Сижю и думаю, что пора брать отпуск*¹⁶.

С другой стороны, многие глаголы эмоционального состояния, гораздо более близкие к процессам, чем глаголы ментального состояния, по крайней мере в некоторых употреблениях легко сочетаются с актуально-длительным значением НЕСОВ. Ср. *Смотри, как он радуется; Он никогда так не стыдился своих лохмотьев, как в ту минуту*.

Легко сопрягаются с актуально-длительным значением НЕСОВ и глаголы физического восприятия *видеть*, *слышать*, *осознать*, *чувать* и т. п., поскольку они обозначают экстерииоризованные состояния; ср. *Нет, нет, я отчетливо вижу парус на горизонте (ясно слышу какой-то шорох за дверью)*.

4.2. Взаимодействие с коннотациями

У слова *осел* есть коннотация упрямства, а у слова *собака* — коннотация преданности. Семантическое взаимодействие с коннотацией Р, которая приписана существительному Х, имеет место в сравнительной конструкции вида *Р как Х*. Ср. семантически правильные (согласованные по коннотациям) сравнения *Упрям, как осел* и *Предан, как собака*, и семантически неправильные (рассогласованные по коннотациям) сравнения [?]*Упрям, как собака* и [?]*Предан, как осел*.

4.3. Взаимодействие с прагматической информацией

З. Вендлер в свое время поставил вопрос о том, к какому компоненту в полном семантическом представлении слова присоединяется оценочное прилагательное во фразах типа *Она хорошая (плохая) сестра (мать)* (см. [Vendler 1967: 191—193]). Чтобы ответить на него, надо истолковать зна-

¹⁵ См., например, [Lyons 1977: 706], где дана следующая, на наш взгляд, чересчур глобальная формулировка: «Стативные глаголы составляют важнейший подкласс глаголов, которые обычно не встречаются в прогрессивном виде в английском языке». См. также [Lakoff 1966].

¹⁶ Объясняется это тем, что основное значение *думать* (оно реализуется в конструкциях типа *думать о чем-л.*) — акциональное и, следовательно, совместимое с актуально-длительным значением НЕСОВ, а свойства основных значений настолько сильны, что иногда они «прорастают» в производные значения.

чения соответствующих существительных. Возьмем только первое из них, поскольку выводы будут верны для любых названий родства. X — *сестра* Y -а = ‘ X — женщина, имеющая тех же родителей, что человек Y ’. Но X *хорошая* (*плохая*) *сестра* явным образом не значит ‘ X — хорошая (*плохая*) женщина, имеющая тех же родителей, что человек Y ’. Нет в толковании слова *сестра* и других семантических компонентов, с которыми могли бы соединяться оценочные прилагательные *хороший* и *плохой*.

Для правильной интерпретации таких высказываний необходимо предположить, что эти прилагательные взаимодействуют не с компонентами собственно толкования, а с какими-то другими элементами полного семантического представления лексемы *сестра*. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль является прагматическое (наивно-энциклопедическое) представление о сестре (а также матери, отце, брате и т. п.) как о человеке, который выполняет по отношению к Y -у определенные родственные обязанности. С помощью слов *хороший*, *плохой* и т. п. оценивается как раз то, как X выполняет эти обязанности.

5. Типы правил в зависимости от природы взаимодействующих единиц¹⁷

Здесь различаются следующие типы правил: а) взаимодействие лексических значений друг с другом; б) взаимодействие лексических значений с грамматическими; в) взаимодействие грамматических значений друг с другом.

5.1. Взаимодействие лексических значений друг с другом

В этом разделе мы обсудим, по мотивам [Апресян 1995: 603—608], семантическое взаимодействие глагола *узнать* с другими лексемами в тексте.

Начнем с предлогов *у* и *от* в значении источника какой-то информации. Первый из них предполагает активного, инициативного искателя информации, или агенса, а второй — неинициативного получателя информации, или адресата. Это различие отчетливо проявляется в парах типа *Отец узнал у проводника, где останавливается поезд* и *Отец узнал от случайных попутчиков, что поезд в Туле не остановится*. В первом предложении *отец* — агенс, а *узнать* — действие, как *Отец спросил у проводника, где останавливается поезд*. Во втором предложении *отец* — адресат, а *уз-*

¹⁷ Ниже мы рассматриваем только классификации, основанием для которых является либо природа взаимодействующих единиц, либо механизм взаимодействия. Возможна еще одна классификация правил — по признаку лексической области действия. С этой точки зрения правила делятся на общие и частные, или словарные. Эта классификация была подробно описана в [Апресян 1980: 73—79], и мы не станем к ней возвращаться.

нать — начало информационного состояния, как *Отец знает то-то и то-то от случайных попутчиков*.

Сдвиги в сторону акциональности или стативности, возникающие у глагола *узнавать* (как, впрочем, и у многих других глаголов с похожими значениями) в контексте предлогов *у* и *от*, лежат в основе еще нескольких правил его семантического взаимодействия с другими лексемами в высказывании.

а) Если *узнать* употреблен в контексте предикатов со значением цели, например глаголов типа *велеть*, *разрешать*, *позволять*, *намереваться*, союза *чтобы*, наречия *с целью* и т. п., у него реализуется только значение действия и он управляет предлогом *у*; ср. *Он велел мне узнать у вас* (не **от вас*), *когда открывается музей*; *Чтобы не продешевить при продаже машины, он узнал у меня* (не **от меня*), *сколько стоит такая модель на рынке*.

б) Если *узнать* зависит от модального глагола *мочь*, то форма *у кого* совместима со всеми тремя значениями этого глагола — алетическим (объективной возможности), деонтическим (пермиссивным) и эпистемическим (вероятностным), а форма *от кого* — только с вероятностным; ср. *Вы можете узнать об этом у своего непосредственного начальника* (объективная возможность, разрешение, вероятность) — *Он мог узнать об этом от кого угодно* (только вероятностное значение).

5.2. Взаимодействие лексических значений с грамматическими

Продолжим рассмотрение глагола *узнавать*.

а) В актуально-длительном значении НЕСОВ возможно только акциональное значение *узнавать* и, следовательно, только контекст предлога *у*; ср. — *Что он там делает?* — *Узнает у диспетчера расписание поездов*. Неакциональное значение *узнавать* с актуально-длительным значением НЕСОВ не сочетается; ср. невозможность — *Что он там делает?* — **Узнает от диспетчера расписание поездов*.

б) В форме ПОВЕЛ в прототипическом для нее значении побуждения тоже возможно только акциональное *узнавать*; ср. *Узнай у него, что там происходит*, но не **Узнай от него, что там происходит*. Оба правила касаются больших классов акциональных и неакциональных глаголов.

Еще один пример — глагол *заставлять* в следующих каузативных значениях: 1) *Х заставляет 1 Y-а сделать P* = ‘желая, чтобы человек Y, который не хочет делать P, сделал P, человек X делает что-то, являющееся причиной того, что Y не может не сделать P’; ср. *Он заставил меня подписаться под этим письмом*; 2) *Х заставляет 2 Y-а сделать P* = ‘ситуация X является причиной того, что человек Y, который не хотел делать P, не может не сделать P’; ср. *Шаги и голоса в аллее заставили его обернуться*. Акциональный компонент ‘делает что-то’ в толковании *заставляет 1* объясняет возможность употребления этой лексемы в актуально-длительном значении НЕСОВ: *Посмотри, он заставляет собаку прыгнуть через кольцо* (≈ ‘на наших глазах пытается заставить’, конативное значение). Отсут-

ствие такого компонента в толковании *заставлять 2*, место которого занимает смысл ‘быть причиной’, в свою очередь объясняет, почему для этой лексемы актуально-длительное значение НЕСОВ исключено. Фраза *Шаги и голоса в аллее заставляют его обернуться* имеет не актуально-длительное, а перфективное значение (шаги и голоса в аллее не пытаются заставить его обернуться, а уже привели к тому, что он обернулся) и понимается как повествовательное настоящее историческое.

Только что сформулированные правила касаются обширного класса предикатов, входящих в лексикографический тип с регулярной многозначностью вида ‘действие’ (первый актант — агенс) — ‘воздействие’ (первый актант — причина), ср. *вдохновлять, воодушевлять, побуждать, подталкивать, приучать, толкать, убеждать* и т. п. Приведем в дополнение к рассмотренному материалу еще только один пример — глагол *будить*. Во фразах типа *Жена будит Ивана* глагол имеет первое (акциональное) значение и допускает употребление во всех процессных значениях НЕСОВ; ср. *Бужу его, бужу — никак не могу добудиться, Жена долго будила Ивана* и т. п. Во фразах типа *Звонок будит Ивана* глагол имеет второе (причинное) значение и употребляется преимущественно в повествовательном настоящем историческом.

5.3. Взаимодействие грамматических значений друг с другом

Мы рассмотрим этот вопрос на примере взаимодействия видовых значений НЕСОВ с категорией залога.

Бытует мнение (см., например, [Храковский 1991: 162]), что «пассивные глагольные формы НСВ в общем обладают теми же аспектуальными свойствами, что и активные глагольные формы НСВ». Если включать в число аспектуальных свойств глагола различные допустимые при нем значения НЕСОВ, то это утверждение надо будет откорректировать: в форме СТРАД глагол сохраняет не все видовые значения, которые у него есть в форме действительного залога. В частности, синтетическая (возвратная) форма СТРАД сохраняет лишь следующие значения НЕСОВ: а) узуальное, ср. *Парадная дверь открывается привратником*; б) многократное, ср. *Рукопись перебелилась переписчиками несколько раз*; в) процессное, ср. *Дорога через перевал, которая прокладывается строителями в трудных условиях Заполярья, будет закончена только к сентябрю*; ср. также безагенсную пассивную конструкцию в примере *Очерк писался, готовился к публикации, сдавался в печать, когда --- участники «правотроцкистского блока» еще не были реабилитированы* (В. Амлинский, Заброшенные гробницы); г) общефактическое двунаправленное, ср. *Ясно, что окно кем-то открывалось*.

Однако у формы СТРАД отсутствуют по крайней мере два свойственных центральной залоговой граммеме значения — потенциальное (*Этот тяжеловес поднимает пятьсот килограмм* ≈ ‘может поднять’) и значение непосредственно предшествующего действия (*Мама приглашает всех к*

столу ≈ ‘уже пригласила’; см. о нем [Гловинская 2001: 191 и сл.]). Ср. невозможность **Пятьсот килограмм поднимается этим тяжеловесом*, **Все приглашаются мамой к столу*.

Может показаться, что оба правила опровергаются примерами типа *Парадная дверь открывается без труда*, *Все приглашаются к столу*. Однако в первой фразе форма НЕСОВ на самом деле имеет не потенциальное значение, а значение свойства, причем возвратный глагол представляет здесь самостоятельную лексему с медиальным значением. Превращение потенциального значения в значение свойства является закономерным следствием того, что первый семантический актанта глагола *открываться* выполняет роль пациенса, между тем как потенциальное значение требует, чтобы первый актанта выполнял роль агенса (см. [Гловинская 2001: 211]). Что до фразы *Все приглашаются к столу*, то она понимается скорее в перформативном смысле; ср., например, *Пассажиры приглашаются на посадку* и другие подобные формулы. Иными словами, идея предшествования извлекается здесь не из аспектуального значения формы НЕСОВ, а из общего значения перформативности, которое в русском языке совместимо с любой видовой формой глагола, в том числе формой СОВ; ср. *Попрошу ваши билеты*.

С большим трудом выражается в синтетической форме СТРАД НЕСОВ еще два значения — актуально-длительное и настоящее предстоящее (запланированное будущее). Так, по меньшей мере сомнительны предложения типа *??Посмотри, дверь открывается привратником*, *??Завтра нашей группой сдаются экзамены по зарубежной литературе*. В конечном счете эти запреты, пусть не слишком сильные, объясняются тем, что оба значения связаны с представлением о цели.

Для настоящего предстоящего, или *з а п л а н и р о в а н н о г о* будущего, это более или менее очевидно.

Что касается актуально-длительного, то его связь со значением цели ярко проявляется на материале предикатов деструктивного действия типа *ломать*, *разбивать*, *разрушать*, *рвать*, *царапать* и т. п. У всех перечисленных и других подобных глаголов есть два основных круга употребления. Они обозначают либо намеренное действие, либо происшествие; ср. *Смотри, хулиганы ломают мебель (разбивают витрину)* [преднамеренное, т. е. целенаправленное действие, которое свидетели наблюдают в процессе его развития, — актуально-длительное значение] VS. *От толчка Иван падает и ломает журнальный столик (разбивает зеркало)* [неконтролируемое событие, сразу приводящее к результату, — повествовательное настоящее историческое]¹⁸.

Любое целенаправленное действие требует, чтобы в фокусе внимания находился производитель действия, или агенс, предпочтительно в функции подлежащего. Этому требованию идеально отвечает активная конструкция. А коммуникативное назначение пассивной конструкции состоит

¹⁸ По-видимому, впервые на факты такого рода обратил внимание Дж. Лакофф, который, однако, не дал им убедительного объяснения; см. [Lakoff 1968].

как раз в том, чтобы устранить представление об агенсе или по крайней мере создать возможность для такого устранения, что достигается превращением обязательной синтаксической валентности в факультативную. В конечном счете именно это обстоятельство и порождает трудности употребления пассива в актуально-длительном и настоящем предстоящем значениях.

Более того, статус возможных в пассиве видо-временных значений НЕ-СОВ совсем другой, чем в активной форме. Поскольку коммуникативная функция пассивной конструкции состоит в том, чтобы устранить представление о конкретном исполнителе действия, она тяготеет к употреблению в обобщенном значении, с ее помощью формулируются предписания, рекомендации, правила поведения, запреты, разрешения и т. п.; ср. *В заповеднике охотиться не разрешается (запрещается), Удиль рыбу разрешается только в отведенных для этого местах*¹⁹. Поэтому преобладающими употреблениями формы СТРАД НЕСОВ, как это неоднократно отмечалось, являются ее употребления в узуальном и многократном значениях.

6. Типы правил в зависимости от механизма взаимодействия

По механизмам взаимодействия правила делятся на три типа: а) правила согласования, б) правила семантической модификации и в) правила не-тривиальной области действия.

6.1. Правила семантического согласования

Правила семантического согласования почти всегда могут быть переформулированы в виде семантических условий реализации той или иной языковой единицы. В этом отношении они стоят особняком, представляя, в сущности, условия правильности определенной семантической структуры или подструктуры высказывания. Операцией такого правила является либо принятие данной семантической структуры в качестве правильной (если все условия соблюдены), либо ее отклонение в качестве неправильной (если хотя бы одно условие не соблюдено).

Известно, например, что моментальные глаголы не сочетаются ни с какими процессными значениями НЕСОВ и, следовательно, не могут иметь обстоятельств со значением длительности. Можно сказать *Он подплывал к нам целую минуту*, но не **Он приплывал к нам целую минуту*. С другой

¹⁹ Обратим внимание на различие между формулами типа *Пассажиры приглашаются на посадку* и *Купаться в водоохранной зоне запрещается*. Первые перформативны, поскольку описывают актуальный речевой акт, обращенный к конкретному адресату. Вторые неперформативны, поскольку не описывают актуальных речевых актов и обращены не к конкретному адресату, а к любому человеку, который может оказаться в данном месте.

стороны, у них хорошо развито двунаправленное общефактическое значение, в котором они обозначают либо один акт действия (*Он сегодня уже приходил*), либо несколько или много актов (*Летом он приходил к нам несколько раз на дню*).

Рассмотрим теперь фразу *Он приходил к нам два дня*. Она правильна (семантически согласована) при условии, что глагол употреблен в многократном общефактическом ('на протяжении отрезка времени, равного двум дням, несколько раз имело место событие его прихода к нам'), и неправильна (семантически рассогласована) при условии, что глагол обозначает всего один акт действия. В последнем случае навязывается понимание группы *два дня* как длительной: моментальное событие предлагается мыслить как длящееся во времени. Это и приводит к семантическому рассогласованию, т. е. аномалии.

Выше было рассмотрено много аналогичных примеров семантического согласования / рассогласования лексических значений глаголов с видовыми значениями НЕСОВ; ср. возможность актуально-длительного значения для акционального *узнавать* (*у кого-л.*) и его невозможность для неакционального *узнавать* (*от кого-л.*); возможность актуально-длительного значения для *хотеть* в значении чистого желания, но не в значении намерения; невозможность настоящего предстоящего (запланированного будущего) для стативных глаголов; и ряд других. Рассмотрим теперь пример согласования лексических значений друг с другом.

Глагол *знать* в пропозициональном значении (*знать, что Р*) имеет, в частности, валентность темы знания, которая обычно, хотя и не всегда, реализуется вместе с валентностью содержания знания и стандартно выражается предложно-именной группой *о чем-л.*; ср. *Он уже знает об отце?*; *Я не знал о ней почти ничего* (Гаршин, МАС); *И про ночь он знает только, что ночью темно* (А. и Б. Стругацкие, *Далекая Радуга*); *О Деметрии Первом Полиоркете он знает только то, что это был какой-то македонский царь*. При этом никаких лексико-семантических ограничений на заполнение позиции темы не налагается, а валентность содержания может быть заполнена сентенциальным местоимением в форме ВИН или предложением, вводимым союзом *что* или союзной группой *то, что* (см. примеры выше).

Другой, гораздо менее употребительный способ выражения валентности темы — предложно-именная группа вида *за кем-л.*; ср. *Друзья знали за ним одну странность*; *Я не знаю за собою никакой вины*; *Он знал за собой эту унаследованную черту* (Б. Пастернак, *Доктор Живаго*); *Это была новая привычка, которой не знала за ней Долли* (Л. Н. Толстой, *Анна Каренина*); *Щеглов знал за Настей две слабости* (А. П. Чехов, *Трифон*); *Ивлев знал за собой одно такое качество* (В. Шукшин, *Любовины*).

Этот способ накладывает более жесткие лексико-семантические и грамматические ограничения на возможности заполнения обеих обсуждаемых валентностей. Валентность содержания становится обязательной и может выражаться лишь существительными в форме ВИН, причем

обычно такими, которые обозначают черты человеческого характера или поведения²⁰. Что касается валентности темы, то она может быть представлена только конкретно-референтной и определенной именной группой; ср. сомнительность *??Мы знаем за профессорами склонность к рассеянности*.

6.2. Правила семантической модификации

Здесь выделяются несколько типов правил: а) снятие семантических компонентов, б) добавление семантических компонентов, в) и то, и другое (в частном случае — замена одного компонента другим), г) семантический сдвиг (ослабление, усиление, фразеологизация).

6.2.1. Снятие (зачеркивание) семантических компонентов

Большой материал на эту тему был рассмотрен еще в книге [Апресян 1974: 79—94], и поэтому здесь мы ограничимся одним примером.

Выше мы уже упоминали лексему *заставлять I* в значении ‘желая, чтобы человек Y, который не хочет делать P, сделал P, человек X делает что-то, являющееся причиной того, что Y не может не сделать P’. Объектом воздействия *заставлять*, в отличие от таких его синонимов, как *вынуждать*, *принуждать* и *понуждать*, может быть не только наделенное волей существо, прежде всего человек, но и какой-то неодушевленный предмет — часть тела, растение, космический объект, механизм или его часть и т. п. Поскольку предметы суверенной волей не наделены, прототипическое значение *заставлять* модифицируется: в нем снимается идея насилия над волей объекта. Ср. *Садовник умелой обрезкой может заставить ее [яблоню] пробудиться, и тогда на гладком месте вдруг выстреливает новый побег* (В. Дудинцев, Белые одежды); *В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, --- и продолжал искать новые и новые способы — как заставить колесо постоянно вращаться* (В. Шукшин, Упорный).

6.2.2. Добавление семантических компонентов

Глаголы *избавиться* и *спастись* близко синонимичны в значении ‘приложив усилия, сделать так, что влияющий на жизнь или текущее положение субъекта неприятный фактор перестал на них влиять или совсем перестал существовать’; ср. *избавляться от тараканов, спастись от комаров, избавиться (спастись) от репортеров; Он там окреп и избавился от своей болезни* (Ф. Искандер, Сандро из Чегема); *Он спасался от головной боли*

²⁰ Примеры типа *Я знаю за собой немало поступков решительных и даже отважных* (В. Набоков, Истребление тиранов), *Что-то я не знаю за ним такого факта* (В. Дудинцев, Белые одежды) воспринимаются как отклоняющиеся от современного узуса.

холодными обтираниями. Одно из важных различий между ними состоит в том, что глагол *спастись*, в котором сильна идея удаления от опасности, имеет семантическую валентность места, где субъект находит убежище от нее; ср. *спастись от пчел в пруду*. У глагола *избавиться* такой валентности нет, что не мешает ему подчинять обстоятельства с формально локативным значением: *Он избавился от своего спутника только в городе*. Однако в таких случаях происходит закономерное приращение смысла — пространственный локализатор приобретает дополнительную функцию локализации события во времени. В нашем примере избавление от назойливого спутника произошло в тот момент, когда они оба оказались в городе. Аналогичное приращение временного смысла происходит и в других случаях, когда предикат, у которого нет валентности места, подчиняет наречие или адвербиальную группу со значением места; ср. *Я знал его в Москве*, *Мы познакомились на Кавказе*, *Он понял это еще в поезде* и т. п. Внимание на это явление (на материале глагола *знать*) впервые обратила Е. Кжижкова; см. [Кжижкова 1967].

Часто нетривиальные семантические приращения связаны с фигурой умолчания, а эта последняя в свою очередь — с феноменом ненасыщения семантической валентности предиката. У глагола *использовать* (*X* для *P*) и его синонимов *пользоваться*, *применять* и т. п. в значении ‘при выполнении какого-то действия делать так, что объект *X* выполняет в ходе этого действия определенную функцию, нужную для достижения цели *P*’, есть по три семантические валентности — агенса (кто использует), пациенса (что использует) и цели (для чего использует). Ср. *Парадоксы века: завгар Ф. Телкин использует личную машину в служебных целях* («Литературная газета», 1990, № 6). В ряде употреблений, где валентность *P* метонимически насыщается предметными именами, обычно в составе групп вида *как кого / что, в качестве кого / чего*, на собственно целевое значение накладывается значение функции или предназначения объекта *X*: *До какого процента нужно довести содержание нитратов в овощах и фруктах, чтобы их можно было использовать (применять) как химическое оружие (в качестве химического оружия)?*

Для дальнейших рассуждений важно уяснить, что глаголы *использовать*, *применять*, *пользоваться* и т. п. предполагают утилитарный взгляд на используемый объект. Между тем в русской языковой картине (которая в этом пункте далека от реального бытового поведения среднего носителя языка) существует некая максима уважительного отношения к личности, несовместимая с утилитарным взглядом на человека²¹. Поэтому в приме-

²¹ С этой точки зрения интересна оппозиция форм ВИН и РОД под отрицанием. К известному различию в определенности — неопределенности соответственно следует добавить, что ВИН позволяет мыслить объект в целом, а РОД так или иначе расчленяет его, представляет в виде какой-то части или количества. Тем самым ВИН по сравнению с РОД предстает как средство выражения более «уважительно-

нении к людям указанные предикаты создают в высказывании некий диссонанс, особенно ощутимый в случае, когда не реализована их третья валентность. Тогда по умолчанию предполагается наличие у агенса корыстного намерения извлечь одностороннюю выгоду из чьей-то работы, а с другой стороны — нивелировка личности пациента, его невысокий статус в социальной иерархии или текущей ситуации. Ср. *Неужели ты с самого начала просто-напросто использовал меня?*; *Важен факт: вас использовали, а вы молчите* (Ю. Трифонов, Дом на набережной); — *Расстрелять я вас всегда успею, а использовать хочу*, — сказал он [Махно], отвечая на растерянные мысли Роцина (А. Н. Толстой, Хожение по мукам); *Другие охотно составляли послушную свиту, которой Брюсов не гнушался пользоваться для укрепления власти* (В. Ходасевич, Брюсов).

Разновидностью правил добавления смысла является возникновение у предиката новой семантической валентности. Интересный пример дают глаголы с приставкой *до-* в ее основном значении ‘доведения действия до его завершения’ (МАС), ‘достижения пространственного, а также временного предела’ (Грамматика-60: 580), доведения действия ‘до конца или до какого-то предела’ (Грамматика-80: 359). Это тип *добежать, добросить, доварить, довезти, довести, догореть, доест, доехать, дожить, доиграть, дойти, докатить(ся), докипеть, докопать, докормить, докосить, долежать, долететь, долечить, доломать, домолоть, домостить, домыть, донести, допахать, допеть, допечатать, дописать, допить, дорастить, дорисовать, дорыть, досидеть, досказать, дослушать, досмотреть, доспать, достоять, достроить, дотащить, дотерпеть, дотянуть, доучить, дочитать, дошить*. Они имеют ряд особенностей, которые ярче всего проявляются у непереходных глаголов перемещения *добежать, добрести, доехать, дойти, долететь, доплыть, доползти, доскакать, дошагать* и т. п. в их основном значении; ср. *Раненый дошел* (добрел, дополз) *до воронки и скатился вниз*, *Участники соревнований добежали до столба* (доплывали до бортика) *и, коснувшись его рукой, поворачивали назад*. Именно на них мы и сосредоточимся ниже.

В форме СОВ ПРОШ такие глаголы имеют следующую, несколько огрубленную, схему толкования (на примере глагола *добежать* — *добе-*

го» отношения к объекту. Этим, по-видимому, объясняется тот факт, что при глаголах типа *любить* в случае неодушевленного объекта под отрицанием возможны оба падежа, а при одушевленном и особенно человеческом — только ВИН; ср. *Я не люблю фатального исхода, / от жизни никогда не устаю. / Я не люблю любое время года, / когда веселых песен не пою* (В. Высоцкий, «Я не люблю»), но только *Я не люблю эту женщину (его жену)* при невозможности **Я не люблю этой женщины (его жены)*. У глаголов с вариантивным управлением ВИН / РОД типа *ждать, требовать* и т. п. при одушевленном объекте возможен только ВИН; ср. *Он ждал жену около часа* (не **ждал жены*) VS. *Он ждал поезда около часа; Безобразия, я требую заведующую* (не **требую заведующей*) VS. *Я требую справедливости*.

жать): *X добежал до Y-а* ≈ ‘*X бежал по направлению к Y-у и в момент T_i был на расстоянии P от Y-а [пресуппозиции]; в более поздний момент T_j X находился в / на Y-е или рядом с Y-ом*’²².

Из приведенного толкования следует, что в утвердительном предложении глаголы перемещения с приставкой *до-* не имеют и по природе вещей не могут иметь семантической валентности ‘расстояние до объекта Y’: указание на расстояние до Y-а, на котором находился агент в какой-то начальной, срединной или конечной фазе своего перемещения, входит лишь в пресуппозицию толкования, но не в его ассерцию.

Под отрицанием, в полном соответствии с ожиданиями, пресуппозиция остается неизменной, однако ассерция ощутимо меняется. Посмотрим на примеры типа *Он не добежал (не дошел, не доскакал) до дерева*. В них глагол легко присоединяет зависимую группу типа *пять шагов (пяти шагов)* (ср. *Он не добежал до дерева всего пять шагов*), обозначающую расстояние до объекта, которое он по той или иной причине (не захотел, не смог, было препятствие и т. п.) не преодолел. Из них следует, что в отрицательных предложениях прототипическое словарное толкование *до-*глаголов претерпевает следующий системный сдвиг (на том же примере): *X не добежал P до Y-а* ≈ ‘*X бежал по направлению к Y-у и в момент T_i был на расстоянии P от Y-а [пресуппозиции]; на расстоянии P от Y-а X остановился или изменил направление перемещения*’. Иными словами, отрицание открывает в толковании таких глаголов новую семантическую валентность расстояния до объекта, которое X не преодолел²³.

6.2.3. Снятие и добавление семантических компонентов

Выше, на примере глагола *использовать* и его синонимов, мы говорили о приращении смысла по умолчанию в условиях ненасыщения семантической валентности предиката. В ряде случаев умолчание в форме нереализованной семантической валентности порождает представление о наблюдателе, причем обычно этот смысл не просто добавляется к словарному толкованию лексемы, а выбивает из него стандартный смысл и становится на его место.

Посмотрим с этой точки зрения на дейктические наречия *вдалеке* и *вдали*. У них есть по две семантические валентности — ориентируемого в

²² Форма СОВ ПРОШ в качестве входа толкования выбрана по двум причинам: а) глаголы перемещения в форме НЕСОВ НАСТ семантически более сложны (в утвердительном предложении всегда имеют результативное значение и предпочитают в нарративе), что делает ее менее удобной для толкования; б) в форме СОВ БУД они могут приобретать потенциальное значение и тогда не имеют указанной выше пресуппозиции; ср. *Я доплыву до середины реки (дойду до вершины)*.

²³ Ср. аналогичные примеры на материале других *до-*глаголов: *не дождал двух дней до своего семидесятилетия, не досидел двух минут до конца фильма* и т. п.

пространстве объекта и самого ориентира, причем вторая валентность реализуется зависимой от наречия предложно-именной группой вида *от* + РОД; ср. *Штаб располагался вдалеке от железной дороги; Скоро вдалеке от камней вспыхнуло на черной воде яркое дрожащее пламя* (Л. Соболев, МАС); *Вдали от милого, в неволе / Зачем мне жить на свете боле?* (А. С. Пушкин, Руслан и Людмила). Когда вторая валентность насыщена, *вдалеке* и *вдали* реализуют свое прототипическое словарное значение ‘на большом расстоянии от X-а’. Если же она в данном высказывании не реализована, то вместо предмета X в ситуации мыслится фигура наблюдателя. Его местонахождение как раз и является тем ориентиром, относительно которого оценивается расстояние до ориентируемого объекта. Ср. *И вдруг, утробным воем воя, / Все море вспыхнуло вдали* (Н. Заболоцкий, На рейде), где *вдали* понимается как ‘на большом расстоянии от наблюдателя’.

Именно этим объясняется неправильность предложений типа **(В этот момент) я был вдалеке (вдали)*: здесь в роли наблюдателя выступает сам говорящий, а он, разумеется, не может находиться на большом расстоянии от самого себя. Заметим, что синонимичное *вдали* и *вдалеке*, но недействительное наречие *далеко* в условиях нереализованной второй валентности такого эффекта не дает и значит просто ‘на большом расстоянии от какого-то актуализованного в сознании слушающего объекта’. Поэтому предложения типа *(В этот момент) я был далеко* сохраняют грамматическую правильность.

Модальные слова типа *необходимый, нужный, требуется, надо* и т. п. в основном круге употреблений характеризуются трехвалентной моделью управления, с валентностями агенса, цели и условия / способа ее достижения. Порядок валентностей: условие, цель, агенс. При этом хотя бы одна из первых двух валентностей должна быть насыщена акциональным предикатом. Ср. *А мне [агенс], чтобы подготовиться к экзаменам [цель, акциональный предикат], необходимо полное одиночество [условие, неакциональный предикат]; Чтобы полностью использовать этот путь [цель, акциональный предикат], им [агенс] необходимо овладеть [условие / способ, акциональный предикат] железнодорожной магистралью* (А. Толстой, Хождение по мукам); *Митко сказал, что ему [агенс] необходимо отлучиться [условие / способ, акциональный предикат], ну, в общем, по физиологической надобности [цель, неакциональный предикат]* (Б. Акунин, Турецкий гамбит). При этом из трех валентностей синтаксически обязательной является только первая, т. е. валентность условия / способа²⁴. Отметим следующие семантические сдвиги при различных способах реализации валентностей:

а) Если не реализована валентность цели, то валентность условия / способа теряет определенность — она может интерпретироваться и как целе-

²⁴ Мы отвлекаемся здесь от того, что при наречиях и прилагательных она всегда реализуется через глагол-связку; ср. *Ему необходимо было отлучиться*.

вая; ср. *Нам необходимо овладеть железнодорожной магистралью, Мне необходимо отлучиться*. В предложении *Вам необходимо встать на учет в психодиспансер, Фан Фаныч, и подлечиться* (Ю. Алешковский, Кенгуру) *встать на учет в психодиспансер* естественно интерпретируется как условие / способ, а *подлечиться* — как цель. Если, однако, снять последний инфинитив, то *встать на учет* приобретает целевое значение.

б) Если первая валентность реализована неакциональным предикатом, соответствующий актанта может выполнять только семантическую роль условия, но не способа; ср. *Чтобы расплатиться с долгами, мне необходим как минимум год*.

в) Если вторая валентность реализована неакциональным предикатом, соответствующий актанта может указывать не только на цель действия, но и на его причину; ср. последний пример из Б. Акунина — *Ему необходимо отлучиться по физиологической надобности* [цель и причина]²⁵.

У всех перечисленных модальностей есть еще один круг употреблений, в котором *для / чтобы* валентность (исконно целевая) насыщается предикатом со значением (природного) процесса. В этом случае у предиката остаются только первые две валентности, причем первый актанта совмещает роли условия и причины, а второй выполняет семантическую роль следствия. Ср. *Для образования [следствие] алмазов нужны <необходимы> более высокие температуры* [условие и причина]. В этой новой валентной и ролевой структуре для валентности агенса места не остается, цель превращается в следствие, а способ — в причину²⁶.

Рассмотрим еще один пример одновременного снятия и добавления каких-то смысловых компонентов. Лексема *ждать 1* (*ждать* в основном значении) может быть истолкована в словаре следующим образом: *X ждет Y(-a) в Z-e* = 'зная или считая, что в месте Z должно или может произойти событие Y или событие, связанное с Y-ом, нужное человеку X или касающееся его, X находится в Z-e в состоянии готовности к нему'. Ср. *Он ждал меня у ворот своей дачи*.

Существуют, однако, такие употребления этой лексемы (они были замечены в [Зализняк 1992: 105—107], но нами описываются несколько иначе), в которых ее словарное толкование модифицируется следующим образом: снимается указание на место ожидания и добавляется компонент 'хотеть, чтобы нечто произошло'. Условием этой семантической модификации является либо контекст наречий степени *очень, страшно, не больно* и усилительных частиц *как, так*, либо главное фразовое ударение

²⁵ О близости и взаимопревращениях смыслов 'цель' и 'причина' см. [Богуславская, Левонтина 2004].

²⁶ Описание слов со значением необходимости с других точек зрения см. в работе [Богуславский 1996: 364 и сл.]. Ср. обсуждение всех перечисленных модальностей в работе И. Б. Левонтиной «Понятие цели и семантика целевых слов русского языка» (в печати).

на *ждать*²⁷. Ср. *Он очень <так> вас ждал; Не больно-то он тебя ждет; Блок ↓ждал этой бури и встряски* (Б. Пастернак, Ветер).

6.2.4. Семантический сдвиг: ослабление, усиление, фразеологизация

При изучении ослабления и усиления надо иметь в виду некоторую асимметрию этих процессов. Ослабление — в природе языка, его семантические и формальные средства все время подвергаются эрозии и поэтому все время требуют обновления. Противоположный процесс, т. е. усиление, происходит гораздо реже.

Включение в данный раздел небольшого раздела о фразеологизации, которая, конечно, стоит за пределами области, описываемой правилами, оправдано тем, что она часто сопровождает процессы ослабления и усиления значений и является их естественным конечным результатом.

Перейдем к материалу.

Глагол *каяться* (*перед Y-ом в P*) в своем основном значении может быть истолкован следующим образом: ‘совершив плохой поступок P и испытывая неприятное чувство из-за этого, человек X признается лицу Y, которое пострадало от P или имеет право наказывать X-а за такие поступки, что он совершил P и осуждает себя за это; X говорит это, чтобы испытать облегчение от своего признания, заслужить прощение или принять наказание за P’. Ср. *каяться в ошибках <в преступлениях>; Клим тревожно думал: вот сейчас она начнет каяться, нелепо расскажет о своем романе с ним и заплачет черными слезами* (М. Горький, Жизнь Клима Самгина); *Барон де Рэ публично покался в своих злодеяниях, в переполненной зале суда опустился на колени перед распятием и со слезами на глазах просил прощения у Бога* (Г. Климов, Князь мира сего).

Таков основной круг употреблений *каяться*. Помимо него у *каяться* есть еще один круг употреблений, в котором его значение ослабляется до ‘признаваться’ без указания на тяжелые душевные переживания и муки совести субъекта. Для этого круга употреблений характерны перформативная функция и функция вводного слова. Ср. *Каюсь, забыл <слукавил, не сделал>; Каюсь, не любил покойника; Голубушка, да ведь пьян! Каюсь и чувствую* (А. П. Чехов, Жилец); *Впоследствии, каюсь, я сам поступал точно так же* (В. Ходасевич, Горький); *У него [Н. Гумилева] был исключительный слух к стихам, --- но, каюсь, мне и тогда казалось, что он несравненно проницательней к чужим стихам, чем к своим собственным* (Г. Адамович, Мои встречи с Анной Ахматовой). Обе эти функции сохраняются и в клишированных словосочетаниях с модальными словами *хочу, должен, надо*; ср. *Должен покаяться — опоздал на целую минуту; Кстати, хочу тут покаяться, что слишком придрался к ученическим недо-*

²⁷ Ср. условия реализации значения ‘хотеть’ у глагола *хотеть*, описанные в разделе 3.5.

статкам Поплавского (В. Набоков, Другие берега); *Я должен даже показаться, что знакомство с этим городовым --- продолжалось у меня очень долго* (В. Ходасевич, Младенчество).

Аналогичные сдвиги в аналогичных условиях (перформатив, вводная конструкция, контекст эксплицитных или имплицитных модальностей, клишированные формулы) претерпевают глаголы *клясться, надеяться, признаваться, сознаваться* и многие другие. Ср. *Клянусь, что не заставлю тебя ждать; Не при валюте мы сегодня --- Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганом* (М. Булгаков, Мастер и Маргарита); *Надеюсь, что он уже приехал; Надеюсь, вы у нас не в последний раз; Ваш муж, надеюсь, здоров; Признаюсь, в те первые вечера он на меня произвел довольно приятное впечатление* (В. Набоков, Соглядатай); *Так вот, я его видел и, признаюсь, больше видеть не хочу* (Н. Шмелев, Последний этаж); *Но я здесь, признаться, не очень сведущ* (В. Пелевин, Омон Ра); *Предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал и, должен признаться, не без успеха, в Нижнем Новгороде* (И. Ильф, Е. Петров, Двенадцать стульев); *Надо сознаться — становлюсь пошляком* (А. П. Чехов, Дядя Ваня).

Рассмотрим теперь глаголы *хотеть* и некоторые его синонимы в значении чистого желания в отрицательных предложениях.

Сам этот глагол в сочетании с ментальными стативными глаголами *знать 1* [пропозициональным], *знать 2* [знакомства], *думать, верить* и, может быть, еще некоторыми под отрицанием, особенно в форме 1-Л, приобретает усилительное значение *неприятно* чего-либо. Ср. *Не хочу знать, кто и зачем его сюда привел, Не хочу его знать* [почти фразема], *Не хочу думать, что он нас обманывает, Не хочу этому верить*. Свидетельством того, что в перечисленных случаях значение *хотеть* усиливается, является затруднительность его градуирования. Фразы типа *Я не очень хочу знать, кто и зачем его сюда привел*, *Я не очень хочу его знать*, *Не очень хочу думать, что он нас обманывает*, *Не очень хочу этому верить* по меньшей мере сомнительны.

В сочетании с глаголами других семантических классов, особенно акциональными, *хотеть* в тех же условиях допускает и значение чистого отрицания; ср. *Я не хочу есть* (идти туда, писать диссертацию). Этим объясняется возможность градуирования *хотеть*: *Я не очень хочу есть* (идти туда, писать диссертацию)²⁸.

²⁸ Обратим внимание на еще один любопытный феномен — разные реакции на возможность градуирования *нежелания* в контексте фактивных и путативных глаголов. В первом случае возможность градуирования совершенно исключена: **Я очень не хочу знать, кто и зачем его сюда привел, *Я очень не хочу его знать*. Во втором случае градуирование по меньшей мере допустимо, если не совершенно естественно: *Я очень не хочу думать, что он нас обманывает, Я очень не хочу этому верить*.

Между тем глагол *желать* под отрицанием приобретает усилительное значение в контексте любых глаголов, создавая образ человека, делающего какое-то важное для себя заявление: *Не желаю его знать, Не желаю тебя больше видеть* (слышать), *Я не желаю вас слушать* (идти туда, писать диссертацию); *На это я ему резко ответил, что никаких объяснений давать не желаю* (Н. Валентинов, Встречи с Лениным) [акциональные глаголы]. Не случайно *желать* под отрицанием не допускает градуирования ни при каких обстоятельствах; ср. неправильность **Не очень желаю его знать, *Не очень желаю тебя видеть* (слышать), **Я не очень желаю есть* (идти туда, писать диссертацию).

Глагол *жаждать* под отрицанием, наоборот, ослабляет свое значение в любых контекстах. В сущности, он срастается с отрицанием в своего рода фразему, которая значит 'не испытывать особого желания делать что-либо'; ср. *Не жажду его видеть, Он не жаждал туда ехать*.

Лексема *жаловаться I* значит 'говорить, что произошло или имеет место нечто плохое для субъекта, чтобы побудить адресата исправить положение или найти у него понимание'. В отрицательных предложениях, особенно в форме 1-Л НАСТ при нереализованных валентностях адресата, темы и содержания жалобы, это словарное толкование существенно ослабляется и сливается с отрицанием в единый смысл 'все соответствует норме, все в порядке'. Ср. — *Как у тебя дела? — Не жалуюсь; Я, кстати, не жалуюсь. Главной цели приезда сюда я добился: моя литература дошла до читателя* («Известия», 11.08.1992). Аналогичным сдвигом отмечены и отрицательные предложения, в которых *жаловаться* зависит от глагола *мочь*, а также имплицитно отрицательные предложения с предикативами *грех, грешно* и т. п. Ср. *Не могу* (грех, грешно) *жаловаться*. Все эти словосочетания тяготеют к стяжению во фразему.

По-видимому, еще дальше по этому пути прошли сочетания *жаловаться* в форме СОВ в отрицательных предложениях с глаголом *мочь* и реализованной валентности содержания. Фразы типа *Не могу пожаловаться на недостаток* (на отсутствие) *внимания к своей особе* являются, в сущности, опровержениями предположения, может быть только имплицитного, что в жизни субъекта существует какой-то нежелательный для него фактор. Ср. *На протяжении моей карьеры у меня было мало случаев, когда я могла бы пожаловаться на несправедливость критики* (Г. Вишневская, Галина. История жизни).

Глагол *спрашивать* в контексте выражений *русским языком, по-хорошему, последний раз* образует фраземы *Я тебя русским языком спрашиваю, Я тебя по-хорошему спрашиваю, Я тебя последний раз спрашиваю*, выражающие идею *нажима* на собеседника, требование дать немедленный ответ. Ср. «— *Я, кажется, русским языком спрашиваю, — сурово сказал кот, — дальше что?» Но Поплавский не дал никакого ответа* (М. Булгаков, Мастер и Маргарита).

Наречие *можно* в значении объективной возможности свободно сочетается с глаголами в обеих видовых формах; ср. *Невооруженным глазом на ночном небе можно видеть (увидеть) не более шести тысяч звезд; Теперь можно видеть (заключить, сделать вывод), что эта гипотеза ошибочна.* Однако в контексте глагола *думать* в форме СОВ *можно* претерпевает любопытную метаморфозу. Вопреки ожиданиям, *Можно подумать* значит не ‘есть основания думать, что Р’, а ‘(на самом деле) нет оснований думать, что Р’; ср. *Можно подумать, что ты устала* — на самом деле я думаю, что ты не устала; *Можно подумать, что ты не устала* — на самом деле я думаю, что ты устала. Ввиду предельной лексической ограниченности контекстов, в которых происходит этот семантический сдвиг, он вряд ли поддается описанию в виде правила семантической модификации. Правило оправдано только тогда, когда за ним стоит хотя бы минимальное обобщение. Лексикографически представляется более естественным описывать словосочетание *можно подумать* как фразему.

Своего рода грамматической фраземой является форма СОСЛ глагола *казаться* во вводно-уступительных конструкциях. Она создает представление о каких-то прямо не названных обстоятельствах, которые ставят под сомнение высказываемую говорящим мысль. Ср. *Казалось бы, грех жаловаться, три срыва за 20 лет работы — очень недурная результативность* (Б. Акунин, Смерть Ахиллеса); *Этот, казалось бы, простенький вопрос почему-то расстроил сидящего, так что он даже изменился в лице* (М. Булгаков, Мастер и Маргарита); *Гениальность, казалось бы, такая яркая вещь, а распознается не сразу* (С. Довлатов, Соло на IBM); *Шестой год он жил этой странной, двойной жизнью и, казалось бы, совсем привык к ней* (А. и Б. Стругацкие, Трудно быть богом).

6.3. Правила области действия

Этими правилами особенно много занимался И. М. Богуславский (см. [Богуславский 1978; 1985; 1996]), разработавший теоретическое понятие сферы действия. Оно несколько отлично от более традиционного понятия области действия (см. подробное обсуждение этого вопроса в [Богуславский 1996: 46—48]), но в лексикографическом исследовании тонкими различиями между этими двумя понятиями можно пренебречь.

Поясним понятие области действия вообще и нетривиальной области действия в частности. Тривиальной областью действия лексемы А называется та лексема В данного высказывания, с которой А непосредственно связана и синтаксически, и семантически. Так, например, обстоит дело с наречием *быстро* и глаголом *шел* в высказывании *Иван быстро шел по улице*: синтаксически наречие *быстро* зависит от *шел* по обстоятельству отношению, а семантически является тем предикатом (оператором), единственная валентность которого заполняется семантическим материалом формы *шел*.

Нетривиальная область действия имеет место в тех случаях, когда это соотношение нарушено. Наиболее интересны следующие два случая:

а) лексема А синтаксически связана с лексемой В, а семантически — с какой-то другой лексемой высказывания (смещение); б) лексема А синтаксически связана с лексемой В, а семантически — с каким-то смысловым компонентом в ее толковании, который не является вершиной толкования (по И. М. Богуславскому, «внутренняя сфера действия»).

6.3.1. Смещение

Наиболее хорошо изученным типом смещения является смещение отрицания, которое мы проиллюстрируем на примере глагола *привыкать*. В конструкции с ИНФ отрицание может воздействовать либо на сам этот глагол (нормальное отрицание), либо на какой-то элемент подчиненной ему группы инфинитива (смещенное отрицание). Ср. *Он не привык работать со словарями* (только нормальное отрицание) VS. *Я не привык разговаривать в таком тоне* ≈ *Я привык разговаривать не в таком тоне* ≈ *Я привык разговаривать в другом тоне*. Правило лексикализовано: при синонимичном *привыкнуть* глаголе *приучиться* возможно только нормальное отрицание: *Он (так и) не приучился работать со словарями*.

Прямое отношение к теме смещения отрицания в лексикографическом аспекте имеет материал, введенный в оборот в уже цитированной работе [Иорданская 1985], посвященной взаимодействию отрицания с «коммуникативно-иллюкутивными» глаголами типа *велеть*, *запрещать*, *разрешать*, *советовать*, *рекомендовать* и т. п. В слегка упрощенном виде предложенные ею правила могут быть представлены, во всяком случае для некоторых примеров, как правила смещения отрицания от своего исконного синтаксического хозяина к подчиненному ему предикату в форме ИНФ. Ср. *Мать не велела сыну отвечать на телефонные звонки* ≈ *Мать велела сыну не отвечать на телефонные звонки*; *Врач не советует Тане менять климат* ≈ *Врач советует Тане не менять климат*²⁹. Очевидно, что эти правила лексикализованы (глагол *приказывать*, например, синонимичный *велеть*, не допускает переноса отрицания к зависимому инфинитиву) и, значит, должны помещаться в словарных статьях соответствующих глаголов.

Хорошим примером того, насколько причудливыми, т. е. лексически избирательными могут быть правила смещения отрицания, дает группа модальных слов со значением долженствования, проанализированная в [Апресян 1974: 114; 1980: 78—79]; этот анализ воспроизводится ниже в упрощенном виде, но с некоторыми добавлениями.

²⁹ Без упрощений и на уровне сентенциальных форм правила Л. Н. Иорданской выглядят следующим образом (на примере глагола *велеть*): *X велел Y-у (с)делать P* = 'Находясь в иерархически доминантной позиции по отношению к Y-у, X сообщил Y-у, что он хочет, чтобы Y (с)делал P, с целью побудить Y-а (с)делать P'; *X не велел Y-у делать P* = 'Находясь в иерархически доминантной позиции по отношению к Y-у, X сообщил Y-у, что он хочет, чтобы Y не делал P, с целью побудить Y-а не делать P'. Здесь *не* проходит «сквозь два предиката — «сообщать» и «хотеть»» [Иорданская 1985: 245].

Предложение типа *Вы не должны ходить на это собрание* имеет два осмысления: а) ‘Вам можно не ходить на это собрание’ (разрешение не участвовать в нем), б) ‘Вам нельзя ходить на это собрание’ (запрет на участие). Первое осмысление получается при нормальном отрицании (*не должны делать чего-то* = ‘можете не делать’), а второе — при смещенном (*должны не делать чего-то* = ‘нельзя делать’).

Похожим образом *не* взаимодействует со значением синонимичных прилагательному *должен* наречий *надо* и *нужно*. Фразы *Вам не надо (не нужно) ходить на это собрание* могут значить и отрицание того, что у вас есть долг или обязанность пойти на это собрание (ср. *А вам и не надо ходить на это собрание*), и настоятельный совет не ходить туда, равносильный слабому запрету. Механизм получения двух интерпретаций — тот же самый, что и в случае *Вы не должны ходить на это собрание*.

Любопытно, что два других, может быть даже более близких, синонима *должен* — слова *обязан* и *следует* — взаимодействуют с отрицанием иначе. Ср. *Вы не обязаны ходить на это собрание* VS. *Вам не следует ходить на это собрание*. Первая фраза обозначает только разрешение (ситуация нормального отрицания), а вторая — только запрещение (ситуация смещенного отрицания).

До сих пор речь шла о смещении отрицания. Относительно давно были обнаружены и другие классы слов, способных иметь похожие сдвинутые области действия. К ним относятся прежде всего наречия. Воспроизведем, с некоторыми дополнениями, описание слова *случайно* из [Апресян 1980: 64, 81].

В своем основном значении ‘без намерения’ оно сочетается только с результативными значениями НЕСОВ, притом только от ограниченного круга глаголов со значением *не контролируемого действия*, процесса или состояния. Примеры: *Я случайно нахожу нужные мне книги (встречаю его в институте), Я случайно слышал их разговор (попал на это собрание)*. Фразы типа *“Я случайно ищу нужные мне книги, “Завтра мы случайно встречаем в аэропорту участников конференции, “Я случайно слушал их разговор (шел на это собрание)* в нейтральном контексте по крайней мере странны по смыслу.

Посмотрим теперь на глагол *решать* в значении, представленном во фразах типа *решать задачу (уравнение), решать вопрос (проблему), решать загадку (кроссворд, ребус, головоломку)* и т. п. Он явным образом обозначает контролируемое действие, однако с наречием *случайно* сочетается на первый взгляд совершенно непредсказуемым образом: фраза *Он случайно решил задачу* правильна, фраза *“Он случайно решал задачу* в нейтральном контексте неправильна, фраза *Он случайно решал ту же самую задачу, что и я* снова правильна. На самом деле все три факта имеют абсолютно естественное объяснение.

а) Глагол *решать* имеет два принципиально разных толкования в формах НЕСОВ и СОВ. *Х решает Р* = ‘Х обдумывает информацию, имеющую

отношение к Р, с целью получить ответ на содержащийся в Р вопрос'; *X решил Р* ≈ 'X решал Р [пресуппозиция]; X получил ответ на содержащийся в Р вопрос [ассерция]'. Добавим, что пресуппозиция является слабой, т. е. возможны такие употребления *решить*, в которых она снимается; ср. *Он с ходу (сразу) решил второе уравнение, потому что этот тип задач был ему хорошо известен*, где пресуппозиции 'решать' нет, и *Он не сразу решил второе уравнение, Последнее уравнение он не решил*, где она есть.

б) В предложениях типа *Он случайно решил задачу* наречие *случайно* взаимодействует с толкованием *решить* по общему для таких случаев и вполне тривиальному правилу — оно присоединяется к вершине ассерции, т. е. смыслу 'получил': сочетание смыслов 'случайно получил' вполне правильное.

в) В предложениях типа *Он случайно решал ту же самую задачу, что и вы*, наречие *случайно* синтаксически подчинено глаголу, а семантически связано только со словосочетанием *ту же самую*. Действительно, в качестве случайного в этом высказывании представлен не факт решения задачи — сочетание смыслов 'случайно обдумывал' аномально, — а исключительно факт совпадения задач, решаемых разными людьми. Получается ситуация смещенного наречия.

6.3.2. Правила внутренней области действия

Проиллюстрируем этот тип взаимодействия на материале лексемы *ждать 2*: *X ждал 2, что Р* = 'Человек X считал, что в относительно близком будущем произойдет событие Р'. Здесь вершиной ассерции является компонент 'считать'. Во фразах типа *Я ждал тебя завтра* наречие *завтра*, как было показано в [Богуславский 1996: 103], имеет «внутреннюю сферу действия». Оно не может связываться с вершинным компонентом толкования *ждать 2* (ср. неправильность сочетания 'считал завтра') и присоединяется к «вложенному» компоненту '(прибытие) *п р о и з о й д е т* завтра'. Именно поэтому фраза с глаголом в форме ПРОШ в контексте наречия «будущего времени» не воспринимается как грамматически неправильная.

В уже цитированной работе Л. Н. Иорданская обнаружила следующий единый механизм взаимодействия отрицания с аналитическим толкованием «иллокутивно-коммуникативных глаголов»: «отрицание может не затрагивать главный предикат толкования ИК-глагола, от которого синтаксически зависит отрицательная частица, а относиться к подчиненному предикату» [Иорданская 1985: 242]. Пример: *Правительство соглашается субсидировать нефтяные компании* ≈ 'В ответ на просьбу или предложение субсидировать нефтяные компании правительство сообщает, что готово сделать это'; *Правительство не соглашается субсидировать нефтяные компании* ≈ 'В ответ на просьбу или предложение субсидировать нефтяные компании правительство сообщает, что не готово сделать это' [Там же: 243]. Как видим, и здесь имеет место случай внедрения отрицания: *не* присоединяется не к вершине толкования, а к вложенному предикату 'готов'.

Интересно взаимодействие отрицания с классом предикатов, изображающих, так сказать, мнимую действительность, «кажимость»: в них в том или ином виде входит значение несоответствия наблюдаемой картины и действительного положения вещей. Вот далеко не полный их список: *воображать (себя героем), врать, грезить, делать вид, имитировать, казаться, лакировать, лгать, мерещиться, обелять, подделывать (подпись), подражать, преувеличивать, прикидываться, притворяться, симулировать (болезнь), сниться, сочинять (небылицы), фабриковать, хвастаться, чернить (действительность), чудиться*. Проанализируем два из них, а именно глаголы *притворяться* и *хвастаться*, имея в виду, что принципиальные результаты анализа, с локальными поправками, верны для всего класса. Оговоримся, что речь пойдет только о взаимодействии отрицания с предикатом в форме НЕСОВ.

X притворяется Y-ом (больным, сумасшедшим, дурачком и т. п.) перед Z-ом = ‘X не является Y-ом [пресуппозиция]; в присутствии человека или людей Z X ведет себя так, как это свойственно Y-ам [ассерция]; X делает это потому, что считает, что, если Z поверит, что он является Y-ом, ему будет легче достичь своих целей [мотивировка]’.

Свидетельством того, что ‘X не является Y-ом’ образует пресуппозицию *притворяться*, служит поведение этого глагола в узуальном и других кратных значениях НЕСОВ; ср. предложение *Он никогда не притворялся больным*, где это утверждение не подвергается действию отрицания ‘Не являясь больным, он в присутствии других людей никогда не вел себя как больной’. Однако эта пресуппозиция является слабой и в актуально-длительном значении под отрицанием переходит в ассертивную часть толкования. Еще более замечательным является тот факт, что в этом случае отрицание воздействует не только на бывшую пресуппозицию, но и на все другие компоненты толкования, включая мотивировку, и радикально их перестраивает. Предложение *Он не притворяется больным* в актуально-длительном значении может быть истолковано приблизительно следующим образом: ‘Не думай, что он пытается вести себя как больной; Он ведет себя как больной, потому что является больным’.

X хвастается Y-у Z-ом = ‘Человек X считает, что он или кто-то из его личной сферы имеет или сделал Z, который он считает чем-то особенным; X хочет, чтобы другие люди ценили его [пресуппозиция]; X говорит человеку Y о своем Z-е [ассерция]; он говорит это, потому что считает, что узнав о его Z-е, Y будет больше его ценить [мотивировка]; говорящий отрицательно оценивает высказывание X-а как нарушающее принцип скромности [модальная рамка]’. Под отрицанием, особенно в абсолютной конструкции, происходит глобальная перестройка словарного толкования: когда мы говорим *X не хвастается*, мы имеем в виду, что X говорит это не для улучшения своей репутации у слушателей, а в порядке информирования адресата и что он явным образом не придает особого значения Z-у. В контексте нашей темы самым существенным является тот факт, что отри-

цание *не* воздействует не на вершину ассерции, т. е. смысл ‘говорить’, а на мотивировку, радикально ее трансформируя. В результате снимается и отрицательная оценка высказывания говорящим.

Приведем еще один пример правила внутренней сферы действия — на этот раз на материале оценочных наречий. *Рисовать* (*А на В X-ом*) в главном значении толкуется так: ‘имея цель изобразить объект А, двигать предмет X по поверхности В так, что на ней появляется видимое изображение этого объекта’. В словосочетаниях типа *с трудом рисовать, быстро* ⟨медленно, энергично, лениво⟩ *рисовать, часто* ⟨редко⟩ *рисовать* и т. п. наречия воздействуют на смысл ‘двигать’, т. е. на вершину ассерции (тривиальная область действия). В отличие от этого в словосочетаниях типа *хорошо* ⟨плохо, замечательно⟩ *рисовать* оценочные наречия воздействуют не на вершину ассерции, а на глубоко вложенный смысл ‘изображение’ (нетривиальная область действия).

Цитированная литература

- Апресян 1974 — Ю. Д. Апресян. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Апресян 1980 — Ю. Д. Апресян. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ↔ Текст». Wien, 1980 (Wiener Slawistischer Almanach; S.-Bd. 1).
- Апресян 1995 — Ю. Д. Апресян. Интегральное описание языка и системная лексикография // Ю. Д. Апресян. Избранные труды. Т. 2. М., 1995.
- Апресян 2001 — Ю. Д. Апресян. Значение и употребление // Вопросы языкознания. 2001. № 4. С. 3—22.
- Апресян 2004 — Ю. Д. Апресян. Акциональность и стативность как сокровенные смыслы (охота на *оказывать*) // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: Сб. ст. в честь Н. Д. Арутюновой / Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М., 2004. С. 13—33.
- БАС — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.; Л., 1948—1956.
- Богуславская, Левонтина 2004 — О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина. Смыслы ‘причина’ и ‘цель’ в естественном языке // Вопросы языкознания. 2004. № 2. С. 68—88.
- Богуславский 1978 — И. М. Богуславский. О понятии смещенного отрицания // Предвар. публикации Ин-та русского языка АН СССР. М., 1978. Вып. 107.
- Богуславский 1985 — И. М. Богуславский. Исследования по синтаксической семантике: Сферы действия логических слов. М., 1985.
- Богуславский 1996 — И. М. Богуславский. Сфера действия лексических единиц. М., 1996.
- Бондарко 1971 — А. В. Бондарко. Вид и время русского глагола. Л., 1971.
- БТС — Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998.
- Булыгина 1980 — Т. В. Булыгина. Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980. С. 320—355.
- Булыгина 1982 — Т. В. Булыгина. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 7—85.

Гловинская 1982 — М. Я. Г л о в и н с к а я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.

Гловинская 1989 — М. Я. Г л о в и н с к а я. Семантика, прагматика и стилистика видо-временных форм // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект. М., 1989. С. 74—146.

Гловинская 2001 — М. Я. Г л о в и н с к а я. Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М., 2001.

Грамматика-60 — Грамматика русского языка. Том 1: Фонетика и морфология. М., 1960.

Грамматика-80 — Русская грамматика. Т. 1: Фонетика, фонология, ударение, интонация, словообразование, морфология. М., 1980.

Зализняк 1992 — А н н а А. З а л и з н я к. Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. München, 1992.

Иорданская 1985 — Л. И о р д а н с к а я. Семантико-синтаксические особенности сочетаний частицы *не* с иллокутивно-коммуникативными глаголами в русском языке // Russian Linguistics. 1985. Vol. 9. № 2—3. С. 241—255.

Кжижкова 1967 — Е. К ж и ж к о в а. Адвербиальная детерминация со значением места и направления // Вопросы языкознания. 1967. № 2. С. 32—48.

Левонтина 2004 — И. Б. Л е в о н т и н а. Словарная статья *собираться* 2 // НОСС 2004.

МАС — Словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1981—1984.

НОСС 2004 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и доп. / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна; Авторы: В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, И. В. Галактионова, М. Я. Гловинская, С. А. Григорьева, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. В. Птенцова, А. В. Санников, Е. В. Урысон. М.; Вена, 2004.

Падучева 1974 — Е. В. П а д у ч е в а. О семантике синтаксиса (Материалы к трансформационной грамматике русского языка). М., 1974.

СОШ — С. И. О ж е г о в, Н. Ю. Ш в е д о в а. Толковый словарь русского языка. М., 1992.

СУ — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1934—1940.

Храковский 1991 — В. С. Х р а к о в с к и й. Пассивные конструкции // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991. С. 141—180.

Forest 1983 — R. F o r e s t. «Négation promue», insularité, performatifs et empathie // Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. Vol. 77. P. 77—97.

Lakoff 1966 — G. L a k o f f. Stative Adjectives and Verbs in English // Mathematical Linguistics and Automatic Translation. Report № NSF-17 to the National Science Foundation. Cambridge (Mass.), 1966.

Lakoff 1968 — G. L a k o f f. Instrumental Adverbs and the Concept of Deep Structure // Foundations of Language. International Journal of Language and Philosophy. 1968. Vol. 4. № 1.

Lyons 1977 — J. L y o n s. Semantics. Vol. 2. Cambridge; London etc., 1977.

Vendler 1967 — Z. V e n d l e r. The Grammar of Goodness // Linguistics in Philosophy. New York, 1967.

В. С. ХРАКОВСКИЙ

АСПЕКТУАЛЬНЫЕ ТРОЙКИ И ВИДОВЫЕ ПАРЫ*

Особого внимания заслуживают возникающие в ряде случаев «тройки», состоящие из исходного имперфектива, приставочного перфектива и вторичного имперфектива, например *читать* — *прочитать* — *прочитывать*.

Ю. С. Маслов

В современной русской аспектологии есть много дискуссионных проблем. Одна из них — выделение видовых пар в аспектуальных тройках типа: 1. исходный (формально непроизводный) имперфектив, т. е. глагол НСВ → 2. производный (образуемый с помощью приставки от исходного глагола) перфектив, т. е. глагол СВ → 3. производный (образуемый с помощью стандартного суффикса от глагола СВ) имперфектив, т. е. глагол НСВ. Речь идет о тройках типа *читать* → *прочитать* → *прочитывать*, *есть* → *съесть* → *съесть*, *пить* → *выпить* → *выпивать*, в которых на роль видового партнера к глаголу СВ претендуют сразу два глагола НСВ: исходный и производный¹. В известной мне литературе предлагаются три

* Финансирование этой работы осуществлялось с помощью гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ № НШ-2325.2003.в. и гранта РГНФ № 03-04-00216а.

¹ Речь идет о тройках, в которых глагол СВ образуется от исходного глагола НСВ с помощью т. н. «чистовидовых» приставок, имеющих, по мнению ряда исследователей, результативное значение [Бондарко 1976; Петрухина 2000]. Анализируются в основном только приведенные конкретные тройки, которые можно считать прототипическими представителями троек данного типа и которые обычно используются для иллюстрации тех или иных теоретических положений относительно статуса таких троек. Что касается других троек этого типа, то они в лучшем случае только упоминаются и специально не анализируются. В частности, в работе [Ясаи 2001: 107], проводя сопоставительный анализ первичных и вторичных имперфективов в тройках этого типа и приводя довольно обширный, незакрытый (!) список таких сопоставляемых имперфективов (1. *есть* — *съесть*, 2. *пить* — *вы-*

решения этой проблемы. Первое решение, отстаиваемое, например, в работах [Булыгина, Шмелев 1997; Зализняк, Шмелев 1997; 2000; 2004], состоит в том, что видовую пару составляют глагол СВ и образованный от него стандартным образом глагол НСВ, т. е. имеются в виду пары типа *прочитать* → *прочитывать*, *съесть* → *съедать*, *выпить* → *выпивать*. Это решение освящено традицией и восходит к концепции С. Карцевского, который именно эти пары называет видовыми (*couples aspectifs*) в отличие от пар *читать* → *прочитать*, *есть* → *съесть*, *пить* → *выпить*, которые он характеризует как семантические (*couples sémantiques*) [Karcevski 1927: 107]. Противоположная точка зрения высказана, в частности, в работе [Апресян 1997: 15], где утверждается, что видовую «пару образует парадоксальным образом бесприставочный глагол и его приставочная производная форма СВ». Иначе говоря, видовую пару составляют формы типа *читать* НСВ → *прочитать* СВ, *есть* НСВ → *съесть* СВ, *пить* НСВ → *выпить* СВ. Трактовка, которая как бы объединяет оба рассмотренных подхода, представлена, например, в работах [Петрухина 1990; 2000; Ясаи 1997; 2001; Veugens 1965], а также в МАС, где глагол СВ соотносится сразу с двумя формами НСВ: исходной и производной (*читать* НСВ → *прочитать* СВ → *прочитывать* НСВ, *есть* НСВ → *съесть* СВ → *съедать* НСВ, *пить* НСВ → *выпить* СВ → *выпивать* НСВ).

Наличие трех взаимоисключающих точек зрения, естественно, ставит вопрос о том, какая из них наиболее адекватно отражает реальное положение вещей, ибо все три трактовки одновременно правильными как будто бы быть не могут. Настоящие заметки представляют собой попытку разобраться в сложившейся ситуации и предложить такое приемлемое решение проблемы, которое было бы удобно использовать в типологических штудиях.

Начнем с того тривиального факта, что основанием для объединения глагола НСВ и глагола СВ в видовую пару служит тождественность их лексического значения. Это утверждение является базовым. Оно признается практически всеми аспектологами, разрабатывающими интересующую нас проблему, и в дальнейшем обосновании не нуждается. Если опираться на это утверждение, то в рамках первого из рассмотренных подходов лексическое тождество усматривается у производного приставочного перфек-

пивать, 3. *читать* — *прочитывать*, 4. *сверлить* — *просверливать*, 5. *учить* (что-л.) — *выучивать*, 6. *лечить* — *вылечивать*, 7. *копать* — *выкапывать*, 8. *косить* — *скашивать*, 9. *валить* — *сваливать*, 10. *клеить* — *склеивать*, 11. *пахать* — *вспахивать*, 12. *готовить*₁ — *приготавливать*, 13. *готовить*₂ — *подготавливать* и др.), автор, иллюстрируя свои теоретические положения, в основном приводит примеры на имперфективы из первых трех пар: 1. *есть* — *съесть*, 2. *пить* — *выпивать*, 3. *читать* — *прочитывать*. По моим подсчетам, в этой работе на имперфективы первых трех пар приведено 12 литературных примеров, один пример — на имперфектив *выучивать* и один пример на имперфектив *приготовлять*. О других типах аспектуальных троек в рамках проблемы избыточности парадигмы видовых форм см. [Апресян 1997].

тива и образованного от него вторичного имперфектива, в то время как у первичного имперфектива по умолчанию, очевидно, постулируется лексическое значение, отличающееся от лексического значения глаголов, составляющих видовую пару. В то же время в рамках второго подхода лексическое тождество усматривается у исходного имперфектива и образованного от него приставочного перфектива, тогда как лексическое значение, отличающееся от лексического значения глаголов, составляющих видовую пару, по умолчанию, можно думать, постулируется у вторичного имперфектива, образованного от приставочного перфектива. Что касается третьего подхода, то он исходит из того, что у всех трех глаголов, образующих аспектуальную тройку, тождественное лексическое значение, и следовательно, по умолчанию видовая парадигма является избыточной, поскольку она включает два имперфектива вместо одного, и, соответственно, эти имперфективы, по нашему мнению, должны рассматриваться как равноправные или, скорее, как неравноправные варианты.

Обозначив теоретическую базу каждого из трех подходов таким образом, как она нам представляется, посмотрим, как эта база аргументируется и аргументируется ли она вообще в рамках каждого подхода. Что касается первого подхода, то в его рамках эксплицитно декларируется, что «видовую пару образуют глаголы, имеющие тождественное лексическое значение и различающиеся лишь теми семантическими компонентами, которые обусловлены принадлежностью одного глагола к совершенному, а другого — к несовершенному виду» [Зализняк, Шмелев 2000: 45]. Однако далее следует уточнение: лексическое значение глаголов, образующих пару, относится к классу событий, ибо «критерием отнесения двух глаголов — совершенного и несовершенного вида — к одной видовой паре служит их способность обозначать одно и то же событие (с точностью до наличия определенных дополнительных значений: „изобразительности“, неопределенности и др.)» [Зализняк, Шмелев 2000: 46]. Сказанное можно перефразировать следующим образом: если мы знаем, что у двух глаголов (одного глагола НСВ и другого глагола СВ) одно лексическое значение и при этом это значение относится к классу событий, то эти два глагола образуют видовую пару. С этим постулатом можно согласиться, однако сразу же возникает вопрос о том, каким образом мы узнаем, что данные два глагола — один СВ, а другой НСВ — имеют одно лексическое значение, относящееся к классу событий? Априори можно было бы думать, что о наличии одного лексического значения у глагола СВ и глагола НСВ мы узнаем из сопоставления их толкований, но реально дело обстоит не так. Фактически тождество лексических значений глагола СВ и глагола НСВ — это побочный продукт операционной процедуры, заключающейся в следующем. На основе презумпции, что глагол СВ всегда обозначает событие (заметим в скобках, что это понятие в рамках первого подхода является неопределяемым и вряд ли годится для характеристики глаголов СВ делимитативного способа действия типа *посидеть (минут десять)* и пердуративного спосо-

ба действия типа *просидеть (часа два)*, ср. [Плунгян 1998])², в соответствии с критерием Ю. С. Маслова [Маслов 1948] считается, что глагол НСВ входит в видовую пару с глаголом СВ, если этот глагол, обозначая событие, употребляется фактически вместо соотносительного глагола СВ при повествовании в *praesens historicum* и при описании повторяющихся событий. Как хорошо известно, на практике это означает следующее. Допустим, у нас есть текст, описывающий цепочку последовательных событий в прошлом, обозначаемых с помощью глаголов СВ типа *Вчера Иванов пришел домой, разделся, вымыл руки, сел за стол, съел ужин, выпил стакан чая, прочитал письмо и лег спать*. То же самое может быть сказано в *praesens historicum*, где глаголы СВ заменяются глаголами НСВ: *Вчера Иванов приходит домой, раздевается, моет руки, садится за стол, съедает ужин, выпивает стакан чая, прочитывает / читает письмо и ложится спать*. Если мы хотим исходную цепочку однократных событий заменить цепочкой неоднократных событий, то мы обязаны заменить глаголы СВ глаголами НСВ: *Каждый день Иванов приходит домой, раздевается, моет руки, садится за стол, съедает ужин, выпивает стакан чая, прочитывает / читает письмо и ложится спать*. Итак, те глаголы НСВ, которые заменяют глаголы СВ при повествовании в *praesens historicum* и при описании повторяющихся событий, составляют с этими глаголами видовые пары, и таким образом мы приходим к выводу, что у глаголов, образующих видовые пары, тождественное лексическое значение. Иначе говоря, тождество лексического значения глаголов СВ и НСВ определяется на основе формальной процедуры.

Именно эта формальная процедура и послужила основанием для того, чтобы в анализируемых аспектуальных тройках считать видовыми парами производный приставочный глагол СВ и образованный от него стандартным образом «вторичный» глагол НСВ, т. е. пары типа *прочитать* → *прочитывать*, *съесть* → *съедать*, *выпить* → *выпивать*. Правда, особых оговорок потребовала аспектуальная тройка *читать* → *прочитать* → *прочитывать*, поскольку заменять глагол СВ в обоих диагностических контекстах в определенных случаях может не только «вторичный» производный глагол НСВ, но и первичный исходный глагол НСВ. Тем не менее подлинной видовой парой признается только пара *прочитать* → *прочитывать*.

² Справедливости ради следует отметить, что в работе [Зализняк, Шмелев 2000: 85] существует понимание того, что ситуации, обозначаемые глаголами делимитативного способа действия, называются событиями только для того, чтобы одинаково именовать все ситуации, называемые глаголами СВ. Ср.: «Для делимитативного способа действия (*погулять*, *почитать*) отсутствие имперфективного коррелята обусловлено самой природой данного семантического класса глаголов. Дело в том, что они обозначают события, которые сводятся к тому, что имела место некоторая „порция“ соответствующего процесса. Не случайно глаголы делимитативного способа действия, хотя и относятся к сов. виду, по ряду свойств сходны с процессными глаголами несов. вида».

тывать, а глаголу *читать* отказано в претензиях на роль видовой партнера глагола *прочитать* на том основании, что форма *читает* в отличие от формы *прочитывает* из параллельных текстов (*Он берет записку, читает ее и выбегает из комнаты* / *Он берет записку, прочитывает ее и выбегает из комнаты*) и формы СВ *прочитал* «ничего не сообщает о том, было ли доведено чтение до конца» [Зализняк, Шмелев 2000: 51]. На этом основании глагол *читать* характеризуется как «несобственно-видовой коррелят глагола *прочитать*» [Там же: 51], а оба эти глагола составляют «квазивидовую пару» [Зализняк, Шмелев 2004]. Однако какое понятийное содержание скрывается за этими терминами, остается загадкой. В частности, непонятно, отличается ли лексическое значение глагола *читать* от лексического значения глаголов *прочитать* и *прочитывать*? Если у этого глагола другое лексическое значение и он поэтому остается вне подлинной видовой оппозиции, то почему же он тогда все-таки может выступать вместо глагола *прочитать* в обоих диагностических контекстах? Ссылка авторов на то, что глагол *читать* «ничего не сообщает о том, было ли доведено чтение до конца», бьет мимо цели, поскольку речь идет о семантической особенности именно вторичных имперфективов, которые наследуют ее от производящих приставочных глаголов СВ, а не о семантической особенности всех глаголов НСВ. Скажем, в стандартных видовых парах типа *делать* (НСВ) → *сделать* (СВ) глагол НСВ, употребляясь в диагностических контекстах вместо глагола СВ, эксплицитно и формально не указывает, доведена ли ситуация до конца или нет. Ср.: *Петя пришел домой, выпил стакан чая, сделал уроки и лег спать* → *Петя приходит домой, выпивает стакан чая, делает уроки и ложится спать*. О том, что уроки сделаны полностью, мы узнаем, как теперь принято говорить, по умолчанию, форма НСВ ничего не говорит об этом. Таким образом, выведение исходного имперфектива за пределы видовой оппозиции не кажется достаточно обоснованным.

Представим себе теоретически вполне возможную ситуацию: существует только пара *читать* → *прочитать*, а вторичный имперфектив *прочитывать* не образуется. Будем ли мы в этом случае считать эту пару видовой? Я думаю, будем, по аналогии с парами типа *делать* → *сделать*. Но исчезают ли аспектуальные отношения, существующие между членами этой пары, при наличии вторичного имперфектива? По нашему мнению, нет никаких оснований для такого вывода. Добавим к этому, что есть и другие аргументы, позволяющие считать, что исходный имперфектив не является бедным родственником при видовой паре.

Давайте вспомним о еще одном диагностическом контексте, в котором глагол СВ заменяется глаголом НСВ. Речь идет о повелительных предложениях с императивом СВ, в которых при добавлении отрицания императив СВ стандартно или почти стандартно заменяется императивом НСВ. Ср.: *сделай уроки* → *не делай уроков*, *вымой руки* → *не мой рук*. Этот диагностический контекст хорошо известен авторам рассматриваемой концепции. Они неоднократно упоминают о нем [Зализняк, Шмелев 2000: 44, 47],

но не используют его для операционного определения видовых пар. А между тем использование этого диагностического контекста приводит к интересным результатам, которые до известной степени опровергают данную концепцию. Дело в том, что при замене повелительных предложений с императивом интересующих нас приставочных глаголов СВ соотносительными прохибитивными предложениями стандартно используется императивная форма исходного глагола НСВ, а не производного «вторичного» глагола НСВ, ср. *прочитай записку* → *не читай* / **прочитывай записки*, *съешь ужин* → *не ешь* / **съедай ужин*, *выпей сок* → *не пей* / **выпивай сок*. Иными словами, запрет исполнения действия выражается с помощью императива исходного глагола НСВ, что должно свидетельствовать, если мы в принципе доверяем операционным критериям, о том, что исходный глагол НСВ должен рассматриваться как видовой партнер приставочного глагола СВ, и следовательно, у обоих этих глаголов тождественное лексическое значение.

Однако следует ли из сказанного, что императивы производных «вторичных» глаголов в принципе не употребляются в соотносительных прохибитивных предложениях? Нет, не следует. Эти императивы хотя и редко, но употребляются в соотносительных прохибитивных предложениях, однако у них в этом случае специфическое значение: они предостерегают от выполнения действия до самого конца, т. е. от полного «уничтожения» объекта. Скажем, употребление такого императива оправданно в следующем контексте. А говорит Б: *Я выпью сок*. Б отвечает: *Только не выпивай весь сок. Оставь мне*. Такое употребление императивов «вторичных» глаголов НСВ вполне естественно, ибо оно полностью соответствует специфической аспектуальной семантике вторичных имперфективов. Заметим в скобках, что во фразах типа *Только не выпивай весь сок* речь идет о предостережении относительно выполнения однократного (!) действия, хотя обычно считается, что вторичные имперфективы в принципе не могут обозначать однократные действия, если не учитывать употребления в *praesens historicum*, ср. [Апресян 1997].

В работе [Булыгина, Шмелев 1997: 186] предлагается иная интерпретация замены императива СВ в прохибитивной конструкции императивом исходного глагола НСВ. Поскольку в концепции авторов видовую пару составляют приставочный глагол СВ и производный глагол НСВ, то замена императива глагола СВ императивом исходного глагола НСВ трактуется как обращение к несоотносительной форме самостоятельного глагола. Эта трактовка иллюстрируется примером из русской народной сказки «Колобок». Когда волк говорит колобку: — *Колобок, колобок, я тебя съем!* — колобок отвечает: — *Не ешь меня, серый волк!* По мнению авторов, выбор в ответе колобка формы прохибитива *не ешь* — это выбор не соотносительной видовой формы, а формы самостоятельного глагола *есть*, поскольку выбор соотносительной формы *не съедай* «можно было бы понять как приглашение ‘поешь меня частично, но не съедай полностью’». По

этой причине в работе [Зализняк, Шмелев 2004] утверждается, что «формы отрицательного императива не могут быть использованы в качестве диагностических контекстов, выявляющих видовые пары».

Такое решение в принципе возможно, хотя из него следует, что глаголы *есть* и *съесть* связаны словообразовательными отношениями. Но если это так, то нужно указать, чем отличается лексическое значение самостоятельного глагола, допустим глагола *есть*, от лексического значения глаголов *съесть* и *съедасть*, составляющих видовую пару. Иначе говоря, нужно показать, чем отличаются толкования самостоятельного глагола и глаголов, образующих видовую пару. Если же таких отличий нет, то нет и словообразовательных отношений между глаголами *есть* и *съесть*, и тогда глагол *есть* вполне может рассматриваться как видовой партнер глагола *съесть* наряду с глаголом *съедасть*.

Заметим кстати, что автоматическая замена глагола СВ глаголом НСВ при повествовании в *praesens historicum* и при описании повторяющихся событий не является стопроцентной и в этом отношении не отличается от замены императива СВ прохибитивом НСВ. Достаточно в этой связи упомянуть о том, что есть непарные глаголы СВ, например *поскользнуться*, которым нельзя подобрать соотносительного по смыслу глагола НСВ, и, соответственно, цепочку однократных событий с глаголом *поскользнуться* не удастся заменить соотносительной цепочкой неоднократных событий и перевести повествование в *praesens historicum*. Ср.: *Вчера Петя поскользнулся и упал*. Эту цепочку нельзя автоматически перевести в диагностические контексты. Другие случаи нарушения автоматизма при переводе в диагностические контексты упоминаются в работе [Зализняк, Шмелев 2004], и автоматизм замены — это скорее миф, а не реальность, осуществляющаяся во всех конкретных случаях.

Если точку зрения, в соответствии с которой видовую пару образует приставочный перфектив и образованный от него вторичный имперфектив, можно считать в какой-то мере традиционной и опирающейся на операционные критерии, предложенные в классической аспектуальной концепции Ю. С. Маслова, то представление о том, что видовую пару образуют исходный имперфектив и образованный от него приставочный имперфектив, тогда как стандартным образом образующийся от перфектива вторичный имперфектив является глаголом класса *imperfectiva tantum*, полностью прорывает с традицией. В работе [Апресян 1997], где высказана эта идея, к сожалению, нет ее развернутого обоснования. По сути дела, приводится только один аргумент в поддержку этой идеи: у исходного имперфектива есть основные значения НСВ, а именно процессные, общефактические, профетическое и потенциальное, тогда как у вторичного имперфектива этих значений нет и он используется только в контексте значений: многократного, узуального и настоящего исторического.

В этом подходе нам кажется разумным то, что автор усматривает наличие аспектуальных словоизменительных отношений между исходным им-

перфективом и производным приставочным перфективом, однако нам трудно согласиться с тем, что перфективу и образованному от него стандартным способом вторичному имперфективу отказано в статусе видовых партнеров. Для нас остается загадкой, почему вторичный имперфектив отнесен к классу *imperfectiva tantum*. Разве у этого глагола не такое лексическое значение, что и у глагола, от которого он образован? Если оно действительно не такое, то это нужно каким-то образом продемонстрировать, а если такое, то что мешает нам рассматривать этот глагол в качестве видového партнера глагола СВ наряду с исходным глаголом НСВ? В этом случае речь должна идти о двух вариантах одной формы в парадигме. У варианта, представленного вторичным имперфективом, меньший набор значений по сравнению с вариантом, который представляет исходный имперфектив, но зато ему присуще результативное или, если угодно, событийное значение, которое он наследует от глагола СВ.

Если первые два подхода достаточно условно можно назвать теоретическими, поскольку в них все-таки формулируются принципы выделения видовых пар в рамках аспектуальных троек, то третий подход также достаточно условно можно назвать эмпирическим, поскольку в его рамках просто декларируется, что «глагол СВ составляет пару как с первичным, так и с вторичным имперфективом (правда, как правило, с комплементарным распределением их функций)» [Ясаи 2001: 106], и тем самым по умолчанию признается, что у всех трех глаголов, входящих в аспектуальную тройку, тождественное лексическое значение, однако какого-либо теоретического обоснования этого факта не приводится, в частности, не предлагается никакого объяснения тому, что один перфектив одновременно входит в две видовые пары, тогда как это стандартной теорией не предусматривается. В рамках данного подхода обычно предпринимаются попытки охарактеризовать все достаточно различные типы аспектуальных троек, хотя справедливо признается, что «невозможно сформулировать единую четкую систему правил для всех случаев» [Ясаи 2001: 107], и поэтому реально проводится описание нескольких типов аспектуальных троек, выделяемых по различным классификационным признакам. В частности, в работе [Ясаи 2001] выделяются два типа троек. К первому типу относятся тройки, в которых исходный глагол является переходным, а ко второму типу — тройки, в которых исходный глагол является непереходным.

Вместе с тем и в рамках этого подхода не были сопоставлены толкования, которые даются в словарях всем членам каждой аспектуальной тройки, и тем самым не было эксплицитно показано, относятся ли члены каждой аспектуальной тройки к одной лексеме или нет. Тот или другой ответ на этот вопрос дает надежную базу для выделения тех или других видовых пар в рамках аспектуальных троек или же для трактовки первичного и вторичного имперфектива в качестве двух вариантов одного имперфективного члена видовой пары.

В этой связи обратимся к анализу тех толкований, которые предлагаются для каждого члена анализируемых аспектуальных троек в МАС. Мы не

ставим своей целью рассматривать принципиальную корректность даваемых в этом словаре интересующих нас толкований. Мы вполне допускаем, что эти толкования нуждаются в усовершенствовании. Однако сейчас нас интересует только принципиальная тождественность / нетождественность или, в более слабой формулировке, принципиальная соотносительность / несоотносительность тех толкований, которые даются в этом словаре каждому члену из анализируемых аспектуальных троек.

В этой работе мы ограничимся только анализом толкований, которые предлагаются для членов тройки *читать* → *прочитать* → *прочитывать*. Сначала рассмотрим те толкования, которые в этом словаре даются глаголу СВ *прочитать*. В словаре прежде всего отмечается [МАС, III: 545], что у этого глагола СВ два соотносительных глагола НСВ *прочитывать* и *читать*. Затем отмечается, что у этого глагола шесть значений: 1. *также с придаточным дополнительным*. Читая, воспринять что-л. написанное, напечатанное, произнося вслух или воспроизводя про себя. *Прочитать статью. Прочитать газету*. 2. *перен.* По каким-л. внешним признакам, проявлениям распознать, угадать и т. д. (что-л. внутренние переживания, мысли, желания и т. п.). *На лице его я прочитал испуг и изумление* (Горький). 3. Произнести (какой-л. текст) наизусть; продекламировать. *Недавно приходил ко мне юноша, очень разговорчивый, и целую страницу прочитал мне наизусть из какой-то книги* (Гаршин). 4. Произнести с целью поучения, наставления. *Прочитать нотацию*. 5. Изложить, передать устно слушателям какие-л. сведения, содержание чего-л. *Прочитать доклад о международном положении*. 6. (*несов. нет*) *также без доп.* Провести какое-л. время за чтением. *Прочитать всю ночь*. Что касается глагола НСВ *прочитывать*, то относительно него на той же странице сказано, что он «*несов. к прочитать* (в 1, 2, 3, 4 и 5 знач.)», из чего вполне определенно следует, что глагол *прочитать* в пяти значениях и глагол *прочитывать* в тех же пяти значениях представляют одну лексему и тем самым имеют одно лексическое значение. Теперь обратимся к глаголу *читать*, у которого, как отмечается, есть соотносительный глагол СВ *прочитать*. У этого глагола [МАС, IV: 682], как и у глагола *прочитывать*, выделяется пять значений: 1. *также без доп.* Воспринимать что-л. написанное или напечатанное буквами или другими письменными знаками, произнося вслух или воспроизводя про себя. *Читать газету. Читать письмо*. 2. (*сов. нет*). Знать, понимать какие-л. обозначения, знаки. *Читать чертежи*. 3. По каким-л. внешним признакам распознавать, угадывать что-л. (что-л. внутренние переживания, мысли и т. п.). *Он так ясно читал в ее глазах любовь, вниманье* (Герцен). 4. Произносить (какой-л. текст) наизусть. [*Артисты*] *тонко понимали и превосходно читали эти необыкновенные стихи* (Гончаров). 5. Излагать устно слушателям (какие-л. сведения, содержание чего-л.). *В воскресенье утром он читал публичную лекцию о художественном стекле* (Строгова). Кроме того, после ромбика говорится следующее: **Читать наставления** (или **нравоучения, нотации**

и т. п.) — говорить с кем-л. строгим тоном, выговаривая, порицая за что-л. **Читать в сердце** (или **в душе**) — угадывать чьи-л. мысли, понимать чье-л. душевное состояние и т. п.

На первый взгляд, пять значений глагола *читать* не вполне соответствуют пяти значениям глаголов *прочитать* и *прочитывать*. Однако реальное сопоставление этих значений свидетельствует о том, что такой вывод представляется преждевременным. Начнем с того, что толкования первых значений глаголов *прочитать* и *читать* полностью идентичны. Далее отметим, что толкование второго значения глагола *прочитать* полностью совпадает с толкованием третьего значения глагола *читать*, толкование третьего значения глагола *прочитать* совпадает с толкованием четвертого значения глагола *читать*, а кроме того, идентичны толкования пятых значений обоих глаголов. Коль скоро совпадают толкования четырех значений из пяти у обоих сравниваемых глаголов, то уже на основании этого можно было бы сделать вывод, что глаголы *прочитать* и *читать* представляют одну лексему, реализующуюся в четырех значениях. Однако имеет смысл рассмотреть и несовпадающие значения. Так, второму значению глагола *прочитать*: 2. *перен.* По каким-л. внешним признакам, проявлениям распознать, угадать и т. д. (чью-л. внутренние переживания, мысли, желания и т. п.) — не соответствует ни одно из значений глагола *читать*, однако после ромбика у глагола *читать* отмечается, что **Читать в сердце** (или **в душе**) — угадывать чьи-л. мысли, понимать чье-л. душевное состояние и т. п. С нашей точки зрения, в обоих случаях говорится об одном и том же, но остается загадкой, почему в одном случае выделяется самостоятельное значение, а в другом случае этого не происходит.

Теперь обратимся ко второму значению глагола *читать*, относительно которого специально говорится, что у него нет соответствия в СВ: 2. (*сов. нет*). Знать, понимать какие-л. обозначения, знаки. Образцовый пример к этому значению *Читать чертежи*. Я не могу понять, почему *Прочитать чертежи* нельзя рассматривать как прямое соответствие к *Читать чертежи*. Я не берусь судить, нужно ли выделять аналогичное значение и у глагола *прочитать*, но полагаю, что принципиальных различий между глаголами *прочитать* и *читать* нет и в этом случае. Если в моих рассуждениях нет серьезных ошибок, то можно утверждать на основе проведенного анализа, что глаголы *прочитать* и *читать* и, соответственно, глагол *прочитывать* представляют одну лексему, и нам остается сопоставить контекстные употребления глаголов *читать* и *прочитывать*, чтобы понять, какие употребления этих глаголов отличаются друг от друга, а какие можно рассматривать как синонимичные или, выражаясь более осторожно, как квазисинонимичные.

Основное синтаксическое различие глаголов *читать* и *прочитывать* состоит в том, что первый глагол может употребляться без прямого дополнения, а второй обычно не может, хотя семантические валентности этих двух глаголов, представляющих одну лексему, одни и те же. Основное се-

мантическое различие этих глаголов состоит в том, что у первого глагола есть актуально-длительное и общефактическое значение (наряду с другими неактуальными значениями), а у второго глагола нет. Стандартное отсутствие актуально-длительного значения у вторичного имперфектива объясняется наличием в составе глагола перфектирующей приставки, которая обеспечивает событийное прочтение как исходного перфектива *прочитать*, так и производного имперфектива *прочитывать*.

Иными словами, вторичный имперфектив, будучи производным глаголом НСВ, сохраняет определяющие семантические (событийное прочтение) и синтаксические (обязательность прямого дополнения) свойства исходного глагола СВ. Тем самым вторичный имперфектив, наследующий основные семантические и синтаксические свойства исходного перфектива, которых в принципе может не быть у имперфектива, находится на периферии глаголов НСВ³. Соответственно, основными значениями вторичных имперфективов являются неоднократное (итеративное и узуальное), которое реализуется в формах актива и пассива прошедшего (преимущественно), настоящего и будущего времени, а также в формах императива, у которых в прохибитивных предложениях возможно и однократное прочтение. Указанные семантические и синтаксические особенности первичных и вторичных имперфективов представлены в таблице:

Первичные имперфективы	Вторичные имперфективы
Значения	Значения
<p>1. Актуально-длительное</p> <p>1. <i>Продолжая плакать, он ел принесенный пирог.</i></p> <p>2. <i>Настасья принесла ему есть; он ел и пил с большим аппетитом.</i></p> <p>2. Общефактическое</p> <p>1. <i>Он некогда ел там землянику со сливками.</i></p> <p>3. Неактуальное (неоднократное и узуальное)</p> <p>1. <i>Встречая в том или ином документе астрономический фрагмент, будем читать его, следуя известной нам средневековой системе астрологических символов.</i></p>	<p>1. Актуально-длительное</p> <p>-----</p> <p>2. Общефактическое</p> <p>-----</p> <p>3. Неактуальное (неоднократное и узуальное)</p> <p>1. <i>Татьяна Андреевна сидела на полу около сундука со старыми книгами, вынимала их, перелистывала, прочитывала две-три строчки и откладывала.</i></p>

³ Ср.: «Даже и во вторичных имперфективах... присутствует изначальная идея приставки, т. е. временная субстанция действия структурирована. Несовершенный вид во вторичных имперфективах не перечеркивает темпоральную структуру действия, а лишь привносит некую дополнительную идею (например, осмысление действия как „кванта“ дополняется идеей „многократности“ и т. д.). Именно поэтому вторичные имперфективы не совпадают по значению с соответствующими бесприставочными глаголами» [Кронгауз 1998: 122].

<p>2. <i>Здесь есть люди, которые не находят себе дела и не едят досыта.</i></p>	<p>2. <i>Де-е-еньги! — протянул он. — Прочитывай ежемесячный курс валют, и ты увидишь, как все это условно.</i></p> <p style="text-align: center;">4. Однократное</p> <p>1. <i>Мореплаватель в решительную минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы. Спустя долгие годы, скитаясь по дюнам, я нахожу ее в песке, прочитываю письмо, узнаю дату события, последнюю волю погибшего (praesens historicum).</i></p> <p>2. <i>Не выпивай весь сок (прохибитив).</i></p>
---	---

Настало время подводить итоги. Проведенный сугубо предварительный анализ аспектуальных троек *читать* → *прочитать* → *прочитывать*, *есть* → *съесть* → *съесть*, *пить* → *выпить* → *выпивать* показывает, что у членов каждой тройки, связанных отношением синтаксической деривации, одно и то же лексическое значение. Тем самым есть основания считать, что все реальные смысловые различия, которые есть у каждого члена тройки, — это по сути дела аспектуальные различия: исходный имперфектив и вторичный имперфектив следует трактовать как варианты одного инварианта. У первичного имперфектива практически есть все значения, которые есть у глаголов НСВ, и к тому же он может употребляться как с прямым дополнением, так и без него. Фактически он сам по себе мог бы быть единственным видовым партнером соотносительного перфектива.

Что касается вторичного имперфектива, то он по сравнению с первичным имперфективом имеет ограничения и в семантике (выражает только итеративное и узуальное значение, если не считать употреблений в *praesens historicum* и в прохибитивной конструкции), и в синтаксисе (не может употребляться без прямого дополнения), но в отличие от первичного имперфектива он наследует перфективную семантику от исходного приставочного перфектива и переносит ее в класс имперфективов, для которого такая семантика, вообще-то говоря, не естественна. Именно поэтому вторичные имперфективы с перфективной семантикой составляют периферию имперфективных глаголов НСВ. Язык в принципе без таких имперфективов, видимо, мог бы обойтись. Не случайно почти всегда вторичный имперфектив можно заменить первичным без какого-либо заметного изменения смысла.

Что касается перфектива, то он соотносится с обоими имперфективами. С первичным производящим имперфективом соотношение вполне стандартное, а со вторым — нестандартное, поскольку перфектив передает имперфективу свою перфективную семантику. Заметим, кстати, что и среди перфективов, образованных от имперфективов, есть такие, которые наследуют семантические особенности имперфективов, и потому им трудно

найти подходящее место, когда речь заходит об инвариантном значении СВ. Я имею в виду глаголы СВ делимитативного СД (*полежать* [недолго], *почитать* [немного]) и пердуративного СД (*пролежать* [два часа], *прочитать* [всю ночь]). Однако это уже другая история, которая тем не менее убедительно свидетельствует о том, что и при образовании имперфективов от перфективов, и при образовании перфективов от имперфективов возможны случаи, когда вторичный перфектив или имперфектив наследует аспектуальную семантику производящего глагола, которой в принципе не должно было быть у производного глагола. По мнению Ю. П. Князева, в таких случаях уместно говорить о слабой позиции НСВ и СВ [Князев 2004].

В заключение я хотел бы продемонстрировать текстовые примеры, которые, по нашему мнению, наглядно показывают, что глаголы анализируемых троек связаны аспектуальными отношениями и представляют одну лексему:

- (1) *Съела она там порядочный брекфаст, я не мог пожаловаться; даже отложила журнал, чтобы есть.*

В этом примере совместно употребляются первичный имперфектив и перфектив. Перфектив обозначает совершившее событие, а первичный имперфектив — процесс, который привел к этому событию. Соответственно, имперфектив и перфектив составляют видовую пару.

- (2) *Мы перешли в столовую, и, то и дело стараясь сказать или спросить что-нибудь безобидное, я съел больше, чем привык **съедать**, и чувствовал себя с каждой минутой все отвратительней.*

В этом примере совместно употребляются перфектив и вторичный имперфектив. Перфектив обозначает совершившееся событие, а вторичный имперфектив — то же событие, но узуально повторяющееся. Соответственно, имперфектив и перфектив составляют видовую пару. При этом следует подчеркнуть, что вторичный имперфектив можно заменить первичным без какого-либо изменения смысла, что свидетельствует об их синонимичности при узуальном значении. Ср.:

- (2а) *Мы перешли в столовую, и, то и дело стараясь сказать или спросить что-нибудь безобидное, я съел больше, чем привык **есть**, и чувствовал себя с каждой минутой все отвратительней.*
 (3) *Если я привык **есть** по одной картофелине в день, я могу **съесть** только половину, а другую половину откладывать.*

В этом примере совместно употребляются первичный и вторичный имперфективы. У первичного имперфектива узуальное значение, и его можно заменить вторичным имперфективом без какого-либо изменения смысла. Ср.:

- (3а) *Если я привык **съесть** по одной картофелине в день, я могу **съесть** только половину, а другую половину откладывать.*

Л и т е р а т у р а

Апресян 1997 — Ю. Д. Апресян. Лексикографическая трактовка вида: нетривиальные случаи // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. 2. М., 1997. С. 7—20.

Бондарко 1976 — А. В. Бондарко. Теория морфологических категорий. М., 1976.

Булыгина, Шмелев 1997 — Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.

Зализняк, Шмелев 1997 — Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев. Лекции по русской аспектологии. München, 1997. (Slavistische Beiträge; 353. Studienhilfen; Bd. 7.)

Зализняк, Шмелев 2000 — Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев. Введение в русскую аспектологию. М., 2000.

Зализняк, Шмелев 2004 — Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев. О месте видовой пары в аспектуальной системе русского языка // Festschrift Prof. Peter Rehder. München, 2004.

Князев 2004 — Ю. П. Князев. Сильные и слабые позиции видового противопоставления // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Т. 4. М., 2004. С. 108—118.

Кронгауз 1998 — М. А. Кронгауз. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. М., 1998.

МАС — Толковый словарь русского языка. 2-е изд. Т. 1—4. М., 1981—1984.

Маслов 1948 — Ю. С. Маслов. Вид и лексическое значение глагола в современном русском языке // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1948. Т. 7. Вып. 4.

Петрухина 1990 — Е. В. Петрухина. К вопросу о конкуренции первичных и вторичных имперфективов в современном русском языке // Рус. яз. за рубежом. 1990. № 4. С. 82—87.

Петрухина 2000 — Е. В. Петрухина. Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.

Плунгян 1998 — В. А. Плунгян. Перфектив, комплексив, пунктив // Типология вида: проблемы, поиски, решения. М., 1998. С. 370—381.

Ясаи 1997 — Л. Ясаи. О принципах выделения видовой пары в русском языке // Вопросы языкознания. 1997. № 4. С. 70—84.

Ясаи 2001 — Л. Ясаи. О специфике вторичных имперфективов видовых корреляций // Исследования по языкознанию: К 70-летию чл.-кор. РАН А. В. Бондарко. СПб., 2001. С. 106—118.

Karcevski 1927 — S. Karcevski. Système du verbe russe. Essai de linguistique synchronique. Prague, 1927. P. 1—167.

Veyrenc 1965 — J. Veyrenc. Un problème de formes concurrentes dans l'économie de l'aspect verbal en russe: imperfectifs premiers et imperfectifs seconds // Slavica Y. Debrecen, synchronique. Prague, 1927. P. 1—167. 1965. P. 133—153.

А. БАРАНОВ

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФАУНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ

1. Введение

Лингвистическое исследование метафоры дискурса имеет два основных измерения: условно говоря, «топографическое» и «сингулярное». **Топографическое** — направлено на выявление всех продуктивных типов метафорических моделей, используемых в данном типе дискурса, а **сингулярное** — сосредотачивается на анализе конкретных метафорических моделей. К топографическим исследованиям метафор русского политического дискурса перестроечного периода можно отнести словарные работы [Баранов, Караулов 1991; 1994], а к сингулярным, например, анализ метафоры ПЕРСОНИФИКАЦИИ в [Баранов, Казакевич 1991]. В проекте по сравнительному изучению русской политической метафоры эпохи перестройки (1989—1991 гг.) и немецкой политической метафоры периода объединения ГДР и ФРГ (*die Wende*)¹ русская и немецкая политическая метафорика исследовалась и топографически и сингулярно, при этом проводилось сравнение системы русских и немецких политических метафор (см., в частности, [Baranov, Zinken 2003]), а также отдельных метафорических моделей русского и немецкого политического дискурса. Иными словами, топографическое и сингулярное исследование было одновременно **сопоставительным**.

В проекте развивалась дескрипторная теория метафоры, в рамках которой метафора описывается как множество кортежей сигнификативных и денотативных дескрипторов, представляющих соответственно область источника и область цели метафорической проекции. Так, в метафоре *механизм реформ* сопоставляется двухэлементное множество следующего типа: {⟨механизм⟩, ⟨реформа⟩}. Первый дескриптор — «механизм» — является сигнификативным, а второй — «реформа» — денотативным (см. подробнее [Баранов 2003; 2004]). Тематически связанные поля сигнификативных

¹ «Interkulturelle Analyse der Struktur kollektiver Vorstellungswelten». Проект был поддержан DFG и проводился в университете г. Билефельда в 1999—2002 гг.

дескрипторов являются «**метафорическими моделями**» (**М-моделями**). Например, сигнификативные дескрипторы, имеющие семантику военных действий, армии, образуют М-модель ВОЙНЫ; дескрипторы, тематически связанные с наименованиями родственных отношений, формируют М-модель РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ и т. д. Для соответствий между сигнификативными и денотативными дескрипторами, реализующихся в метафорических проекциях, используется термин «**концептуальная метафора**». Термин же «метафора» используется в двух значениях — и как метафорическая модель, и как концептуальная метафора. Последнее, впрочем, типично для большинства работ по метафорике (см., например, [Лакофф 2004; Лакофф, Джонсон 2004]).

Анализ показывает, что к числу важнейших метафорических моделей перестроечного периода относится метафора ФАУНЫ, в рамках которой политические феномены осмысляются в категориях животного мира. Рассмотрим особенности функционирования этой М-модели в русском политическом дискурсе эпохи перестройки по данным проведенного проекта².

2. Формальные характеристики М-модели ФАУНЫ

По частотным характеристикам М-модель ФАУНЫ входит в число десяти наиболее употребительных метафорических моделей политического дискурса времен перестройки. Однако и по абсолютной (289), и по относительной частоте (0,0133) данная модель мало отличается от своих ближайших соседей: от занимающей девятое место М-модели РЕЛИГИИ-МИФОЛОГИИ (абсолютная частота 292) и от последующей модели ТЕАТРА (284). Различие минимально — 3 и 4 соответственно. Это говорит о том, что М-модель ФАУНЫ вместе с близкими по частоте моделями РЕЛИГИИ-МИФОЛОГИИ, ТЕАТРА, ПУТИ-ДОРОГИ, ТРАНСПОРТА и ИГРЫ образует единый частотный кластер.

М-модели этого частотного кластера занимают срединное положение в ряду моделей с частотой до 50 употреблений³. Иными словами, это до-

² Статистическая информация дается по «Базе данных по политической метафорике эпохи перестройки», созданной в отделе экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН. Работа над базой данных велась в рамках нескольких научных проектов. Последний из них — упомянутый выше российско-немецкий проект по сравнительному изучению русской и немецкой политической метафорике.

³ Абсолютная частота в 50 употреблений была выбрана в качестве пороговой для отделения тех метафорических моделей, которые вообще не рассматривались в проекте по сравнительному изучению русской и немецкой политической метафорике. Иными словами, 50 употреблений — это формальный критерий отделения периферийных М-моделей от не периферийных.

вольно частотная группа моделей, которая, несомненно, является типичной для перестроечного дискурса, а сама М-модель ФАУНЫ относится к дискурсивным практикам политического дискурса эпохи перестройки⁴.

Один из количественных параметров М-модели дает информацию о том, насколько «когнитивно нагруженными» оказываются сигнификативные дескрипторы М-модели. Чем больше сущностей области цели описывает М-модель, тем больше ее потенциал в осмыслении явлений соответствующей проблемной области. Этот параметр можно назвать **«денотативным разнообразием»** М-модели (Д-разнообразием). Д-разнообразие можно определять количественно, выявляя, сколько приходится в среднем на один сигнификативный дескриптор уникальных денотативных дескрипторов во множестве отображений (реализаций) М-модели в дискурсе. При этом количество вхождений одного и того же дескриптора учитывать не следует. При описании контекстов употребления этой М-модели было использовано 104 сигнификативных дескриптора и 138 денотативных дескрипторов, т. е. Д-разнообразие модели ФАУНЫ **1,3269** (138/104).

По этому параметру данная М-модель существенно отличается от ряда других частотных М-моделей. Например, по нашим данным, Д-разнообразие М-модели РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ — 2, а М-модели МЕХАНИЗМА — 1,904. Это означает, что в политическом дискурсе эпохи перестройки один сигнификативный дескриптор М-моделей МЕХАНИЗМА и РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ в среднем использовался для описания двух различных реалий политической и экономической жизни, а в М-модели ФАУНЫ — фактически только для метафорического осмысления одного явления. Иными словами, М-модели МЕХАНИЗМА и РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ обладают большим потенциалом в метафорической интерпретации политических реалий, чем М-модель ФАУНЫ.

ЕЩЕ один важный параметр, характеризующий М-модель с точки зрения ее отображений в область цели, — это **«стабильность денотативных отображений»** М-модели (Д-стабильность М-модели). Одним из центральных объектов изучения в когнитивной теории метафоры являются концептуальные метафоры, которые определяют способы осмысления человеком действительности в данной культуре. В дескрипторной теории концептуальные метафоры представляют собой регулярно воспроизводящиеся в рамках М-модели пары отображений (сигнификативный дескриптор_н, денотативный дескриптор_м). Чем больше таких стабильных или хотя бы достаточно регулярных пар в М-модели, тем больше ее Д-стабильность.

Для количественной оценки Д-стабильности можно использовать отношение количества неодинокных (повторяющихся) пар отображений вида (сигнификативный дескриптор_н, денотативный дескриптор_м) к общему количеству всех пар отображений — одиночных и неодинокных, — обнару-

⁴ Более подробно о понятии дискурсивной практики и функционировании М-модели как дискурсивной практики см. в [Баранов 2004].

женных во множестве проекций данной М-модели в дискурсе. В этом случае оценка Д-стабильности М-модели будет иметь вид дроби: чем больше значение этой дроби, тем выше Д-стабильность. Если одиночных пар отображений для данной М-модели в материале не обнаруживается вовсе, то количественная оценка Д-стабильности будет равна единице. Это, разумеется, гипотетический случай.

Несколько упрощая ситуацию, можно грубо оценивать Д-стабильность, определяя отношение повторяющихся денотативных дескрипторов к общему количеству денотативных дескрипторов в выборке. При описании контекстов употребления М-модели ФАУНЫ был обнаружен 201 одиночный денотативный дескриптор и 85 неединичных дескрипторов. Тем самым параметр Д-стабильности данной М-модели **0,2972** (85/286). Для сравнения упомянем, что Д-стабильность М-модели МЕХАНИЗМА равна 0,544, а М-модели РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ — 0,6805. Это означает, что метафорические модели МЕХАНИЗМА и РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ должны содержать значительно больше стабильных метафорических проекций, чем М-модель ФАУНЫ. И действительно, М-модель МЕХАНИЗМА характеризуется целым рядом устойчивых проекций, приближающихся к концептуальным метафорам. К ним относятся, в частности, ВЛАСТЬ — ЭТО РУЛЬ, ВЛАСТЬ — ЭТО РЫЧАГ / РЫЧАГИ, ВЛАСТЬ — ЭТО ШТУРВАЛ, ДЕМОКРАТИЯ — ЭТО МЕХАНИЗМ, РЫНОК — ЭТО МЕХАНИЗМ, ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ — ЭТО МАЯТНИК, ИСТОРИЯ — ЭТО ЧАСЫ, ГОСУДАРСТВО — ЭТО МЕХАНИЗМ / МАШИНА, ЧЕЛОВЕК — ЭТО ВИНТИК, КПСС — ЭТО ТОРМОЗ. М-модель РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ включает концептуальные метафоры РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА — ЭТО ОТЕЦ (с вариантами более раннего периода ГОСУДАРЬ — ЭТО ОТЕЦ, СТАЛИН — ЭТО ОТЕЦ НАРОДОВ); ЛЕНИН — ЭТО ДЕДУШКА; РОССИЯ — ЭТО СТАРШИЙ БРАТ; ЗЕМЛЯ — ЭТО МАТЬ. Для модели ФАУНЫ таких проекций значительно меньше: НАРОД / ОБЩЕСТВО — ЭТО СТАДО, ЛЮДИ — ЭТО БАРАНЫ, РОССИЯ — ЭТО МЕДВЕДЬ, ПОЛИТИК — СТОРОННИК РАДИКАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ — ЭТО ЯСТРЕБ, МАФИЯ / ПРЕСТУПНОСТЬ — ЭТО СПРУТ.

3. Содержательные характеристики М-модели ФАУНЫ

3.1. Денотативные характеристики М-модели ФАУНЫ. В базе данных по политической метафорике эпохи перестройки фиксировано 285 употреблений рассматриваемой М-модели. Для описания области источника в М-модели ФАУНЫ привлечено 104 сигнификативных дескриптора, которым соответствуют в области цели 138 различных денотативных дескрипторов. Если разделить все денотативные дескрипторы на три глобальные сферы — общество, политика и экономика, то получается следующий набор денотативных дескрипторов, упорядоченных по названным тематическим областям и по убыванию частоты.

Таблица 1

Денотативные дескрипторы М-модели ФАУНЫ, упорядоченные по тематическим областям, частоте и внутри частоты — по алфавиту

Дескриптор	Частота употребления	Тематическая область
человек / народ / общество (русский народ 3) ⁵	46	общество
интеллигент / интеллигенция	6	общество
история	4	общество
гласность	3	общество
мафия / преступность	3	общество
демократическая пресса	2	общество
Проханов А.	2	общество
ученый-экономист	2	общество
газета «Советская Россия»	1	общество
Горький М.	1	общество
дезинформация	1	общество
жизнь	1	общество
журналист	1	общество
закон о СМИ	1	общество
идея	1	общество
избиратели	1	общество
истина	1	общество
ложь / страх ⁶	1	общество
марксистско-ленинская философия	1	общество
мир	1	общество
моральные принципы [политиканство, беспринципность аморальность]	1	общество
Москва	1	общество
наука	1	общество
научный коммунизм	1	общество
новость	1	общество
нравственная свобода	1	общество
общественное мнение	1	общество
победа	1	общество
проблемы	1	общество
рабочий	1	общество
романтизм	1	общество

⁵ При определении Д-разнообразия рассмотрены как разные денотативные дескрипторы.

⁶ При определении Д-разнообразия рассмотрены как разные денотативные дескрипторы. В таблице дескрипторы «ложь» и «страх» объединены. Это связано с тем, что контекст употребления метафоры не дает возможности четко определить область «цели» метафоры и, соответственно, однозначно выявить денотативный дескриптор.

сионизм	1	общество
СМИ [«Советская Россия», «Правда»] ⁷	1	общество
стихи	1	общество
узбеки	1	общество
цензура	1	общество
политик / политики	14	политика
Россия	11	политика
СССР	10	политика
КПСС	7	политика
политическая группировка	7	политика
административно-командная система / бюрократия	5	политика
Горбачев М. С.	5	политика
государство	5	политика
Ельцин Б. Н.	5	политика
член / члены КПСС	5	политика
номенклатура КПСС	4	политика
правительство	4	политика
республика / республики СССР	4	политика
социализм [система]	4	политика
военно-промышленный комплекс	3	политика
демократия	3	политика
национализм	3	политика
член правительства	3	политика
власть	2	политика
Запад	2	политика
КГБ	2	политика
коммунизм [идеология]	2	политика
коммунизм [система]	2	политика
партийный работник	2	политика
революция	2	политика
сторонник диктатуры	2	политика
Хрущев Н. С.	2	политика
Акаев А.	1	политика
армия	1	политика
Верховный Совет	1	политика
военный бюджет	1	политика
вопрос в политической дискуссии	1	политика
выборы	1	политика
ГКЧП	1	политика
государственность	1	политика
Громов Б.	1	политика
демократы	1	политика

⁷ При определении Д-разнообразия рассмотрены как разные денотативные дескрипторы.

депутат группы «Союз»	1	политика
депутаты-коммунисты	1	политика
Дзержинский Ф.	1	политика
диктатура	1	политика
Дума	1	политика
Жириновский В. В.	1	политика
идеология [коммунизм, фашизм]	1	политика
капитализм [система]	1	политика
коммунисты	1	политика
консерватор	1	политика
контрреволюция	1	политика
коррупция	1	политика
Латвия	1	политика
Лобов О.	1	политика
межнациональные отношения	1	политика
министерство	1	политика
министр	1	политика
министр культуры	1	политика
начальство	1	политика
оппозиционность	1	политика
Павлов	1	политика
партия	1	политика
перестройка	1	политика
политическая программа	1	политика
политическая система	1	политика
политические взгляды	1	политика
политический субъект	1	политика
президент республики	1	политика
Прибалтика	1	политика
революционер	1	политика
Рижский ОМОН	1	политика
руководитель колхоза	1	политика
Руцкой А. В.	1	политика
Советы	1	политика
Сталин И. В.	1	политика
сторонник перестройки	1	политика
тоталитаризм	1	политика
Травкин Н.	1	политика
устав сельхозартели	1	политика
члены политбюро	1	политика
Шеварднадзе Э.	1	политика
бизнесмен	2	экономика
госсектор экономики	2	экономика
акционерное общество	1	экономика
буржуазия	1	экономика
инфляция	1	экономика

исключительное положение военно-промышленного комплекса	1	экономика
капиталист	1	экономика
колхоз	1	экономика
кооперация	1	экономика
крестьянин	1	экономика
московское метро	1	экономика
общественная собственность	1	экономика
продукция машиностроения	1	экономика
сельское хозяйство	1	экономика
социалистическая экономика	1	экономика
цены	1	экономика
частный сектор экономики	1	экономика
экономика	1	экономика

По тематическим областям сфера политики существенным образом — в два раза — превосходит все остальные: политика — 171, общество — 96 и экономика — всего 20. Причины этого следует искать, с одной стороны, в когнитивных особенностях самой М-модели и в тематике перестроенного дискурса — с другой. Обратимся к материалу. Как уже было показано выше, параметр стабильности Д-реализаций (параметр Д-стабильности) для семантического дерева М-модели ФАУНЫ довольно низок (по сравнению, например, с М-моделью МЕХАНИЗМА). Следовательно, высокочастотных денотативных дескрипторов довольно мало. Это означает, что пороговая частота для отбора денотативных дескрипторов не должна быть слишком высокой. При пороговой частоте 5 для сферы политики обнаруживается следующий набор дескрипторов:

Таблица 2

Частотные реалии политической жизни в М-модели ФАУНЫ

политик / политики	14	политика
Россия	11	политика
СССР	10	политика
КПСС	7	политика
политическая группировка	7	политика
административно-командная система / бюрократия	5	политика
Горбачев М. С.	5	политика
государство	5	политика
Ельцин Б. Н.	5	политика
член / члены КПСС	5	политика

Легко видеть, что все дескрипторы, приведенные в Таблице 2, обозначают политических субъектов различного уровня: от глобальных политических субъектов типа СССР и России до отдельных политиков и даже ря-

довых членов КПСС. Как показано в [Баранов, Казакевич 1991], когнитивное содержание политического дискурса в эпоху перестройки заключалось в разрушении старой политической коммуникации, ориентированной на одного политического субъекта — «суперэго» политического дискурса, выступавшего на поверхностном уровне советского политического языка в виде «народа», «общества», «КПСС», «всего прогрессивного человечества», — на структуру со многими политическими субъектами. Именно категория политического субъекта оказывается в центре внимания политического дискурса. М-модель ФАУНЫ позволяет высвечивать с помощью соответствующих метафорических следствий различные свойства политических субъектов. Именно этим объясняется тот факт, что почти две трети реализаций данной М-модели привязаны исключительно к политической проблематике, во-первых, и самые частотные реализации среди политической области относятся к политическим субъектам — во-вторых.

Для разных типов субъектов оказываются существенными различные следствия из метафор М-модели ФАУНЫ. Для «России» характерно использование вполне конвенциональной метафоры МЕДВЕДЯ. Здесь высвечиваются такие семантические следствия, как «неповоротливость» (1а), «большая величина» (1б), «опасность, исходящая от медведя» (1в):

- (1) **а.** Это ржавое колесо огромного механизма российского. *Это такой медведь*. Ему только надо придать инерцию, а дальше он пойдет уже сам. Вот для того, чтобы придать такую инерцию, я и хочу работать. Ельцин Б. «Независимая Газета», 19.11.1991. **б.** Если даже под Россией понимать только Великороссию в виде РСФСР, то и тогда *медведь* не может быть равен суслику. Волков С. «Независимая Газета», 19.11.1991. **в.** Не-ет, нельзя оставлять таких больших рядом с маленькими без присмотра. Никто сегодня не может чувствовать себя безопасным рядом со *страной-медведем*, которая не отрелась от величия, основанного на расстояниях и площадях. Павловский Г. «Независимая Газета», 19.11.1991.

Представлена и метафора ПТИЦЫ-ТРОЙКИ, тесно связанная с литературной традицией. Фактически в этом случае можно говорить о сочетаемости двух метафорических моделей, используемых для осмысления политических реалий, — модели ФАУНЫ и модели ЛИТЕРАТУРЫ (точнее, ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРСОНАЖА)⁸:

- (2) **а.** ...легендарная *птица-тройка* — высокий символ Руси — несла на себе от первой до последней страницы книги с грохотом и ды-

⁸ Феномен сочетаемости М-моделей в метафорах — синтагматика метафор — обсуждается в [Баранов 2003]. Первыми проблему сочетаемости метафор в явном виде сформулировали Дж. Лакофф и М. Джонсон, введя в [Lakoff, Johnson 1980] понятия согласованных (coherent) и совместимых (consistent) метафор (см. также русский перевод [Лакофф, Джонсон 2004]).

мом («Дымом дымится под тобой дорога...») — лжеца, хитрована с лицом простодушного добряка, продувную бестию, превзошедшего почти всех остальных героев низостью души. Свирский Г. «Горизонт», № 6, 15.06.1991. **б.** Поруганная, измученная, полуживая, а теперь и разорванная на части лежит моя страна в шоке. Кони знаменитой «птицы-тройки» распряжены, они мирно щиплют хилую травку, окропленную чернобыльским дождичком, кучера в растерянности, ездоки не свистят и не гикают, они вяло переругиваются между собой, они даже не пьяны, они оглядываются по сторонам в недоумении и растерянности. Аракчеев Ю. «Независимая Газета», 14.08.1992.

По отношению к СССР такие метафоры в базе данных вообще не встретилась, хотя раньше в советском политическом дискурсе образ «медведя» связывался именно с СССР. При метафорическом осмыслении СССР преобладают такие метафоры М-модели ФАУНЫ, которые имеют метафорические следствия 'нечто древнее, устаревшее, неповоротливое и т. п.': *Советский Союз все еще остается ракетным динозавром; динозавр с гигантским военно-бюрократическим туловищем*. В некоторых метафорах сохраняется идея былой мощи. Например, метафора УПАВШЕГО ЛЬВА высвечивает смысловой компонент 'былая сила, мощь':

- (3) Если лев упадет в колодец, на его ушах квакают лягушки. Упал лев — СССР. «Московские Новости», 14.06.1992.

Среди денотативных дескрипторов исследуемой М-модели наиболее часто используется дескриптор «политик / политики». Интересно, что стабильность сигнификативных реализаций этого дескриптора невелика. Большая часть приходится на одиночные употребления. Относительно стабильны два соответствия: ПОЛИТИК — ЭТО БУЛЬДОГ и ПОЛИТИК — ЭТО ЯСТРЕБ. И в первом, и во втором случае эти проекции поддержаны некоторыми культурно-историческими факторами. Метафора ПОЛИТИКА как БУЛЬДОГА восходит к известному высказыванию У. Черчилля о феномене политики как о схватке бульдогов под ковром: *Политика в стране, следуя удачному выражению Черчилля, всегда напоминала борьбу под ковром. Глядя теперь на вылетевшего из-под украинской части ковра бульдога, остается гадать: действительно ли он мертв или мы наблюдаем только очередную линьку живого и здорового пса с цепкой хваткой?* Радченко Ю. «Мегаполис-Экспресс», 05.09.1991. Метафорическая интерпретация политика, склонного решать политические проблемы военными методами, как ястреба основывается на англоязычной (американской и британской) традиции. Остальные метафорические осмысления политиков сигнификативно нерегулярны. Это и МЫШЬ (...будущих оппозиционеров завораживали «белые мыши»: *Лигачев, Рыжков, сегодня — Павлов*), и ОБЕЗЬЯНА (*киплинговская обезьяна, наблюдающая со своей безопасной ветки за дракой двух тигров*), и ОРАНГУТАНГ (...ближайшей когорте остаются *полити-*

ческие орангутанги), и многое другое. Четкой закономерности здесь обнаружить не удастся.

В метафорических осмыслениях КПСС по понятным причинам прева­лирует идея «раненого, затравленного зверя»:

- (4) **а.** Ну скажите, почему Борису Николаевичу именно сейчас при­спичило издать этот указ? Для чего? И без этого ведь ясно, что не сегодня, так завтра КПСС отойдет на задний план. Ан, нет! Надо, обязательно надо ее подразнить, затравить. Между прочим, *затравленный зверь* — самый опасный, особенно если он с когтями и зубами. Семенов А. «Мегаполис-Экспресс», 01.08.1991. **б.** Партия отстраняет­ся от власти, уходит в оппозицию и, продолжая участвовать в по­литической жизни, *зализывает раны*, осмысливает происшедшее и в большинстве случаев левеет. Кертман Г. «Московский Комсомолец», 02.10.1990.

Для советского политического языка 20—30-х гг. XX в. характерно ис­пользование метафоры ГИДРЫ, ЗМЕИ по отношению к капитализму, контр­революции и т. п. категориям. Ср. характерный пример:

- (5) Меч революции опускается тяжело и сокрушительно. Рука, которой вверен этот меч, твердо и уверенно погружает отточенный клинок в *тысячеголовую гидру контрреволюции*. *Этой гидре нужно рубить головы с таким расчетом, чтобы не выросли новые: у буржуазной змеи должно быть с корнем вырвано жало, а если нужно, и распорота жадная пасть, вспорота жирная утроба.* Цит. по: «Горизонт», 01.05.1991.

В постсоветский период эта метафора удивительным образом использо­ется в почти противоположном смысле — по отношению к администра­тивно-командной системе и советской бюрократии (ба, б), а также по от­ношению к коммунизму как к системе (бв):

- (6) **а.** Так уж случилось, что я, физик-теоретик по профессии, став на­родным депутатом СССР, сделался известным как борец с бюро­кратизмом. Меня буквально «засыпали» письмами с жалобами на эту *«гидру»*. Шостаковский В. «Огонек», № 39, 22.09.1990. **б.** Вместе с тем за все эти гнетущие годы коммунии и волос не упал с *миллионногла­вой гидры партократии, госбюрократии* и их бесчисленных ша­калов и подпевал как среди рабочих, читай — классовой аристо­кратии, так и интеллигентов-марксистов. Ганюшкин В. «Новое Время», 22.10.1991. **в.** Победитель *гидры коммунизма* Б. Н. Ельцин был на этой неделе менее деятелен, и хотя литератор А. М. Адамович на­звал последние события «революцией с лицом Ростроповича», сам Б. Н. Ельцин существенно разошелся с М. Л. Ростроповичем в оценке некоторых явлений. «Коммерсант», 26.08.1991.

Трудно отделаться от впечатления, что спор идеологий и общественных систем проявляется и в своеобразном споре метафор. Радикально меняется

целевая область метафоры, однако парадигматические отсылки к области источника пока остаются стабильными в сознании носителей языка. Это и является в данном случае метафорической моделью спора идеологий.

Остальные сигнификативные соответствия дескриптора «административно-командная система / бюрократия» нерегулярны (ВОЛК, ТИГР, КОНЬ). То же можно сказать и об остальных денотативных дескрипторах области «политика», представленных в Таблице 2. Исключение составляет, пожалуй, только денотативный дескриптор «государство», который обнаруживает относительно регулярное соответствие с концептом УЛЬЯ:

- (7) **а.** Мне могут возразить, что есть Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, есть Конституция. Да, есть. Но это все внешние рамки. Как стены *улья*. Если же не будут выстроены внутренние восковые соты, которые можно из-за хрупкости считать почти условными, то при их отсутствии не удержат и стены *улья* — рой улетит. Перешагнув черту, внутренний закон, человек легко нарушает и уголовный закон, а там, за пределами, начинается другая этика, «наоборотная», еще более жесткая. Широбоков И. «Независимая Газета», 19.03.1991. **б.** Все эти генеральные директора, генеральные конструкторы и другие штатские генералы от промышленности вместе с военными пронизывают все наше общество. Эта прослойка, как прополис в *улье*, приклеивает все, что должно быть приклеено. Но в отличие от *улья*, где численность трутней саморегулируется пчелиной семьей и не может превысить определенного биологически необходимого критического значения, наша советская семья, несмотря на все сокращения и реорганизации, никак не может избавиться ни от лишних трутней, ни от излишка этого «прополиса». А все потому, что «пасечник» — та же КПСС. Кравцов А. «Огонек», 21.09.1991.

При этом «общество» часто метафорически интерпретируется как РОЙ:

- (8) **а.** *Рой пчел* сохраняет порядок благодаря присутствию королевы. Это образ Карла Ясперса. Мы тоже не обретаем душевного равновесия, пока не отыщем очередного идола. Гуревич П. «Литературная Газета», 07.08.1991. **б.** Что изменилось с крушением тоталитаризма и его пропагандистской машины? Лишь немногие сумели признать в собственном поражении и принять ответственность за свое отдельное существование. Другие, *верные инстинкту роя*, вновь растворились в том, что приняли за сверхличное целое, и обрели через него оправдание собственной несостоятельности. Старчевский В. «Мегаполис-Экспресс», 09.05.1991.

Еще более регулярное соответствие обнаруживает пара НАРОД / ОБЩЕСТВО — ЭТО СТАДО. Как правило, такое метафорическое отождествление используется как риторический прием в аргументации, когда полити-

ческому противнику (в узком или широком смысле) приписывается соответствующее понимание. Чаще всего ответственность за метафорическую категоризацию НАРОД / ОБЩЕСТВО — ЭТО СТАДО возлагается на сторонников коммунистической, а часто и социалистической идеологии (интересно, что различия между коммунистами и социалистами большинство демократически настроенных публицистов эпохи перестройки не делало):

- (9) **а.** Превратив народ в *голосующее стадо*, большевизм скомпрометировал идею Советов и демократии. Костиков В. «Огонек», 14.09.1991.
б. Ведь именно партии принадлежит главенствующая роль в превращении советских людей в то, чем они стали. А они во многом стали *стадом*. Игитян Г. «Мегаполис-Экспресс», 28.02.1991.

Следует отметить, что критики коммунистической идеологии с другого края — со стороны коммунистов-государственников — также используют эту концептуальную метафору, приписывая ее уже существующей демократической власти:

- (10) Анализ показывает, что экономику страны довели до черты, за которой пропасть и крах. Анализ основан на официальных и реальных материалах, и если в нем будут прорываться эмоции, то они вызваны отчаянием бессилия оттого, что мы вновь, как в недавние времена, являемся лишь *бессловесным стадом* для экспериментальных губительных игр «верхов». И вертят нами, как пешками. С той лишь разницей, что позволяют выпускать накапливающийся пар, по пословице: «Когда собака лает — она не кусает». Щипанцев А. «Молодая Гвардия», 01.12.1990.

Такое жонглирование метафорой относится к числу наиболее типичных аргументативных приемов политического дискурса эпохи перестройки.

Концептуальная метафора НАРОД / ОБЩЕСТВО — ЭТО СТАДО высвечивает в рассмотренных примерах идею «несамостоятельности, пассивности, вторичности», характерную, например, для метафоры ВИНТИКА из М-модели МЕХАНИЗМА. Однако рассматриваемая метафора привносит еще и смысл «глупости и тупости», отсутствующий в метафоре ВИНТИКА. В противоположность СТАДУ и ВИНТИКУ, метафора РОЯ профилирует⁹ несколько другую идею — смысл «работы, полезной деятельности», который, конечно, связан в целом с образом пчелы. Впрочем, контексты реализации метафоры РОЯ (8а, б) скорее свидетельствуют о выделении смысла «потеря индивидуальности», характерного для всех трех рассмотренных метафор.

⁹ Под «профилированием» в когнитивной теории метафоры понимается коммуникативное выделение с помощью метафоры тех или иных свойств метафорически осмысливаемой сущности. Так, метафора МЕДВЕДЯ, использованная по отношению к человеку, может коммуникативно выделять, т. е. профилировать, такие свойства человека, как неуклюжесть, сила и пр.

Из денотативных дескрипторов, относящихся к тематической сфере «общество» и «народ», кроме уже рассмотренных наибольший интерес представляют дескрипторы «человек», «интеллигент / интеллигенция» и «история». «Человек» достаточно регулярно осмысливается как БАРАН, что естественно вписывается в концептуальную метафору НАРОД / ОБЩЕСТВО — ЭТО СТАДО и когнитивно поддерживает ее:

- (11) **а.** Разумеется, есть люди, которые *не желают быть баранами*, предназначенными на убой. Каждый народ имеет право на свою конституцию, которая обеспечит права этого народа. Иванов А. «Куранты», 19.01.1991. **б.** Почему решили менять «социальное» на «национальное», тоже понятно. Тут и замены-то не нужно. Обе идеи, оба лозунга всегда шли рука об руку в тоталитарном режиме. Просто на первый план выходит то один, то другой. Оба создают идеальную дымовую завесу для «баранов» (говорят, что так Сталин ласково называл трудящихся на демонстрации), нужную тем, кто любит шашлык из баранины. *«Идут бараны и бьют в барабаны. Кожу на них дают сами бараны»*. Радзиховский Л. «Горизонт», 1991, № 1.

Метафорическое следствие «несамостоятельность, подчиненность», свойственное метафоре БАРАНА, прослеживается и у метафоры СОБАКИ, причем это следствие еще более усиливается метафорой ПОВОДКА — как части структуры знаний, стоящей за метафорой СОБАКИ:

- (12) **а.** Дело в том, что общество это продолжает быть неструктурированным, недифференцированным. Это общество, я бы сказал, амeboобразное. В нем нет различия и различения интересов. В этом обществе все или почти все одинаковы, все на службе у государства, все на жаловании, *на поводке*. Афанасьев Ю. «Независимая Газета», 21.12.1990. **б.** Посудите сами, при нашей-то внутренней ситуации уж какая независимость? *Все на поводке государства*, которое еще непонятно кому достанется, «демократам» ли, «авторитористам» ли. Первачов А. Н. «Независимая Газета», 19.01.1991.

Среди метафорических интерпретаций денотативного дескриптора «интеллигент / интеллигенция» наиболее устойчивой оказывается метафора МУРАВЬЯ. Однако анализ контекстов показывает, что это одновременно литературная метафора, повторяющаяся несколько раз, например, в статье В. Новодворской:

- (13) Еще несколько недель — и никто уже не поверит, что он был вообще, этот шанс. Шанс для абсолютной, как водится, российской власти — не быть в кои-то веки проклинаемой (как водится от века) свободомыслящей интеллигенцией — оруджавскими *«московскими муравьями»*, которые всегда вне ваших Советов, мэрий и Союзов — сами по себе ... Никто от Б. Н. Ельцина демократии и

не требовал. Так же, как и хлеба. Чего же ждал «*московский муравей*», которому раз в жизни захотелось во имя общих и святых трех «августовских дней» поверить в очарованность свою? А просто хотелось увидеть немного добра. Добра, покаяния, честности, интеллигентности. Новодворская В. «Огонек», 26.10.1991.

Иными словами, говорить здесь о стабильности сигнификативных реализаций трудно. Все прочие сигнификативные соответствия и вовсе случайны — ВОЛК (*талдыча народу, что прослойка эта чуждая, опасная, что сколько волка ни корми, он все в лес глядит*), ШАКАЛ (*и волос не упал с миллионноглавой гидры партократии, госбюрократии и их бесчисленных шакалов и подпевал как среди рабочих, читай — классовой аристократии, так и интеллигентов-марксиози*), МИКРОБ (*болезнетворные микробы, мутящие народное сознание и вызывающие массовые, подобно эпидемиям, психогенные болезни*).

Концепт «истории» представлен в материале метафорой КЛЯЧИ, подержанной соответствующей литературной метафорой Маяковского (14а, б), и метафорой ЛОШАДИ, реконструируемой в (15) по метафорическим следствиям из метафор *нестись галопом, поймать под уздцы*:

- (14) **а.** Служенье муз не терпит суеты? Но воплотилась, обрела какое-то зловещее звучание строчка из Маяковского: «*клячу истории загоним!..*» Загнали, действительно измордовали, живого места не оставили мы на теле седьмой музы греческой мифологии — музы Клио. Капустин А. «Независимая Газета», 19.10.1991. **б.** Поразительный феномен — история. Кажется, все в ней на виду. Можно пересчитать все слагаемые. Одно усилие — и она двинется в нужную сторону. ⟨...⟩ Между тем можно так *загнать клячу истории*, что потом не пересядешь ни на каких рысаков. Гуревич П. «Литературная Газета», 02.09.1992.
- (15) **а.** Да, *История несется галопом* и пышет сарказмом. Да, круто замешенный год, проблемы общества — в судьбах личностей. Через Горбачева и Ельцина — антагонизмы центра и республик, через инфаркт Рыжкова — схватки вокруг рыночной экономики, через отставку Шеварднадзе — драма нашей новой внешней политики. Кондрашев С. «Известия», 02.01.1991. **б.** Нам мнилось: мы не только *поймали историю под уздцы*, но и поведем ее, куда захотим. Философы прошлого были наивными людьми. Они всего-то объясняли мир. Никто из этих и не задумался, как его преобразовать. Слава производственным отношениям, мы теперь знаем, как ухватить историю за кадык... Гуревич П. «Литературная Газета», 02.09.1992.

Метафора ЛОШАДИ не обнаруживает явных связей с литературно подержанной метафорой КЛЯЧИ, хотя в (15б) у метафоры ЛОШАДИ профилируется то же самое семантическое следствие, что и у КЛЯЧИ, — «подчинен-

ность, несамостоятельность, неагентивность». В (15а), напротив, высвечивается смысл «быстрого движения».

Среди денотативных дескрипторов экономической области не оказалось дескрипторов с достаточной частотой. Эта сфера практически не осмысливается в терминах М-модели ФАУНЫ, что в целом вполне объяснимо, поскольку характеристики животных естественнее использовать при осмыслении политических реалий и общественных явлений, которые могут категоризоваться как субъекты. М-модель ФАУНЫ — и соответствующая ей структура знаний — обращает внимание уже на сами характеристики этих субъектов. В этом смысле мир экономики с такими несубъектными по сути категориями, как промышленность, сельское хозяйство, цены и прочее, — более трудная «цель» для метафор, которые уже опираются на субъектную категоризацию. Такие денотативные области метафорической интерпретации предполагают предварительную субъектную категоризацию с помощью метафоры ПЕРСОНИФИКАЦИИ. И действительно, экономические сущности тоже могут категоризоваться как субъекты — особенно в рамках метафоры ПЕРСОНИФИКАЦИИ, однако М-модель ФАУНЫ в большей степени представляет собой средство вторичной субъектной категоризации, высвечивая среди свойств субъекта те, которые свойственны соответствующим элементам этой М-модели.

3.2. Сигнификативные характеристики М-модели ФАУНЫ. В целом следует отметить довольно низкую стабильность денотативных реализаций М-модели ФАУНЫ. Хотя количество сигнификативных дескрипторов довольно значительно, устойчивых связей между сигнификативными и денотативными дескрипторами мало. Это указывает на серьезный дискурсивный потенциал данной М-модели, который реализован еще не в полной мере. Основные сигнификативные области М-модели ФАУНЫ — это, конечно, ЖИВОТНОЕ (с подразделением на ДОМАШНИХ и ДИКИХ ЖИВОТНЫХ), ПТИЦА, РЫБА, МИКРОМИР и группы ЖИВОТНЫХ, НАСЕКОМЫХ. Следует отметить, что некоторые области М-модели ФАУНЫ по семантическим следствиям сильно отличаются друг от друга: ср., например, метафоры МИКРОМИРА (АМЕБА, БАЦИЛЛА, ВИРУС, МИКРОБ) и метафоры ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. Последнее проявляется и в том, что они часто имеют различные парадигматические связи. Так, подавляющая часть сигнификативной области МИКРОМИРА имеет отсылку к М-модели МЕДИЦИНЫ. Это один из важных аргументов в пользу разделения М-модели ФАУНЫ на несколько различных метафорических моделей.

Некоторые части тезауруса фауны не попали в метафорические осмысления, хотя в принципе этого можно было бы ожидать. К числу таких концептов, богатых на возможные ассоциации, относится, например, группа опасных пресмыкающихся и насекомых: «змея» (в том числе «уж», «гадюка», «питон»), «тарантул». Возможно, это связано с тем, что некоторые из этих концептов имеют очевидные негативные и ругательные ассоциации

и часто используются в брани обиденного дискурса. Довольно плохо представлено подмножество РЫБ¹⁰. В имеющемся материале ни одно из денотативных соответствий этого сигнификативного дескриптора нельзя считать регулярным. Кроме «акулы» и «щуки», других сигнификативных дескрипторов в подмножестве рыб нет, хотя можно было бы ожидать появления таких дескрипторов, как «пескарь» (ср. ассоциативный ряд, начинающийся в произведениях Салтыкова-Щедрина), «уж», «угорь» (концепты, фиксированные в идиоматике — *вертеться как уж / угорь на сковороде*).

3.3. Типичное в М-модели ФАУНЫ. Конвенциональных метафорических проекций в рассматриваемой М-модели довольно мало. К ним относятся концептуальные метафоры НАРОД / ОБЩЕСТВО — ЭТО СТАДО, НАРОД / ОБЩЕСТВО — ЭТО РОЙ, ГОСУДАРСТВО — ЭТО УЛЕЙ, Люди — ЭТО БАРАНЫ, РОССИЯ — ЭТО МЕДВЕДЬ, ПОЛИТИК — СТОРОННИК РАДИКАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ — ЭТО ЯСТРЕБ, МАФИЯ / ПРЕСТУПНОСТЬ — ЭТО ОСЬМИНОГ, МАФИЯ / ПРЕСТУПНОСТЬ — ЭТО СПРУТ. Близки к конвенциональным некоторые довольно устойчивые соответствия между сигнификативным и денотативным дескриптором, которые поддержаны литературным или историческим контекстом. Впрочем, их можно рассматривать как реализации М-моделей ЛИТЕРАТУРЫ и ИСТОРИИ. Имеются в виду концептуальные метафоры РОССИЯ — ЭТО ПТИЦА-ТРОЙКА, ИСТОРИЯ — ЭТО КЛЯЧА и ПОЛИТИК — ЭТО БУЛЬДОГ. Первая концептуальная метафора восходит к поэме Гоголя «Мертвые души» (см. выше 2а, б), вторая — к стихотворению В. Маяковского «Левый марш», а третья — к известному высказыванию У. Черчилля: *Мне как-то задавали вопрос, не похоже ли то, что сейчас происходит в правительстве, на схватку бульдогов под ковром — они борются, борются, а потом один вылетает с оторванной головой. Это классический для советской системы метод политической борьбы.* Шохин А. «Независимая Газета», 24.06.1992.

3.4. Нетипичное в М-модели ФАУНЫ. Следует отметить случаи языковой игры на основе сочетаемости с несколькими метафорическими моделями. Ср. использование метафоры ЕЖИКОСВИНА по отношению к министру финансов тех лет Павлову:

- (16) Павлов характеризовался тоже весьма образно: «ЕЖИКОСВИН В ТУМАНЕ». Максимов А. «Россия», 31.08.1991.

В примере (16), кроме метафор ежика и свиньи, представлена еще и метафора ПЕРСОНАЖА МУЛЬТФИЛЬМА из известной в перестроечные времена ленты «Ежик в тумане», снятой по мотивам сказки С. Козлова.

¹⁰ Сходное наблюдение, относящееся, насколько можно судить, к более современному состоянию языка публичной политики, представлено в [Чудинов 2001: 134].

В целом перестроечный дискурс настроен по отношению к политикам довольно негативно. Эксплуатируются в основном отрицательно окрашенные метафорические следствия. Не вполне тривиальны на этом фоне некоторые метафоры, используемые как для передачи иронии, так и для выражения «комплиментарных» смыслов. Таковы, например, метафоры ПОЛИТИК — ЭТО ОЛЕНЬ, ПОЛИТИК — ЭТО БЕРКУТ:

- (17) **а.** Еще более запутанную мистическую комедию положений разыгрывает цесаревич Н. Т. Рябов, готовый разом присягать обоим мистическим супругам — как обвенчанной Б. Н. Ельцину, так и обвенчанной Р. И. Хасбулатову. Выступая в качестве чичисбея сразу обеих Конституций, Н. Т. Рябов не только впадает в состояние двоякого греха, но и порождает двойственную опасность. С одной стороны, временно объединившиеся на почве общей мистической рогатости Б. Н. Ельцин и Р. И. Хасбулатов могут совместно поднять вице-спикера на рога, с другой — что еще опаснее, — обоюдодорогаты президент и председатель ВС, взаимно бодаясь, могут, как это часто бывает с *благородными оленями во время гона, намертво перепутаться рогами*, что причиняет как оленям, так и политикам превеликие неудобства. Соколов, Кирпичников. «Сегодня», 19.05.1993. **б.** Одна журналистка, сравнив Ельцина с орлом, назвала Акаева *«нашим компактным киргизским беркутом»*. В этих условиях даже противники президента не могут перебороть в себе уважения к старшему по иерархии. Нарзикулов Р. «Независимая Газета», 10.09.1991.

Довольно необычно смотрятся метафоры типа ПОЛИТИК — ЭТО ПЕРСОНАЖ ФИЛЬМА / МУЛЬФИЛЬМА, основанные на западной кинопродукции:

- (18) Еще в минувшем году Егор Яковлев, тогдашний начальник «Останкино», санкционировал выход на телеэкраны гнусного американского пасквиля «Утиные истории». Судите сами: одним из героев сериала был некий *молодцеватый бодряк-селезень*. Этот герой был очень деятелен, постоянно хотел приобщиться к какому-то солидному делу, однако вечно оставался на вторых ролях. Такое положение *бодряка-селезня* обижало, сердило, он пытался активничать, более энергично, чем надо, помогал своему шефу — экономически подкованной утке дяде Скуджу, — а в результате только все портил... Александр Владимирович Руцкой имел полное основание для того, чтобы расценить эту карикатуру как личный выпад. А если еще учесть, что героя звали Зигзаг (намек на изгибы политической карьеры Руцкого!), по профессии он был пилот (!) и имел неприятную привычку разбивать свои летательные аппараты при посадке (!), то карикатура получалась и вовсе злой, дерзкой и политически бестактной. *Мультипликационный Зигзаг добросовестно повторял все движения вице-президента* на ниве экономиче-

ской деятельности: упреки «команде реформ» и Гайдару лично трансформировались в бесконечные споры «на денежную тему» между *селезнем-пилотом* и его шефом-банкиром; причем все старания Зигзага научиться делать деньги заканчивались конфузом. Арбитман Р. «Сегодня», 17.08.1993.

3.5. Культурный и исторический фон М-модели ФАУНЫ. Некоторые концептуальные метафоры М-модели ФАУНЫ имеют достаточно глубокие историко-культурные корни. Одна из них (КОНТРЕВОЛЮЦИЯ / БУРЖУАЗИЯ / КАПИТАЛИЗМ — ЭТО ГИДРА / ЗМЕЯ) уже обсуждалась выше. Если эта концептуальная метафора не забыта и имеет явные корреляты-антагонисты в перестроечном политическом дискурсе, то другие довольно популярные в свое время метафорические осмысления не обнаруживают в рассмотренном материале каких-то дискурсивных корреляций. Например, метафора НЕПРОЛЕТАРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ — ЭТО ПАРАЗИТ, представленная, в частности, в широко тиражированном в советских СМИ выступлении М. Шолохова, потеряла актуальность и никак метафорически не интерпретировалась в перестроечную эпоху:

- (19) Мы избавились от шпионов, фашистских разведчиков, врагов всех мастей и расцветок, но вся эта мразь, все они, по существу, не были ни людьми, ни писателями в подлинном смысле этого слова. Это были попросту *паразиты*, присосавшиеся к живому, полнокровному организму советской литературы. Ясно, что, очистившись, наша писательская среда только выиграла от этого. Шолохов М. Восемнадцатый Съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М.: Гос. изд-во полит. лит. 1939. С. 474.

Имеющийся в корпусе пример использования метафоры ПАРАЗИТА не связан с высказыванием Шолохова, ср. (20):

- (20) Один подход — исходить из того, что коммунизм и фашизм (как и их рогатый покровитель) в онтологическом смысле — *паразиты*. Будучи не в состоянии создать ничего своего, они могут лишь паразитировать, извращая и эксплуатируя существовавшие и до них вполне нормальные явления жизни (доверие к правителю, искренние возмущения людей дурными делами, народный карнавал). Соколов М. «Независимая Газета», 16.05.1991.

Метафорически не переосмыслены и многие официальные и полуофициальные метафоры из М-модели ФАУНЫ, составлявшие органическую часть советского политического дискурса 30—50-х гг. XX в. Ср., например, (21):

- (21) Народ видит в товарище Сталине *горного орла коммунистической партии*, подобно Ленину, не знающего страха в борьбе и смело ведущего партию вперед. «Правда», 21.12.1949.

Имеющиеся в материале примеры метафоры ОРЛА не используются в качестве полемики по отношению к Сталину:

- (22) **а.** Полковник Руцкой не хочет летать *вместе с орлами* из блока «Коммунисты России» [подзаголовок]. Пеструхина Е. «Мегаполис-Экспресс», 04.04.1991. **б.** Одна журналистка, *сравнив Ельцина с орлом*, назвала Акаева «нашим компактным киргизским беркутом». В этих условиях даже противники президента не могут перебороть в себе уважения к старшему по иерархии. Нарзикулов Р. «Независимая Газета», 10.09.1991. **в.** Неужели, когда они, естественно, не выполнят ни единого из своих обещаний (а уж это-то тем более было очевидно!), колесо не замедлит развернуться еще на 180 градусов и... что же тогда? КПСС-то, понятно, не вернется, *мертвый орел* не вылетит больше из гнезда. Радзиховский Л. «Столица», 01.05.1992.

Интересно, что два примера из трех (22а) и (22в) не профилируют положительных следствий из метафоры ОРЛА.

В куда большей степени компоненты М-модели ФАУНЫ представлены в материале в сочетаниях с различными литературными и историческими персонажами и реалиями. Это уже обсуждавшиеся концептуальные метафоры ПОЛИТИК — ЭТО БУЛЬДОГ и ПОЛИТИК — ЭТО ЯСТРЕБ, а также РОССИЯ — ЭТО ПТИЦА-ТРОЙКА, ИСТОРИЯ — ЭТО КЛЯЧА. В этот же класс попадают метафоры ЛИСЫ АЛИСЫ (...*лиса Алиса обратила внимание Буратино на то, что предприятия в СССР в торговых операциях уже не употребляют денег, а меняют товар на товар, и предложила пресечь это безобразие.* Мухин Ю. «Огонек», № 44, 29.10.1990), МЕДВЕДЯ-ВОЕВОДЫ из сказки Салтыкова-Щедрина (*Развитие событий в первые послепутчевые месяцы напоминало известную сказку Салтыкова-Щедрина о новом **медведе-воеводе**, от которого все ждали злодеяний, а он начал с того, что чижика съел. И уже никакие последующие кровопролития не могли исправить его несерьезного имиджа.* Панкин А. «Независимая Газета», 29.08.1992) и целый ряд других. Иными словами, М-модель ФАУНЫ демонстрирует сочетаемость с М-моделями ЛИТЕРАТУРЫ и ИСТОРИИ.

3.6. Сравнение русского и немецкого материала. Рамки настоящей статьи не позволяют в полной мере привести и обсудить аналогичный материал немецкого политического дискурса. Укажем только основные соображения.

М-модель ФАУНЫ используется в русском политическом дискурсе эпохи перестройки более широко, чем аналогичная М-модель ТIER в немецком материале. И по относительной, и по абсолютной частоте употребления модель ФАУНЫ превышает модель ТIER: 289 (0,0133) употреблений модели ФАУНЫ против 146 (0,006594) модели ТIER.

Сравнение семантических деревьев сигнификативных дескрипторов показывает, что совпадение дескрипторов русской и немецкой частей де-

рева очень незначительно. Так, для поддерева ЖИВОТНОЕ на 165 дескрипторных пар (немецкий сигнификативный дескриптор — русский сигнификативный дескриптор) приходится лишь около 30 пар реальных соответствий, т. е. случаев, когда пара дескрипторов представлена и в русском, и в немецком материале. Некоторые поддерева вообще отсутствуют в русской части. Например, таксон СВОЙСТВА, ВНЕШНИЙ ВИД, ПОВАДКИ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ в русском материале не представлен, при том что в немецком дискурсе обнаруживаются М-модели с дескрипторами *BEUTE MACHEN* ‘поймать добычу’, *BISSIGKEIT* ‘кусачесть’, *KLAUE* ‘лапа с когтями’, *KRALLE* ‘коготь’ и т. п. Не представлены в русской части и поддерева *МЕРТВОЕ ЖИВОТНОЕ* — *TOTES TIER*, *ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ* — *VERHALTEN VON TIEREN*, *ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ* — *EINWIRKUNG AUF TIERE*. С другой стороны, в подтаксоне ЗВЕРЬ не нашлось немецких соответствий для дескрипторов *ТИГР*, *ХИЩНИК*, *ШАКАЛ*, довольно продуктивных в русском политическом дискурсе. Собственно, метафора *ХИЩНИК* — *ЭТО КАПИТАЛИСТ* относится к числу конвенциональных метафор советской эпохи, следы ее прослеживаются и в дискурсе перестройки. Подтаксон *СОБАКА* — *HUND* вообще обнаруживает дополнительное распределение русских и немецких дескрипторов. Хотя метафора с дескриптором *СОБАКА* — *HUND* есть и в русской, и в немецкой базе данных, более конкретные типы собак полностью противопоставлены:

пес	<i>Köter</i> ¹¹
бульдог	<i>Bulldogge</i>
волкодав	<i>Wolfshund</i>
гончая	<i>Jagdhund</i>
дворняжка	<i>Hofhund</i>
«декоративная» собачка	<i>Schoßhündchen</i>
злая собака	<i>scharfer Hund</i>
ищейка	<i>Spürhund</i>
легавая	<i>Bluthund</i>
сука	<i>Hündin</i>
цербер	<i>Zerberus</i>

Этот эффект можно объяснить тем, что категории небазового (по Э. Рош) уровня в существенно большей степени варьируют в метафорических процессах в различных языках, чем базовые категории типа собаки. Второе соображение связано с тем, что метафора *ТИЕР*, по-видимому, менее существенна для немецкого политического дискурса, чем для русского. Об этом свидетельствуют и данные об относительной частоте употребления М-модели *ТИЕР* по сравнению с М-моделью *ФАУНЫ*. Меньшая значимость метафорического концепта для конкретного дискурса может ослаблять

¹¹ Курсивом выделены дескрипторы, которые не использовались для описания собранных данных по соответствующему языку — русскому или немецкому. Иными словами, это просто переводные соответствия.

общие тенденции, существующие при осмыслении соответствующей этому концепту области источника, и тем самым позволять использовать практически любые его части. Это тем более справедливо для тех случаев, когда метафорический концепт вообще не существует для языковой культуры данного языкового сообщества и не представлен, например, в фольклоре, литературе и искусстве. Разумеется, последнее утверждение не относится к М-модели ТИЕР, однако то, что эта модель менее значима для немецкого политического дискурса, чем для русского, вполне очевидно. Это (вместе с фактором категорий базового уровня) объясняет столь слабые степени корреляции между сигнификативными дескрипторами русского и немецкого семантических деревьев рассматриваемой М-модели.

4. Заключение

Проведенный анализ показывает, что метафорическая модель ФАУНЫ в подавляющем большинстве случаев используется для осмысления различных политических субъектов, что позволяет ввести в рассмотрение широкий круг различных характеристик — от неповоротливости, инертности (*[Россия —] это такой медведь*) и величины (*медведь [Россия] не может быть равен суслику*) до глупости и бездумности (в почти конвенциональной метафорической проекции НАРОД / ОБЩЕСТВО — ЭТО СТАДО). Существенно, что с когнитивной и семантической точек зрения данная М-модель связана с М-моделями, формирующими различные типы ПЕРСОНИФИКАЦИИ, и фактически образует одну из ее ступеней. Важно иметь в виду, что часть употреблений М-модели ФАУНЫ относится к М-модели АНИМАЛИЗАЦИИ, т. е. к случаям «понижающей» ПЕРСОНИФИКАЦИИ, когда человек осмысляется как животное.

Довольно высокая частота употребления и глубокие культурные и исторические истоки позволяют считать М-модель ФАУНЫ (с составляющей ее М-моделью АНИМАЛИЗАЦИИ) дискурсивной практикой языка российской публичной политики.

Литература

- Баранов 2003 — А. Н. Баранов. О типах сочетаемости метафорических моделей // Вопросы языкознания. 2003. № 2. С. 73—94.
- Баранов 2004 — А. Н. Баранов. Метафорические модели как дискурсивные практики // Известия Акад. наук. Сер. лит. и яз. 2004. № 1. С. 33—43.
- Баранов, Казакевич 1991 — А. Н. Баранов, Е. Г. Казакевич. Парламентские дебаты: традиции и новации. Советский политический язык. М., 1991.
- Баранов, Караулов 1991 — А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов. Русская политическая метафора (материалы к словарю). М., 1991.

Баранов, Караулов 1994 — А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов. Словарь русских политических метафор. М., 1994.

Лакофф 2004 — Дж. Лакофф. Женщины, огонь и опасные вещи. М., 2004.

Лакофф, Джонсон 2004 — Дж. Лакофф, М. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004.

Чудинов 2001 — А. П. Чудинов. Россия в метафорическом зеркале. Екатеринбург, 2001.

Baranov, Zinken 2003 — A. N. Baranov, J. Zinken. Die metaphorische Struktur des öffentlichen Diskurses in Russland und Deutschland: Perestrojka- und Wende-Periode // Metapher, Bild und Figur. Osteuropäische Sprach- und Symbolwelten. Hamburg, 2003. S. 93—121.

Lakoff, Johnson 1980 — G. Lakoff, M. Johnson. Metaphors We Live by. London: The Univ. of Chicago Press, 1980.

И. В. НЕЧАЕВА

МОТИВИРОВАННОСТЬ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ: ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ

Как известно, наиболее распространенным способом письменного оформления заимствований является практическая транскрипция, которая заключается в записи иноязычных слов средствами национального алфавита с учетом их произношения [ЭРЯ: 568]. Иными словами, основное требование, которому должен следовать кодификатор, — это точность передачи фонемного состава этимона. Отвлекаясь от вопроса о тех общих трудностях, которые часто сопровождают процесс орфографического освоения заимствованных слов и связаны с выбором эквивалента для ряда звуков иностранных языков (при не вполне установившейся традиции их передачи в русском языке), остановимся на одной группе заимствований, для которых установление фонемного состава (и нахождение русских фонемных соответствий) оказывается недостаточным при определении способа их графического оформления в принимающем языке.

Речь идет о словах, которые, будучи заимствованными из других языков, имеют в своем составе морфемы, общие со словами уже освоенными, бытующими в русском языке. В этих случаях непраздным может оказаться вопрос о том, как расценивать данное слово: как перешедшее непосредственно из другого языка или как производное от ранее заимствованного слова. «Многие из этих альтернатив не имеют однозначного решения, и у признания того или иного слова заимствованием столько же оснований, сколько у квалификации его как словообразовательного производного» [Крысин 2004: 67]. По сути дела, налицо факт двойной мотивированности слова, т. е. (используя терминологию, введенную А. К. Казкеновой) пересечения межъязыковой мотивированности с внутриязыковой мотивированностью. «Пересечение выражается в том, что заимствования, являющиеся членами межъязыковых корреляций и в то же время непродными единицами, способны вовлекаться и в сферу мотивированных знаков принимающего языка» [Казкенова 2003: 76].

Вот несколько примеров иноязычных слов такого типа:

тренаж в ССРЯ (см. список используемых словарей) дается как производное от глагола *тренировать* и в то же время коррелирует с франц. *entraînement* (этимологическая справка здесь и далее приводится по ТСИС);

ретушёр в ССРЯ дается как производное второй ступени от существительного *ретушь* через глагол *ретушировать* и при этом коррелирует с франц. *retoucheur*;

директриса в ССРЯ дается как производное от *директор* и коррелирует с франц. *directrice*;

императрица в ССРЯ дается как производное от *император* и коррелирует с франц. *impératrice*;

магнитофон в ССРЯ дается как сложное производное от *магнит* и в то же время соотносится с нем. *Magnetophon* и франц. *magnétophone*;

сенсibiliзация в ССРЯ дается как производное от *сенсibiliзовать* и соотносится с франц. *sensibilisation* и нем. *Sensibilisation*.

Каждое из этих (и многих других) слов имеет и иноязычный этимон, и употребляющееся в русском языке производящее слово (или квазипроизводящее, если принять во внимание наличие иноязычного коррелята как доказательство факта заимствования). Это позволяет говорить о вовлечении данных иноязычных слов в сферу внутриязыковой мотивированности.

Явление, состоящее в том, что «синхронные словообразовательные отношения (мотивация) не всегда аналогичны («изоморфны») пути образования слова (производности)» [Улуханов 1992: 7—8], в том числе и для заимствованных слов, получило отражение в теоретической лингвистике. Мы хотели бы обратить внимание на орфографический аспект этой проблемы.

Это касается ситуаций, когда мы сталкиваемся с необходимостью получения русской буквенной записи некоторых неологизмов иноязычного происхождения. Задача фонетико-орфографического освоения заимствований переводит данный вопрос в практическую плоскость. При выборе способа орфографического оформления фактор обусловленности слова иноязычным этимоном и фактор мотивации его уже освоенным в русском языке производящим могут действовать разнонаправленно, что вызывает варьирование фонемного состава в корнях родственных слов. Далее приводятся иллюстрирующие это примеры, которые относятся к уже вошедшим в лексическую систему русского языка:

инженер (франц. *ingénieur*) — **инжциринг** (англ. *engineering*);

магнит (нем. *Magnet*) — **магнетик** (франц. *magnétique*), **магнетический** (франц. *magnétique*), **магнетизм** (франц. *magnétisme*), **магнетит** (нем. *Magnetit*), **магнетизер** (франц. *magnétiseur*), ряд терминов с первой частью **магнето...** (англ. *magneto*) (*магнетохимия*, *магнетоэлектрический* и др.);

дебет (нем. *Debet*) — **дебитор** (франц. *débiteur*);

инфекция (нем. *Infektion*) — **инфицировать** (нем. *infizieren*);

коррекция (нем. *Korrektion*, франц. *correction*) — **корригировать** (нем. *korrigieren*, франц. *corriger*);

реакция (франц. *réaction*, нем. *Reaktion*) — **реагировать** (нем. *reagieren*);

транскрипция (нем. *Transkription*, франц. *transcription*) — **транскрибировать** (нем. *transkribieren*);

эпилепсия (франц. *épilepsie*) — **эпилептический** (франц. *épileptique*);

сенсibelный (нем. *sensibel*, франц. *sensible*) — **сенсibilизация** (нем. *Sensibilisation*, фр. *sensibilisation*).

Исходя из приведенного материала, можно предположительно описать некоторые причины варьирования фонемного состава (и, как отражение этого, разной графической записи) однокоренных заимствований:

1. источники заимствования — разные языки (*инженер* — *инжиниринг*, *дебет* — *дебитор*);

2. наличие фонетических чередований или различия в морфемном составе этимонов (при нечленности основы слова в русском языке) (*инфекция* — *инфицировать*, *коррекция* — *корректировать*, *реакция* — *реагировать*, *транскрипция* — *транскрибировать*, *эпилепсия* — *эпилептический*, *сенсibelный* — *сенсibilизация*);

3. искаженная буквенная передача одного из заимствований, возможно связанная с неодновременностью процессов заимствования разных родственных слов (*магнит* — *магнетик*, *магнетический*, *магнетизм*, *магнетит*, *магнетизер*, *магнето*...).

Разумеется, орфографическую проблему может представлять написание только тех слов, у которых «точка противоречий» находится в слабой фонетической позиции. Поэтому случаи, когда подобные различия реализуются в ударном гласном или в согласном в предвокальном положении, мы не рассматриваем. Поскольку, как было оговорено, слова приведенного ряда относятся к уже освоенной лексике, их орфографический облик можно считать сформировавшимся (менее других это относится к слову *инжиниринг*, однако и оно уже зафиксировано в «Русском орфографическом словаре», вышедшем в 1999 г., а позднее в «Новом словаре иностранных слов» — в 2003 г. и в других, в том числе специальных, словарях). Как видим, на выбор варианта написания двойственность мотивации у этих групп слов не оказала заметного влияния, несмотря на очевидную семантическую связь у слов внутри каждой группы, отражающую семантическую и формальную связь между их этимонами. «Образы памяти» о звуковых и буквенных соответствиях в русском языке у родственных слов, о которых пишет Л. А. Глинкина [Глинкина 2002: 316], здесь не работают. Это наводит на мысль о том, что при письменной адаптации слова в принимающем языке (по крайней мере для данной группы примеров) этимологический фактор сильнее фактора морфологического. Однако существует случай иного решения подобной дилеммы. Речь идет об упомянутом ранее слове *магнитофон* (от нем. *Magnetophon* или франц. *magnétophone*), которое при наличии д в у х этимонов с [e] во втором предударном слоге «не устояло» перед влиянием русского буквенного оформления более раннего заимствования *магнит*, в результате чего закрепилось написание, характеризующееся внутриязыковой морфологической обусловленностью.

Надо сказать, что проблема написаний подобных слов осознается и рядовым носителем языка, лингвистом. В электронной справочной службе русского языка на сайте «Русские словари» время от времени появляются

вопросы типа: «почему слово *грамота* пишется с одним *м*, а *грамматика* — с двумя, если прототип у них один и тот же?» (имеется в виду прототип из греческого первоисточника *gramma* ‘письменный знак, черта, линия’); «почему слово *тренер* пишется через *е*, а *тренироваться* — через *и*, какое-то из них является исключением?». В существительном *аккомпанемент* носитель русского языка может написать *и* в четвертом слоге, проверяя его однокоренным словом *аккомпанировать*. Пишущий, в соответствии со своим школьным навыком, пытается найти проверку трудному слову, членит его на морфемы (иногда делая это неправильно). «Хотя отсылка к греческим, латинским, немецким, испанским, французским параллелям при идентификации уже доказательна сама по себе (в этих языках нет редукции гласных), для русского читателя психологически убедительна только сильная — для гласных — ударная позиция» [Глинкина 2002: 315].

Если отсутствие проверки (невозможность подобрать однокоренное слово, в котором проблемный фонемный ряд оказался бы в сильной позиции) — это реальная орфографическая трудность, то запрещение проверки (при наличии однокоренного слова с проблемным участком в сильной позиции, но иным фонемным составом) — трудность вдвойне. Запрещение проверять, к примеру, предупредительный [и] в слове *инфицировать* однокоренным *инфекция* может встретить непонимание. Но и при отсутствии проверки сильной позицией русскоговорящие склонны к идентификации корневых морфем родственных слов (что в принципе весьма положительное явление, свидетельствующее о языковой компетентности пишущего), поэтому перечисленные выше орфограммы типа *инженер* — *инжиниринг* часто вызывают недоумение.

В этой связи интерес представляет случай с заимствованием *палисад* (от франц. *palissade* ‘изгородь’), упомянутый Л. В. Рацибурской [Рацибурская 1995: 75], которое, подвергшись переработке на русской почве, начинает мотивироваться существительным *сад*, с которым имеет и формальную, и семантическую общность (*палисад*, или *палисадник*, — ‘небольшой огороженный сад перед домом’). В результате может возникнуть представление о мнимой членимости слова, что, в свою очередь, провоцирует ошибочное отождествление выделившейся первой части со словообразовательным компонентом *поли...*, имеющим на самом деле иное значение и происхождение, иной фонемный состав и иной графический облик. Конечно, здесь мы сталкиваемся с заблуждением, которое не имеет отношения к нормативной орфографии. Подобное явление квалифицируется как ремотивация, сопровождаемая усложнением (членением на морфемы) [см. Улуханов 1992: 15].

В условиях интенсивного языкового взаимодействия, наблюдаемого в настоящее время, и большого притока заимствований (в первую очередь — англицизмов) в русский язык нерешенность вопроса о критериях кодификации в подобных трудных случаях приводит к распространению орфографических вариантов. Иллюстрируют эту ситуацию такие, например, не-

ологизмы, как *хеви-метал(л) / хэви-метал(л)* (название одного из направлений в рок-музыке — «тяжелый металл»), *гексоген / гексаген* (взрывчатое вещество) и особенно активно пополняющаяся группа слов на **ре / ри**: *ремейк / римейк* (новая версия фильма, музыкального произведения и т. п.), *рерайтер / рирайтер* (сотрудник газеты или журнала, который пишет статьи на основе других публикаций), *ресейлер / рисейлер* (перепродавец товаров или услуг), *ребойлер / рибойлер* (тип нагревателя, кипятильника). Осознавая их зыбкое пока положение в лексической системе русского языка (за исключением разве что слова *гексаген*), мы в данный момент отвлекаемся от вопроса о судьбе этих конкретных слов и не беремся делать прогнозы — попадут ли они в разряд освоенных или исчезнут как слова-однодневки; суть интересующего нас вопроса от этого не меняется.

Рассмотрим приведенные примеры орфографических вариантов несколько более подробно.

Хеви-метал(л) / хэви-метал(л) (англ. *heavy metal*). Данные поисковой интернет-системы «Google»: суммируя употребления в Интернете вариантов с **э** и **е** без удвоения согласной на конце, получаем цифру более 6000; то же с удвоенной согласной — более 4000 (вопрос о написании гласной первого слога в данной статье не рассматривается). Данные словарей, которые к настоящему моменту успели зафиксировать это слово: РОС-1, РОС-2, НСИС, ССПиТ, Комлев и Черкасовы — без удвоения конечной согласной; Скляревская и Зенович дают два варианта написания. Вариант с удвоением как единственный не дает никто.

Колетание на письме конечной согласной вызывается двойственностью мотивации слова: корреляцией с английским этимологом и сближением с русским словом *металл*, семантическая и формальная общность с которым в данном случае несомненна. В орфографическом аспекте данные факторы действуют разнонаправленно, и выбор варианта написания зависит от того, какой из них должен быть расценен как более значимый. Узус отдает предпочтение этимологическому фактору, впрочем, перевес в данном случае не слишком велик. Возможно, некоторое влияние на узус оказали также первые словарные фиксации слова. Препятствием к внутриязыковой мотивации, вероятно, может служить различная акцентная структура интересующих нас коррелятов (...-*мéтал(л)* и *метáлл*), которые поэтому приходится расценивать как омографы, а не как одну лексему.

Гексаген / гексоген (франц. *hexogène*, англ. *hexogen*). Установление английского прототипа составило некоторую проблему, так как в англо-русских словарях это слово отсутствует. Источником для нас послужили данные «Encyclopedia Britannica Online» и информация с сайта www.TheFreeDictionary.com. Интернет-система «Яндекс» дает неожиданный результат: *гексаген* — около 14 000 употреблений, *гексоген* — около 74 000. Данные словарей: РОС-1, РЭС, Зенович — *гексоген*, ТСИС, РОС-2 — *гексаген*.

В данном случае первые словарные фиксации слова «действуют заодно» с иноязычными прототипами, провоцируя соответствующее (с о во

втором слоге) написание. Этим, вероятно, и объясняется описанная выше орфографическая ситуация вокруг этого слова, сложившаяся в узусе. Между тем в данном слове легко выделяются две корневые морфемы, и для русскоговорящего человека естественно поставить его в один ряд с другими сложными терминами на *гекса...*, употребляющимися в русском языке: *гексагональный*, *гексаферрит*, *гексахлоран*, *гексахлорбензол*, *гексахлорэтан*, *гексахорд*, *гексаэдр*, *гексаэдрит* (примеры из РОСа). Налицо сильная внутриязыковая мотивация, требующая аналогичного орфографического оформления для новообразований такого типа. *Гексаген* в этом ряду — единственное сложное слово, которое в ряде источников зафиксировано в ином написании. Кроме того, как отмечает Л. П. Крысин, морфема *гекса...* «входит в ряд аналогичных морфем, соответствующих именам других числительных древнегреческого языка: *тетра-* (...), *пента-* (...), *окта-* (...), *гепта-* (...). Все эти морфемы, как видим, пишутся с буквой *-а* в финальной части» [Крысин 2002: 327—328]. Эти соображения подводят к логическому выводу: следует «рекомендовать единственно правильный орфографический облик этого термина: *гексаген*» [Там же: 328].

Действительно, в данном случае влияние внутриязыковой мотивации осуществляется сразу по двум направлениям: словами, однокоренными по первой части *гекса...*, и словами того же тематического ряда с частями *тетра...*, *пента...* и др. Однако узус показывает, что силу этимологического фактора преодолеть нелегко. Возможно и иное объяснение сложившейся в узусе ситуации: влияние других иноязычных аналитических прилагательных на гласную типа *авто...*, *видео...*, *гелио...*, *гидро...*, *порно...* и др., большинство из которых оканчивается на **-о**. Ср. примеры сложных слов со второй частью *...ген*: *автоген*, *неоген*, *палеоген*, *галлюциноген*, *канцероген*, *гликоген*, *гематоген* и др. Сближение с ними орфограммы *гексоген* / *гексаген* следует, видимо, назвать ложной мотивацией. Возможное рассмотрение гласной **-о-** второго слога в качестве интерфикса не имеет оснований, так как начальная морфема слова не относится к корням, участвующим в сложениях по такой словообразовательной модели. И все-таки остается вопрос: насколько статистические данные должны быть убедительны для кодификатора? Как быть со столь явными предпочтениями узуса? Вопрос этот весьма актуален для сегодняшней ситуации вокруг заимствований, когда слова в массовом порядке попадают в обиход гораздо раньше, чем получают полноценное лексикографическое описание. Однако, нам кажется, следует исходить из того, что распространенность ошибки, как правило, не меняет ее статуса.

Приведенные ниже англицизмы имеют структурную общность: в их составе этимологически выделяется формант **ре / ри** (англ. *re* со значением повторности действия или совершения действия по-новому). По происхождению это отглагольные существительные. По произношению первый гласный ближе всего соотносится с русским [и].

Ремейк / римейк (англ. *remake*). Данные поисковой интернет-системы «Яндекс»: *ремейк* — около 75 000, *римейк* — около 100 000 употреблений. Данные словарей: РОС-1, РОС-2, НСИС — *ремейк*, Складская, Зенович — *римейк*. ТСИС, ССПиТ, Черкасовы, Комлев дают оба варианта.

Рерайтер / рирайтер (англ. *rewriter*). Данные поисковой интернет-системы «Яндекс»: *рерайтер* — 548, *рирайтер* — 162. В словарях этого слова нет.

Ресейлер / рисейлер (англ. *resaler*). Данные Интернета: *ресейлер* — 295, *рисейлер* — 156. Словари, в которых слово зафиксировано — ТСИС и РОС-2 — дают написание с буквой *е*.

Ребойлер / рибойлер (англ. *reboiler*). Употребления в Интернете распределены между вариантами примерно поровну: *ребойлер* — 70, *рибойлер* — 64. В словарях слово не зафиксировано.

Законодатель в области орфографии «Русский орфографический словарь» (М., 1999) фиксирует пока лишь два из названных неологизмов: *ремейк* и *ресейлер*. Гласный первого слога передается там буквой *е*. Такой выбор способа орфографической передачи основывается на том соображении, что первый слог английского прототипа вычленяется как приставка. Иноязычная по происхождению приставка *re...* с тем же значением описывается во многих словарях русского языка (в основном в словарях заимствованной лексики), возводится к латинскому первоисточнику (через посредничество французского) и пишется с буквой *е*. Выбор написания этих слов вопреки точности передачи произношения в языке-источнике обусловлен отождествлением начальной морфемы с заимствованной ранее иноязычной приставкой *re...*

Особенность данного случая в том, что мы имеем дело не с однокоренными, а с «одноприставочными» словами, ряд которых, кстати говоря, постоянно пополняется, поэтому, естественно, решение о написании одного слова должно распространяться на все аналогичные случаи. Но, несмотря на эту особенность, в основе проблемы лежит та же антиномия межъязыковой и внутриязыковой мотивированности слова. Мотивированность этимологом предполагает орфографическую запись в соответствии с английским произношением (**ри**); внутриязыковая мотивированность предполагает запись морфемы аналогично тому, как данная морфема пишется в других словах русского языка (**ре**).

Два вопроса требуют уточнений. Первый — это вопрос о членимости упомянутых слов, т. е. о степени выделения в них префикса, что происходит, разумеется, на этимологическом уровне, так как слова заимствованы целиком и не имеют в русском языке производящего (изменение характера межморфемных границ в слове при заимствовании его другим языком — обычное явление). Возникает предположение, что оставшиеся компоненты — *-мейк*, *-райтер* и *-сейлер* — являются несвободными и обладают связанной или остаточной членимостью (степень членимости у них неодинакова). Корень *-мейк* в связанном виде встречается в заимствованных сло-

вах на ...*мейкер* (например, *имиджмейкер*, *клипмейкер*). Эти слова употребляются относительно широко, чего не скажешь о словах с корнями *райтер* и *сейлер*. Но в Интернете есть случаи употребления последних как узкоспециальных слов в следующих значениях: *сейлер* — ‘специалист по продаже различных объектов — рекламного времени, объектов недвижимости и др.’; *райтер* — термин сферы бизнеса — ‘лицо, которое берет обязательство продажи и покупки основных ценных бумаг по опционной цене’. Последнее по семантике не связано с англицизмом *перрайтер* / *рирайтер* (см. приведенное выше значение), что ослабляет его влияние на членимость приставочного заимствования. Есть еще слово *сидирайтер* (‘устройство для записи компакт-дисков’). Все упомянутые слова относятся к специальным сленгам и малоизвестны. Более свободной членимостью обладает последний англицизм — *ребойлер* / *рибойлер*, так как в русском языке уже утвердилось более раннее заимствование *бойлер*, имеющее сходное значение.

Как видим, степень членимости у данных слов различна, но правописание должно быть унифицированным, так как этимологически эти слова включают одну и ту же морфему. Решение вопроса о степени вычленения корней откладывается до поры, когда определится круг однокоренных заимствований. Однако приведенная ранее «интернет-статистика» ставит под сомнение зависимость выбора буквы *е* в первом слоге от морфемного состава (речь идет об узусе). Ведь чем более известно слово, тем оно понятнее и тем легче поддается морфемному анализу. Между тем у самого употребительного из четырех неологизмов — слова *ремейк* / *римейк* — количественные показатели употреблений не свидетельствуют о приоритете морфологической мотивированности. Это наводит на мысль о возможном влиянии в узусе у слов на *ре...* побуквенного способа передачи иноязычного прототипа (транслитерации). То есть в данном случае мы имеем дело не с борьбой этимологического и морфологического факторов, а с антиномией транскрипции и транслитерации как двух (пусть неравноправных) способов письменного оформления заимствований. У англицизмов на *ре...* внутриязыковая мотивация написания слабее, чем, скажем, у слова *гексаген*, морфемная структура которого не вызывает сомнений.

Второй требующий уточнений вопрос — это вопрос о правомерности отождествления выделяемого в этих словах префикса с заимствованным ранее префиксом *ре...*, имеющим иное происхождение: из латыни через французский язык. Слова, образуемые с этим префиксом, — в основном интернационализмы, употребляемые во многих языках, также восходящие к латыни и потому обладающие иной степенью членимости (*реабилитация*, *реадаптация*, *реанимация*, *ревалоризация*, *ревизия*, *регенерация*, *регрессия*, *реинкарнация*, *рекогносцировка*, *Реконкиста*, *рекреация*, *релаксация*, *реминисценция*, *реорганизация*, *репатриация*, *репрессия*, *реформизм*, *рецидив* и др.). По значению префиксы совпадают, но они не совпадают по произношению в языке-источнике. Это различие также может служить

препятствием к унифицированной письменной передаче данных морфем в принимающем языке.

В случае принятия написаний типа *ремейк*, *рерайтер* и др. на основе вычленения интернациональной приставки *ре...* перед пишущим встает задача принципиального различения этих слов со словами типа *ритейлер* (лицо или организация, занимающиеся розничной реализацией товаров или услуг, англ. *retailer* от *retail* ‘продавать в розницу’) и *риелтор* (англ. *realtor* от *realty* ‘недвижимость’), которые не имеют в своем составе приставки и при том же способе произнесения первого слога у английского прототипа должны писаться иначе: с буквой *и*. Это представляет собой реальную орфографическую трудность. Чтобы разграничить эти случаи, пишущий должен произвести такую непростую операцию, как морфемный анализ иноязычного слова. В случае его неспособности это сделать, что наиболее вероятно для большинства носителей русского языка, не остается ничего другого, как определять написание традиционным способом — в словарном порядке.

Итоговая картина такова: неологизмы на *ре...* попадают в два ряда соотношений: ряд английских заимствований с начальным слогом, произносящимся как [ри], типа *риелтор*, и ряд неанглийских заимствований, имеющих этимологически тот же префикс, типа *реорганизация*. По сути, вопрос выбора здесь — это вопрос о приоритете единства передачи морфемы или точности передачи звука, осложненный межъязыковым взаимодействием.

В ситуации, когда все так неясно, выбирать единственное написание затруднительно. Кодификатору, дерзнувшему сделать это, придется ответить на вопросы: 1) должна ли английская приставка *ре...* передаваться так же, как латинская *ре...* интернационализмов, пришедшая к нам через французский, если у них различное произношение в языке-источнике? и 2) на что следует ориентироваться: на написание слов того же происхождения и с тем же произношением, но иного морфемного состава или слов аналогичного морфемного состава, но иного происхождения и произношения в языке-источнике? Любой выбор небесспорен.

Основываясь на предположительном приоритете морфологических написаний и на опыте приведенных выше словарных кодификаций типа *ремейк* и стремясь к последовательности, приходим к следующему: если в каком-либо иноязычном слове можно выделить морфему, соотносимую с аналогичной морфемой в другом слове, то эти морфемы должны писаться одинаково. Однако есть примеры иных кодификаторских решений. В слове *уик-энд* (англ. *week-end*, *weekend*) узнается морфема *-энд*, вычленяемая и в другом англицизме — *хеппи-энд* (англ. *happy end*); следовательно, логично предположить, что в русском языке соответствующие части этих слов имеют единый орфографический облик. Между тем мы встречаем зафиксированное в некоторых словарях написание *уикенд*. Вероятно, принимая это решение, лексикографы руководствовались иными соображениями. В сходных случаях основанием для принятия решения служат различные

критерии кодификации, место и значимость которых теоретически не определены.

Итак, можно констатировать, что фактор двойственной мотивации некоторых заимствований способен оказывать влияние на их написание, усиливая фонетико-орфографическую вариативность. Являясь отражением иноязычного прототипа и существуя в лексической системе русского языка, иноязычное слово одновременно испытывает влияние двух языков, что отражается, в частности, на его письменном облике.

Внутриязыковая мотивация слова в этом случае не тождественна словообразовательной мотивации. «Мотивирующие в парах, состоящих из заимствованных слов, не могут рассматриваться как производящие, поскольку словообразовательный процесс на русской почве между членами этих пар не имел места: оба члена были заимствованы и в заимствующем языке образовали словообразовательную пару» [Улуханов 1992: 15]. Кроме того, отношения внутриязыковой мотивированности могут касаться не только однокоренных слов, между которыми теоретически возможны отношения производности, но и любых пар или групп слов, имеющих в своем составе общие морфемы, идентифицируемые на основе их формального и семантического сходства.

В этих случаях при выборе способа орфографического оформления слова можно говорить о применении морфологического принципа орфографии (в другой терминологии — принципа опоры на орфографический прецедент, см. [Лопатин]), который предполагает единство написания идентифицируемой морфемы у всех слов в любых позиционных условиях.

Действие данного принципа могут ограничивать некоторые свойства рассматриваемых лексем, как то:

- более слабая членимость или затрудненность членимости заимствованного слова по сравнению с иноязычным прототипом;
- различие в акцентной структуре соотносимых корневых морфем, что затрудняет их идентификацию;
- различное этимологическое происхождение коррелирующих иноязычных элементов (принадлежность их к разным языкам — источникам заимствования).

Усиление действия внутриязыковой (морфологической, морфемной) обусловленности может быть связано с наличием в языке ряда слов той же тематической группы, имеющих сходное графическое оформление.

Не исключено, что в процессе употребления заимствований, по мере их освоения в языке-рецепторе действие межъязыковой мотивации будет ослабляться. Она актуальна, пока иноязычное происхождение слова ощущается носителями, пока чужое слово противопоставляется своим.

Обычно исследование орфографических проблем имеет конечной целью установление норм письменного употребления. Достижение этой цели

осложняется при наличии разнонаправленных факторов, влияющих на написание. То, какая из возможностей, предоставляемых системой языка, будет признана нормативной, определяет выбор кодификатора. Когда существует традиция выбора из различных возможностей, тогда орфография единообразна. Когда же выбор в той или иной степени случаен, закрепление нормы в сознании носителей и письменной практике затруднено.

Описанная здесь проблема — всего лишь одна из многих проблем письменной адаптации заимствованных слов в системе принимающего языка, когда происходит борьба критериев при решении вопросов кодификации. Мы видели, что вопрос о предпочтениях в ориентации на межъязыковые или на внутриязыковые корреляты порой решается по-разному. Какой критерий должен быть признан доминирующим — при обсуждении этой темы вопросительную интонацию пока никак не удается сменить на утвердительную. Возможно, «такая двойственность и даже множественность в квалификации одних и тех же фактов языка не является дефектом лингвистического анализа, а отражает объективные свойства языковых единиц, при интерпретации которых вполне допустим так называемый принцип неединственности решений» [Крысин 2004: 71]. Разрешение исследуемой проблемы осложняется тем, что она связана с экстралингвистическими факторами и зависит от распространения в обществе людей, владеющих иностранными языками (прежде всего английским), с одной стороны, и от степени интереса к своему родному языку — с другой.

Однако «штучный» подход к каждому конкретному случаю, случайность выбора (в противовес его системности) недопустимы. Логичность кодификации облегчает усвоение норм, непоследовательность в однотипных случаях порождает нигилизм по отношению к нормам. В этой ситуации нетерпимость к вариантам в орфографии, представление о том, что написание всегда должно быть единственным, — возможно, не самое лучшее решение. Поскольку не всегда можно сделать полностью обоснованный, лишенный субъективности выбор, «меньшим злом», нежели вероятная ошибка в кодификации, было бы, на наш взгляд, допущение вариативности в письменном употреблении иноязычного слова в процессе его адаптации.

Отношение к орфографическим вариантам как к закономерному явлению для некоторых лексических групп постепенно завоевывает позиции в теоретической орфографии. О возможности смягчения правописных норм и приемлемости двояких написаний в отношении слитно-дефисно-раздельных орфограмм писала С. М. Кузьмина: «Главный довод в пользу допущения вариативности — наличие в языке переходных, промежуточных, трудноразграничиваемых явлений, допускающих разную трактовку. Есть случаи, когда нельзя найти идеальное орфографическое решение, например для слитного-раздельного написания наречий. В этих случаях кодификаторам неизбежно, и притом нередко, приходится принимать достаточно условное решение, которое именно в силу условности и возможности двойной интерпретации провоцирует ошибки» [Кузьмина 2004: 170].

Распространение такого взгляда на варианты написания заимствований, характеризующихся двойной мотивированностью, представляется нам вполне логичным, несмотря на то, что в данном случае это касается буквенной передачи слов, а не слитно-дефисно-раздельных написаний. Но надо сказать, что и это не такое уж новшество в русской орфографии: на протяжении многих лет в русском языке существуют варианты *галеон / галион* (что обусловлено параллельным заимствованием этого слова из испанского и французского языков), и только в РОСе-1 (1999 г.) сделана попытка избавиться от одного из вариантов. В области иноязычной неологии узаконение орфографической вариативности могло бы избавить кодификаторов от принятия условных решений.

Это не означает допущение анархии в письменную сферу языка; существование вариантов можно и следует попытаться ограничить лишь теми случаями, где невозможно однозначное решение, где выбор неочевиден, где написание зависит от одновременного действия нескольких факторов. Оправданность прогноза, какой именно из вариантов закрепится в языке, в начале функционирования слова в речи не может быть стопроцентной, а значит (при выборе единственного написания), останутся случаи, когда рекомендации придется изменить. Изменения написания слова в словарях от издания к изданию сбивают с толку компетентного в орфографии носителя языка, оказывают раздражающее действие на человека, который вдруг в один момент из грамотного превращается в неграмотного, и подрывают доверие к изданию, в котором происходят такие метаморфозы. Поэтому мысль «о важности разработки стратегии и тактики нормализаторской деятельности» [Кузьмина 2004: 169] представляется весьма актуальной. К иноязычным заимствованиям это имеет прямое отношение. В данной сфере предпочтительнее, на наш взгляд, постепенное освобождение от орфографических вариантов по мере освоения неологизмов в письменной речи.

Словари и энциклопедии

Зенович — Е. С. З е н о в и ч. Словарь иностранных слов и выражений. М., 2000.

Комлев — Н. Г. К о м л е в. Словарь иностранных слов. М., 2000.

НБАРС — Новый большой англо-русский словарь: В 3 т. / Под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. М., 1993—1994.

НСИС — Е. Н. З а х а р е н к о, Л. Н. К о м а р о в а, И. В. Н е ч а е в а. Новый словарь иностранных слов. М., 2003.

НФРС — В. Г. Г а к, К. А. Г а н ш и н а. Новый французско-русский словарь. М., 1993.

РОС-1 — Русский орфографический словарь / Под ред. В. В. Лопатина. М., 1999.

РОС-2 — Русский орфографический словарь. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. В. В. Лопатина. М., 2005.

РСЭ — Российский энциклопедический словарь: В 2 т. М., 2000.

Скляревская — Толковый словарь современного русского языка: Языковые изменения конца XX столетия / Под ред. Г. Н. Скляревской. М., 2001.

ССПиТ — Словарь современных понятий и терминов. 4-е изд., дораб. и доп. / Сост., общ. ред. В. А. Макаренко. М., 2002.

ССРЯ — А. Н. Т и х о н о в. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985.

ТСИС — Л. П. К р ы с и н. Толковый словарь иноязычных слов. 5-е изд. М., 2003.

Черкасовы — Л. Н. Ч е р к а с о в а, М. Н. Ч е р к а с о в а. Современный толковый словарь иностранных слов. Ростов н/Д, 2000.

ЭРЯ — Русский язык: Энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1997.

Л и т е р а т у р а

Глинкина 2002 — Л. А. Г л и н к и н а. Орфографические трудности в аспекте фонемной теории русского письма // Аванесовский сборник. М., 2002. С. 311—318.

Казкенова 2003 — А. К. К а з к е н о в а. Мотивированность заимствованного слова (на материале современного русского языка) // Вопросы языкознания. 2003. № 5. С. 72—80.

Крысин 2002 — Л. П. К р ы с и н. Заметки об иноязычных словах // Аванесовский сборник. М., 2002. С. 323—329.

Крысин 2004 — Л. П. К р ы с и н. Заимствование или словообразование? // Л. П. К р ы с и н. Русское слово, свое и чужое. М., 2004. С. 66—71.

Кузьмина 2004 — С. М. К у з ь м и н а. Норма в орфоэпических и орфографических словарях // Русский язык сегодня. Вып. 3. М., 2004. С. 165—171.

Лопатин — В. В. Л о п а т и н. Проблемы нормирования и опыт орфографической работы. www.gramota.ru.

Рацибурская 1995 — Л. В. Р а ц и б у р с к а я. Уникальные части в заимствованных словах // Русский язык в школе. 1995. № 1. С. 73—76.

Улуханов 1992 — И. С. У л у х а н о в. Мотивация и производность (о возможностях синхронно-диахронического описания языка) // Вопросы языкознания. 1992. № 2. С. 5—20.

Ф. Р. МИНЛОС

РИФМОВАННЫЕ СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ. РЕДУПЛИКАЦИЯ И ПАРНЫЕ СЛОВА*

В материале, который рассматривается в данной статье, со структурной точки зрения выделяется по крайней мере три вида явлений: «парные слова» (устар. и диал. *кутить-мутить*)¹, мотивированная (*шурин-мурин* в песне) и немотивированная редупликация (*кохтырь-нохтырь* в загадке). Все они имеют одну общую черту, которая выглядит «внеструктурно»: состоят из двух элементов, объединенных рифмой. Совместное рассмотрение парных слов и редупликации вполне традиционно для конкретных описаний (в частности, в отечественном востоковедении). В целом существуют как формальные, так и семантические мотивы для их объединения; однако в рассматриваемых нами фольклорных текстах редупликация и парные слова несопоставимы с точки зрения семантики, так как семантика редупликации в этих текстах остается довольно неясной, а структура парных слов в целом вполне поддается семантическому осмыслению. Поэтому в основу нашего рассмотрения будет положено не семантическое, а очевидное формальное сходство редупликации с некоторыми парными словами, а именно рифмованность. Имеющийся материал объединяют в единое целое еще два факта: во-первых, сходные или одинаковые контексты использования этих сочетаний, во-вторых, существование таких промежуточных случаев, которые нельзя однозначно отнести ни к редупликации, ни к сочетаниям.

Парными словами называют синтаксически и семантически слитные сочетания вроде *поить-кормить*, *золото-серебро*, *сильный-могучий*, характерные для русского фольклора. Однако для наших целей важнее не специфическая синтаксическая реализация, а существование достаточно устойчивой пары, которая *может* реализовываться как парное слово. Поэтому наряду с собственно парными словами (например, *хитра-мудра*) мы будем рассматривать сочинительную реализацию тех же парных сочетаний (*хитрый да мудрый*).

* Статья написана в рамках проекта 10002-251/ОИФН-01/242-239/110703/1047 и при поддержке гранта РГНФ № 05-04-04-051а.

¹ Отсутствие ударения в части примеров обусловлено тем, что его нет в источниках.

Теоретическое исследование редупликации обычно отталкивается прежде всего от продуктивных процессов добавления к самостоятельно существующему слову его копии, иногда неточной или неполной, при котором модифицируется значение исходного слова (например, рус. разг. *бумажки-шмажки* ‘разные бумажки и что-то подобное; говорящий относится к ним с пренебрежением’ от *бумажки*). Этот случай определен в [Marantz 1982] как «двуплановое» (bimodal) явление (т. е. не поверхностное, а имеющее соответствие в плане означаемого).

От этого основного случая возможны отклонения. Естественно, сложнее (а для решения некоторых задач и совершенно излишне) анализировать такое в целом непродуктивное и нерегулярное явление, как слова, которые включают сегментный повтор, но при этом не произведены от какого-либо другого слова или морфемы (скажем, рус. разг. *тыры-пыры*). Для описания данного противопоставления, т. е. отличия *бумажки-шмажки* от *тыры-пыры*, будем пользоваться терминами мотивированная ~ немотивированная редупликация [Рожанский 2000: 345—346]. Кроме того, возможна незначащая (термин И. А. Мельчука) редупликация, когда с ней не связано никакое значение. У Мельчука речь идет о незначащей редупликации как морфонологическом чередовании при присоединении суффикса, однако наш материал ставит и другую проблему: фольклорная редупликация появляется только в текстах, в которых обычные слова теряют свою семантику и свободно чередуются с заумью, и неудивительно, что и сама редупликация является там незначащей.

Таким образом, специфика нашего материала (наличие немотивированной и незначащей редупликации) заставляет выделять редупликацию как чисто поверхностное явление, как сегментный повтор. Кроме того, желательно, чтобы теория редупликации формально объясняла бы и существование сочетаний, удовлетворяющих той же фонетической модели, что и редупликация (рифмованные пары, в которых второй элемент начинается с губного, чаще всего с [м]). Иными словами, должно быть дано объяснение фонетической закономерности, общей для разных структурных типов. Одно возможное направление для такого объяснения — это аналогия. Например, Роман Jakobson предложил считать, что немотивированная редупликация и сочетания вроде *целует-милует* возникают по аналогии с мотивированной редупликацией [Jakobson 1979]. Другая возможность — описывать строение этих сочетаний таким образом, чтобы общее было обнаружено в самом их строении.

1. Парные слова и сходные сочетания. Для художественного текста форма актуальнее, чем для обыденного. Кроме того, фольклорный текст отличается своей формульностью, наличием большого количества устойчивых сочетаний; неудивительно, что такие сочетания могут в фольклорном тексте выступать как микротексты, построенные по определенным формальным законам. Подобными микротекстами являются и идиоматические сочетания обыденного языка. При этом для таких сочетаний, как уже

сказано выше, характерна не просто рифмованность, а еще и тенденция к употреблению в качестве второго элемента слов, которые начинаются с губных согласных. Ниже мы представим обзор материала, добавив к известным примерам некоторые не отмеченные ранее случаи.

Роман Якобсон в обширном примечании к статье об авангардной поэзии подытожил материал по рифмованным сочетаниям, который уже отчасти был собран в статье Н. Н. Дурново ([1902]); повторим основные его примеры: *жил-был, целует-милует, шатается-мотается, сею-вею, шила-мыла* (а также *шильце-мыльце*), *не трошь-не ворошь, калина-малина, Дарья-Марья, сусло-масло* [Якобсон 1979].

Пожалуй, традиционный сказочный зачин *жили-были* (которому посвящена целая монография [Ткаченко 1979]) является самым хрестоматийным примером не только рифмованного сочетания, но и вообще парного глагола в русском языке. Отметим, что существуют некоторые случаи использования этого сочетания в других контекстах, например в любовных севернорусских заговорах: *как рыба не может жить без воды, мертвец без земли, так бы и раб Божий Михаил без Анны не мог ни жить, ни быть* [Адоньева 1993, № 566, сходные тексты — № 560 и № 563].

В идиомах обыденного языка довольно необычно используются фольклорные устойчивые сочетания. Так, фольклорное сочетание *шильце-мыльце* (например, белоз., из детской игры *за шильце, за мыльце* [Морозов и др. 1997: 102]) имеет аналогию в рус. разг. *шило-на-мыло* и в диал. карельск. *ш́ило-мýло* 'ничего' [Герд, 3: 278].

Для парных сочетаний в русском фольклоре характерно наличие двух-трех, а иногда и больше сочетаний, первый элемент которых имеет одну и ту же основу (или корень): *спать-дремать ~ спать-почивать, биться-ратиться ~ биться-драться, бить-лупить ~ бить-ломить ~ бить-колотить ~ бить-ранить ~ бить-казнить, бежать-скакать ~ выбегать-выгребать, кричать-реветь ~ кричать-гикать ~ крик-вопливо; стукнуть-брякнуть ~ стучать-греметь ~ стук-звон*. Это связано с семантической структурой сочетания: первое слово имеет обычно более общую семантику, а второе «уточняет» ее. В частности, среди рифмованных сочетаний можно отметить целую серию сочетаний с *шататься* в качестве первого элемента: *шататься-мотаться, шататься-болтаться, шататься-пытаться и шататься-валяться*. Довольно часто эти пары используются с отрицанием, например *не увидел старец он, Игренище, во всех четырех во сторонушках никаких людей: не шатаются-не мотаются* [Кирша Данилов, № 46, 288—289]. Сочетание *шататься-болтаться* в севернорусском заговоре связывает устойчивость столба с привязанностью коровы к дому: *Вот поставлен столб, крепко-накрепко, не шатаецы, не болтаецы, так и раба Божья ... должна этого хозяина или двора держаться, не шатаюци, не болтаюци, этого двора держацы* [Адоньева 1993, № 247]. Пара *шатать & валять* тоже встречается с отрицанием: разг. *ни шатко, ни валко, не шатайся-ка, сказал, не валяйсы во полюшке, трава* [Соколовы II, лирич.,

№ 455], *ни кавыл ли трава, травушка шатайтца, што шатался, валялся задуша мой* [Киреевский, № 32].

Тут нельзя не упомянуть проблему вариативности в порядке следования элементов сочетания. В основном рифмованные сочетания, как и парные слова вообще, обладают характерным свойством «непереставимости» (ср. термин *irreversible binomials*, предложенный в статье [Malkiel 1959]). Однако, конечно, ситуация не такая стерильная, как хотелось бы, часто парные слова существуют в двух равноправных вариантах, различающихся последовательностью компонентов. Для рифмованных слов свободная вариативность менее характерна, так что, встречая «неправильную» последовательность *валять & шатать* (*ни валяй, ни шатай, мороз, сосну* [Киреевский, № 27]), мы имеем смелость просто назвать ее отклонением. Еще одним отклонением, видимо, следует признать *пышет & дышит* (тамб., в загадке *не пышет, не дышит* [СРНГ, 30: 271]), существующее наряду с более правильным фонетически *дыхнуть & пыхнуть* (*ни дýchнуть, ни пýchнуть* [ПОС 10: 87]).

Возвращаясь к сочетаниям с глаголом *шататься*, упомянем пару *шататься-пытаться*, известную из смоленских «волошебных» песен (вид колядок, исполняется в канун Пасхи). Это записи В. Н. Добровольского: *ишли-брели волошебнички шаталися пыталися* [Шаповалова, Лаврентьева 1998, № 105]; *ишли-брели волошебники, Христос воскрес сын Божий, шаталися-пытателя, к своему двору припытателя* [Там же, № 109]; в СРНГ с атрибуцией «смол., 1890» приводится почти тождественный текст ([СРНГ, 31: 362]) и несколько иной его вариант: *яны идут, шатаются, шатаются, пытаются, того села великого, того села богатого* [СРНГ, 33: 202].

Сочетание существительных *калинка-малинка* известно прежде всего из песенных припевов вроде *калинка моя, малинка моя* [Соколовы II, хоров., № 368], *раскалинушка, размалинушка* [песня, Нолин. Вят., СРНГ, 34: 107]. Это сочетание не образует парного слова *калина-малина*, т. к. *калина* и *малина* не являются ни близкими синонимами, ни характерными представителями какого-либо множества; они скорее не сливаются, а противопоставлены в тексте: *ты, большой-ет сын, ссеки калинушку, а середний сын, ссеки малинушку, а меньшей-ет сын, ссеки рибинушку* [Соколовы II, рекрут., № 602], *на этом-то на кáмёшке кáлина растёт, на этой-то на кáлине мáлина растёт* [Соколовы II, обряд., № 138], *по мосточкам по калиновым, переводочки малиновы* [Там же, № 264]. В диалектной фразеологии и в этом случае находим устойчивое сочетание сильно переосмысленным — карельск. *в калину да в малину* ‘очень сильно, до алого цвета (о раскаленном железе)’ [Герд, 3: 192].

Самое частотное рифмованное сочетание прилагательных в русском фольклоре — это *хитрый & мудрый* с разными вариациями: *она хитрая была и мудрая* [Кирша Данилов, № 49, 303²], *а и нет меня хитрея-мудрея*

² Так как в имеющемся у нас издании строки не пронумерованы, после номера текста указан номер страницы.

[Там же, № 9, 90]; *хитра-мудра* [Болонев и др. 1997, № 9], в волог. загадке *хитру, мудру, недогадливу* [Шейн, СРНГ, 21: 18], в заговоре *хитрый да мудрый* [Адоньева 1993: 150]; другие морфологические варианты: *я-де тебе хитрея и мудренея* [Кирша Данилов, № 9, 91], *загадаю им загадку ни хитрую, мудрину, ниогадливую* [Киреевский, № 19: 22—23], *много хитрости, много мудрости* [Соколовы, обряд., № 78]. Рифма здесь неточная, но чередование [и] ~ [у] встречается в русских рифмованных сочетаниях, например в считалочных сочетаниях *квинтер-кунтар* и *титики мутики*, в имени сказочного персонажа *Сивка-Бурка* или в рус. разг. *зигзуг* (вариант литературного *зигзаг*).

Можно привести еще несколько рифмованных пар: *жарить & парить* (известно по крайней мере из строчки *цыплёнок жареный, цыпленок пареный*); карельск. *тыкаться да мыкаться* ‘препираться’ [Герд, 3: 277]; *шырчать, пырчать* (в загадке: *шырчит, пырчит, в штанах торчит, сверху-то залупилось, красным девкам полюбилось* (незрелый орех, Спасск. Казан., [СРНГ, 33: 198]). Конечно, приведенный здесь материал является лишь довольно случайной выборкой, однако едва ли более систематическое изучение тех или иных текстов сможет принципиально изменить общую картину.

2. Мотивированная редупликация. Чтобы описать соотношение основы и копии при редупликации, необходимо воспользоваться двумя независимыми признаками. Возьмем термины И. А. Мельчука (формальные определения, которые дает Мельчук, привязаны к очень специфическому для его системы понятию «редупликант», поэтому не приводятся здесь): редупликация может быть точной и неточной (копия имеет или не имеет сегментные отличия от основы), а также полной или неполной (копия полностью повторяет основу или усекается по просодическим причинам, как в рус. *бумажки-шмажки*).

Нильс Тан в самом начале своей монографии [Thun 1963], посвященной редупликации в английском языке, отмечает следующую терминологическую проблему. Есть два принципиально разных способа характеризовать такие слова, как *helter-skelter* или *tick-tack*: при одном возможном подходе их можно рассматривать как результат удвоения (doubling) простых единиц с изменением одной из фонем (или двух стоящих рядом фонем); при другом подходе подчеркиваются фонетические характеристики их соотношения: *helter-skelter* — это «рифмованное слово» (rime word), *tick-tack* — «аблаутное» (ablaut word). С одной стороны, термин «редупликация» позволяет рассматривать обсуждаемые слова наряду с точными повторами (*tick-tick*); с другой стороны, «редупликативные» термины (редупликация, удвоение, повтор) недостаточно специфичны, не подчеркивают существенные особенности (dominant features) рассматриваемых слов.

Неточность редупликации в рассматриваемых случаях, как и рифмованность, является конституирующей особенностью, поэтому в нашей работе можно довольно естественно отрывать неточную редупликацию от точной. Конечно, в русском фольклоре есть повторение целых словоформ

вроде *шел, шел*, но оно явно относится к ведомству синтаксиса и никак не затрагивает морфологию или морфонологию, а редупликацией называют преимущественно морфологическое / морфонологическое явление (повтор словоформ можно называть синтаксическим повтором). Тем не менее по крайней мере в одном месте граница между редупликацией и синтаксическим повтором оказывается прозрачной: а именно в зачинах апеллятивных фольклорных текстов, где неточная редупликация является вариантом точного повтора (удвоенного обращения).

В самом деле, в некоторых ритуальных фольклорных текстах обращения к адресату (например, к *коляде*) допускают не только обычный для зачина фольклорных апеллятивных текстов синтаксический повтор (вроде *Коляда, коляда!*), но и неточную редупликацию: *Калёда-малёда, // Дома ли хозяин?..* [Померанцева 1973: 123]; влад. *Коледа, маледа, // где была?* [Тихонравов 1858: 3]; моск. *Коляда, маляда, // Пришла коляда...* [Ананичева и др. 2001, № 119]; *Киледа, миледа! Подай конец пирога*, Горох. Влад. [СРНГ, 13: 207]. Сходным образом в белорусской детской потешке: *ласячка-басячка, дзе была?* [Барташэвіч 1972, № 395] существует наряду с *ласачка, ласачка, дзе была?* [Там же, № 396]. В зачине святочной песни *усени* уже, возможно, не воспринимается как апеллятив, однако вариации те же: *Усени, ой усени... / Усени, усени...* [Ананичева и др. 2001, № 112, 120] ~ *Усени-масени!* [Там же, № 113] (ср. рефрен *Таусин, Маусин* [Болонев и др. 1997, № 83]). Что-то подобное обнаруживается и в русском разговорном языке, где наряду с шутивно-ироническим обращением *мусик* и его точным повтором *муси-муси* отмечены формы неточной редупликации *муси-пуси / муси-люси / музи-зюзи* [Елистратов 2000: 259].

При объяснении этих случаев можно пойти по диахроническому пути и предположить, что формы с неточной редупликацией здесь прямо происходят из форм с точным синтаксическим повтором, т. е. имеет место диссимиляция *коляда, коляда > коляда, моляда*, причем благодаря действию такого морфонологического механизма происходит некоторое «спаивание» двух элементов в одно слово (универсальный процесс «морфологизации», т. е. превращения отдельных слов в части слова, см. [Плунгян 2000: 34]). Мы бы, однако, не настаивали на диахронической реальности такого развития. В любом случае механизм диссимиляции является ключевым не только для объяснения подобных примеров, но и для объяснения неточной редупликации в целом.

С другой стороны, неточные повторы, благодаря своей неточности, напоминают словосочетания. Например, в сочетании *коляда-моляда* неточная копия *моляда* может переосмыслиться, в результате чего получается словосочетание *коляда молода: коляда молода / колида молода* [Болонев и др. 1997, № 11, 16], *коляда молода* [Бессонов 1868: 244]. А в заговорах обращение *чирей-чирей* варьируется с *чирей-вирей* [Адоньева 1993, № 493, № 494, № 496], *чирей-пырей* [ЗиЗП 16]: эти сочетания очень похожи на редупликацию, однако в случае в *чирей-пырей* довольно вероятно сочетание со словом *пырёй*, обозначающим разные виды травы (в случае сочетания

чирей-вирей, зафиксированного в Архангельской области, было бы довольно рискованно видеть во втором элементе рефлекс южнорусского *вырей* ‘волшебный южный край, райское место’). Такие сочетания в качестве апеллятивов довольно характерны для заговора, например обращение *чирей-Василий* [Адоньева 1993, № 490].

Примечательно, что в одном и том же тексте может быть представлено два варианта — вариант с неточной редупликацией *коляда-моляда* в начале и точный повтор *коляда, коляда* в середине: *Коляда-моляда, // Не хошь ли пирога? // Не ломай, не ломай, // Весь подавай! // Коляда, коляда, // Подай нам пирога!..* [Шаповалова, Лаврентьева 1985, № 2]. Такое распределение можно интерпретировать двумя способами. С одной стороны, незначащая редупликация *коляда-моляда* может быть сближена с заумью, с бессмысленными сочетаниями, которые тяготеют именно к абсолютному началу текста (что особенно хорошо видно по считалкам, отчасти по магическим текстам). С другой стороны, *коляда-моляда*, скорее всего, близко аппозитивным сочетаниям вроде *чирей-пырей, чирей-Василий*, зачинам считалок (где редупликация вроде *Федя-медя* употребляется наряду со сложениями вроде *Андрей-воробей*). Можно повернуть дело и таким образом: *коляда-моляда* является полной номинацией, а *коляда* — свернутой, именно поэтому в начале текста должна стоять *коляда-моляда*.

Такая дискурсивная особенность напоминает номинацию героя популярной исторической песни, который в большом количестве текстов при первом упоминании называется *Кострюк-Мастрюк*, а далее часто просто *Кострюк*. Кроме того, история возникновения рифмованного сочетания *Кострюк-Мастрюк* довольно поучительна с точки зрения соотношения синхронии и диахронии. Это сочетание произошло от имени кабардинца Мамстряка, шурина Ивана Грозного по второму браку царя, 1561—1569 гг. (хотя прототипом персонажа, возможно, стал его брат, Михаил). Мастрюком или Мамстряком этот герой называется в абсолютном меньшинстве текстов (всего 4 текста из подборки, представленной в [Исторические песни], насчитывающей около 80 вариантов; *Мастрюк*, в частности, у Кириши Данилова). В имени *Кострюк-Мастрюк*, которым он называется в большем количестве текстов (14 из упомянутой подборки), первая часть, видимо, от диал. *кострюк* ‘осетр’. Правда, никакой семантической мотивации для именованного черкесского богатыря осетром в песне не обнаруживается, однако с точки зрения функционирования этого имени существенно другое — основное имя героя, без сомнения, *Кострюк* (причем оно является относительно «понятным»), а сочетание *Кострюк Мастрюк* уже может восприниматься как редуплицированная форма. Более того, можно предположить, что само появление *Кострюка* в имени героя связано с попыткой осмыслить непонятное чужеземное имя как редупликативную копию, образованную по продуктивной модели. Следующий этап жизни этого имени в фольклорном языке — переосмысление, в духе народной этимологии, в *Кострюк-Быстряк, Кострюк-Вострюк* и др.

Некоторый аналог *Кострюку Мастрюку* можно найти в *турзах-мурзах*, былинных иноэтнических противниках, татарах (мы обнаружили только фиксации в печорских былинах): *турзов-мурзов удалых* [Былины Печоры, № 21: 6]. Более устойчивым является второй компонент рифмованного сочетания (*мурзы*), а первый может варьироваться: *курзы-мурзы* [Там же, № 43: 180], *юрзы-мурзы* [Там же, № 275: 113], *косы-мурзы* [Былины Печоры и Зимнего Берега, СРНГ, 15: 92], хотя встречается и варьирование второго компонента: *турзы-урзы* [Былины Печоры, № 41: 83]. Видимо, источником этого наименования послужило тюркское слово *turza* ‘сын князя, дворянин’, которое достраивалось до рифмованного сочетания с помощью разных элементов — реже семантически прозрачных, как *косы*, а чаще вроде бы ничего не значащих, как *турзы*, *курзы*, *юрзы*. Возможно, так же построено и имя сказочного персонажа *Урза-Мурза* [Афанасьев 1957, № 212]; впрочем, имя *Урза* имеет в русском фольклоре и независимую фиксацию: *молода Урзамовна, мурзы дочи турскова* [Кирша Данилов, № 13, 120] — видимо, отца этой девицы следует называть *мурза Урза* (или *Урза-мурза*).

В мотивированной редупликации обычно можно выделить основу (т. е. слово, которое используется вне редупликации) и копию (ее еще называют редупликантом). В зависимости от относительного расположения основы и копии можно говорить о правой и левой редупликации. В русском языке более обычной является **правая редупликация**, где копия стоит после основы (как в разговорных повторах вроде *зелень-мелень*). Обычно в правой редупликации первый согласный основы заменяется на губной согласный (чаще всего это [м]). Вот примеры:

Гусли-мусли — в песне; далее, в результате переосмысления, *гусли-мысли* [Соколовы II, эпич., № 61; Дурново 1902].

Козёл-мазёл — термин в детской игре: влад. *козел-мозёл* ‘ямка, на которой стоит играющий в клюшки’ [СРНГ, 14: 58], *козёл-мазёл* — выражение, употребляемое в детской игре [СРНГ, 17: 295]. Возможно, это название связано с вят. *козлы* ‘игра в бабки’, влад. *козёл* ‘игральная кость при игре в бабки’ [СРНГ, 14: 58].

Коклюшка-маклюшка — из шуточной песни: *Под коклюшкой-маклюшкой трава выросла, Под коклюшкой-маклюшкой клушка вывела детей*, Чернояр. Астрах. [СРНГ, 14: 89]; *коклюшка* — разные палки, например в ткацком стане.

Кёршин-моршин — ‘коршун’ (дон., *прилетел ко мне* ~ [СРНГ, 15: 33]).

Служеньки-маженьки — Орл. Вят. из сказки: *Вот она [Марья-царевна] вышла на крылечко... и зыкнула: — Служеньки-маженьки, как тятеньке и мамоньке служили, так и мне послужите* [СРНГ, 17: 292]. Судя по всему, *служэньки* < *служáньки* (с совершенно регулярным для этого региона переходом [а] > [e] между мягкими согласными). Такая же замена безударного [у] на [а], что и в *усени-масени* (см. выше).

Шендрики-мендрики — Чернояр. Астрах. *Васильева мати пошла шендровати; шендрики-мендрики — дайте нам вареники* [СРНГ, 18: 108].

Надо так понимать, что *шендрики* — это те, кто *шендрует* (*щедровать* — ходить в канун Нового года ватагами по домам; то же, что в канун Рождества *колядовать*).

Шурин-мурин — в припеве троицкой хороводной песни из Приморского края: *шурин-мурин верхотурин, кранты-вьянты первеянты, первеюшки-покмелюшки, ой, милая моя!* [Болонев, Мельников 1981, № 440].

На материале считалок, благодаря его многочисленности, можно наблюдать определенную иерархию использования фонем для замены инициали в редуликанте: чаще всего это [т], несколько реже другие губные ([б], реже [в] и в двух словах [р]), а также сонанты, прежде всего [j]. Самой продуктивной является, конечно, м-редупликация: *один модин, сахар-махар, тетерки-митерки, стульчик-мульчик, цыган-мыган, коля-моля, факел-макел, вера-мера* [Виноградов 1999], моск. *квашня-машня* [Дурново 1902], белозер. *соломина-моломина* [Морозов и др. 1997: 176], белорус. *сахар, махар* [Барташэвіч 1972, № 874], укр. чернов. *сахар, махар* [Топорков 1998, 56]. Примеры с другими губными согласными: *зелень-белень, сахар-бахар* (ср. также белор. брест. *сахар-бахар* [Там же, 5в]), *злото-бото, радуга-бадуга, стульчик-бульчик, Серега-берега, ива-бива, солома-волома, сеня, веня, сени-вени, ангель-вангель, павел-вавел, пузо-вузо, солома-полома, вера-пера* [Виноградов 1999]. Примеры j-редупликации довольно редки — *стульчик-юльчик* [Там же], *колобень-ялобень* [Якобсон 1979], ср. *На колобень, на елобень* в волог. считалке [СРНГ, 14: 143]. Самый распространенный пример j-редупликации — *соломина-яломина* [Дурново 1902; Виноградов 1999], белорус. *саломіна, яломіна* (Барташэвіч 1972, № 902); этот пример замечателен также своими трансформациями — диссимилиацией сонантов ($l - l > l - r$) в *соломинка-яреминка* [Виноградов 1999], белор. *саломінка, яромінка* (№ 796), и последующей вторичной ассимиляцией этих сонантов ($l - r > r - r$) в *соромина-еромина* [Там же]. Аналогичный случай ассимиляции сонантов, которая следует за их диссимилиацией, обнаруживается в **корень-морень > калуж. корень-молень* (с диссимилиацией) [Дурново 1902] > моск. *колень, молень* (с ассимиляцией) [СРНГ, 14: 125]. В считалках можно выделить и другие типы правой редупликации, которые мы не будем здесь рассматривать из-за их крайней непродуктивности и нерегулярности.

Те же закономерности образования правой редупликации обнаруживаются и в детских дразнилках. Продуктивных моделей всего две: 1) м-редупликация: казан., вят., карельск., тульск. *Федя-медя* (в детской считалке, дразнилке *Федя-медя съел медведя* [СРНГ, 18: 75; Виноградов 1998: 701, 703]), *Коля-моля* [Там же: 699], *Шура-мура* [Там же: 699], *хохлы-мохлы* [Там же: 704], *цыган-мыган* [Там же: 701]; 2) б-редупликация: *Анна-банна* [Там же: 695, 697, 698], *Алеша-балеша* [Там же: 698], *Шурка-бурка* [Там же: 701], *Сергей-бергей* [Мартынова 1997: 291], *Вадя-Бадя* [Янко-Триницкая 1968]. Обнаруживается также р-редупликация: *Федя, редя* (Тотем. Волог., 1899 [СРНГ, 35: 25]). Аналогичные примеры есть в польских

дразнилках: *Ewa mewa* [Simonides 1985: 182], *Ela, mela* [Ibid.: 181], *Anabana* [Ibid.: 174], *Franc banc* [Ibid.: 183], *Jurek, burek* [Ibid.: 193], *Karel, Karel, barel... Karla, barla...* [Ibid.: 193], *Ajtel, Fajtel* [Ibid.: 173].

Существуют и обратные случаи, называемые **левой редупликацией**, когда редупликант ставится перед основой, как в сибирской колядке *Шахнул, махнул правой рукой* [Болонев и др. 1997, № 9]. Они сравнительно многочисленны в русской традиции, будучи более характерными для белорусского и украинского фольклора. Так, Н. Н. Дурново приводит примеры *шейна-война* и *шень-пень* из Белорусских пословиц Носовича, последний пример находим также в белорусской считалке: *Шэнь-пень, я — вергень* [Барташэвіч 1972, № 882]. У Дурново также фигурирует пример *шуги-луги* из песни (*Ой зайду ж бо я в шуги-луги*), место бытования которой не указано, однако, судя по частице *бо*, это малороссийский текст. Нет у Дурново никаких указаний на происхождение сочетания *шуря-буря* «из песни про комара», однако можно предположить, что оно взято из украинской песни (ср. укр. *шуря-буря* ‘вихрь’ [Гринченко, IV: 520]). Это же сочетание, с регулярным для белорусского языка отвердением [r], фигурирует также в белорусской детской песенке про комара: *Наляцела шура-бура, камарочка з ліста здула* [Барташэвіч 1972, № 249]; *Скуль узяліся шуры-буры, узялі таго камарыка з дуба здулі* [Там же, № 436]. Видимо, из этого сочетания происходит фамилия *Шурабура*. Судя по твердому [r], из белорусского языка заимствовано сочетание *шуры да буры* в «волошебной» песне из Андреапольского района *Как поднялися шуры да буры, Шуры да буры — мелкие дожди!* [Шаповалова, Лаврентьева 1998, № 113]³.

Считалки содержат так много примеров редупликации, что оказываются единственным жанром русского фольклора, где достаточно регулярно представлена даже левая редупликация: прежде всего очень распространенное сочетание *шишел, вышел* (ср. также белорус. *шышал, вышал* [Барташэвіч 1972, № 794]) и его вариант *дышла, вышла* [Виноградов 1999]; другие примеры из Г. С. Виноградова: *тыкинъ выкинъ* (с разнообразными вариантами, такими как *дикинъ выкинъ, дыкинъ выкинъ, чикинъ выкинъ, зикинъ выкинъ, зыкинъ выкинъ*), *тарин-барин, тончик-звончик, шерба верба, шарин барин, шальчик-мальчик, чуха муха, жилезь вылезь, кондарь-бондарь* (мы слегка унифицируем довольно разнообразную пунктуацию примеров, прежде всего исключая запятые).

Легко заметить, что левая редупликация встречается только у слов, которые начинаются на губную согласную фонему. Правая редупликация с

³ Другие, нефольклорные примеры левой редупликации: новос. *шура-мура* ‘нежные вещи, хлам’ [СРГНО: 600]; *шалтай-болтай* оренб., сибир. ‘пустая болтовня, чушь’ [Даль, 4: 639]; оренб. *шолты-болты* ‘вздор, пустяки, пустословие’ [Даль, 4: 639; Фасмер, 4: 466]. Вторая часть, несомненно, из *болтать*; первая часть, возможно, связана с псков. *шалтать* ‘болтать, лепетать (о детях)’ [Даль, 4: 638], см. [Фасмер, 4: 400].

использованием губных фонем в одних случаях вообще невозможна (*махнул-махнул* было бы просто неотличимо от точного повтора), а в других случаях не обеспечивает достаточного контраста (например, в *вышел-мышел*, хотя такой повтор и встречается иногда в считалках, или в **махнул-вахнул*). Это подтверждает высказанное выше наблюдение о том, что механизм диссимилиации объясняет строение неточной редупликации.

3. Немотивированная редупликация. Ясно, что фонетические закономерности строения рифмованных сочетаний свободней всего проявляются в немотивированной редупликации. Она прежде всего характерна для таких текстов и фрагментов текстов, в которых фонетика играет более значительную роль, чем семантика. В песне это прежде всего «заумный» зачин или рефрен:

Кушивáры, мушивары (< кашевары) — смол. песня *Кушивары, мушивары, Извозчики, винералы, Ох и тые чернецы — московские подлещы* [СРНГ, 16: 195].

Шалаги-малаги — Тихвин. Новг., припев: *Шалаги-малаги, ходила по мосту, белому погосту* [СРНГ, 17: 317].

Бессмысленные припевы в необрядовых лирических песнях исследуются в статье [Федорова 1981]. Заумные рефрены (в частности, рифмованные сочетания *шилды булды, шевалды балды, тифиль яфель, ширин да бирин, ширин да вирин*) характерны для песен эротического содержания. В. П. Федорова довольно естественно объясняет эту особенность тем, что заумь «являлась заменой слов, которые каждый из слушателей мог подставлять по-своему» [Федорова 1981: 41], т. е. своего рода эвфемизмом. Для исследования взаимосвязи жанров и использования рифмованных сочетаний в разных жанрах довольно существенно, что эти же сочетания отмечены в современных считалках (*шилды булды, Тифиль Яфель, ширин вырин*).

Особую прагматику имеет заумь в магических текстах: она сигнализирует о принадлежности текста к другому, магическому миру. Для этого достаточно пограничного сигнала, зачина. Много примеров заговорной зауми содержится в статье «Заумь» словаря славянских древностей [Левкиевская 1999], в частности довольно характерное рифмованное сочетание *сарандара, сарандара, марандара, марандара* из болгарского заговора от укуса змеи [Там же: 280]; в чешском народном театре черт говорит *гурды-бурды, герцум-перцум* [Богатырев 1971: 144—146]. В записных книжках Е. Замятина 1919—1920 гг. фигурирует цыганский заговор, который начинается со слов *Харлан-барлан, Денис-Борис* [Замятин 2001: 39]. Что касается собственно русской традиции, можно отметить такой интересный жанр, как пародия на заговор в сказке. В одном из вариантов сказки «Солдатская загадка» у Афанасьева солдат дает бабе зуб со следующей инструкцией: *Станешь щи мешать, приговаривай: «Шуні да буні, будьте щи солоні!».* Муж придет, будут шлепанцы-хлопанцы. Вернувшийся муж, в сердцах колотя ложкой по жене, приговаривает *шуні да буні, да солоно буди* (Ветл. Костром., [СРНГ, 34: 170]).

Невероятно много примеров считалок с заумным зачином, часто содержащим характерные рифмованные сочетания вроде *шуня-буни, чокон-бокон, аболь-фоболь*. Предполагается, что считалка генетически восходит к заговору и, соответственно, заумный зачин считалки имеет то же магическое происхождение. Естественно, к заговору / считалке близки и такие микротексты, как «присказка в игре при угадывании количества часов до вечера»: *яросл. Чечелю, помечелю, долго ли до вечера* [Мельниченко 1961: 215].

В считалках бессмысленные сочетания вроде *эники-беники* подчас осмысляются как имена. Точно так же в пограничном состоянии между бессмыслицей и номинацией находятся заумные слова, которые используются как субститут загаданного слова в загадке, например *пришла кувахта, просит мутавта* ‘баба и цеп’ (без указ. места, [СРНГ, 15: 389]), *пошел я на тухтухту, взял с собой тавтавту* ‘охота, собака’ [Мартынова 1997, № 1752]. В русской загадке *Пришел шуру-муру, унес чики-брики* [Там же, № 1751] речь идет о волке и овце (в украинском варианте овца обозначается как *штрики-брики*, в польском как *skiki-bryki*). Кроме того, волк обозначается как *жалта-балта* [Гура 1997: 35]. Те же функции может выполнять немотивированная редупликация и, к примеру, в болгарских загадках, где *гънда-мънда* обозначает овцу [Георгиева-Стойкова 1961: 36—37]. Другие примеры редуплицированных форм в загадках:

Далда-балда — укр. в загадке ‘свинья’ [Гринченко, I: 356]; от *балда* ‘большой топор’, ‘неуклюжая, неповоротливая женщина’ [Там же: 24].

Коктырек, моктырек — в загадке про телегу: *четыре стукоты, четыре брякоты, два коктырька, два моктырька, да еще коктырек, да еще моктырек* (Ялутор. Тобол., [СРНГ, 14: 103]).

Кохтырь-нохтырь — Чебокс. Казан., из скупой атрибуции «в загадке» нельзя понять, что замещается этим сочетанием [СРНГ, 15: 121].

Курган мурган — видимо, в загадке про овес: *На кургане, на мургане стоит курица с серьгами* (Мешов. Калуж., [СРНГ, 18: 353]). Этот повтор предлогов — типичный для языка фольклора повтор предлогов внутри именной группы вроде *во уста в сахарные, во городе во Киеве*. Однако это означает, что *курган-мурган* является скорее не словоформой, а словосочетанием⁴. Другие варианты этой загадки: *На кургане-вергане стоит курочка с серьгами* (овес, [Морохин 1986: 308]), *На кургане-варгане стоит курочка с серьгами* (овес, [Там же]).

Мотовило котовило — новг. ‘вихрь’ [СРНГ, 15: 109]; *мотовило, котовило* том. ‘гром’ [Там же: 62]. Оба эти названия являются яркими исключениями из законов строения рифмованных сочетаний (т. к. губная фонема здесь стоит в начале первого, а не второго слова).

Сусяно, мусяно — ‘радуга’: *Сусяно, мусяно, до небу протянуто* [СРНГ, 18: 365]. Видимо, мотивировано словом *суло*.

⁴ Еще один пример разорванной редупликативной формы: *всяку шушеру, всяку мушеру* (из волог. заговора на скот, [Адоньева 1993: 146]).

Чирандо-выранто — сев.-рус. ‘ручей’. Заумным это сочетание стало только в русской языковой среде, т. к. этимологически оно представляет собой сочетание квазисинонимичных карельских корней *cirize*, *verand* ‘трещать, звучать’, т. е., возможно, парный глагол [Орел 1977: 321].

Шитавила-битавила — моск. ‘сорока’, далее могилев. *шылдавила-былдавила* [Дурново 1902]; так же, *шитовило-битовило* или *шитовило-мотовило*, называлась в восточнославянских загадках ласточка [Гура 1997: 630; Мартынова 1997, № 1771]. В [Левкиевская 1999] было высказано предположение, что название ласточки *шитовило-мотовило* мотивировано ее быстрыми движениями (она, видимо, *мотается*); к сожалению, это предположение не удастся экстраполировать на всю группу сходных номинаций — *мотовило*, *мотовило котовило* / *косовило* (см. выше), *шило-мотовило*. Самое непосредственное сходство с *шитовило мотовило* имеет, конечно, сочетание *шило мотовило*; можно предположить, что *шило мотовило*, чтобы подстроиться под стандартную редупликативную модель, преобразовалось в *шитовило мотовило*. Все загадки с мотовилом имеют очевидное текстуальное сходство⁵: *Шитовило, битовило, по-немецки говорило; спереди — шильце, сзади — вильце* [...] (ласточка, краснояр., [Морохин 1986: 349]), *Шило мотовило под небеса подходило, по ниточке говорило* (змея); *Шило мотовило, по-немецки говорило, в небеса уходило* (журавль, с примечанием к интересующему нас сочетанию — «клюв, шея»); *Кумово мотовило под небеса уходило* (дым) [Даль, 2: 358], *Кривое мотовило под небеса уходило, по-немецки говорило, по-татарски говорило* (журавль) [Мартынова 1997, № 1779]; *Мотовило котовило под небеса полетело, по-немецки говорило* (вихрь) [СРНГ, 15: 109]; *Мотовило, косовило по поднебесью ходило, всех устрашило* (гром) [Там же: 109]. В одном тексте мы встречаем точный повтор на месте ожидаемой редупликации: *Мотовило, мотовило, под небеса уходило; шло да шло и домой пришло* (очеп у колодца, волог. [Морохин 1986: 342]). Можно обобщить приведенные тексты следующим образом: *мотовило* передвигается *под небеса* и говорит на иностранном языке. Видимо, для правильной интерпретации этих текстов нужно обратиться к значению самого слова *мотовило*. Это слово в славянских языках прежде всего обозначает приспособление для сматывания пряжи с веретен, самый простой тип этого устройства — палка с перекладиной на одном конце и развилкой на другом, основное переносное значение — ‘неловкий или непостоянный человек’, связанное прежде всего с *мотаться*; однако зафиксирован и несколько иной путь переосмысления мотовила — рус. диал. арханг. и карельск. ‘высокий тонкий человек’ [СРНГ, 18: 299]. Загадки, несмотря на текстуальную близость, несколько по-разно-

⁵ Ср. отклоняющиеся от общей модели тексты: *Шило-мотрошило без углов избу сомишило* (ласточка гнездо свила) [Мартынова, Митрофанова 1986, № 595]; *Шило-мотовило, под землей ходило, перед солнцем стало и шляпу сняло* (гриб) Ишим. Тобольск. [СРНГ, 18: 299].

му используют метафору мотовила: резко расщепленный хвост ласточки напоминает развилку мотовила, а длинная шея журавля напоминает мотовило просто как длинную палку; для большинства загадок, как для диалектного значения ‘высокий тонкий человек’, существенно то, что мотовило — длинная тонкая палка (и этим она напоминает змея, дым, оцеп).

Шурки-юрки — моск., ‘брусочек’ [Дурново 1902].

Можно предполагать, что рифмованные сочетания были характерны для речевых жанров вроде скороговорок, произносимых шулером на рынке. Нам известно два таких примера из записей Е. Иванова (начало XX в.):

Ходите, гуляйте дальше, звезды считайте, воробьев не пропускайте, а ворону увидите — за курицу не примите! Ха-ха-ха! Курица да ворона — сродственные меж собой, пернатое царство. Шурьга-мурьга, хлеба коврига, а я... (пропуск в записи ввиду быстроты произносимых слов) [Иванов 1982: 161] (видимо, редупликация от *шурьга* ‘непутный человек, негодяй, ёра, мошенник’ [Даль, 4: 669]; впрочем, возможно, это сложение со словом *мурьга* ‘хмурый, надутый человек’ [СРНГ, 18: 361]).

Шла барыня с кавалером, сделала шик-мык, никому не говори, старик, что обманываю — на водку дам [Иванов 1982: 159].

Не беремся здесь строить предположения относительно того, что именно сделала указанная барыня, однако такое употребление кажется возможным характеризовать как эвфемистическое. Эвфемизм подобен субституту в загадке, т. к. не отсылает к значению непосредственно, а заставляет его восстанавливать; бессмысленные слова, в частности немотивированная редупликация, довольно естественны в этой функции.

Эвфемизм *килди-милди* ‘причинное место’ известен из текста Кирши Данилова: *Пустился недуг с сердцу — а пониже ее пупечка да повыше колечка, между ног килди-милди* [Кирша Данилов, № 2, 50, 51]; тюркская этимология изложена в [Аникин 2000: 288]. Рифмованное сочетание *толды-вселды* также употреблено в эротическом контексте: переодетая жена боярина Ставра Годиновича так объясняет мужу, который ее не узнает: *А доселева мы с тобой свайку игравали: у тебя-де была свайка серебрянная, а у меня кольцо позолоченное, — и ты меня поигрывал, а я тебя — толды-вселды!* [Кирша Данилов, № 15, 139]. Как пример редупликации в качестве эвфемизма в современном разговорном языке можно привести устойчивое выражение *в рот меня чих-ных* ≈ ‘черт меня подери’; ср. *чих-ных* ‘раз-раз, шлёп-шлёп и т. п. (в знач. быстро, тотчас)’ [Елистратов 2000: 539].

4. Между парными словами и редупликацией. В некоторых рифмованных сочетаниях один из элементов, имея независимую мотивацию, трансформируется, чтобы удовлетворять требованию рифмы.

Например, в русском фольклоре отмечено рифмованное сочетание *няньки-маньки*, вторая часть которого является словом *мамки*, фонетически модифицированным под влиянием первой части. В частности, это сочетание обнаруживается в исторической песне о князе Михайло: *И со нянькам, и со Манькам, // И со верным служанкам ...* [Соколовы II, № 8,

№ 9]; форма *няньки-маньки* также несколько раз встречается в сказке про Царевну-лягушку, записанной Афанасьевым в Шадринском уезде Пермской губернии (№ 267):

- (1) *Как уснул Иван-царевич, она вышла на улицу, сбросила кожух, сделалась красной дэвицей и крикнула: «Няньки-маньки! Сделайте то-то!».* Няньки-маньки тотчас принесли рубаишу самой лучшей работы;
- (2) *А лягушка хитрая... вышла на крыльцо, вывернулась из кожуха и крикнула: «Няньки-маньки! Состряпайте сейчас же мне хлебов таких, каки мой батюшка по воскресеньям да по праздникам только ел».* Няньки-маньки точас притащили хлеба.

Несмотря на лаконичный комментарий А. Н. Афанасьева к этому сочетанию («мамки»), в целом ряде работ оно рассматривается как редупликация. В первых статьях, посвященных редупликации («искусственному образованию парных слов») в русском языке ([Джафар 1900] и [Кримский 1928]), объяснение *маньки* из *мамки* приравнивалось к народной этимологии; Н. Н. Дурново тоже вслед за М. Джафаром относит *няньки-маньки* к сочетаниям с «искусственно образованным парным словом» [Дурново 1902: 267]. Сочетание *няньки-мамки* в этих статьях не упоминается, однако оно как раз и должно было бы демонстрировать результат переосмысления редупликации (например, *гусли-мысли* объясняются Н. Н. Дурново как сочетание, возникшее «путем переосмысления» из отмеченного наряду с ним *гусли-мусли*). Далее, Ю. Плэн даже совершил подмену и привел сомнительную на русский слух форму *няньки-мяньки* [Plähn 1987], которую повторил В. И. Беликов [Беликов 1990].

В сочетании *няньки & мамки* представлено какое-то из устаревших и диалектных значений слова *мамка* — ‘кормилица, женщина, кормящая грудью не свое дитя’, ‘старшая няня, род надзирательницы при малых детях’ [Даль, 3: 302]: «Няньки, мамки воротитесь...» // Няньки, мамки воротились [Соколовы II, № 9]; в колыбельных — *няньки да мамки* [Мартынова 1997, № 123], *нянькам да мамкам* [Там же, № 123]. Следует отметить, что рефлекс **татька* в значениях ‘кормилица’, ‘нянька’ так или иначе существовали или существуют также в чешском, польском, словенском, украинском и белорусском, что позволяет предположить достаточную древность такого семантического развития. Похожее сочетание *тяньки & маньки* есть в песне о князе Михайло: *либо тяньки, либо мамки; и со тянькам, и со манькам* [Соколовы II, № 9]. Еще чаще фиксируется сочетание *нянюшки & мамушки*: в песне про Соловья Будимировича *Гой еси, нянюшки и мамушки, красные сенные девушки! Отвечают нянюшки-мамушки и сенья красныя девушки* [Кирша Данилов, № 1, 45]; в других песнях *нянюшки-мамушки* [Там же, № 32, 255; № 51, 312]; в колыбельных — *нянюшек и мамушек* [Даль, 3: 302], *нянюшки, мамушки* [Мартынова 1997, № 17, № 21, № 121, № 131], *нянюшек-мамушек* [Там же, № 81], *своим нянюшкам, своим*

мамушкам [Там же, № 86], *уж вы нянюшки, уж вы мамушки* [Там же, № 99], *нянюшки и мамушки* [Там же, № 21]. Иногда это сочетание выступает с другим порядком элементов. Так, в следующем варианте цитированной выше сказки (№ 269, Саратовская губ.) у А. Н. Афанасьева фигурируют *мамки-няньки*; в колыбельных отмечены *мамушки, нянюшки* [Там же, № 65], *мамушкам, нянюшкам* [Там же, № 125], *матушкам, нянюшкам* [Там же, № 25].

В сочетании *няньки-маньки* мягкая фонема [н'] рифмуется с твердой [м]. То же соотношение представлено в сочетаниях из считалок: *дикинъ выкинъ, зикинъ выкинъ* (ср. более распространенные варианты *чкинъ, выкинъ* и *тыкинъ выкинъ*), *титкин, мыткин*, а также в шуточной присказке *люди-муди*, в детском *тётя-мотя* — во всех этих случаях парные мягкие зубные фонемы рифмуются с твердым губным. Возможно, следует особо выделить случаи, когда за мягкими согласными следуют гласные переднего ряда, — видимо, *м*-редупликация от них затруднительна в русском языке: совершенно естественно образуются *зелень-мелень, пиво-миво, липтон-миптон* (ср. также укр. *хвиги-миги* [Джафар 1900]), но довольно сомнительно звучит [?]*сёмга-мёмга* или придуманные Плэном *няньки-мяньки* (но допустимо *пряники-шманики* [Земская и др. 1983: 193]).

Итак, *няньки-маньки* относятся к тому типу рифмованных сочетаний, который точно обозначен в статье Н. Н. Дурново как смешение двух основных моделей (редупликации и сложения, согласно современной терминологии): «существующий синоним к известному слову несколько искажается для большего сходства» [Дурново 1902: 267]. Возможно, какую-то роль здесь сыграло и наличие уменьшительной формы распространенного имени *Манька* (ср. использование заглавной буквы в записи Соколова — *и со нянькам, и со Манькам* [Соколовы II, № 8]).

По крайней мере для русского языка характерно изменение именно второго слова под воздействием первого («в рифму» к нему): например, в русских разговорных словах *каляка-маляка* и *каракуля-маракуля* второй элемент образован в рифму к первому (от корней, представленных в глаголах *малевать* и *марать*), причем если в одном случае выделяемый формант вроде бы является суффиксом (*-яка*), то в другом случае это явно бессмысленный «обломок» (*-куля*). Такие же бессмысленные обломки выделяются в разговорных сочетаниях *мастер-лома.стер, страсти-морд.асти*, в составе слова *любов.есть (не по совести, ни по любовести* [Киреевский, № 71]).

Тот факт, что второе слово является прежде всего рифмой к первому, проявляется не только на формальном, но и на семантическом уровне. Употребление второго слова часто не имеет или почти не имеет семантической мотивации. Ср., например, сочетание *салатики-мулатики*, которое приводится в [Янко-Триницкая 1968]. В рифмованных прозвищах, а также в зачине «дразнилок» и «издевок» наряду с мотивированными, явно обидными словами (вроде *Лиза-подлиза, Аркашка-таракашка*) нередко используются слова довольно неожиданные, для использования которых, как кажется, не так много семантических оснований (материал приводится по

[Виноградов 1998]: *Андрей-воробей* (№ 55, № 96), *Андрюшка-индюшка*, *Андрей-индей* (№ 1), *Федар-бобар* (№ 84), *Алеха-лепеха* (№ 61), *Любка-юбка*, *Мишка-шишка* (№ 10).

Правда, существуют и примеры обратного влияния: это приведенные у Н. Дурново сочетания *шаловать* и *баловать* (из песни: *Как повадился Параня шаловать и баловать...*) и *шатель-мотыль*. Корень *шал-*, который обычно выступает в составе *и*-глагола (*шалить*), в соседстве с глаголом *баловать* приобретает суффикс *-ова-*; а *шатель* содержит корень *шат-* (*шататься*) и редкий суффикс *-ыль*, выбранный в рифму к *мотыль*. В этих примерах влияние происходит справа налево, чем они очень напоминают левую редупликацию. Важно подчеркнуть, что напоминают они левую редупликацию и формально: «основа» тут начинается с губного согласного, а «копия» (вторичный элемент) — с шипящего (как и в случаях вроде *шишел-вышел*, *шуря-буря*, *шень-пень*).

5. Выводы. Редупликация обычно рассматривается в рамках трансформационного подхода (как операция — [Steriade 1988; Мельчук, III: 48—61]) или в рамках аддитивного (копия является своеобразной морфемой — [Блумфильд 1968: 325; Marantz 1982]). Оба подхода, как нам кажется, не позволяют естественным образом объяснить структурность рифмы.

Объяснение, вскрывающее структурную общность редупликации и сочетаний, можно выдвинуть в рамках концепции, которая представляет собой современное генеративное описание фонологии и морфонологии, а именно в теории оптимальности [Зубрицкая 2002: 200—203]. В генеративной лингвистике интерес к редупликации возник в восьмидесятые годы, когда трансформационное описание редупликации стало сомнительным, потому что сомнению была подвергнута объяснительная сила трансформаций. Описание стало строиться как классификация ограничений, которые накладываются на множество возможных структур (это историческое изменение называется переходом от теории правил к теории представлений). Таким образом, в теории оптимальности именно поверхностные ограничения (например, наличие рифмы) порождают наблюдаемые формы. Использование понятий операции или редупликативной морфемы становится необязательным для теории.

Автор очень благодарен А. С. Архиповой за ценные примеры и наблюдения, которые вошли в эту статью.

Л и т е р а т у р а

Адоньева 1993 — Традиционная русская магия в записях конца XX века / Сост. С. Б. Адоньева. СПб., 1993.

Ананичева и др. 2001 — Детский фольклор. Частушки / Вступ. ст., сост., коммент. Т. М. Аничевой, Е. Г. Борониной и др. М., 2001.

- Аникин 1957 — В. П. А н и к и н. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. М., 1957.
- Аникин 2000 — А. Е. А н и к и н. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. М.; Новосибирск, 2000.
- Афанасьев 1957 — Русские народные сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1957.
- Барташэвіч 1972 — Дзіцячы фальклор / Сост. Г. А. Барташэвіч. Мн., 1972.
- Беликов 1990 — В. И. Б е л и к о в. Продуктивная модель повтора в русском языке: Материал для обсуждения // *Russian Linguistics*. 1990. Vol. 14. С. 81—86.
- Бессонов 1868 — П. Б е с с о н о в. Детские песни. М., 1868.
- Блумфильд 1968 — Л. Б л у м ф и л ь д. Язык. М., 1968.
- Богатырев 1971 — П. Г. Б о г а т ы р е в. Народный театр чехов и словаков // Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
- Болонев и др. 1997 — Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. Песни. Заговоры / Подгот. Ф. Ф. Болонев и др. Новосибирск, 1997.
- Болонев, Мельников 1981 — Календарно-обрядовая поэзия сибиряков / Сост., вступ. ст. и прим. Ф. Ф. Болонева и М. Н. Мельникова. Новосибирск, 1981.
- Былины Печоры / Подгот. В. И. Еремина и др. СПб.; М., 2001. (Свод русского фольклора: Былины: В 25 т.).
- Виноградов 1998 — Г. С. В и н о г р а д о в. Детская сатирическая лирика // Русский школьный фольклор. М., 1998. С. 675—710.
- Виноградов 1999 — Г. С. В и н о г р а д о в. Детские игровые прелюдии // Страна детей: Избр. тр. по этнографии детства. СПб., 1999. С. 141—390.
- Георгиева-Стойкова 1961 — С. Г е о р г и е в а - С т о й к о в а. Български народни гатанки. София, 1961.
- Герд — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. Петрозаводск, 1994—. Т. 1—.
- Гринченко — Б. Д. Г р и н ч е н к о. Словарь украинского языка. Т. 1—4. Киев, 1907— 1909.
- Гура 1997 — А. В. Г у р а. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
- Даль — Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Т. 1—4. СПб.; М., 1880.
- Джафар 1900 — М. Джафар. Об искусственном образовании парных слов (Reimwörter) // Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера, изданный его друзьями и почитателями / Под ред. Н. Я. Янгука. М., 1900. С. 311—313.
- Дурново 1902 — Н. Н. Д у р н о в о. Мелкие заметки по русской диалектологии // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1902. № 6. С. 257—268.
- Елистратов 2000 — В. С. Е л и с т р а т о в. Словарь московского арго. М., 2000.
- Замятин 2001 — Е. З а м я т и н. Записные книжки. М., 2001.
- Земская и др. 1983 — Е. А. З е м с к а я, М. В. К и т а й г о р о д с к а я, Н. Н. Р о з а н о в а. Языковая игра // Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983.
- ЗиЗП — Заговоры и заклинания Пинежья. Карпогоры, 1994.
- Зубрицкая 2002 — Е. З у б р и ц к а я. Фонология // Современная американская лингвистика: фундаментальные направления. М., 2002. С. 168—206.
- Иванов 1982 — Е. И в а н о в. Меткое московское слово. М., 1982.
- Исторические песни — Исторические песни XIII—XIV вв. М.; Л., 1960.

- Кирша Данилов — Древние российские стихотворения, изданные Киршею Даниловым. СПб., 2000.
- Киреевский — Собрание народных песен П. В. Киреевского. Т. 2: Записи П. И. Якушкина. Л., 1986. [После номера текста, если текст достаточно большой, указан номер строки.]
- Кримський 1928 — А. Е. Кр и м с ь к и й. Калач-малач, кішміш-мішміш // Розвідки, статті та замітки. Київ, 1928. С. 139—148.
- Левкиевская 1999 — Е. Е. Л е в к и е в с к а я. Заумь // Славянские древности. Т. 2. М., 1999. С. 279—282.
- Мартынова 1997 — Детский поэтический фольклор: Антология / Сост. А. Н. Мартынова. СПб., 1997.
- Мартынова, Митрофанова 1986 — Пословицы. Поговорки. Загадки / Сост. А. Н. Мартынова, В. В. Митрофанова. М., 1986.
- Мельниченко 1961 — Г. П. М е л ь н и ч е н к о. Краткий ярославский областной словарь. Ярославль, 1961.
- Мельчук — И. А. М е л ь ч у к. Курс общей морфологии. Т. 2, 3. М.; Вена, 1998, 2000.
- Морозов и др. 1997 — И. А. М о р о з о в и д р. Духовная культура северного Белозерья. М., 1997.
- Морохин 1986 — Малые жанры русского фольклора: Хрестоматия / Сост. В. Н. Морохин. М., 1986.
- Орел 1977 — В. Э. О р е л. К объяснению некоторых «вырожденных» славянских текстов // Славянское и балканское языкознание: Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977. С. 318—324.
- Плунгян 2000 — В. А. П л у н г я н. Общая морфология. М., 2000.
- Померанцева 1973 — Традиционный фольклор Владимирской деревни / Под ред. Э. В. Померанцевой. М., 1973.
- ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1— Л., 1967—.
- Рожанский 2000 — Ф. И. Р о ж а н с к и й. Редупликация в языках Западной Африки // Основы африканского языкознания. М., 2000. С. 344—412.
- Соколовы II — Сказки и песни Белозерского края: Сборник Б. и Ю. Соколовых. Т. 2. СПб., 1999.
- СРГНО — Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Л., 1965—. Т. 1—.
- Тихонравов 1858 — Н. С. Т и х о н р а в о в. Владимирский сборник: Материалы для статистики, этнографии и археологии Владимирской губернии. М., 1858.
- Ткаченко 1979 — О. Б. Т к а ч е н к о. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. Киев, 1979.
- Топорков 1998 — А. Н. Т о п о р к о в. Заумь в детской поэзии // Русский школьный фольклор. М., 1998. С. 578—604.
- Фасмер — М. Ф а с м е р. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1986—1987.
- Федорова 1981 — В. П. Ф е д о р о в а. Особый тип припева в необрядовых лирических песнях // Русский фольклор. 21. Поэтика русского фольклора. Л., 1981. С. 38—46.
- Шаповалова, Лаврентьева 1985 — Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья / Сост. Г. Г. Шаповалова, Л. С. Лаврентьева. Л., 1985.

Шаповалова, Лаврентьева 1998 — Жили-были... / Сост., авт. ст. и коммент. Г. Г. Шаповалова и Л. С. Лаврентьева. СПб., 1998.

Якобсон 1979 — Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия // R. Jakobson. Selected Writings. Vol. 5. The Hague; Paris; New York, 1979. С. 299—354. (Ср. также издание, где изъят фольклорный текст, содержащий нецензурное слово: Р. Якобсон. Работы по поэтике. М., 1987. С. 272—316.)

Янко-Триницкая 1968 — Н. А. Янко-Триницкая. «Штучки-дрючки» устной речи // Рус. речь. 1968. № 4.

Malkiel 1959 — Y. Malkiel. Studies in Irreversible Binomials // Lingua. 8. № 2. 1959. P. 113—160.

Marantz 1982 — A. Marantz. Re Reduplication // Linguistic Inquiry. 1982. Vol. 13. № 3. P. 435—482.

Plàhn 1987 — J. Plàhn. Хуйня-муйня и тому подобное // Russian Linguistics. 1987. № 11. P. 27—41.

Simonides 1985 — D. Simonides. Ele mele dudki. Rymowanki dzeci słaskich Katowice, 1985. (Studium folkloristyczne).

Steriade 1988 — D. Steriade. Reduplication and Syllable Transfer in Sanskrit and Elsewhere // Phonology. 1988. 5. P. 73—155.

Thun 1963 — N. Thun. Reduplicative Words in English. Uppsala, 1963.

К. А. МАКСИМОВИЧ

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ
В МОРАВСКИХ КНИЖНО-СЛАВЯНСКИХ ПАМЯТНИКАХ IX В. ***

Изучение слов западного происхождения (латинизмов и германизмов) в славянских языках имеет длительную научную традицию. Уже в 20-е гг. XIX в. полемика о происхождении древнеславянского книжного языка, развернувшаяся между Б. Копитаром и Й. Добровским, обнажила ключевое значение лексических западнославянизмов для локализации древнейших памятников и решения вопроса о генезисе славянского книжного языка [Jagić 1913: 146—157]. Разумеется, в наше время вопрос об источнике этого языка уже не сводится к простой дилемме «словенский» («карантанский», «паннонский») или «македонский» (тем более что оба великих слависта вкладывали в эти названия иной, отличный от современного смысл). Однако проблема, поставленная в то время, никогда не отходила полностью на задний план, всегда оставаясь в поле зрения палеославистики. Научную значимость «паннонской» проблематике обеспечили два крупных и независимых друг от друга научных направления. С одной стороны, «паннонская» тема представляет интерес для исследователей праславянского языка и древностей, поскольку новейшие данные исторической лингвистики и археологии позволяют предполагать в области Среднего Подунавья центр славянских миграций эпохи раннего Средневековья [Куркина 1996: 245—247, литература]. С другой стороны, деятельность кирилло-мефодиевской миссии на территории Паннонии и создание первого книжно-письменного языка славян издавна привлекали внимание славистической науки, поскольку имели непосредственное отношение к христианизации народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Распространение христианства на западе славянского мира и формирование на основе латинских и древневерхненемецких образцов славянской христианской терминологии начинается уже в VIII в. — т. е. гораздо раньше, чем на болгарском и македонском юге. Неудивительно, что исследователи раннеславянской письменной традиции с самого начала уделяли пристальное вни-

* Автор признателен д. ф. н. Л. В. Куркиной и к. ф. н. А. А. Пичхадзе, сделавшим ценные замечания по тексту статьи.

мание языку древнейших западнославянских (мораво-паннонских) памятников и славянскому языковому субстрату в европейской ономастике¹.

Изучение западной книжной традиции у славян получило мощный импульс после открытия Н. С. Суворовым следов западного церковного права в древнейшем славянском юридическом кодексе «*Законъ судьнъи людьмъ*» (далее ЗСЛ) [Суворов 1888; 1893]. Впоследствии А. И. Соболевский обнаружил значительное сходство в лексике ЗСЛ и западнославянских переводов с латыни [Соболевский 1900; 1910], в результате чего предположения о западном происхождении ЗСЛ получили солидное лингвистическое обоснование. Наконец, в 50—60-е гг. XX в. чешский славист Йозеф Вашица всесторонне исследовал древнейшие юридические памятники западного происхождения — ЗСЛ, моравский Номоканон и так называемую «Анонимную гомилию» в глаголическом Клоцовом сборнике. Согласно его выводам, памятники были созданы в Великой Моравии эпохи князей Ростислава и Святополка, т. е. в 60—70-е гг. IX в.² Чтобы завершить введение в проблематику статьи, дадим краткое источниковедческое описание этих текстов.

1) *ЗСЛ* является древнейшим памятником славянского права и славянского языка. Его источниками послужили юридические тексты, представляющие разные правовые традиции. С одной стороны, в основу ЗСЛ был положен перевод с греческого языка отдельных глав византийского юридического сборника — Эклоги (издана в 741 г.)³. С другой стороны, положения византийской Эклоги были дополнены при переводе церковными наказаниями (епитимьями), которые восходят к западной (латинской) традиции покаянной дисциплины, представленной в многочисленных латинских сборниках епитимий (пенитенциалах), дошедших до нашего времени, см. [Wasserschleben 1851; Schmitz 1958]. Наконец, с самого начала научного изучения отмечалось влияние на памятник исконно славянских правовых представлений и обычаев [Розенкампф 1829: 133—145; Примечания, 116—130; Приложение, 128—137; Розенкампф 1839: 106—113].

¹ Литература на эту тему чрезвычайно обширна — из основных работ можно назвать [Miklosich 1875; Ягич 1886; Соболевский 1904; 1910; Jagić 1913; Nahtigal 1936; Isačenko 1947; Mareš 1956; 1963; Zagiba 1961; 1964a; b; 1967; Львов 1968; Zagiba 1971a; b; Auty 1976; Reinhart 1980]; из новой литературы — [Kronsteiner 1986: 260—261, 264, 272; 1987: 247; de Vincenz 1988; Ронин 1988; Schuster-Šewc 1989: 297; Хелимский 1988; 1993; Kronsteiner 1997: 39—40; Škrubej 2002; Акимова 2002: 271; Holzer 2002; 2003: 217—221; Максимович 2004a; б]. См. также библиографию в конце статьи.

² Историю изучения ЗСЛ см. в работе [Максимович 2004a: 7—23]. Из основной литературы по теме можно назвать: [Vašica 1961; Вашица 1963; Procházka 1967—1968; Троицкий 1961; 1970; Papastathis 1978].

³ Восходит к законодательной деятельности императоров Льва III (717—741) и Константина V (741—775). Греческий текст с подробным введением издан в [Burgmann 1983].

Известны три редакции ЗСЛ — Краткая, Пространная и Сводная (далее КР, ПР и СР ЗСЛ), из которых первая является древнейшей и оригинальной, а остальные представляют собой плод ее переработки на русской почве в XIII — начале XV в. [Тихомиров, Милов 1961а: 7—34; 1961б: 5—26]. Каждая редакция распадается на ряд изводов. Из научных изданий ЗСЛ можно назвать издание М. Н. Тихомирова и Л. В. Милова [Тихомиров, Милов 1961а; б] и Йозефа Вашицы [Vašica, ZakSud]. В дальнейшем изложении, при отсутствии специальных оговорок, подразумевается древнейшая (краткая) редакция памятника в издании Й. Вашицы.

2) *Моравский Номоканон* (далее НМ) представляет собой перевод византийского сборника канонов, известного в науке под названием «Собрание в 50 титулах» Константинопольского патриарха Иоанна Схоластика (565—577). Как и ЗСЛ, НМ сохранился в славянской кормчей архаичного типа, в которой содержатся также славянские юридические переводы с латыни [Максимович 2004а: Приложение]. После Е. Голубинского [Голубинский 1901: 645—648] научная традиция единогласно приписывает авторство моравского Номоканона Мефодию. В дальнейшем ссылки на НМ даются по изданию [Vašica, Nom], цитаты снабжены сокращенным обозначением церковного канона и указанием на соответствующее место в более позднем древнеболгарском Номоканоне X в. (по версии Ефремовского списка XII в.).

3) *Анонимная гомилия* Клоцова сборника сохранилась лишь фрагментарно [Dostál 1959: 52—57] — ее колофон с возможным упоминанием автора утрачен, однако тематическое сходство с ЗСЛ (юридический характер, сходные запреты), а также употребление в ее тексте древних латинизмов и несколько эксклюзивных изоглоссов с ЗСЛ и НМ (бециньница, присагы поганьскы, врьма в значении ‘грех’) подтверждает ее близость к ЗСЛ и НМ и, возможно, тождественность их автора [Смедовски 1985].

Целью статьи является аналитическое исследование региональной западной («паннонской», «моравской») лексики⁴ в трех названных книжных

⁴ В литературе западнославянские диалектизмы называются то «моравизмами», то «паннонизмами». В действительности различие между ними носит лишь условный характер. Ареал «моравизмов» лежал в пределах государства Моравии (позднее Великой Моравии), в то время как термин «паннонизмы» произведен от названия географической области (название старой римской провинции, часть нынешней Венгрии к западу от Дуная) и церковного диоцеза Паннонии. Церковный диоцез Паннония и государство Великая Моравия (после завоеваний Святополка) географически и лингвистически — один ареал [Хабургаев 1994: 67], поэтому *моравизмы* (за редким исключением, см. ниже) можно считать *паннонизмами*, и наоборот. Пока не придумано специального названия для слов, заимствованных из поздней латыни в области Аквилеи (нынешняя Словения) и побережья Далмации (ныне Хорватия), мы будем именовать их обобщенно — *латинизмы* или *западнославянизмы*. О диалектной неоднозначности понятия *моравизм* в силу нередких отражений «моравских» лексем в словенском языке и чакавских говорах см. [Куркина 1996: 247].

памятниках и выработка новых подходов к локализации древних переводных текстов по данным языка. При этом не ставилась задача пролить свет на сложнейшую комплексную проблему прародины славян или уточнить характер славянского диалектного континуума в Подунавье и на Балканах в дописьменный период. Хронологические рамки изложения намеренно ограничены IX веком, т. е. раннеписьменным периодом, поскольку главным интересом автора является описание древнейшего состояния славянского *книжно-письменного* языка. Все вопросы, имеющие отношение к эпохе до IX в. (аварские и славянские миграции, Паннония как центр славянских миграций, проблема заселения юго-восточных Балкан и т. д.), имели для нас подчиненное значение.

Вычленение из славянского книжного вокабуляра западных регионализмов (моравизмов) следует начинать с определения их отличительных признаков. Для отнесения старославянских лексем к моравизмам в литературе сформулирован ряд критериев. Так, словацкая исследовательница Я. Гутянова предлагает понимать под моравизмами «слова, заимствованные из местного моравского культурного языка в IX—X вв. и ставшие составной частью старославянской лексической системы» [Гутянова 1986: 8]⁵. В развитие своего тезиса Я. Гутянова предложила следующие критерии отнесения старославянских лексем к разряду моравизмов:

- 1) употребление в болгаро-македонских («охридских») памятниках;
- 2) генетическая связь с Великой Моравией или Паннонией (на основании данных исторической лексикологии, диалектологии, синхронной лексикологии);
- 3) отсутствие генетической связи с южнославянскими языками, прежде всего с современным болгарским и македонским;
- 4) употребление в памятниках чехо-моравского происхождения.

Сходные критерии (правда, для определения не моравизмов, а «богемизмов» старославянского языка) еще раньше предложил Ф. В. Мареш: 1) эксклюзивные изоглоссы с древнечешским языком; 2) заимствования из древневерхненемецкого; 3) изоглоссы с памятниками чешского происхождения [Mareš 1963]; ср. [Reinhart 1980: 48—49].

Названные критерии выделения региональных лексем в славянском книжном языке требуют некоторых уточнений.

Во-первых, далеко не все, а лишь некоторые моравизмы стали «составной частью старославянской лексической системы» и употреблялись в болгаро-македонских (охридских) памятниках (так, этим памятникам совершенно не известны лексемы *вѣциньница*, *вѣждъ*, *къмьть* (кметь), *къпетра*,

⁵ Исследовательница справедливо вычленяет также семантические и морфологические моравизмы, такие как, с одной стороны, *неприязнь* в значении 'дьявол' (в южнославянских языках 'злоба') и, с другой стороны, префикс *вз-* (в южнославянских языках *из-*) [Там же: 15], ср. также [Pauliny 1964: 88—91; Львов 1968: 330—331; Вечерка 1985: 178].

мышь, притъкнѣти и др.). С другой стороны, многие моравизмы используются не только в охридских (западноболгарских), но и в преславских (восточноболгарских) книжных памятниках (см. ниже).

Во-вторых, вслед за Марешем вполне возможно считать моравизмами западнославянские заимствования из поздней латыни и древневерхненемецкого, поскольку реальная возможность таких заимствований существовала только на западе славянства. Так, заимствования из немецкого могли быть только на территории Великой Моравии, а также в приальпийских славянских землях; заимствования из латыни были возможны только в приальпийском регионе и в далматинских землях на Адриатическом побережье. В литературе иногда постулируется заимствование латинизмов в болгарский язык либо непосредственно из «балканской латыни», либо из латыни через греческое посредство [Пенкова 1995 (с литературой); Цибранска-Костова 2000: 81]. Эти (всегда очень отрывочные) высказывания оставляют без ответа целый ряд вопросов — например, в каком месте Балкан латиноговорящее население непосредственно соприкасалось с болгароговорящим; почему все до одного древние латинизмы имеются у западных и юго-западных славян (в памятниках и диалектах), а в болгарском ареале они представлены в очень ограниченном объеме (и то, как правило, только в памятниках, но не в диалектах); как интерпретировать латинизмы, заимствованные в славянский через посредство древневерхненемецкого (крижь, крижьма, крътъ, мънихъ, папежь, постъ и т. д.). До получения исчерпывающего ответа на эти вопросы под «балканской латынью» следует понимать только средневековую латынь (романские диалекты) побережья Далмации, с которой граничили сербохорватские и словенские диалектные области. Другой тип латыни представляла церковная (книжная) латынь баварских миссионеров, распространявшаяся в чехо-моравских и паннонских областях. Таким образом, география славянских заимствований из латыни иногда может быть установлена в зависимости от семантики лексемы — если церковно-богослужебные термины заимствовались (часто через немецкое посредство) в Моравии, Паннонии и приальпийских землях, т. е. в зоне влияния каролингской церкви, то бытовые слова (*дъска*, *къмьть*, *оцъть* и др.) могли войти в язык только в далматском регионе, где славянское население соприкасалось с живыми романскими диалектами.

Старославянские лексемы, заимствованные из латыни или древневерхненемецкого, можно считать надежными моравизмами (паннонизмами), если они не отмечены в болгаро-македонских диалектах. Если же их следы обнаруживаются в болгарском и македонском, правомерно ставить вопрос о том, какими путями они туда попали. Христианская лексика западного происхождения, отмеченная в болгарских диалектах, в данном случае не меняет дела — так, слова *олътарь*, *комъкати*, *поганъ* и др., на которые обычно ссылаются [Minčeva 1998: 57], относятся к области христианского культа, распространение которого никогда не ограничивалось пределами племенных и государственных границ. Гораздо большее значение для изуче-

ния языковых контактов имеет бытовая, некнижная (нецерковная) лексика — а как раз в этой области западный лексический материал болгарских диалектов исчезающе мал.

Некоторые из западнославянских диалектизмов (например, *олътарь*, *малъжена*, *неприазнь*) перешли через книжные памятники в древнеболгарские (охридские и преславские) тексты, а затем и в древнерусский литературный язык. Следовательно, моравизмы могут встречаться в болгарских книжных памятниках, что никак не отменяет их западнославянского диалектного характера. Принципиальное значение, как уже говорилось, имеет отсутствие верифицируемой *генетической* связи с болгарскими диалектами.

Отдельные западнославянские регионализмы имеются в русских диалектах (ср. ниже о терминах *боль* ‘больной’, *истина*, *крижма*, *кошуля*, *малжена*). Данное обстоятельство не препятствует тому, чтобы считать такие лексемы западными, поскольку для древнего периода термин *моравизм* образует оппозицию с термином *болгаризм* и нейтрален по отношению к термину *русизм*. В региональной лексике древнейших памятников западно- и восточнославянские (севернославянские) лексемы нередко противопоставлены южнославянским⁶.

Некоторые моравизмы (например, *врѣма* ‘грех’, *догонити* ‘заставить’, *истина* ‘спорное имущество’, *кметь* ‘дружинник’, *неприазнь* ‘дьявол’) носят семантический характер — т. е. они в принципе представлены в южнославянских языках, однако в иных значениях, чем в ЗСЛ (см. ниже).

Таким образом, можно говорить о двух главных типах моравизмов:

- 1) моравизмы, отмеченные только в древнейших западнославянских памятниках (в том числе переводах с латыни) и/или западных диалектах;
- 2) моравизмы, проникшие в болгаро-преславскую и древнерусскую книжность и/или диалекты.

Рассмотрим конкретные лексемы, разделив их по указанным группам.

1) Термины ЗСЛ и НМ, не известные болгарской книжности и диалектам

вещиньница ‘неправедное деяние’

ЗСЛ, гл. 4: *Имѣни женоу свою и примѣшала са рабѣ, являющии са вещинь-ници, сию достоитъ от княза земли тои чрезъ землю да въ иноу землю про- дадаты (διαγινωσχομένου τοῦ πράγματος) (181.11—15); гл. 30а: се же все достоитъ <кн(а)sem(з) и соудамъ> с послочухъ испытати, јакоже преди писахомъ... вса вещиньницѣ людьскѣа (197.14—18). По данным SJS, слово встретилось по-*

⁶ См. примеры в работах [Молдован 2000: 84—91; Максимович 2001: 198, прим. 16; 202; 209, прим. 47]. Аналогично обстоит дело и с некоторыми морфологическими явлениями, такими как окончание тв. п. ед. ч. *о*-основ *-зьмь*, прич. наст. вр. на *-а* (*ида*, *неса* и т. п.), севернославянские префиксы *вз-* и *роз-* и т. п.

мимо ЗСЛ только в Мефодиевой гомилии Клоцова сборника [SJS I: 88; Cibranska 1998: 197, 200—201]. Однако нам удалось отыскать еще один случай употребления этой редкой лексемы — в Номоканоне Мефодия, в несколько испорченной форме *вѣциньницѣхъ* вместо *вѣциньницахъ* (в греч. ἀταξία ‘беспорядок, смута’), ср.: **Ο** **Μ**αξιμῆς Κουμνικῆς καὶ βιβλίου (з) на нь *вѣциньницѣхъ* въ Константиноу градѣ — *Περὶ Μαξίμου τοῦ Κοινοῦ καὶ τῆς κατ’ αὐτὸν ἀταξίας* (324.5). Употребление этого редчайшего слова⁷ исключительно в памятниках, приписываемых Мефодию, можно считать дополнительным аргументом в пользу справедливости этой атрибуции (ср. ниже о слове *врѣма*). Термин *вѣциньница*, встретившийся только в памятниках моравского происхождения, может на этом основании считаться моравизмом.

врѣма ‘грех, преступное деяние’

ЗСЛ, гл. 30а: *аще достоинъ на всакъ грѣхъ* отпочати женоу свою (цитата из Мф. XIX.3: *κατὰ πάσαν αἰτίαν* ‘за любую вину, прегрешение’) (196.3—5, прим.). В J имеется чтение на всако *врѣма*, которое, бесспорно, следует рассматривать как *lectio difficilior*, т. е. первичное. Идентичное словоупотребление Й. Вашица обнаружил в Анонимной (Мефодиевой) гомилии Клоцова сборника (2b 8: на всѣько *врѣма*) [Dostál 1959: 55] и в НМ (в соответствии с греч. ἔργον ‘осуществление (греха), преступное деяние’) [Vašica, Nom: 344.4 (Неокес. 4); Вашица 1963: 25—26]. В данном значении слово отсутствует во всех словарях современных славянских языков и может на этом основании считаться архаичным семантическим регионализмом.

Вероятное происхождение слав. *grěchъ* из праформы **groi(k)so-* ‘изгиб, кривизна’ (ср. лтш. *grēizs*, лит. *graižas* ‘косой’) [Фасмер I: 456—457; ЭССЯ 7: 114—116] и надежное возведение *vrěmę* к прасл. **vert-men* < **vert-/vort-* ‘вертеть’ [Фасмер I: 361—362] позволяют предполагать древнее семантическое сходство (синонимию) терминов *grěchъ* ‘отклонение от прямой линии; ошибка, грех’ и *vrěmę* ‘то, что скручено, свито; то, что отклоняется (от должного); *грех’⁸.

догонити ‘заставить, понудить’

НМ, Ант. 11: *аще ли нужьна потреба догонити* ити (к императору), се да створити (священнослужитель) *смотрениимъ* и волю старѣишаго града области тоа *еп(и)с(ко)па* (греч. *καλοίη* ‘позовет’) (280.5—8); в Ефремовской кормчей *призываютъ* [Бенешевич 1907: 257.29].

В значении ‘заставить’ слово встретилось помимо НМ [SJS I: 500; Срезневский III Доп.: 91; Сл XI—XVII 4: 282] только в поучениях новго-

⁷ Оно отсутствует в словарях [PCA], [RJA], [Mažuranić], [Kott], [Skok], [SSKJ] и мн. др.

⁸ Аналогичное наблюдение делает [Цейтлин 1988: 384] в отношении терминов *грѣхъ* и *зълъ* — к последнему ср. лит. *žvalūs* ‘проворный’, лтш. *zvelt, zvelu* ‘катать, наклонять’, др.-инд. *hvāratī, hvālatī* ‘петляет, идет кривыми путями’ [Фасмер II: 99].

родского епископа Моисея — в ф. догонити ‘против воли довести до чего-л., принудить к чему-л.’ в поучении против пьянства в сборнике XIV в. (ГИМ, Хлуд. 30д) и в ф. догонити, догонати в поучении о клятвах в Паисиевском сборнике XIV—XV вв. (РГБ, Кир.-Белоз. 4/1081) [Сл XI—XIV III: 33].

Согласно мнению Й. Вашицы, данное употребление догонити является моравизмом [Vašica, Nom: 224]. В самом деле, значение ‘понудить, заставить’ обнаруживается только в чешском языке — ср. *Já ho k tomu doženu = přinutím* [Kott II: 82]; *nouze ho dohání*. В остальных славянских языках значение иное — ‘достигать, настигать’ (болг., сербохорв., польск., рус.), ‘быть похожим’ (сербохорв., макед. диал.), ‘гнать до конца’ (чеш.) [Kott II: 81; БЕР I: 405; Кон. I: 142; Iveković, Broz I: 232; PCA 4: 435—436]. Новгородские примеры из поучений еп. Моисея не опровергают, а наоборот, скорее подтверждают западнославянский характер употребления догонити в значении ‘понудить, заставить’ — важнейшее значение имеет полное отсутствие болгарских, македонских (и вообще южнославянских) параллелей.

взсѣдъ ‘св. Причастие’

ЗСЛ, гл. 4: *всѣда не вздмати; *всѣдъ примати (без греческого соответствия) (182.3; 182.5). Подробнее см. [Максимович 2004а: 90].

къмьть ‘знатный дружинник, военачальник’

ЗСЛ, гл. 3: аще ли обратють с(а) итери от тѣхъ дьръзочьвше, или къмьти(и) или простыхъ люди, подвигы и храбрьство съдѣавше, обрѣтаи са князь или воевода в то время от реченаго оурока княжа да подаетъ ‘если найдутся некоторые из них проявившие смелость, (будь они) либо из кметов (знатных воинов), либо из простых ополченцев, совершившие подвиги и храбрые дела, то находящийся там в то время князь или воевода пусть наделяет их из предназначенной ему доли’ (без греческого соответствия) (180.18—181.4).

Слав. кметь происходит из лат. *comes*, род. п. *comitis* ‘военачальник, офицер’ в нар.-лат. форме **comite(m)*. Впервые в славянской книжности слово кметь в значении ‘знатный воин’ фиксируется в главе 3 КР ЗСЛ, трактующей о порядке раздела воинской добычи. В болгарских памятниках и диалектах в исконном значении ‘воин, дружинник’ не отмечено. Подробнее см. [Максимович 2004а: 90—92].

къпетра ‘кума’

ЗСЛ, гл. 7: Иже *къпетроу свою поиметь женѣ себе, по закону людьскомуу носѣ има овѣма оурѣзуютъ (τὴν ἐκ τοῦ ἁγίου καὶ σωτηριώδους βαπτίσματος γενομένην ἀπὸ τοῦ σύντεχνον ‘ставшую после святого и спасительного крещения соматерью его детям’) (183.1).

Слово происходит из нар.-лат. *compatre(m)* < лат. *compater* [Skok II: 232; ESJS I: 383]. Ярчайший культурный моравизм, сохранившийся только в

памятниках западнославянского происхождения, в том числе в Мефодиевой гомилии Клоцова сборника [Miklosich 1862—1865: 322; SJS II: 98], в болгарских памятниках и диалектах отсутствует. Подробнее см. [Максимович 2004а: 92].

мыша, слоужьба мышьянаа ‘литургия, месса’

НМ, тит. XX: ꙗко не достоитъ клирикомъ безъ волѣ имъ еп(и)с(ко)па ходити ни безъ грамотъ же его примати ихъ въ друзѣхъ градѣхъ ни мыша (мышьяна егг. У, мощи егг. Ј) творити (λειτουργεῖν) (252.11—15).

НМ, Апост. 28: прикосноти са първѣи слоужьбѣ мышьяни (мышьяна егг. У, менши егг. Ј) (λειτουργίας) (286.6); в Ефремовской кормчей слоужьбѣ [Бенешевич 1907: 67.11].

НМ, Апост. 46: еп(и)с(ко)поу ли попоу ли днаконоу от ѳретика кр(ь)щени не примати или мышьяною (мышьяною егг. У, меншою егг. Ј) слоужьбою велимъ (греч. θυσίαν ‘евхаристическую жертву’) (327.7—11); в Ефремовской кормчей жьртвѣ [Бенешевич 1907: 72.8]. Синонимическими вариантами мыша в НМ служат термины литургия (251.19; 252.22; 254.5; 261.3), слоужьба (249.2; 290.16; 292.2).

Слово заимствовано из церковно-латинского *missa* ‘(католическая) месса’ [Holub, Корещу 1952: 234; Machek 1957: 243; 312]. Встречается только в западнославянских памятниках — в Киевских⁹ и Венских глаголических листках, Житии Мефодия, Житии св. Вячеслава, хорватско-глаголической службе Кириллу и Мефодию XIV в., ср. Kij 4b7, 7a1 — мышѣ; Vind 2a12 — мша; Meth 8 на мъши [Лавров 1930: 74.1], Meth 10 да не поють мъша, рекъше слоужьбѣ [Лавров 1930: 75.10]; Meth 11 с(ва)т(а)го Петра мъши приближающи са, рекъше слоужьбѣ [Лавров 1930: 75.31]; VencNov в’спѣв’шимъ же имъ машоу; послочшавъ маше, отправи се домомъ (вм. домовъ?); СМLab налучи ют-рии .. в(ѣ)ч(ѣ)рни и маш’нимъ слоужьбамъ [SJS II: 257]. В славянской книжности признается бесспорным лексическим моравизмом [Schmid 1922: 110—111; Цибранска-Костова 2000: 80].

С XIV в. слово фиксируется в венгерском языке в форме *mise*; о славянском источнике заимствования свидетельствует флексия [e] вместо ожидаемого из лат. *missa* [a] — ср. форму им. ед. *тъšĕ* в Киевских листках 4b7, 7a1 [Німчук 1983: 116, 124], а также чеш. *mše* [Хелимский 1993: 59]. Соответствия в славянских языках: сербохорв. *māša* [РСА 12: 246; RJA VI: 507]; истр. *maša* и *meša* (с 1275 г.) [Mažuranić I: 661]; чеш. *mše* [Kott I: 1082; VI: 1046], польск. *msza* ‘католическая обедня’ [Даль II: 951], лужиц. *mša* [Miklosich 1862—1865: 390]. В болгарских и русских диалектах отсутствует.

В западных памятниках отмечено также более позднее заимствование из лат. *missa* ‘месса’ — миса [SJS II: 216]. Ср. сербохорв. *misa* [Iveković, Broz I: 687; RJA VI: 752], макед. *misa* [Кон. I: 415], болг. *misa* (трынчов.,

⁹ Ср. [Jagić 1913: 39, 48, 264; Німчук 1983: 51, 53, 58; Младенова 1999: 111].

никопол.) [БЕР IV: 122], *миса, мыса* (банат.) заимствовано из сербохорватского [Skok II: 430—431].

Итак, термин НМ *мыша* имеет продолжения только в западнославянских языках и сербохорватском — следовательно, он может считаться древним юго-западным регионализмом.

нерадънзи ‘легкий; беззаботный’

НМ, Вас. Вел. 50: *Закономъ бракъ третии не съводитъ са. таковаа оубо оскъврньниа сватъхъ църкъвъ видимъ, людъскымъ же соудомъ не преддѣемъ, тако невъстаженаго любовѣяннѣа нерадънъи соуще (αἰρετώτερα) (343.2—8); в Ефремовской кормчей калька: похотънѣишаа [Бенешевич 1907: 494.19].*

В древних памятниках данное слово фиксируется помимо НМ только в Галицком евангелии 1144 г. (Мф. X.15): *Нераднѣе воудеть земли Содомьсцѣ во днь соуднзи* (греч. ἀνεχτότερον ‘легче, беззаботнее’) [Miklosich 1862—1865: 439; Срезневский II: 420; Сл XI—XVII 11: 264] (это же слово встречается в Галицком евангелии еще в Мф. XI.22 и Лк. VI.11) [Ягич 1886: 84]. Старшие евангелия (а также Галицкое в Лк. X.12; 14) дают в этом месте однокоренной вариант *отъраднѣи* [Срезневский II: 760; Люсен 1995: 36].

Согласно [ЭССЯ 24: 228], прасл. **neradъnъ(jь)* представляет собой сложение отрицания **ne* и прил. **radъnъ(jь)*, соотносительного с гл. **raditi/roditi*¹⁰. В древних памятниках *нерадити* и его производные *нерадивзи*, *нерадънниѣ*, *нерадъство*, *нераждение* свободно варьируют с *неродити*, *неродовати*, *неродъ*, *неродивзи*, *неродъство*, *нерождение* [Срезневский II: 420; 423; Сл XI—XVII 11: 264; 276]; распределение вариантов корня по славянским языкам (сев.-слав. и словен. *rod-*, ю.-слав. *rad-*) объясняется, вероятно, южно- и севернославянской рефлексацией праславянского корня **ōrd*, ср. [НРЭ I: 186—187]. Другие объясняют наличие вариантов происхождением слова из и.-е. корня **(a)rē-* со значением ‘составлять, сдвигать вместе’, распространенного формантом *-dh-*: **rē-dh-* > **rēdh* > *rōdh* > слав. *rod-* (вар. *rōdh-* > слав. *rad-*); сюда же относят лат. *ratio* ‘счет’, греч. ἀριθμός ‘число’, др.-инд. *rādhayati* ‘совершает, справляется’ [Skok III: 97; ср. Фасмер III: 430]. В славянских языках данная корневая группа имеет следующие отражения: сербохорв. *rād* ‘работа, труд’ (древнее отглагольное имя от *raditi*), *nērād*, *nerádnja* ‘бездеятельность’ [Skok III: 96—97; Iveković, Broz I: 801; RJA VIII: 44]; *neraden* ‘ленивый’, *neradan* ‘ленивый, бездеятельный’, но и ‘свободный от дел, забот; праздничный’, ср. *нерадни*, *празнични дан* ‘выходной день’ [РСА 15: 397—398; RJA VIII: 44]. В чешском языке имеется два паронима — германизм *neradný* ‘неумный, неразумный’ (< нем. *Rat* ‘(разумный) совет’) [SčSl I: 679; Kott II: 138] и *nerodný, nerudný* ‘неохотный, непослушный’ (< *neroditi*) [SčSl I: 682; Kott II: 139; Holub,

¹⁰ Й. Вашица рассматривал это слово как производное от гл. *нерадити* [Vašica, Nom, 343: pozn. 1].

Кореšný 1952: 243], польский язык имеет *nieradny* ‘непрактичный’ и его дериваты *nieradność*, *nieradnie* [SJP III: 326] (польск. *nierodny*, *nierodliwy* ‘бесплодный’ восходит к **roditi* ‘родить’ [SJP III: 328]). Отметим, что чешский и польский не сохранили «позитивную» семантику термина *neradъnъ* ‘свободный от трудов, беззаботный; нерабочий, праздничный’ (ср. НМ) — она присутствует ныне только в сербохорватском, т. е., как и ожидалось, на юго-западной диалектной периферии, тогда как диалекты центрального ареала (Моравия) ее полностью утратили. Ввиду отсутствия в болгарских памятниках и диалектах термин может считаться надежным моравизмом. Его нет также в русских и белорусских диалектах, хотя книжное слово *нерадивый* в русском имеется.

В историко-культурном аспекте вызывает интерес отмеченное выше чтение Мф. 10.15 (и др.) в Галицком евангелии 1144 г. (*нераднѣ воудеть земли Содомьсцѣ во днь суднзи*) при наличии в старших евангелиях варианта *отъраднѣнѣ*. Судить о том, какой из вариантов первичен, затруднительно. С одной стороны, возможно позднее проникновение термина *нераднѣ* в Галицкий список с Запада, поскольку рукопись написана в Юго-Западной Руси [Ягич 1886: 88—90]. Однако более вероятно сохранение в Галицком списке первоначального (кирилло-мефодиевского) чтения, поскольку именно вариант *нераднѣ* имеет соответствие в моравском НМ. Последний, в свою очередь, вообще не знает терминов, образованных от основы *отрад-* (*отрада*, *отраднзи* и т. п.), хотя они широко представлены в древнеболгарской книжности, в том числе в болгарских списках Евангелия и Апостола [SJS II: 613—614; Срезневский II: 760—761; Сл XI—XIV VI: 272—273; Сл XI—XVII 14: 8—9; НРЭ I: 153]. Несмотря на то что протограф Галицкого евангелия подвергся правке на болгарской почве, рукопись нередко сохраняет древние (моравские по происхождению) чтения [Ягич 1886: 79—82]. Как западный элемент текста можно рассматривать, например, форму *Голгота* с *т* вместо *ф* или *ѳ* [Буслаев 1861: 48, 54], которая соотносима с лат. *Golgotha* и отмечена в Мариинском и Зографском евангелиях [SJS I: 416]. Галицкое евангелие сохраняет также западный регионализм *потъбѣга* ‘разведенная’ (см. ниже). Ряд поздних болгарских чтений (характерных, впрочем, для всех без исключения ранних евангелий) как будто не препятствует тому, чтобы относить Галицкое евангелие к первой (древнейшей) редакции славянского евангельского текста [Алексеев 1999: 146—147, 149]. В свою очередь, это обстоятельство позволяет с достаточной уверенностью говорить о первичности чтения *нераднзи*.

нестера ‘дочь сестры, племянница’

НМ, Апост. 19: *Аще кто поиметь сестреницѣ ли дъщерьшю ли нестерѣ* (У, етерѣ† J), *да не воудеть с(ва)щ(е)ник(ъ)* ‘если кто (последовательно) возьмет в жены сестер, или дочь брата, или дочь сестры, не может стать священнослужителем’ — *ó dúo ádelphás ágagόμενος ἢ ádelφιδῆν οὐ δύναται εἶναι κληρικός*

‘женящийся на двух сестрах или на племяннице не может стать церковно-служителем’ (299.3). Показательно, что в J слово испорчено (ετηρ8) — иными словами, в XVI в. (а скорее всего, уже гораздо раньше) оно не было понятно русским писцам.

Термин *нестера* (в греч. ἀδελφιδῆ ‘дочь брата или сестры, племянница’) помимо НМ [SJS II: 405; Сл XI—XVII 11: 307] встретился в древнейшей книжности только на славянской диалектной периферии в сербской Иловицкой кормчей 1262 г. (л. 328: сестричьна нестера глаголеть се) [Miklosich 1862—1865: 442]. Его продолжения отмечены только в юго-западных и западных славянских землях, ср. сербохорв. *нестера* ‘дочь сестры, племянница’ (на западе, в далматском диалекте) [Iveković, Broz I: 804; RJA VIII: 88], ст.-чеш. собств. *Nestera, Nesterjka*, ст.-польск. *nieściora* ‘племянница’ [Фасмер III: 66—67].

Слав. *nestera* возводится к прасл. **nept-tera*; ср. и.-е. **neptī(s)* > др.-лит. *neptė*; др.-инд. *naptiṣ* ‘внучка’; авест. *naptī-*; др.-ирл. *necht* ‘внучка’; др.-в.-н. *nift*; лат. *neptis* ‘внучка’, позднелат. ‘племянница’ (к лат. *neptis* ср. лат. *nepos* < **nepōt-s* ‘внук’, поздн. ‘племянник’). Специфичность прасл. **nestera* состоит прежде всего в особом морфологическом оформлении посредством суф. *-ter-*, как в ср.-лат. *mater-tera* ‘тетка, сестра матери’ [Фасмер III: 66—67; Skok II: 513; Бенвенист 1995: 159; Трубаев 1959: 78; ЭССЯ 25: 18—19]. Соответственно, славянский термин демонстрирует своеобразное развитие семантики (‘племянница’ при наличии значения ‘внучка’ в древнейших индоевропейских языках, о причинах этого см. ниже прим. 15).

В древне- и среднеболгарских книжных памятниках и современных болгарских диалектах, в отличие от западнославянских языков, континуанты слав. *nestera* отсутствуют. В древнеболгарской Кормчей без толкований (перевод X в., древнейший список — древнерусская Ефремовская кормчая XII в.) вместо *нестера* употреблен термин *сестричьна*, ср.: *водѣи дъвь сестричьни ли сестричьноу ‘женящийся на двух сестрах или на дочери сестры’* [Бенешевич 1907: 65.27—28]¹¹. В древнеболгарском языке для обозначения племянницы существовал также термин *дъщерьши* (поздн. *дщерьша*), ср. контексты из Синайского патерика (греч. ἀνεψιά ‘племянница’) [Син. пат.: 215], Великих Четых Минея [Срезневский I: 763; Сл XI—XVII 4: 393], в слове Ефрема Сирина по версии Успенского сборника XII—XIII вв. (греч. ἡ ἀδελφιδῆ ‘племянница’) [Усп. сб.: 487] — в том же слове Ефрема по списку XIII в. находим вариант *дщерь* [Vojkovsky II: 298.344], однако далее

¹¹ Термин *сестричьна* < *сестра* образован по продуктивной модели, ср. *дъщерьна* ‘дочь дочери, внучка’ (< *дъщи*) в Лев. XVIII.10 по списку 1538 г. [Срезневский I: 763; Сл XI—XVII 4: 393]; отсутствует в [Сл XI—XIV]. В древнерусской книжности отмечены следующие производные от *сестра*: *сестреница* в знач. ‘сестра’ и ‘двоюродная сестра’ (в староукраинском также ‘дочь сестры’, ср. [ССУМ II: 341]), *сестриница* ‘сестра’, *сестреничь* и *сестреничьна*, *сестричинь* и *сестричьна* (*сестрична*) ‘сын (дочь) сестры’; *сестричьничь*, *сестричьничь* и *сестричь* ‘сын сестры’ [Сл XI—XVII 24: 97—98].

стоит дочьрша своя (в греч. τὴν ἀνεψιάν ‘племянницу’) [Там же: 300.359]. Термин дъщерьши в НМ имеет обычное для древнеболгарского значение ‘племянница, дочь брата’ [Miklosich 1862—1865: 184; SJS I: 536; ср. Даль I: 1211]. С другой стороны, ‘племянник; сын брата или сестры’ обозначался в древнеболгарском (преславской редакции) и старосербском книжном языке термином нетии [Срезневский II: 433]; отсутствует в [SJS]¹². Из древнейших памятников слово нетии отмечено в Изборнике 1073 г., л. 263б: Маркъ нетии Варнава, епископа Аполониискаго (греч. ὁ ἀνεψιός ‘племянник’) [Изб. 1073: 719], «Повести временных лет» (в договоре кн. Игоря с греками 944 г.: Яковъ нетии Игоревъ), Новгородской кормчей ок. 1291 г., русских прологах [Сл XI—XIV V: 377], сербской Иловицкой кормчей 1262 г. (л. 328: сестричиць нети гдагольть се), сербских прологах, переведенном с латыни житии св. Григория Акрагантского, Львовской минее (XVI в., рус.) [Miklosich 1862—1865: 444], а также в Хронографе 1512 г. (сербский раздел) [Сл XI—XVII 11: 319]. Сюда же относится прасл. **nepti*, *-ere* ‘племянница’ [ЭССЯ 24: 223—224]. Полное отсутствие продолжений **ne(p)ti-jo* в болгарских и русских диалектах (не отмечено в [БД], [БЕР], [СРНГ]) при наличии чеш. *neteř*, словац. *netera*, ст.-польск. *nieć*, *nieść*, словен. диал. (приморск.) *nêta*, *neta* и сербохорватских производных заставляет считать и слово нетии наряду с нестера западнославянским диалектизмом в болгаро-преславском и древнерусском книжном языке.

В индоевропейской перспективе представляется возможным сопоставление праславянского (*nestera*) и позднелатинского (*matertera*) форманта *-ter-* с индоевропейским суффиксом *-ter-*, который использовался преимущественно в терминах родства: **pātēr* ‘отец’, **mātēr* ‘мать’, **dhugh(ə)tēr* ‘дочь’, **bhrātēr* ‘брат’ и др. [Бенвенист 1995: 175]. Этот же суффикс использовался в древнегреческом языке для образования компаратива от прилагательных с основой на *-o* (м. и ср. р.) и *-a* (ж. р.)¹³. В пользу тождественности этих формантов свидетельствует не только их полное фонетическое сходство, но и структурный параллелизм прасл. **nept-ter-a* и

¹² Ст.-сл. нети(и) (вероятно, древний дублет, как *сѣди* и *сѣди* — [Вайан 1952: 119]) происходит от того же индоевропейского корня, что и **nestera*, и возводится к прасл. **ne(p)ti-jo-*; ср. его производные — ст.-польск. *nieć*, *nieść* ‘племянник’, ст.-серб. *netjak* (с 1230 г. — [Mažuranić I: 745]), сербохорв. *nećāk* и *netjak* ‘сын сестры’, *nečas*, *nečasa* ‘племянник’, словен. *nečāk* и *netjāk* ‘сын сестры’ [Iveković, Broz I: 790; Machek 1957: 324; Фасмер III: 67; Трубаев 1959: 76—77; ЭССЯ 24: 224]. Чеш. *neteř* и словац. *netera* ‘племянница’ восходят к прасл. **neti* < **ne(p)ti-*, р. п. *netere* [Kott I: 1180]. Вероятно, сюда же относится словен. диал. (приморск.) *nêta*, *neta* ‘дочь брата, сестры’ [Furlan 1991]; др.-рус. имя собственное *Нестор* и *Нестер*, *Нестерко* [Зализняк 2004: 765] восходит к греч. *Νέστωρ* [Фасмер III: 67].

¹³ О. Н. Трубаев вслед за А. Брюкнером объяснял слав. *nestera* из основы **ne(p)ter-*, ср. *ne(p)ti*, род. п. *ne(p)tere* [Трубаев 1959: 78] — однако в этом случае остается неясным переход *pt* > *st*, который приходится объяснять аналогическим выравниванием под влиянием слав. *sestra*.

дъщерьши ‘племянница’ < прасл. **dъšter-jъš-ī*. Реконструируемый в **dъšter-jъš-ī* формант *-jъš-*, возможно, идентичен суффиксу сравнительной степени прилагательных *-jъš-* (болии < **bol’ь(-jъ)* < **bol-jos*; род. п. больша < **bol-jъš-a*), который находился в отношении варьирования с суф. *-ě-jъš-* (старъги, славъги) [Bielfeldt 1961: 167—168; Aitzetmüller 1991: 131—132]; ср. индоевропейский суффикс компаратива *-jes-/-jos-* и его продленную ступень *-ī-jos* [Шантрен 1953: 88—89]. Тождественность двух суффиксов доказывается, помимо прочего, также идентичным морфологическим оформлением флексии им. п. ед. ч. ж. р. дъщерьши в древнейших памятниках и компаратива ж. р. прилагательных (больши, мьньши и т. д.)¹⁴.

Следует также иметь в виду, что греческий формант *-ter-* мог обозначать не только сравнительную степень, но и принадлежность к определенной группе, классу, ср. *ἡμέτερος* ‘наш, имеющий отношение к нам’ (ср. *ἡμεῖς* ‘мы’), *ἄρρεντερος* ‘мужской’ (< *ἄρρην, -ενος* ‘мужчина’), *θηλύτερος* ‘женский’, *ὄρεστερος* ‘горный’ и др. — ср. также лат. *dex-ter* ‘правый’ (при греч. *δεξι-ός*), *ex-terus* ‘внешний’ [Шантрен 1953: 93]; прасл. **e-ter-ъ* ‘один из двух’, *ko-ter-ъjъ* ‘который’, *vъ-tor-ъjъ* ‘второй’ [Pokorny 1949—1959: 37—38; Aitzetmüller 1991: 127]. Соответственно, субстантивы, образованные с помощью данного суффикса, приобретают семантику отнесенности к какому-либо классу явлений, обозначаемому корнем — **nestera* ‘лицо женского пола, относящееся к типу «внучка»; как бы внучка»¹⁵, **dъšter-jъš-ī* ‘лицо женского пола, относящееся к типу «дочь»’ и т. п.

Таким образом, истолкование прасл. **nestera* (< **nept-tera*), **dъšter-jъš-ī*, а также ср.-лат. *matertera* ‘сестра матери, тетка’ в сравнительно-уподобительном смысле (‘как бы внучка’, ‘как бы дочь’, ‘как бы мать’) находит опору в морфологической структуре всех этих слов и делает маловероятной идею И. Шмидта, Э. Френкеля и др. о том, что **nestera* происходит от прасл. **ne(p)ti* (род. п. **ne(p)tere*) по аналогии с *mati*, *matere* с допущением о появлении корневого *s* под влиянием слова *sestra* [Фасмер III: 67; ЭССЯ 25: 19].

В заключение заметим, что помимо использования суффиксов компаратива (*-jъš-*) и отнесенности к классу (*-ter-*), славянские языки знают еще один способ передачи идеи родства по боковой линии. С этой целью использовалась деривация соответствующих терминов от имен, обозначаю-

¹⁴ Аналогичное развитие можно видеть в матерьши (ср. поздний гибрид маштерьша) [Срезневский II: 118; 119; Vašica, Nom: 260.2; Фасмер II: 583] и маштеха (рус. мачеха) < прасл. **matjecha* ‘мачеха’ < **mat-jes-a* ‘подобная матери’ [Трубачев 1959: 34]. Правда, в случае с **matjecha* остается неясным природа фонетического перехода *s* > *ch* после *e*; возможно, эта трудность стала отправным пунктом для альтернативных этимологий В. Махека, А. Брюкнера, А. И. Соболевского и др. [ЭССЯ 17: 268].

¹⁵ Сочетание в индоевропейских языках значений ‘внук’ (‘внучка’) и ‘племянник’ (‘племянница’) объясняется возможностью экзогамных браков между кузенами [Бенвенист 1995: 157—158; ЭССЯ 24: 224].

щих прямое нисходящее родство, при помощи диминутивных суффиксов: ср. серб. *синовац*, чеш. *synovec* ‘племянник’ — собственно ‘малый сын; как бы сын’¹⁶. Особенностью некоторых славянских языков является наличие особых терминов со значением ‘сын (дочь) сестры’ и ‘сын (дочь) брата’ с аналогами в кельтских и балтийских языках, ср. [Бенвенист 1995: 160; Трубачев 1959: 67]. Таковы, с одной стороны, серб. *не́стера* и *нећак*, *нећака*; словен. *sestràn, sestrič*; болг. *сестреник, сестринец, сестриница*; чеш. *sestřenec, sestřenice*, польск. *siostrzeniec, siostrzenica*; др.-рус. *сестреничь* и *сестренична*, *сестричинъ* и *сестрична* (-на), укр. *сестрінець, сестріниця*, рус. *сестреница, сестрична* и, с другой стороны, болг. *братанец, братенек, братаница*; др.-серб. *братаньць*; серб. *брàтанућ, братàнац, брàтић, брàтаница*; словен. *bratàn, bratič, bràtranček, bràtranec, bràtrančič, bratàna, bratràna, bratična*; чеш., словац. *bratranec, bratranica*, чеш. диал. *bratránek*, словац. *bratrovec, bratovec*, польск. *bratunek, bratanica*; ст.-слав. *братаньць, братаниць, братана*; др.-рус. *братанъ* (братана) и *братаничь* (братанична), рус. и укр. *братанич*, белорус. *братаніч* [Сл XI—XIV I: 306; Сл XI—XVII I: 319; Трубачев 1959: 61—62, 67].

притѣкнѣти ‘доказать’

ЗСЛ, гл. 2: *Аще не притѣкнете послоустьхъ, какоже и законъ в(о)жи и велить, приати тоуже казнь члите, юже на дрюгѣ г(лаго)ласте (без греч.)* (179.4—7), ср. [SJS III: 318]. В Печатной кормчей замена: *поставити послоухвѣз* [Печ. Корм.: 372]. Термин *притѣкнѣти* в специальном значении ‘установить, доказать’ использован также в НМ, ср.: *аще не притѣкнеть како от иретика имат(ь) с(ва)щение* (греч. *εἰ μὴ συσταίη* ‘если он не докажет’) (299.15—17), ср. [Цибранска-Костова 2000: 64]. В чешском языке это значение не сохранилось [Kott II: 1106]. В южнославянских текстах лексема *притѣкнѣти* отмечена только в форме *притѣкнѣти се* в значении ‘произойти, приключиться’ (гомилиарий Михановича XIII в.) [Miklosich 1862—1865: 684].

Специальную работу посвятил выражению *притѣкнѣти послоустьхъ* В. Прохазка [Procházka 1957]. Согласно его выводам, термин *притѣкнѣти* обозначал в мораво-паннонском юридическом языке ‘неопровержимо доказать (причастность к преступлению)’, т. е. фактически ‘застать на месте преступления (кражи и т. п.)’. Автор обосновывает свою точку зрения примерами из Христинопольского апостола, где данный глагол употребляется в значении ‘доказать’, ср.: *ни притѣкнѣти не могуць о нихъже нзынѣ на ма глѣуть* — в греч. *παραστῆσαι* ‘представить, доказать’ (Деян. XXIV.13); *притѣкнѣти вины* — в греч. *ἀποδείξει* ‘доказать’ (Деян. XXV.7) [Апост. Христ.: 58, 59]¹⁷.

¹⁶ Ср. лат. *avus* (первоначально) ‘двоюродный дедушка по матери’ > *avunculus* ‘дядя по матери’, буквально ‘маленький дедушка’ [Бенвенист 1995: 158].

¹⁷ Слову *послоухъ* в сочетании *притѣкнѣти послоустьхъ* Прохазка приписывает значение ‘свидетель (на суде), слышавший крик (крики)’, т. е. свидетельствующий со

На фоне сообщения гл. XV Жития Мефодия о том, что он вместе с Кириллом перевел Апостол [Лавров 1930: 77], совпадение словоупотребления ЗСЛ и Христинопольского апостола при полном отсутствии аналогов в болгарских памятниках может служить важным лингвистическим аргументом в пользу общего авторства обоих текстов¹⁸.

стрижьници ‘клирики’

НМ, Апост. 60: *Аще кто лъжага писанна книжнага јако с(ва)та въ ц(ь)рк(ъ)ви чететь на съблазнъ стрижникомъ и людьмь, да извержетъ са (тоу κληρου) (361.13—17); в Ефремовской кормчей на пагоубоу людьмь и причьтоу [Бенешевич 1907: 74.30].*

По данным SJS, слово стрижници (мн.) в значении ‘церковный клир’ трижды встретилось в древнейшей книжности, и всякий раз в памятнике моравского происхождения [Miklosich 1862—1865: 890; Срезневский III: 548; SJS IV: 181]. Дважды термин употреблен в Паннонском житии Мефодия: *начатъ расти оучение в(о)жию и стрижници множити са въ всьхъ градъхъ; порочи емоу (Мефодию) вса ц(ь)рк(ъ)кви и стрижникъ [Лавров 1930: 75.18—20].* Данный термин встретился также в сербской редакции пенитенциала «Заповеди святых отец» (ЗСО), гл. ссссс: *Аще кто лъжна писанна книжна јако светага чететь въ цръкви, въ съблазнъ людьмь и стрижникомъ, да извержетъ се [Jagić 1874: 144]; ср. там же ф. пострижникъ ‘клирик’, гл. zzzz): Епископъ или попъ иже неприлеж’но вчитъ пострижникъ свои и люди правовърнѣи вѣръ, да отлучитъ се. Внутренняя форма и семантическая мотивировка производного стрижникъ (< *strigti ‘стричь’) вполне прозрачны и, возможно, передают лат. *tonsus, tonsuratus* ‘тот, кто имеет выстриженную макушку, тонзуру’ [Miklosich 1862—1865: 890]. Таким образом, термином стрижникъ описывается характернейший внешний признак католического священнослужителя. В научной традиции стрижникъ единогласно квалифицируется как моравизм [Голубинский 1901: 646, прим. 1; Schmid 1922: 9, 119; Vašica, Nom: 222—223].*

В словенском, сербохорватском, болгарском, польском и русском термин отсутствует. Тем любопытнее выглядит старочешское производное, в котором реконструируется древняя семантика ‘священнодействия’ — *střížstvo* ‘чародейство’ [Kott VII: 797] (с очевидным допущением возможности семантического развития ‘священство’ > ‘чародейство’ в сельской диалектной среде).

слуха. С развитием судебного процесса данный термин стал обозначать любого свидетеля на суде, говорящего под присягой [Procházka 1957: 338; 1959].

¹⁸ Перикопа Деян. XXV.7 не входила в круг чтений праксапостола, переведенного на славянский язык еще в Византии, до моравской миссии Константина и Мефодия [Христова-Шомова 2004: 14]. В Моравии был сделан полный перевод Апостола, причем, согласно прологу к «Богословию» Иоанна Экзарха, «вся уставная книга» перевел не кто иной, как Мефодий [Там же].

**2) Моравизмы ЗСЛ и НМ,
отмеченные в болгарских письменных памятниках,
но не в диалектах**

влаць ‘собственный’

НМ, тит. XLVI: ꙗко не достоитъ възимати чо ц(ь)рк(ъ)вьнъхъ ли себе [чит. себѣ] влаца (У, егг. влаглица J) творити (в греч. σφετερίζεσθαι ‘присваивать’) (260.10—12).

Термин влаць представляет собой суффиксальное производное от прасл. **vold-tь* > *vlastь* ‘владение, обладание’ (*vlašt’ь* < *vlast-jь*, ср. властьнъ < *vlast-ьн-ь*). Вероятно, слово в НМ представляет собой архаичный регионализм (ср. его неясность для русского писца J). Древнейшие фиксации отмечены только в памятниках западного происхождения: один раз в НМ и трижды в «Беседах на Евангелие» Григория Великого [SJS I: 201]. Слово сохранилось только в старочеш. *vlášcie*, *vlaštie* ‘собственный’ [Kott IV: 733], сербохорв. (побережье Далмации) *vlāumī* и *vlāumī* (наряду с *vlāumēnī*, *vlāstīm*) ‘собственный’ [Miklosich 1862—1865: 68; PCA 2: 720; Skok III: 604], ср. хорватские топонимы *Laščina*, *Lašćinčak* (район Загреба). Термин полностью отсутствует в болгарском и македонском (в том числе в диалектах) и на этом основании в научной традиции признается моравизмом [Соболевский 1900: 157; 1910: 51, 143; Львов 1968: 316; иначе Reinhart 2001: 439, 442].

Предложное сочетание на влаци в значении ‘собственноручно’ имеется в толкованиях на псалмы Афанасия Александрийского, новгородском чине пострижения в монашество XIV в. и в Библии XVI в. [Срезневский I: 275]. Это и подобные сочетания со словом *vlašt’ь* зафиксированы в Новое время только на западе и юго-западе славянства, ср. словен. *nalāšč*, *nālašč* (устар. *navlašč*, *nāvlašč*) ‘нарочно, намеренно’ [SSKJ II: 938], сербохорв. *navlašť* [Skok II: 604], чеш. *zvlášť*, *zvláště* ‘особенно’ (старочеш. *vzláště*, *vzlášti*, *zvlášti*, *vzlášče*, *zvlášče*) [Kott V: 723] и польск. *zwłaszcza* ‘тем более, особенно’ [Соболевский 1900: 157].

В болгаро-преславском переводе толкований на литургию, приписанных патриарху Герману I (715—730), по списку ГИМ, Син. 262 (вторая половина XII в. — ср. [СК XI—XIII: № 118])¹⁹ отмечен также термин влацьствие ‘свойство’ (< *vlašt’-ьstvije*), ср.: Троицю стѣую по оупостасемъ сирѣчь лицемъ нераздѣльно на влацьстви(я) (в греч. иначе: ἁσύγχυτον ἀδιότητα ‘вечную неслиянность’) [Красносельцев 1885: 365]. Западнославянский (и даже специально чешский) суффикс *-ьstvij-*, отсутствующий в южносла-

¹⁹ Н. Красносельцев высказал правдоподобное предположение, что перевод толкований сделан Константином Преславским (X в.), поскольку в рукописи они помещены между принадлежащими Константину «Учительным евангелием» и «Историями» [Красносельцев 1885: 317].

вянских языках²⁰, заставляет и здесь усматривать западное влияние на преславскую книжность (ср. ниже о термине *воль* ‘больной’).

В русских диалектах зафиксировано выражение *влащя изба* ‘изба, совершенно приготовленная для жилья’ (псков.) [СРНГ 4: 318] — однако в качестве продолжения исконого **voldtjaja* в русском ожидалось бы *волощя (изба)*, поэтому предпочтительнее возводить это выражение к гл. *влзтити (влащя < влащя)*.

Итак, термин *vlašt’ь* ‘собственный’ (в том числе в адвербиальных сочетаниях), бывший и остающийся региональным достоянием западных и юго-западных славян, отсутствующий в болгарском и восточнославянских языках, может считаться применительно к НМ западнославянским регионализмом.

залъсти ‘совершить (дерзость), осмелиться (на что-л.)’

ЗСЛ, гл. 11: Приложи(и) сѧ д(ѣ)в(и)ци нареченѣи за мочъ, аще и въ волю д(ѣ)в(и)ци залъзъ бодеть, носъ да оуръжетъ сѧ ѧмоу (точного греческого соответствия нет) (186.10—13).

Слово отмечено в чешском языке в значении, близком к идее ‘дерзости, грубости’ — ср. *zalézt(i) razg.* ‘придраться, взъестся (на кого-л.)’ [Kott V: 135]. В южнославянских языках (сербохорв. *zalести*, болг. *zalyzvam, zalyza*) слово употребительно только в значении ‘закатываться, заходить (о солнце)’ [РСА 6: 66; БЕР I: 596]; ср. хорв. *zalaz* ‘спуск, сход’, *zalazak* ‘закат (солнца)’ [Mažuranić II: 1646]. Подробнее см. [Максимович 2004а: 93—94].

комъкати ‘причащаться’

НМ, Анкир. 16: потомъ же да комкъеть (τῆς προσφορᾶς ἐφαπτέσθωσαν ‘да получают Причастие’) (347.4); в Ефремовской кормчей тъгда прскоуру да прикосноутьсѧ [Бенешевич 1907: 235.1].

По Ягичу, слав. *комъкати* (< лат. *communicare* ‘причащаться’) заимствовано в Моравии из языка немецких проповедников [Jagić 1913: 203; Miklosich 1886: 126; Фасмер II: 303]. В славянских памятниках представлено как в интранзитивном (‘причащаться’), так и в каузативном (‘причащать кого-л.’) значениях. Так, интранзитивное употребление свойственно НМ и некоторым другим текстам, активное значение ‘причащать’ отмечается в Синайском евхологии: *ппъ ... комъкетъ ѣ ова* [SJS II: 44]. Производный субстантив *комъканиѣ* ‘Причастие’ встретился один раз в Синайском евхологии, четырежды в Супрасльской рукописи [SJS II: 44] и трижды в НМ: *ω κλιρι-*

²⁰ По А. Вайану, суф. *-stvij-* представляет собой «черту западного церковнославянского языка Моравии и Паннонии». В самом деле, данный формант полностью отсутствует в южнославянских языках, а также в польском, зато типичен для чешского языка, отчасти представлен в северночакавских говорах (*-stvī*) и старохорватской глаголической книжности [Vaillant 1974: 407—410].

цѣхъ не въземлющихъ комканиа — *μη κοινωνούντων* (260.22); не тѣкмо комканиа не приати — *εἰς τὴν κοινωνίαν* (341.16); ти тако да сподобить с(а) комканию — *τῆς κοινωνίας τῶν ἀγιασμάτων* (348.4). В НМ отмечен также адъектив комканинъзи: да лишить с(а) тѣкмо причастья комканиаго — *τῆς κοινωνίας τῶν ἀγιασμάτων* (347.25); кроме НМ он имеется еще только в Хронике Георгия Амартола и в «Сказании о св. Софии» [Срезневский I: 1267].

В НМ и других древних памятниках для передачи греч. *κοινωνία* ‘Причастие’ и *κοινωνεῖν* ‘причащаться’ используется иногда вариант причащение, причастити(са) [Соболевский 1910: 142, 147; Schmid 1922: 104; Львов 1968: 326—327].

Западославянский латинизм *комъкати* и его рефлексив *комъкатиса* вместе с церковным культом широко распространились в славянском мире — от Хорватии и Болгарии до Руси. Они представлены многочисленными контекстами в южнославянской и древнерусской книжности [Miklosich 1862—1865: 300; Срезневский I: 1266—1268; Сл XI—XIV IV: 248—249; Сл XI—XVII 7: 263—264] и в славянских диалектах, ср. болг. страндж., софийск., ихтиман. *комка* ‘Причастие’ [БД I: 68; II: 86; III: 91]; родоп. *комкам са* ‘умываться; причащаться’ [БД II: 189]; самоков. (зап.-болг.) *комка*, *комкувам*, *комкуване* [БД III: 233]; троян. *комкъ*, *комкъм съ* [БД IV: 207]; хасков. *комкъ* [БД V: 75]; зап.-фрак. *комкъ*, *конкъ* и *комкъм се*, *конкъм се* [БД VI: 44]; плевен. *конкам съ* [БД VI: 187]; елен. *комкъ* [БД VII: 69]; войняг. *комкъ* [БД VIII: 137]; костур., ю.-зап. *комка*, *комкам (се)* [БД VIII: 255]; макед. *комка*, *комка (се)* [Кон. I: 344]; сербохорв. *комка*, *комкаше* ‘Причастие’, *комкати* ‘причащать’ и *комкати се* ‘причащаться’ [РСА 10: 65; RJA V: 244]; рус. диал. (костром.) *кѡмкати* ‘есть, принимать пищу’ (если это не связано с *комкати* ‘сминать, скатывать в комок’) [СРНГ 14: 232]. Примечательно, что у западных славян данный термин не отмечается ни в современном, ни в старом языке — как и латинизм *vsqđь*, термин *комкати* отсутствует в исторических и этимологических словарях польского и чешского языков. Для обозначения св. Причастия у западных славян возобладали описательные формы — *svátost oltařní* (чеш.) (действие — *přijímání*) и *comunia święta* (польск.) [Sławski II: 402]; в польском с XVI в. известен также поздний латинизм *komunikować* ‘причащаться’, заимствованный из словац. *komunikovať* [Sławski II: 404—405]. Нельзя не вспомнить в этой связи о закономерности лингвогеографического ареала, в центре которого архаизмы зачастую не сохраняются.

Итак, на примере термина *комъкати* хорошо видно, что моравизмы, связанные с христианским культом, могут быть географически широко распространены в южнославянских языках и диалектах, оставаясь при этом генетически связанными с западославянским ареалом (ср. выше о критериях выделения моравизмов в славянском книжном языке). Кроме того, не будем упускать из виду, что для 80-х гг. IX в. генетический и лингвогеографический критерий практически совпадают, поскольку латинизм *комъкати* в это время еще не был (и не мог быть) известен на юго-

востоке славянства по причине отсутствия там сколько-нибудь значимой церковной организации западного обряда. Распространение этого термина в Болгарии в последующие века следует поставить в связь с церковно-богослужебной традицией, принесенной из Моравии учениками Мефодия.

крижма (кризма) ‘св. миро’

НМ, Лаод. 48: ꙗко подоваѣтъ просвъщанѣмъꙗхъ по кр(ь)щ(е)нии помазати крижмоу невесьскою (χρίσματι ἐπουρανίῳ) (323.22); в Ефремовской кормчей мазати мастию [Бенешевич 1907: 276.9].

Славянский термин представляет собой заимствование из греч. χρίσμα ‘помазание; миро для помазания’ через посредство лат. *c(h)risma* [Miklosich 1886: 141; Соболевский 1904: 3; Machek 1957: 243]. Начальное [к] указывает на германское посредство при передаче греческих слов с [x] в анлауте — ср. крьстъ < д.-в.н. *kristo*, < лат. *C(h)ristus* < греч. Χριστός ‘Христос’ [Львов 1966: 8]. Наличие [ж] в крижма не объясняется из латыни или германского (ср. регулярное кризма) — скорее всего, следует предполагать аналогическое воздействие со стороны зап.-слав. крижь ‘крест’ [SJS II: 65] < позднелат. *cruce(m)*, из которого позднее возникли чеш. *kříž*, польск. *krzyż* (фиксируются примерно с XIV в.), сербохорв. *крѣж* (с 1275 г.) [Mažuranić I: 541; PCA 10: 548—556]²¹.

Из древнейших памятников термин крижма (кризма) отмечен в Григоровичевом паремейнике XII—XIII вв.: помажѣтъ са крижмоа и прѣдана вѣдѣтъ (Ис. XXV.7: χρίσονται κύρον; в Захариевском паремейнике 1271 г. вариант мочръмъ; в Перфирьевском паремейнике 1378 г. (рус.) и Лобковском XIII—XIV вв. (болг.): миромъ); в Лобковском паремейнике и Париж-

²¹ По М. Фасмеру, зап.-слав. крижь заимствовано из романского диалекта Аквилей и Венеции, в котором лат. *cruce(m)* ‘крест’ получило форму *croge* [Фасмер II: 388]. В пользу этой этимологии высказывались также Х. Ф. Шмидт [Schmid 1922: 105] и И. Попович [Popović 1960: 587] — по мнению последнего, закрытое *o* (< нар.-лат. *ŷ*) в форме *croge* передавалось на славянском как [y] с последующей трансформацией в [i]. Корневое [i] < [o] в славянском крижь можно объяснять тем же переходом, который дал в славянском Римъ при наличии исходного *Roma*. Однако в последнем случае предполагается посредство д.-в.н. *Rūma* < гот. *Rūma* и, соответственно, происхождение слав. [i] из долгого [ū] (имевшего, вероятно, переднюю артикуляцию в результате палатализации начального германского [r] > [r̥]) [Фасмер III: 483]. Если при образовании формы крижь соблюдался этот же переход, то более вероятно происхождение славянского слова не из аквилейского *croge*, а из др.-в.-н. *krūzi* ‘крест’ [Berneker 1924: 619]. С другой стороны, звук [ž] в ауслауте имеют также древние латинизмы калежь < нар.-лат. *calice(m)* ‘чаша, кубок’ [SJS II: 7] и папежь ‘папа Римский’ < нар.-лат. *papex* (*papa* + *pontifex*) (возможно, через посредство др.-бавар. **rāpes* с немецким произношением [s] как [ž]) [Фасмер III: 200—201; Schaecken 1987: 128; Holzer 2003: 222, Anm. 26], ср. также *Париж* < *Paris*). К проблеме латинизмов и германизмов с [ш], [ж] на месте ожидаемых [с], [з] см. [Соболевский 1904].

ской глаголической псалтыри XIV в.: ѡко кризма на гл(а)въ сѡдѣшиѣ (Пс. СXXXII.2: ѡς μύρον; в Синайской, Погодинской и Болонской псалтырях (соответственно XI, XII и XIII вв.) грецизм *хризма*) [SJS II: 64], в сербском евангелии монастыря Николя XIII в. [Miklosich 1862—1865: 311], в болгаро-преславском переводе толкового Апокалипсиса по списку XIII в. (у Востокова и Срезневского ошибочно XIV в.) [Срезневский I: 1322], ср.: крижмы неразумѣсно смѣшениа [sic!] вѣтва же и члвцѣства (в греч. тоѡ... μύρου) (Ар: л. 17)²². Наконец, термин отмечен в сборнике наказаний для монахов «О калугерех», ср. в Устюжской кормчей XIII—XIV вв. (У): Аще черньць въ бани мажетъ са хризмою [Максимович 2004а: 156]; в сербском Берлинском сборнике (XIII или XIV в.) находим (первоначальное?) чтение: крижмож [Berl. sbornik: 37v].

В древнерусской письменности слово встретилось в форме *крижмо* (Хроника Георгия Амартола) [Сл XI—XIV IV: 297; Львов 1968: 327], *крижма* (кормчая Балашова XVI в. — [Сл XI—XVII 8: 57]).

Термин сохранился только в чешском языке: *křížmo* ‘освященное миро’ [Holub, Korečný 1952: 192], *křížma* (sic!) ‘крестильные пеленки для ребенка’ [Kott I: 820; VI: 740], ср. укр. *крижма* и рус. диал. *крижмы* ‘пеленки новорожденного, крестильная рубашка’ [Фасмер II: 376; СРНГ 15: 253]. Отметим также заимствование слав. *крижма* (с начальным [k] и корневым [ž] = zs) в венгерский язык — *korozsma* ‘миро’ [Хелимский 1993: 46]. Правда, фиксация термина *korozsma* в венгерском лишь с XVI в. не позволяет уверенно относить данный термин к ранним заимствованиям [Там же]. На основании полного отсутствия термина *крижма* в болгарских диалектах он может считаться древним моравизмом, проникшим в преславскую книжность, в которой, однако, он так и не смог составить конкуренцию вторичным грецизмам *миро*, *хризма*, ср. [Алексеев 1999: 149—150].

малъжена ‘супруги’

ЗСЛ, гл. 30а: от неприязни ненави́дѣннѣ възпа́ддѣтъ ме́жю **малъженома** клеветѣ дѣла (ή συμβίωσις ‘совместная жизнь’); вещи, ихъже дѣла разлѡчѣяѣта са **малъжена** (τὰ συνοικήσια ‘браки’) (196.11; 17). Дв. ч. **malъžena* образовано соединением д.-в.-н. *mahal*, *mâl* ‘брачный договор, союз’ (ср. нем. *Gemahlin* ‘супруга’ — *высок.*) и слав. *жена* [Machek 1957: 285; 1968: 351; Фасмер II: 562; ЭССЯ 17: 78—179]. Западный (моравский) характер лексемы доказывается не только ее полным отсутствием в южнославянских диалектах (ее нет в словаре Н. Герова и [РСА]), но и наличием раннего чешского соответствия *manžel*, *manželka* (с метатезой согласных). Подробнее см. [Максимович 2004а: 94].

²² Другим ярким латинизмом славянского Апокалипсиса является термин *сангтѣ* < нар.-лат. *san(c)to-* ‘святой’, встретившийся еще только в Саввиной книге (гlossa к Мф. XXVII.52) и Фрейзингенских отрывках [SJS IV: 19; Сл XI—XVII 23: 61].

мъдьялость 'небрежение, неосторожность'

ЗСЛ, гл. 15: аще в невѣдѣннѣ или въ м(ъдья)л(о)сть възъгнѣтивъшю огнь се <т. е. пожар> боудеть, вес тѣцетѣ съгорѣвшааго да творить (греч. κατὰ ἀπειρίαν ἢ ῥαθυμίαν 'по неопытности или небрежности') (187.17—21).

Корневая группа производных от **mъdbl-* встречается только в чешском, словацком, украинском, польском, русском (севернославянский ареал), имеется также в словенском (*mêdel*) и хорватском (*madal*) в специфическом значении 'неясный, смутный' [Mažuranić I: 621; RJA VI: 355—356; SSKJ II: 718—719]. Полностью отсутствует в сербских и болгарских диалектах [Skok II: 348]; согласно [БЕР III: 712], слова болгарского литературного языка *медлен*, *медлив* заимствованы из русского.

Словоупотребление ЗСЛ имеет параллель в Мефодиевой гомилии Клоцова сборника (2b 30) [Dostál 1959: 56]. Из русских памятников слово *мъдьялость* дважды отмечено в «Пчеле», производный глагол *мъдьялити* встречается в Изборнике 1076 г., Житии Феодора Студита, «Пандектах» Никона Черногорца, «Пчеле», «Иудейской войне» Иосифа Флавия, Ипатьевской летописи и мн. др. [Сл XI—XIV V: 88; Сл XI—XVII 9: 60]. Из древнейшей западнославянской книжности слово *мъдьялость* проникло и в некоторые болгарские и сербские памятники. Таким образом, корневая группа *мъдьял-* демонстрирует широкое распространение в севернославянском ареале — причем как в книжном, так и в некнижном (обиходном, разговорном) языке. В древнейших южнославянских памятниках лексемы этой группы представлены в текстах, восходящих к деятельности Преславской книжной школы (XIII слов Григория Назианзина, Иоанн Экзарх, редакции Евангелия и Псалтыри). Подробнее см. [Максимович 2004а: 94—95].

неприязнь 'дьявол'

ЗСЛ, гл. 30а: от *неприязнь* ненавидѣннѣ възпадыеть межю малъженома клеветѣ дѣла (в греч. τὸ τῆς κακίας εἶδος 'злое начало') (196.11); гл. 3: словеса *неприязньна* (в греч. ῥῆμα πονηρόν 'лукавое слово') (180.3). Лексический архаизм кирилло-мефодиевской эпохи [Jagić 1913: 306, 369], предполагаемая семантическая калька с д.-в.-н. *unhold* 'неприятельный, враждебный'. Как показала И. Виль, речь здесь едва ли может идти о структурном калькировании германской лексемы — скорее следует предполагать существование праславянского термина **neprijazнь* 'злоба, враждебность', который под влиянием немецкого аналога получил новые, религиозные коннотации [Wiehl 1974, 52—53], ср. герм. *hold*, родственное нем. *huldigen* 'оказывать религиозное почитание'. Данная семантическая трансформация могла произойти, по понятным основаниям, только на западе славянского мира. Слово *неприязнь* (как и его производные) употребляется преимущественно в памятниках западного происхождения, в том числе переводах с латыни²³,

²³ [ЭССЯ 24: 216; SJS II: 393—393]; ср. [Соболевский 1900: 168, 170; Вашица 1963: 30; Mareš 1963: 436; Львов 1968: 330—331; Auty 1969: 5; Schaeken 1987: 126].

через богослужебные тексты оно проникло также в древнеболгарские и древнерусские книжные памятники. В болгарском языке слово имеет книжный характер, в диалектах не встречается [БЕР IV: 618]. Подробнее см. [Максимович 2004а: 95—96].

олътарь ‘алтарь’

ЗСЛ, гл. 28: влазди въ олтарь ... и ѿтеро от с(ва)тѣхъ съсоудъ ли пѣртъ ли всакоа вещи възметь, да продасть са; а жеже въбоудоч олтарѣ от ц(ь)рк(ъ)ве възметь что, да тепеть са (греч. ἐν θυσιαστηρίῳ; ἔξω τοῦ θυσιαστηρίου) (193.10—194.2). Происходит из лат. *altare* ‘алтарь’. Как большинство позднепраславянских заимствований из латыни, термин олътарь (в Синайской псалтыри алътарь) может считаться надежным западнославянизмом (моравизмом) [Гулянова 1986: 23]. Некоторыми предполагается германское посредство [Machek 1957: 338; Machek 1968: 414]; заимствование из греч. ἀλτάρι(ον) считается неприемлемым [БЕР IV: 864]. Подробнее см. [Максимович 2004а: 96—97].

поганьскъзи ‘языческий’

ЗСЛ, гл. 1: всако село, въ немъже требъзи възвають или присагъзи поганьскъзи, да отдають са въ в(ож)ии храмъ съ всеъмъ имѣннѣмъ, ꙗко имоуть г(оспод)а та в томъ селѣ (лат. *paganae superstitionis*) (178.6—10). Отметим, что в данной статье ЗСЛ мы имеем дело с переложением не греческого, а латинского юридического текста — эдикта римских императоров Льва I и Антемия от 472 г. из Кодекса Юстиниана I.XI.8 [Cod. Iust. (Krüger 1997): 63]. В греческих версиях этот текст неизвестен, из чего следует, что автор ЗСЛ либо сам неплохо владел латынью, либо получил квалифицированную консультацию. Кроме ЗСЛ, слово употребительно в НМ в соответствии с греч. ἑθνικός ‘языческий’, ἑθνῶν ‘относящийся к язычникам’, Ἑλληνας ‘относящийся к язычнику, эллину’ (соответственно 322.3; 327.22; 334.3; 332.2) [Schmid 1922: 106].

Слав. поганьскъ представляет собой суффиксальное производное от поганъ ‘язычник’, которое могло выступать в роли адъектива и субстантива [Machek 1957: 381; SJS III: 77—78]. В свою очередь, поганъ восходит к лат. *paganus* ‘языческий; язычник’, которое впервые отмечено в эдикте императоров Валентиниана и Валента 365 г. (Кодекс Феодосия, XVI.2 — ср. [Du Cange VI: 89]). Заимствованное в Паннонии [Miklosich 1886: 254], слав. *roganъ* и многие его производные стали общим достоянием всех славянских языков — ср. макед. *поган* [Кон. II: 208], сербохорв. *rogan, roganin, roganas* [Mažuranić II: 970; Iveković, Broz II: 76], болг. *поган* (см. ниже), чеш., словац. *rohán* ‘язычник’ [SčSl II: 437], польск. *rogan, roganin*, укр. *поганий* ‘плохой’, рус. *поганный, поганец, поганка* и т. п. [Фасмер III: 294]. Этого, однако, нельзя сказать специально о производном *поганский*, которого нет в живых южнославянских языках и диалектах. Зато оно отмечено в старосербской книжности (сербская Иловицкая кормчая 1262 г., пролог

Михановича) [Miklosich 1862—1865: 588], древнейших памятниках моравской книжной традиции (Паннонские жития Константина и Мефодия, Киевские листки, сборник Клоца, житие Вячеслава Чешского) [SJS III: 78]. Влиянием этой традиции на восточноболгарскую книжность можно объяснить наличие данного слова в преславских памятниках (Супрасльском сборнике, Ефремовской кормчей, минее 1097 г., переводе толковых пророков и Апокалипсиса) и древнерусском книжном языке [Miklosich 1862—1865: 588; SJS III: 78; Срезневский II: 1012—1013; Сл XI—XIV VI: 484—485; Сл XI—XVII 15: 181].

Слово *pohanský* отмечено в старочешском [SčSl II: 442—443] и до сих пор является обиходным адеквативом чешского языка со значением ‘языческий’ (в отличие от субстантива *pohan* ‘язычник’) [Kott VII: 310]; ср. ст.-польск. *poganin, paganin; pogański; pogaństwo* [Sł. stpol. VI: 290—292], словен. *pogański*, сербохорв. *pođanski*. Термин имеется также в русских диалектах, ср. *поганский* ‘языческий; нечестивый’ [Даль III: 390], ‘омерзительный’ (холмог.) [СРНГ 27: 288]. В болгарском языке термин **погански* отсутствует (вместо него используется прил. *езически*), а производные от **poganъ* немногочисленны, ср.: *поган* ‘скверный, нечистый’ и производные [БЕР V: 416—421]; страндж. *поганото* ‘дни от Рождества до Богоявления, период ночной активности злых духов’ [БД I: 126]; родоп. *поганец, боганец* ‘злой дух, бродящий по ночам в период от Рождества до Богоявления; болгарин, принявший ислам; капризный ребенок’ [БД II: 130, 238; V: 148]; софийск. *поганец* ‘мышь’ [БД II: 98]; ихтиман. *поганец* ‘мышь; непослушный ребенок’ [БД III: 137]; костур. (ю.-зап.) *поган* ‘человек, который постоянно бранится’, *погана* ‘бранить, ругать’ [БД VIII: 287]; зап.-фрак. *поганец* ‘нехристианин, язычник, турок; низкий, подлый человек’ [БД IX: 297]. Вторичность семантики болг. *поган* (‘нечистый’ в отличие от исконного ‘языческий’) и наличие только переносных значений у его производных (‘мышь’, ‘злой дух’, ‘бранчивый человек’) свидетельствуют о том, что данная лексическая группа не возникла на болгарской почве, а была заимствована из инославянского источника в относительно позднюю эпоху²⁴.

²⁴ Ср. правило, сформулированное Р. М. Цейтлин: «Если... во всех письменных источниках не употребляется прямое значение слова, характерное для другого близкородственного языка, а распространены его переносные значения, то это один из признаков того, что в данном языке такое слово является заимствованием» [Цейтлин 1988: 385]. Представляется, что данное правило действительно не только для книжно-письменного, но и для разговорно-бытового языка. В силу этого кажется интересным наблюдение Р. М. Цейтлин, что переносное значение корня *прав-* в русском и чешском языках (‘правый’) является вторичным по отношению к исконному значению ‘прямой’ в болгарском; и наоборот, переносное значение корня *сквърн-* в болгарских и русских рукописях (‘безнравственный’) коррелирует с исконным «материальным» значением ‘испачканный, грязный’ в чешском, на основании чего термины с корнем *сквърн-* в болгарских рукописях квалифицируются как «моравизмы» [Там же].

Таким образом, отсутствие в болгарском слова *поганский* может свидетельствовать о его исконно западном характере. Наличие термина в преславской Супрасльской рукописи объясняется характерными для данного сборника и ряда других восточноболгарских текстов следами западного (мораво-паннонского) книжного влияния.

попъ ‘священник’

ЗСЛ, гл. 16: никъзи же привѣгающаго въ ц(ь)рк(ъ)въ нѣужю не извлачи, нъ вещь привѣгъзи да явлаетъ попови (τῶ ἱερεῖ ‘священнику’) (188.17—20). Термин неоднократно отмечен и в НМ (наряду с *иерѣи*, *прозвочутеръ*, *сващеникъ*), ср.: людъскъзи попъ²⁵ — ἐπιχώριος ‘периферийный, сельский’ (252.21); попъ — πρεσβύτερος ‘священник’ (247.8; 249.2; 252.20; 253.2; 253.10; 253.11; 255.17; 266.10; 304.18; 327.2; 327.8; 327.26; 329.11; 331.12).

Слав. попъ < д.-в.-н. *pfaffo* < лат. *papa* < греч. *πάπας* заимствовано в славянский «в западнопридунайских землях», о чем убедительно свидетельствуют венг. *rар* и румын. *por, poră* [Фасмер III: 326; Хелимский 1993: 56]; наличие венг. *rар* (в ономастике с XII в.) опровергает тезис [БЕР V: 520] о заимствовании попъ непосредственно в древнеболгарский из греч. *παπ(π)ᾱς* < *πάππος* ‘дедушка; батюшка’. Из древнейших памятников встречается в «Беседах» Григория Великого на Евангелие (западный перевод с латыни), «Заповедях святых отец» (перевод с латыни), Житии Мефодия, Синайском евхологии, Супрасльской рукописи, болгарских апостолах, древнеболгарском Номоканоне (Ефремовская кормчая) [SJS III: 171—172]. Ср. *non* ‘священник’ в болгарских диалектах: западнофракийском [БД VI: 70; IX: 300], плевенском [БД VI: 211], войнягском [БД VIII: 154], костурском [БД VIII: 290] и др. Термин широко представлен и в остальных славянских языках — македонском [Кон. II: 332—333], сербохорватском [Mažuranić II: 1002; Iveković, Broz II: 110], чешском [SčSl III: 662; Kott VII: 351], польском [Sł. społ. VI: 385—387], русском [Даль III: 803—804; СРНГ 29: 291], украинском (*nin*) и др.

По Миклошичу, паннонизм [Miklosich 1886: 258; Machek 1957: 384]. Широкое распространение термина *non* в славянском мире, как и в других подобных случаях, объясняется его тесной связью с христианским культом.

поститиса ‘каяться’; постъ, пощение ‘покаяние’

ЗСЛ, гл. 4 (181.19); 5 (182.11; 16 (codd., J соудъ)); 6 (182.20); 7 (183.6; 7); 8 (185.15); 10 (186.7); 13 (186.18)²⁶; 15 (187.10). Слово представляет собой

²⁵ Слово *людъскъзи* употребляется в НМ в значениях ‘общественный, публичный’; ‘относящийся к подвластному населению’. *Людъскъзи попъ* в данном контексте означает просто ‘сельский священник’.

²⁶ В данном случае речь может идти о древнерусской вставке, ср. [Максимович 2002: 29].

германизм — *postъ* < др.-в.-н. *fasto* [Machek 1957: 408; Фасмер III: 341]; неприемлемо возведение к прасл. «**pastъ* (?), сродно със ствиснем. *fasto*» [БЕР V: 543]. По Фасмеру, термин вошел в обиход славян в Моравии, по Миклошичу — в Паннонии [Фасмер III: 341; Miklosich 1886: 260]. Этот вывод подтверждается как этимологией, так и употреблением данного слова в древнейших евангелиях, Псалтыри, западных переводах с латыни, Фрейзингенских отрывках [Miklosich 1862—1865: 640; SJS III: 203]. Через церковный обиход термин широко распространился и в восточнославянской книжности [Сл XI—XVII 17: 224]. Имеется во всех славянских языках — болгарском [БЕР V: 543—545], македонском [Кон. II: 371], сербохорватском [Mažuranić II: 1038; Iveković, Broz II: 130, 132], чешском [SčSl III: 815—816], русском и др.

Несмотря на то что термин *postъ* как таковой может считаться моравизмом, специально западным признается прежде всего значение ‘покаяние’ [Суворов 1888: 12—14; Вашица 1963: 27; Vašica, ZakSud: 151, 168; Максимович 1995: 13], которое зафиксировано только в ЗСЛ и отсутствует в НМ; оно не фиксируется и словарями [SJS III: 200, 203, 230; Срезневский II: 1270—1271; Сл XI—XIV VII: 312—312, Сл XI—XVII 17: 224], однако имеется в древнеболгарской Кормчей (по Ефремовскому списку) — *поцѣниѣ* в значении ‘покаяние’ [Бенешевич 1907: 89.15—16; Максимович 1995: 14, прим. 24]. Весьма показательны наличие именно этого значения в старочешском, ср.: *postiti se*: 2. (*za koho/co, čeho [hřišného]*) *postit se, zachovávat půst jako pokání (za koho/co)* [SčSl III: 815—816]. В старопольском языке, в отличие от чешского, отмечается только значение ‘воздержание от пищи’ [Sł. społ. VI: 450].

потъбѣга ‘разведенная’

Прасл. **potъbĕga* представлено в списках НМ в виде *подъпѣга* (У), *потъбѣга* (J), ср. Апост. 18: *Аще кто въдовочъ поиметь или подъпѣгомъ ли равноу ли сводъницу, такоже да не воудеть никъиже с(ва)щеникъъ* (в греч. ἐκβεβλήμενην ‘разведенную’) (298.20); в Ефремовской кормчей *поуштеницю* [Бенешевич 1907: 65.23].

Архаичное славянское сложение **poti-bĕg-a* < **poti-* ‘муж, господин’ + **bĕg-* ‘(у)бегать’, вопреки [Miklosich 1886: 260]; и.-е. основа **pot(i)-* представлена в др.-инд. *pátis* ‘хозяин, супруг’, среднеперс. *pat* ‘господин’, др.-греч. *πόσις* ‘супруг’, *δεσ-πότης* ‘господин’, лат. *potis* ‘мощный, могущественный’, *hospes* < **hos-pet-s* ‘гость; хозяин’ и др. [Трубачев 1959: 181—182, 185].

Ц.-слав. *потъбѣга* (с вариантами *подъбѣга*, *подъпѣга*, *потъпѣга*) встретилось только в Клоцовом глаголическом сборнике и древнейших евангелиях (Мф. V.32 и XIX.9; в некоторых рукописях фиксируется поздний вариант *поушеница*) [Miklosich 1862—1865: 647; Срезневский II: 1051; SJS III: 220]; единственный контекст в русских «Пандектах» Никона Черногорца также

представляет собой цитату из Мф. V.32 [Сл XI—XIV VII: 366]²⁷. Наиболее подробный очерк о данном слове содержится в небольшой монографии, посвященной разбору западных лексем в славянском книжном языке [Nahtigal 1936: 31—53]. По наблюдениям Р. Нахтигала, форма *потъѣѣга* характерна для евангельских рукописей сербского (Мирославова, Никольское и другие евангелия) и древнерусского извода (Остромирово, Галицкое и др.), тогда как болгарские евангелия (Сречковичево, Тырновское, Добрейшево — все XIII в., Шафариково XV в.) дают в одном или обоих местах из Матфея определенно вторичные чтения *поушеница*, *отпоушеница*. Сложнее всего оказалось объяснить зафиксированные в памятниках варианты *подъѣѣга*, *подъпѣѣга*, *потъпѣѣга*. Словарная справка о чешском слове *podběha* в словаре В. Брандла [Brandl 1876: 238], кажется, несколько дезориентировала этимологов, поскольку автор указанием на чешск. *podběhnouti* ‘покрыть (о самце животного); разг. ‘обесчестить (девушку)’, *podběhnouti se* ‘согрешить, забеременеть вне брака’ инициировал интерпретацию форманта *pod-* как приставки — тем более что словом *podběha* в Моравии того времени обозначалась женщина «свободных нравов» (eine in sittlicher Beziehung laxer Weibperson) [Там же]. Между тем параллелизм *podběhnouti* и *podběha* отнюдь не очевиден, скорее мы имеем здесь дело с народно-этимологическим сближением исконно различных *potbĕga* (после падения редуцированных *potbĕga* > *podbĕga*) и *podběhnouti se*. В рамках данной гипотезы происхождение формы *потъпѣѣга* можно объяснять прогрессивной ассимиляцией по глухости/звонкости (*потъпѣѣга* < *потъѣѣга*); форма *подъпѣѣга* представляет собой, скорее всего, вторичную контаминацию *подъѣѣга* и *потъпѣѣга*.

Продолжения прасл. **potbĕga* отмечены только в западославянских языках: ст.-польск. *poćbiega* ‘бродяга’ [Sł. stpol. VI: 219], ст.-чеш. *podběha* ‘žena opustivší svého muže’ (с XIV в.) [Соболевский 1910: 142; SčSl III: 349—350; Kott VII: 282]. Отчетливо западный диалектный характер термина демонстрируется полным отсутствием его континуантов в южно- и восточнославянских языках, в том числе в болгарском и русском.

принось ‘евхаристия; св. причастие’

НМ, Анкир. 24: възлхвоюще... .ѣ. лѣтъ да покають с(а) по степенемъ оуставьнымъ, .ѣ. лѣт(а) въ припадани, а .ѣ. лѣт(ѣ) *всє приносѣ* (χωρίς προσφορᾶς) (334.1—10); в Ефремовской кормчей грецизм *всє просфоры* [Бенешевич 1907: 237.14]. Наряду с термином *принось* для передачи греч. προσφορᾶ в НМ имеются варианты *приношениѣ* (255.21; 257.23; 335.13); *литоургина* (261.3); *проскора* (332.24).

²⁷ Указание Миклошича на контекст в болгарском Изборнике 1073 г. ошибочно — в тексте стоит не *подъѣѣга*, а *подъѣѣжице* (καταφυγή) [Горский, Невоструев 1859: 401]. В [Сл XI—XVII 15: 222] в ст. *подъѣѣга* дается отсылка на ст. *потъѣѣга*, однако последняя на алфавитном месте отсутствует.

Термин *приносѣ* в литургическом значении ‘жертва, *hostia*’ зафиксирован в западных памятниках — моравских Киевских листках [Львов 1968: 336], житии Вячеслава, «Беседах» Григория Великого и в сербских текстах — Ветхом Завете Крушедольского монастыря XVI в. и «Пятикнижии» Михановича [Miklosich 1862—1865: 674]. С запада слово попадает к болгарам — оно отмечено в преславском Супрасльском сборнике [SJS III: 294] и «Богословии» Иоанна Экзарха (только в виде глосс, ср.: *просфоруа* во са речеть елиньськы *приносѣ* хлѣвоу кръстоузнаменоу (без греч.); глѣ же инѣмъ *приносѣмь* чистѣимь просфора (без греч.)) [Sadnik III: 30]. В болгаро-преславской традиции встретилось также производное *приносѣница* в соответствии с греч. *просфора* ‘св. Причастие’ в Ефремовской кормчей XII в. [Бенешевич 1907: 88.28]. В русских памятниках значение ‘Причастие’ не фиксируется.

Термин *приносѣ* в иных, нелитургических значениях ‘дар’, ‘прибыль, выручка’ [SJS III: 294] мы не рассматриваем в качестве моравизмов, поскольку такие лексемы имеются в современном болгарском и македонском, ср. макед. *принос* ‘приношение, вклад; урожай’ [Кон. II: 524], юж.-болг. диал. (елен.) *прѣнус* ‘дары, которые близкие и родные подносят молодоженам’ [БД VII: 110]; сюда же относятся чеш. *prinos* ‘подношение; вено, приданое невесте’ [Kott VII: 477], рус. диал. *принос* ‘приношенье, гостинец; свадебный подарок’ [Срезневский II: 1438; Даль III: 1126].

В церковно-богослужебном значении продолжения слав. *приносѣ* сохранились только в словен. *prinos* ‘sacrificium’ [Miklosich 1862—1865: 674] и сербохорв. *prinos*, ср.: *da sveti prinos u miru prinesemo* [Iveković, Broz II: 225; RJA XII: 76]. Сохранение этого архаизма на словенско-хорватской периферии указывает на Моравию или Паннонию как на древний центр соответствующего языкового ареала.

стьлазь ‘денежная единица, 1/72 литры золота’

ЗСЛ, гл. 5: *влоудди чюжоу равоу да подастъ .л̣. стьлазь* г(оспод.)иноу равъ, а самъ дастъ са въ пос(тѣ) .з̣. лѣт(ъ)..., ѣда (J и да) не продасть са (182.9—13), имеется также в гл. 8 (185.10) и 19 (190.14). Происходит из др.-герм. **skillings* > нем. *Schilling* [Фасмер III: 642—643]. Из старославянских памятников это слово (в форме *сьлазь*) сохранили, наряду с ЗСЛ, лишь некоторые древнейшие евангелия и западнославянские переводы с латыни [SJS IV: 97, 195]. Старопольский вариант *цьлагъ*, *цѣлагъ* проник в древнерусские книжные памятники — например, в «Повесть временных лет» [ПСРЛ I: 24; II: 17]; ср. [Львов 1968: 317]. Из польского слово перешло также в украинский язык [Machek 1968: 608]. Сохранилось в хорватских средневековых текстах в форме *clez* (контексты с 1250 г.) [Skok I: 270; Mažuranić I: 125—126], в сербском и болгарском отсутствует. Подробнее см. [Максимович 2004а: 97].

3) Термины, имеющиеся в болгарских диалектах, но не в памятниках

оуваровати ‘сберечь, сохранить’

НМ, Вас. Вел. 52: *Аще ли не възмогла боудеть* (женщина) *оуваровати* (дита) *поустынѣ* и *скоудотъ* *потръбныхъ* (sic!) (радн), и *оумреть* *роженою*, то да мила *боудеть* *мати* (*περιστέλαι*) (336.25—337.1); в Ефремовской кормчей калька *покрыти* [Бенешевич 1907: 497.3].

Термин представлен только в древнейших западных памятниках — «Беседах» Григория Великого и житии св. Бенедикта, ср. *варовати* *са* ‘беречься’, *варовьно* — *caute*, *варовати* *са* — *cavere*, *варовьни* — *cautus* [Miklosich 1862—1865: 1032; SJS I: 166; IV: 588—589; Соболевский 1900: 182; Соболевский 1910: 51, 143; Vašica, Nom: 224 и rozp. 71]. Возводится к д.-в.-н. **waron* ‘соблюдать; надзирать’ (ср. нем. *wahren*) [Skok III: 566; БЕР I: 119]. Фиксируется в старочешском: *varovati* ‘беречь, заботиться’, *ivarovací*, *varovati se čeho*, *od čeho*, *varovčivý* ‘бережливый’ и мн. др. [Kott VII: 989, 1001] и в польском языках [SJP VII: 462—464]; отразилось также в сербохорватском (истрийский диалект) в виде *varovati* (с 1275 г.) и *varuvati* (с 1282 г.) [Mažuranić II: 1543] и словен. *varati*, *varovati* ‘охранять, сберегать’ [SSKJ V: 361]. В сербохорватском, как и в чешском, имело развитую систему дериватов: *var* ‘внимание; осторожность’ (*na var imati se*, *nāvar biti*), *obar* ‘власть’, *obara* ‘охрана, сбережение’, *obarati* ‘беречь, сохранять’, *nevarovan* ‘неосторожный’ [Skok III: 565—566].

Из сербского термин перешел в болгарские диалекты (его поздний и вторичный характер в болгарском доказывается не только полным отсутствием в древних памятниках и семантическими инновациями, но и неразвитостью системы дериватов), ср. зап.-фраг. *варвам* (*са*) ‘не беспокоить(ся)’ [БД IX: 231], врачанск. *варам*, *варвам* [БЕР I: 119]; софийск. *вардим се* ‘беречься, остерегаться’; *увардам* ‘беречь, оберегать’ [БД II: 72, 109]; родоп. *увардам*, *увардувам* ‘замечать; беречь’ [БД II: 284]; самоков. (зап.-болг.) *увардувам* ‘беречь’ [БД III: 282]. В русском отсутствует.

4) Паннонизмы

боль (м. р.) ‘больной’

НМ, Лаод. 47: *яко достоинъ воедемъ* *приемлющимъ* *просвѣщение* и *потомъ* *ицѣлѣвшимъ* *изучити* *са* *въръѣ* (*τοὺς ἐν νόσῳ*) (323.14—17); в Ефремовской кормчей чтение *въ недочѣтъ* [Бенешевич 1907: 276.4].

В славянских литературных языках слово *боль* ‘больной’ не сохранилось — вместо него используются суффиксальные производные или производные от другого корня (ср. болг. *болник*, сербохорв. *болник*, словен. *bolnik* ‘больной’; польск. *chory*, *bólny*; чешск. *netosný*; рус. *больной* и т. д.). Значение ‘больной человек’ отмечено только в двух периферийных бол-

гарских диалектах — банатском (сев.-болг.) и странджанском (Бургас, вост.-болг.) [БЕР I: 64 и 68; ЭССЯ 2: 191] и в русских диалектах северо-востока и центра (новг., псков., олон., сев.-двин., влад., курск., орл., ворон.) [Даль I: 274; СРНГ 2: 84]. Есть свидетельства употребления этого термина в старосербской книжности с XIII в. [RJA I: 522].

Помимо текстов западного происхождения (НМ — 1 пример, Синайский евхологий — 8 примеров), термин хорошо документирован древнеболгарскими памятниками, возникшими в рамках Преславской (восточноболгарской) книжной школы, такими как Супрасльская рукопись (2 примера) [SJS I: 135], Синайский патерик XI в.: *въ гостиницю идеже волиѣ полагаѣми сътъ* (греч. *ἐν τῷ νοσοκομείῳ* ‘в больнице’) [Син. пат.: 93]; «Поучения» Константина Преславского по списку XII в.: *воль вѣхъ* ‘я был болен’; «Лествица», толкования Феодорита на Псалтырь, сборник наказаний для монахов «*Объ останцѣхъ*», Физиолог, болгарский патерик Михановича XIII в. [Miklosich 1862—1865: 39; Срезневский I: 146; Сл XI—XVII, 1: 284]. Хорошо известен этот термин и старосербским памятникам — он отмечен в ряде сербских миней, сербском списке «Огласительных поучений» св. Кирилла Иерусалимского XIII в., Житии Григория Акрагантского по списку XV в. [Miklosich 1862—1865: 39]. Предварительно отметим отсутствие надежных фиксаций термина в западноболгарской (охридской) книжности (возможно, за исключением «Поучений» Константина Преславского), западноболгарских диалектах и в македонском языке [Кон. I: 41]²⁸.

В древнерусских памятниках термин м. р. *боль* ‘больной’ (*i*-основа, некоторые формы от *jo*-основы) надежно зафиксирован с XII в. («Вопрошание» Кирика Новгородца, поучение архиеп. Новгородского Илии (1165—1186), летописи, Житие Андрея Юродивого, «Мерило праведное», Варсонофьевская кормчая, ср. [Срезневский I: 146; III Доп.: 24; Сл XI—XIV I: 288])²⁹.

Согласно интерпретации О. Н. Трубачева, исходной формой для м. р. *боль* ‘больной’ послужила форма м. р. *боль* ‘боль’, которая, в свою очередь, восходит к праславянской форме ж. р. **bol’ь* ‘боль’. Архаичная форма ж. р. сохранилась в южнославянских языках (болгарском, македонском, западносербских диалектах) и в русском, тогда как в западнославянских языках (а также украинском и белорусском) почти повсеместно (кроме лужицких и некоторых чешских диалектов) произошло «более позднее обобщение формы м. р., проходившее параллельно с переходом в знач.

²⁸ В западноболгарском и македонском представлены только формы ж. р. *бол’а* и *бол’ка*, ср. [Кон I: 42; БД VIII: 211 (костур., ю.-зап.)].

²⁹ В Сл XI—XIV цитата из Студийского устава XII в. приведена в ст. **боль** ошибочно — вопреки [Крысько 2002: 588] вместо *болии* надо читать *былии*, ср. [Пентковский 2001: 383; прим. 149; SJS I: 152]. В [Сл XI—XVII 1: 284] дано в ст. **боль**² (Переяславская летопись под 1187 г.: *без болии*), однако форма *к болямь* (1574 г.) (в контексте о родах) предполагает исходное *боля* ‘роженица’, ср. рус. диал. (олон.) *бoля* ж. р. ‘больная’ (олон.) [СРНГ 3: 94].

‘больной’» [ЭССЯ 2: 191—192; ср. Kott I: 81; SJP I: 197; Sychta 1967: 55]. Обобщение формы м. р. произошло также в хорватском [Iveković, Broz I: 84] и частично в словенском, ср. м. р. *glavobol* ‘головная боль’. Словенская форма ж. р. *ból* характеризуется как «книжная» и «устаревшая» [SSKJ I: 167].

Таблица

Распределение термина **боль** в славянских языках

	ст.-сл., болг.	макед.	серб.-хорв.	словен.	ст.-чеш., чеш.	словац.	словин.	в.-(н.-) луж.	пол.	укр.	др.-рус., рус.
* <i>bol</i> ’ ж. р. ‘боль’	+	+	+ (зап.-серб.)	+ (стар.)	+	—	—	+	—	—	+
* <i>bol</i> ’ м. р. ‘боль’	(—)	—	+ (в.-серб.)	+	+	+	+	—	+	+	—
* <i>bol</i> ’ м. р. ‘больной’	(+)	—	+	—	—	—	—	—	—	—	+

Имеющийся материал свидетельствует о том, что прасл. **bol’ь* м. р. ‘больной’ представлено в болгарском ареале только в восточнoболгарских (преславских) памятниках и только в двух периферийных диалектах — банатском (север) и бургасском (восток). В центральных, западных и южных болгарских диалектах эта лексема отсутствует. С другой стороны, не является общеполгарским и производящее **bol*’ м. р. ‘боль’ (известно только в банатском диалекте); оно занимает в основном западнославянский ареал (с объяснимыми отклонениями в словенский и сербохорватский языки). Таким образом, в болгарском языке сложилась парадоксальная ситуация — на диалектной периферии, обычно консервирующей древние формы (ср. окраинные родопский и костурский диалекты), сохранился не архаизм **bol*’ ж. р. со значением ‘боль’, а инновация **bol*’ м. р. ‘больной’. Теоретически можно предполагать независимое семантическое развитие **bol*’ ж. р. ‘боль’ > **bol*’ м. р. ‘боль’ > **bol*’ м. р. ‘больной’ на болгарской почве. Но в этом случае придется неоправданно дублировать историю термина *боль* — ведь такое же развитие определено произошло уже в праславянскую эпоху, и предполагать те же этапы специально для болгарского языка выглядит излишним и методологически уязвимым. В этом случае пришлось бы постулировать независимое развитие и для рус. диал. *боль*, что едва ли приемлемо. Представляется, что сохранение в болгарских и русских (т. е. периферийных) диалектах праславянской инновации **bol*’ м. р. ‘больной’ лучше объяснять не внутренним развитием, а языковыми контактами. Иными словами, **bol*’ м. р. ‘больной’ в болгарском могло сохраниться лишь в том случае, если эта инновация произошла вне болгарской терри-

тории, и лишь в результате неких этнических перемещений новообразование **bol'* м. р. 'больной' попало на север и восток Болгарии. Если соединить условной линией области бургасского и банатского диалектов и окрестности старого Преслава, а затем продолжить эту прямую, то она пройдет через восточную Сербию и далее через территорию Паннонии, населенную в VIII—IX вв. славянами. Иными словами, следы термина **bol'* м. р. 'больной' лежат на условной линии, соединяющей Паннонию и Восточную Болгарию. Изучение ранних славянских заимствований в венгерском показало, что паннонский славянский диалект сочетал западно- и южнославянские черты [Хелимский 1988; Richards 2003: 25—48 (с литературой)]³⁰. Можно предположить, что венгерское завоевание конца IX в. заставило массы славянского населения переселиться южнее. Не этим ли внешним воздействием из Паннонии объясняются некоторые странности в болгарских диалектах севера и востока — в частности, наличие в них термина **bol'* 'больной'? Данная гипотеза хорошо объясняет тот факт, что это слово не сохранилось в западнославянских языках: ведь **bol'* 'больной' — это инновация, а центральный (паннонский) ареал, где эта инновация произошла, был занят венграми с последующим поглощением славянского диалекта угорским суперстратом. Соответственно, на периферии паннонской диалектной области (т. е. в западно-, южно- и восточнославянских языках) остался лишь архаизм **bol'* ж. р. 'боль', а новообразование **bol'* 'больной' проявилось, с одной стороны, в восточнославянском и старосербском (ареал которого граничит с Паннонией), а с другой стороны, в восточных областях Болгарии, куда, вероятно, отправилась часть славянского населения Паннонии и где данное слово подверглось консервации вплоть до наших дней. Не исключено, что и наличие в восточносербских диалектах рефлексов **bol'* м. р. 'боль' при их отсутствии в западносербском, где консервируется архаизм ж. р. *бол* и *бола* [РСА 2: 45; RJA I: 522—523; Skok I: 184], можно объяснить тем же самым этническим перемещением из Паннонии через восточносербские земли на юго-восток, в сторону северной и восточной Болгарии. О том, что такое перемещение действительно имело место, свидетельствует древнеболгарское Житие Наума, ср.: «Прошло немного лет (после изгнания учеников Мефодия из Моравии), и пришли венгры, народ пеонский, и захватили землю их и опустошили, а те, кого не пленили венгры, бежали в Болгарию, и осталась их опустевшая земля под властью венгров» [Флоря и др. 2000: 287].

В свете предложенной гипотезы находит объяснение и то обстоятельство, что надежных фиксаций термина м. р. *боль* 'боль' в древне- и староболгарских памятниках не найдено — так, в SJS (и других исторических сло-

³⁰ «Пограничный» южно-западнославянский характер паннонского диалекта (включавшего, вероятно, некоторые словацкие говоры) логично вытекает из его географического положения между сербскими диалектами на юге и чехо-моравскими на севере.

варях) отмечено только *воль* ‘больной’, *воль* ж. р. ‘боль’ и производное *вольнъ* в субстантивном и адъективном значениях [Miklosich 1862—1865: 39; SJS I: 135; Срезневский I: 146; Сл XI—XIV I: 288]. В цитате из Псалтыри XIV в. [Срезневский I: 146; Сл XI—XVII I: 284] сочетание *въ волахъ* предполагает исходную форму ж. р. *воля* ‘боль’, хотя не исключена и форма ж. (м.) р. *воль*, поскольку переход именных основ в *a*-склонение отмечается в русских памятниках уже со второй половины XIII в. [Соболевский 2004: 222; Борковский, Кузнецов 1963: 196; Иорданиди, Крысько 2000: 244]. Наконец, в цитате из Физиолога *ще бо воль кто впадеть* [Сл XI—XIV I: 288] родовая принадлежность (и семантика) термина *воль* вообще неясна — она целиком зависит от реконструкции первоначального синтаксиса фразы.

Из наших рассуждений следует, что термин *воль* в значении ‘больной’ нельзя считать болгаризмом, хотя он и встретился в периферийных болгарских диалектах. Принципиально важно то, что данный термин не является общепольским и что в болгарском (кроме банатского) отсутствует его производящее *воль* м. р. ‘боль’. С другой стороны, это слово нельзя отнести и к моравизмам, поскольку оно не отмечено в западославянских языках и памятниках (кроме НМ). Представляется, что для IX в. наиболее адекватно данный термин можно определить как *паннонизм* (разумеется, с многочисленными оговорками о том, что генезис и характер славянского диалекта Паннонии до конца не выяснены).

Загадочным остается наличие термина *воль* ‘больной’ в древнерусских памятниках и восточнославянских диалектах. Рус. диал. *воль* ‘больной’ при полном отсутствии его производящего *воль* м. р. ‘боль’ заставляет отказать от идеи параллельного паннонскому (и независимого от него) новообразования на восточнославянской почве. Скорее всего, широкое распространение рус. *воль* ‘больной’ (от Северной Двины и Новгорода до Орла) объясняется очень древними языковыми контактами восточных славян с Паннонией, восходящими к эпохе до венгерского завоевания. Сходное с зап.-слав. *bol, ból*, род. п. *bolu* [Kott I: 81; SJP I: 197; Sychta 1967: 55] новообразование м. р. *биль*, род. п. *болю* ‘боль’ в украинском и *воль* м. р. (наряду с ж. р.) в белорусских диалектах [СЛУМ I: 186; СБГ I: 201], видимо, также может служить подтверждением древних языковых связей восточных и западных славян³¹.

³¹ Существование этих связей доказывается, в частности, наличием во многих русских диалектах древнего заимствования из народной латыни *кошуля* < лат. *cas(s)ula* ‘облачение священника’ [Du Cange II: 215; Rorović 1960: 589]. На русской почве значение слова слегка трансформировалось: ‘сорочка, рубашка’ (западные и южные диалекты: смол., брян., великолук., орл., курск.) и ‘верхняя одежда на меху’ (северные диалекты: яросл., новг., волог., беломор., костром., вят.) [СРНГ 15: 157—158]. Постепенность распространения этого слова с запада на восток доказывается тем, что наиболее близкое к зап.-ц.-слав. *кошуля* значение ‘рубашка’ отмечается именно в западнорусских диалектах; ср. старопольск. *koszula* (с 1399 г.), *koszulka* (с 1477 г.) ‘нижняя одежда’ [Sl. stpol. III: 358].

Вопрос о том, почему паннонизм **bol'* 'больной' нередко встречается в восточноболгарских памятниках X—XI вв., решается двояким образом: с одной стороны, нельзя исключать западного (паннонского) книжного влияния после прихода учеников Мефодия в Преслав и Плиску; с другой стороны, как уже сказано выше, можно предполагать непосредственное влияние паннонского диалекта на восточноболгарские говоры X в. С учетом болгарского диалектного материала второе объяснение представляется более вероятным (ср. ниже о слове *присноублати* в ЗСЛ).

5) *Narax legomena* ЗСЛ и НМ

въздъшениѣ 'отвращение'

НМ, Лаод. 2: о сзгрѣшающихъ въ различьныхъ грѣсѣхъ и претърпаще въ м(о)л(и)твѣ исповѣдания и покаѣния и **въздъшениѣ** [о въздъшении егг. U, и въздъшена егг. J] от злз свършено твораче (τὴν ἀποστροφὴν 'отвращение') (331.5); в Ефремовской кормчей читаем отвращениѣ [Бенешевич 1907: 267.21]. Гапакс славянской письменности [Miklosich 1862—1865: 89; Срезневский I: 355; SJS I: 272]; в [Сл XI—XIV] и [Сл XI—XVII] отсутствует. Мнение Й. Вашицы о моравском характере данного слова [Vašica, Nom: 224 и прим. 72] не подтверждается данными славянских языков и диалектов, в которых данное слово не оставило никаких следов. Возможно, речь идет о локальном мораво-паннонском окказионализме.

истина юр. '(спорное) имущество'

НМ, Апост. 72: аще которзи клирикъ ли людинъ от с(ва)тзпа ц(ь)рк(ъ)ве възземлетъ ли свѣщю, ли масло, да отлучитъ с(а) и патерицю да възвратитъ съ истиню (μεθ' οὗ ἔλαβεν) (349.19—350.4); в Ефремовской кормчей нлико же бодеть възалъ [Бенешевич 1907: 77.16].

В древнейших славянских памятниках слово истина в значении '(спорное) имущество, *corpus delicti*' является гапаксом — словари дают только цитату из НМ [Срезневский III Доп.: 133; SJS I: 817]. Согласно толкованию Й. Вашицы, термин истина в западной разновидности славянского языка означал как 'истина, *veritas*', так и (в специально-юридическом значении) 'вещь, удостоверяющая истинность чего-либо — предмет спора; *corpus delicti*'. Действительно, последнее значение не известно старопольскому и южнославянским языкам и может считаться надежным богемизмом. Так, в старочешской книжности оно употребительно по крайней мере с XIII в., не говоря уже о более поздних памятниках [Kott I: 636; VI: 528; Gebauer I: 654; ср. Vašica, Nom: 225—226 и прим. 76]. Впоследствии у чеш. *jistina* развивается значение 'первоначальный капитал, сумма без учета процентов' [Kott VI: 527]. Сербохорв. *istina* и польск. *iścizna* 'капитал, деньги', равно как др.-рус. и ст.-рус. *истина* 'первоначальное количество товара, денег

(без прибыли); капитал; цена, стоимость' (северно- и западнорусские контексты с конца XIII в.), заимствованы из чешского [Mažuranić I: 440; SJP II: 113; Сл XI—XIV IV: 172; Сл XI—XVII 6: 320]; сюда же определенно относятся и рус. диал. *истинник* 'первоначальная сумма кредита' (яросл.); 'наличные деньги, капитал' (нижегор.) [СРНГ 12: 255; ср. Даль II: 140]³².

НАГЪЛЪСТВО 'ГНЕВ, ГНЕВЛИВОСТЬ'

НМ, тит. XV: ꙗко не достоитъ еп(и)с(ко)поу стра(ть)ю НАГЪЛЪСТВА движимоу възкорѣ отлоучати (са) раздѣражающиихъ (ὑπὸ πάθους ὀξύχολίας 'страстью гнева') (250.19; то же — 282.20).

По данным словарей слово является гапаксом славянской книжности [Miklosich 1862—1865: 400; SJS II: 285]. Представляет собой производное от **naglъjъ* 'неожиданный; опрометчивый' [ЭССЯ 22: 38]. Продолжения прасл. **naglъjъ* имеются во всех славянских языках в значениях 'наглый' (болг.), 'быстрый, поспешный' и 'яростный, резкий' (сербохорв.), 'крутой; внезапный' (словен.), 'внезапный; вспыльчивый' и 'крутой, отвесный' (чеш.), 'быстрый; непредвиденный' (словац.); 'быстрый; неожиданный; вспыльчивый' (польск.), 'быстрый; внезапный' (укр. и белорус.), 'дерзкий, нахальный' (рус.), 'чистый, настоящий, подлинный' (рус. яросл.) и др. [ЭССЯ 22: 33—37; RJA VII: 322—324; 330—332; PCA 13: 518—519; Iveković, Broz I: 734; SčSl I: 83—85; Kott VI: 1080—1081; СРНГ 19: 199]. Столь же широкое распространение свойственно производному *наглость* < прасл. **naglostъ* [ЭССЯ 22: 32—33]. С другой стороны, производные **naglivъjъ* и **naglota* носят региональный западнославянский характер и в южнославянских языках (кроме словен. *naglota*) не встречаются [Там же]. Аналогично обстоит дело и с термином *нагльство*, который представлен только в НМ [Срезневский II: 274] и древнерусских памятниках — Словах Григория Богослова по списку XIV в. (в соответствии с греч. ἀποτομία 'резкость, суровость' — Сл XI—XIV V: 134), старопечатном Прологе 1643 г. и в «Отразительном писании» Евфросина 1691 г. [Сл XI—XVII 10: 49]. Таким образом, по данным памятников термин *нагльство* относится к севернославянской зоне; в современных славянских языках (диалектах) и древнеболгарской книжности не зафиксирован.

НЕВЪДИМЪИ О СЕБЕ 'НЕВМЕНЯЕМЫЙ'³³

ЗСЛ, гл. 7а: Не достоитъ же ни въ ꙗдиноу проу примати послочухъ, иже воудочъть ... о себе невѣдими (без греч.) (184.21—27). Выражение ЗСЛ не-

³² Любопытное развитие слово *истина* получило в псковском диалекте, где оно приобрело значение 'две пары бабок (при игре в бабки)' [СРНГ 12: 255]. «Материальная» семантика заставляет видеть здесь глубокий архаизм и, возможно, западное влияние.

³³ Форма *о себе* не нуждается в конъектуре *о себѣ*, поскольку в данной конструкции вполне допустим как местн. п., так и вин. п. местоимения [Сл XI—XIV V: 462—463].

въдмѣи о себѣ представляет собой пассивное причастие от глагола въдѣти [SJS II: 336]. Правда, гл. 7а является вероятной интерполяцией [Максимович 2004а: 27], поэтому неизвестно, можно ли относить данный термин к архетипу ЗСЛ. Правильная форма сохранилась только в Пушкинском списке (изводе) ПР ЗСЛ, в КР и СР ЗСЛ попытка переосмысления: о себѣ не-въдими К, невъдимиѦ А, непобѣдими UNVJMČST [Вашица 1963: 31].

присноублаѣти ‘приманивать’

ЗСЛ, гл. 30: Присноублаѣ чюжего раба и крѣна ѿго и не гавѣ творѣ повиннѣхъ вѣтъ того своему г(оспод.)иноу пристрѣити (греч. ὑπονοθεῖω) (194.10) [SJS III: 306]. Производящее *снубити* ‘сводничать, сватать’ имеет надежные соответствия в западнославянских языках [Kott III: 508; Machek 1957: 462; Фасмер III: 701], однако имеющиеся в болгарских диалектах родопской группы производные *девеснопове*, *девоснопове* ‘мн. ч. сваты’, *снобник* ‘сват’ [БД II: 130, 269], а также слово *снубок* ‘сводник, содержатель притона’ [Skok III: 298; Сл XI—XVII 25: 271; Максимович 2004а: 135] доказывают, что некогда производные от *snub-* (и.-е. корень **sneubh-*, ср. лат. *nubere*, греч. νύμφη) были и в южнославянских диалектах. Возможно, данный корень является еще одной изоглоссой, подтверждающей тесное сосуществование южно- и западнославянских диалектов на территории Паннонии с их последующей иррадиацией в направлении Балкан и Восточных Альп [Куркина 1981: 92—93].

В тексте ЗСЛ по Иоасафовской кормчей XVI в. (J) *присноублаѣти* заменено на *присвоивати* [Vašica, ZakSud: 192.2, прим.; 194.10, прим.; Cibranska 1998: 203], в Печатной кормчей — на *присвоити* [Печ. корм.: 376 об.], в ПР ЗСЛ — на *приѣти* (Пушкинский извод) и *подмолвити* (Археографический извод) [Тихомиров, Милов 1961б: 37, 65].

Проведенный аналитический обзор редкой и региональной лексики ЗСЛ, НМ и Анонимной гомилии позволяет сформулировать следующие *выводы*.

1) Рассмотрение архаичной лексики, отмеченной в юридических текстах древнейшей эпохи славянской книжности (IX в.), и прежде всего впервые проведенное нами сопоставление предполагаемых моравизмов с южно- и восточнославянским книжно-письменным и диалектным материалом полностью подтвердило идеи А. И. Соболевского и Й. Вашицы о западнославянском происхождении этих текстов.

2) Методология локализации славянских переводов на основе лексических (лексико-семантических) критериев, разработанная для древнерусских переводов XI—XIII вв. (А. И. Соболевский, В. М. Истрин, Н. А. Мещерский, А. М. Молдован, А. А. Алексеев, А. А. Пичхадзе), доказала свою эффективность и применительно к мораво-паннонским переводам IX в.

3) Анализ региональной лексики ЗСЛ и НМ подтвердил факт, установленный на материале ранних славянских заимствований в венгерский язык,

что славянский культурный диалект Моравии (Паннонии) содержал западнославянские элементы. С другой стороны, наличие южнославянских реликтов в среднесловацком говоре и схождений словенского и сербохорватского с западнославянскими языками [Куркина 1985: 67; 1987: 63—66] позволяет предполагать, что паннонский диалект носил смешанный характер, сочетая в себе южно- и западнославянские языковые черты [Куркина 1993]. Примечательно, что в литературе он определяется то как «протословенский», то как «протословацкий» или даже «протосербохорватский» (И. Попович). В недавнем исследовании фонетики ранних венгерских заимствований из славянского Р. О. Ричардс отвергает связь паннонского диалекта с протословенским, но вполне солидаризируется с мнением И. Поповича о «протосербохорватском» характере некоторых фонетических особенностей паннонского говора с допущением его родства также с «проточехословацким» [Richards 2003: 26—34, 200—202]³⁴. Ввиду того что в лексике НМ выявляются отдельные паннонизмы, представляется плодотворным рассматривать ЗСЛ и НМ в качестве важнейших (и древнейших) письменных источников для реконструкции некоторых лексических (а в перспективе, возможно, и грамматических) черт позднеславянского паннонского диалекта³⁵.

4) Исследование полностью подтвердило тяготение старосербской (хорватской, словенской) книжности к западнославянскому языковому ареалу — прежде всего в отношении религиозно-культурной (культурной) лексики. Многочисленные изолексы, объединяющие сербско-хорватско-словенские памятники с западнославянскими (чешскими, богемскими), доказывают, что в раннеписьменную эпоху (IX—X вв.) сербохорватские и словенские диалекты в отношении культурной лексики объединялись с диалектами западнославянской группы (ср. п. 3). Следовательно, древнейший культурный наддиалект западных и юго-западных славян и возникший на его основе в конце IX в. славянский книжный язык в лексическом отношении можно считать мораво-паннонским, если отвлечься от нескольких грецизмов, вошедших в него в период византийской миссии Константина и Мефодия (древнейшие грецизмы Евангелия и Псалтыри, грецизмы НМ и ЗСЛ) и даже после окончания последней (*сѣтона, дѣнакъ* в «Заповедях святых отец», *калоу҃геръ, литоу҃ргѣна, продромъ, келина, кивотъ, скинина, игоу҃менъ,*

³⁴ Во всяком случае, вывод Ричардса согласуется с давним тезисом Б. Копитара о том, что древнейший паннонский диалект (и, соответственно, возникший на его основе книжный язык славян) дальше отстоит от болгарских и македонских диалектов, чем от словенского и сербохорватского [Kopitar 1836: IX].

³⁵ Другими источниками могут служить данные современных славянских диалектов (например, префикс *чу-* в некоторых словенских говорах), древнейшие заимствования в венгерский язык и данные топонимии — например, топонимы с западнославянскими рефлексами *-dl-*, *-tl-* в южной Австрии, где проживали предки словенцев [Richards 2003: 200—201, 203 (карта)].

иерти, фемиянъ, стратигъ в «Беседах» папы Григория, грецизмы Никодимова евангелия и др.) [Соболевский 1910: 52, 54]³⁶.

5) Исследование отчетливо выявило неоднородный характер западнославянской лексики, представленной в ЗСЛ и НМ, — большинство западных терминов церковного происхождения (комъкати, олътарь, поганъ, попъ, постъ) широко распространились в славянском мире вместе с христианством и стали частью книжного и диалектного вокабуляра славянских народов; с другой стороны, светская и разговорно-бытовая лексика и некоторые локальные лексемы церковного характера либо исчезли, оставив следы в древнейших западных памятниках (вещиньница, възждъ, кметъ ‘знатный воин’, кжпетра, нагльство ‘гнев’, притъкнжти ‘доказать’, стрижьникъ), либо (иногда в измененном виде) сохранились в западнославянских языках (истина ‘имущество, капитал’, крижма, нестера, поганьскъзи, потьвъга, оуваровати) или в словенском и сербохорватском (нерадънъзи, приносъ).

6) Влияние западного (мораво-паннонского) культурного диалекта на восточноболгарскую письменность многократно доказывается лексическими данными древнейших памятников — многие латинизмы и германизмы ЗСЛ и НМ широко представлены в преславской книжности (комъкати, кризма, малъжена, неприаънъ, олътарь, поганъ, попъ, постъ; из славянских слов мъдълъ)³⁷. Это обстоятельство вполне соответствует информации древнейших источников о приходе учеников Мефодия Климента, Наума и Ангелария из Моравии именно в Плиску и Преслав (житие Климента Охридского, гл. XVI — ср. [Флоря и др. 2000: 193]). Нельзя исключать и непосредственного паннонского влияния на болгарский бытовой язык в результате массовых славянских миграций из Паннонии после венгерского завоевания в конце IX в.

7) Для в е р и ф и к а ц и и западных (мораво-паннонских) лексем в древнеславянском книжном вокабуляре р е л е в а н т н ы следующие признаки (каждый из которых является необходимым и достаточным):

- наличие лексемы в западнославянских языках и древних западных памятниках при ее отсутствии в болгарских диалектах;
- германская (древневерхненемецкая) или народнолатинская этимология лексемы;
- наличие древнего заимствования в венгерский язык.

³⁶ Здесь уместно сослаться на мнение Н. Ван-Вейка, согласно которому древнейший книжный язык славян следует называть не «древнеболгарским», а «древнецерковнославянским», — иначе пришлось бы неоправданно отнести к болгарским немалое число текстов западного происхождения [Ван-Вейк 1957: 19—20].

³⁷ Ср. также фиксацию западного термина котъига (котоуга) (< лат. *cotuca*) ‘верхняя рубашка’ в моравских «Беседах на Евангелие» Григория Двоеслова, некоторых евангелиях и в целом ряде преславских переводов, включая Супрасльский сборник [SJS II: 57; Срезневский I: 1303—1304].

Для фальсификации (действие, обратное верификации) западных лексем в славянском книжном языке нерелевантны следующие признаки:

- наличие лексемы в болгаро-преславской книжности (ср. п. 6);
- наличие лексемы в болгарских диалектах при условии ее связи с христианским культом;
- наличие лексемы в сербохорватском и словенском языках (ср. п. 4).

Соответственно для отнесения лексемы к болгаризмам релевантна следующая совокупность признаков:

- наличие лексемы в болгарских диалектах при условии ее бытового (нецерковного) характера;
- отсутствие в (старо)чешском, словацком, (старо)сербохорватском и словенском (прежде всего в диалектах);
- невыводимость лексемы из средневековой латыни или древневерхненемецкого;
- наличие славянской, тюркской или греческой этимологии (в последнем случае релевантно только *непосредственное* заимствование);
- отсутствие лексемы в ранней западнославянской книжности (исключение: грецизмы кирилло-мефодиевской традиции).

8) Для локализации древнейших славянских памятников на западе славянского мира необходимы и достаточны следующие условия:

- наличие в тексте языковых западнославянизмов (прежде всего латинизмов и новых германизмов);
- отсутствие в тексте языковых болгаризмов (лексем, отмеченных только в надежно локализованных болгарских памятниках и диалектах).

И наконец, частный, но культурологически весьма важный вывод — эксклюзивные западнославянские изолексы *не радънзи*, *потъвъга*, объединяющие НМ с древнейшими евангелиями, полностью подтверждают известие Паннонских житий Константина и Мефодия о том, что первый славянский перевод Евангелия, как и перевод Номоканона, восходит к моравской эпохе и был сделан у западных славян. Эксклюзивная изолекса *притъкнжти* 'доказать', объединяющая ЗСЛ с древнейшим переводом Апостола, служит доводом в пользу того, что и этот последний имеет (полностью или частично) моравское происхождение.

Сиглы рукописей

А — СПб., Петербургское отделение Института истории, собр. Археографической комиссии, № 240. XV в. — Археографический список ПР ЗСЛ.

Ар — СПб., БАН, Ник. 1 (XIII в.) — Апокалипсис с толкованиями Андрея Кесарийского.

Ѓ — Москва, ГИМ, Чуд. 167 (1499 г.) — «Чудовская кормчая».

- J — Москва, РГБ, Фунд. 54 (XVI в.) — «Иоасафовская кормчая», список КР ЗСЛ и НМ.
 К — СПб., РНБ, F IV, № 248 (XV в.) — Карамзинский список СР ЗСЛ.
 М — Москва, РГБ, Тр. 15 (XIV в.) — «Мерило праведное».
 N — Москва, ГИМ, Син. 132 (между 1285 и 1291 гг.) — «Новгородская кормчая».
 P — Москва, РГАДА, ф. Древлехранилища, отд. V, рубр. I, № 1 (XIV в.) — Пушкинский список ПР ЗСЛ.
 S — СПб., РНБ, Соф. 1173 (кон. XV в.) — Софийский список КР ЗСЛ («Софийская кормчая»)
 T — Москва, РГБ, Тр. 765 (конволют XV—XVI вв.) — Троицкий список СР ЗСЛ.
 U — Москва, РГБ, ф. 250 (Рум.), № 230 (XIII—XIV вв.) — «Устюжская кормчая», список КР ЗСЛ и НМ.
 V — Москва, ГИМ, Чуд. 4 (кон. XIV в.) — «Варсонофьевская кормчая» (русской редакции).

Л и т е р а т у р а

- Акимова 2002 — О. А. А к и м о в а. Христианство в далматинских, хорватских и сербских землях в X—XI вв. // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия / Отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 2002. С. 267—339.
 Алексеев 1999 — А. А. А л е к с е е в. Текстология славянской Библии. СПб., 1999.
 Апост. Христ. — Actus epistolaeque Apostolorum palaeoslovenice. Ad fidem codicis Christianopolitani saeculo XII-o scripti / edidit Aem. Kałużniacki. Vindobonae, 1896.
 БД I—X — Българска диалектология. Проучвания и материали. Т. 1—10. София, 1962—1981.
 Бенвенист 1995 — Э. Б е н в е н и с т. Словарь индоевропейских социальных терминов. 1: Хозяйство, семья, общество. 2: Власть, право, религия: Пер. с фр. / Под ред. акад. Ю. С. Степанова. М., 1995.
 Бенешевич 1907 — В. Н. Б е н е ш е в и ч. Древне-славянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1. Вып. 1—3. СПб., 1906—1907 [переизд.: Leipzig, 1974].
 БЕР — Български етимологичен речник. Т. 1—. София, 1962—.
 Борковский, Кузнецов 1963 — В. И. Б о р к о в с к и й, П. С. К у з н е ц о в. Историческая грамматика русского языка. М., 1963.
 Буслаев 1861 — Ф. Б у с л а е в. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861 [переизд.: М., 2004].
 Вайан 1952 — А. В а й а н. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
 Ван-Вейк 1957 — Н. В а н - В е й к. История старославянского языка. М., 1957.
 Вашица 1963 — Й. В а ш и ц а. Кирилло-мефодиевские юридические памятники // Вопросы славянского языкознания. Вып. 7. М., 1963. С. 12—33.
 Вечерка 1985 — Р. В е ч е р к а. Письменность Великой Моравии // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М., 1985. С. 174—195.
 Геров I—V — Н. Г е р о в. Речник на българский язык. Т. 1—5. Пловдив, 1895—1904.
 Голубинский 1901 — Е. Г о л у б и н с к и й. История русской Церкви. Т. 1. Период первый. Киевский или домонгольский. 1-я пол. т. 2-е изд. М., 1901. [= Slavistic Printings and Reprintings; 117/1. The Hague; Paris, 1969].

Горский, Невоструев 1859 — А. В. Горский, К. И. Невоструев. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. 2: Писания святых отцев. Ч. 2: Писания догматические и духовно-нравственные. М., 1859.

Гутянова 1986 — Я. Гутянова. Моравизмы в лексике старославянских рукописей: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1986.

Даль I—IV — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4. М., 1998.

Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 2004.

Изб. 1073 — Симеонов Сборник (по Светославовия препис от 1073 г.): В 3 т. / Под общ. ред. на акад. П. Диневков. Т. 1: Исследования и текст. София, 1991.

Иорданиди, Крысько 2000 — С. И. Иорданиди, В. Б. Крысько. Множественное число именного склонения // Историческая грамматика древнерусского языка. Т. 1. М., 2000.

Кон. — Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски. Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. Т. 1—3 / Ред. Б. Конески. Скопје, 1950.

Красносельцев 1885 — Н. Красносельцев. Толкование на литургию св. Германа в редакции VIII—X вв. // Н. Красносельцев. Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки. Казань, 1885. Прилож. II.

Крысько 2002 — В. Б. Крысько. Исправления к I—IV томам // Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Т. 5. М., 2002. С. 585—645.

Куркина 1981 — Л. В. Куркина. Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской теорией Е. Копитара // Вопросы языкознания. 1981. № 3. С. 85—97.

Куркина 1985 — Л. В. Куркина. Праславянские диалектные истоки южнославянской языковой группы // Вопросы языкознания. 1985. № 4. С. 61—71.

Куркина 1987 — Л. В. Куркина. К проблеме словенско-западнославянских языковых связей // Античная балканистика. М., 1987. С. 61—67.

Куркина 1993 — Л. В. Куркина. Паннославянская языковая общность в системе диалектных отношений праславянского языка // Славянское языкознание: XI Междунар. съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г.: Докл. рос. делегации. М., 1993. С. 36—46.

Куркина 1996 — Л. В. Куркина. Паннонская теория Копитара в свете современных исследований // Koritarjev Zbornik. Ljubljana, 1996. С. 241—248.

Лавров 1930 — П. А. Лавров. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930. [= Труды славянской комиссии; Т. 1].

Львов 1966 — А. С. Львов. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966.

Львов 1968 — А. С. Львов. Чешско-моравская лексика в памятниках древнерусской письменности // Славянское языкознание: VI Междунар. съезд славистов. М., 1968. С. 316—339.

Люсен 1995 — И. Люсен. Греческо-славянский конкорданс к древнейшим спискам славянского перевода евангелий (codices Marianus, Zographensis, Assemanianus, Ostromiri). Uppsala, 1995. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia; 36).

Максимович 1995 — К. А. Максимович. Византийская практика публичного покаяния в Древней Руси: терминология и проблемы рецепции // Russica Romana. 1995. Т. 1. С. 7—24.

- Максимович 2001 — К. А. Максимович. Текстологические и языковые критерии локализации древнеславянских переводов (в связи с новым изданием «Пандектов» Никона Черногорца) // Рус. яз. в науч. освещении. 2001. № 2. С. 191—224.
- Максимович 2002 — К. А. Максимович. Древнейший памятник славянского права «Закон судный людем»: композиция, переводческая техника, проблема авторства // Византийский Временник. Т. 61 (86). 2002. С. 24—37.
- Максимович 2004а — К. А. Максимович. Законъ Соудьнъи Людмъ: Источниковедческие и лингвистические аспекты исследования славянского юридического памятника. М., 2004.
- Максимович 2004б — К. А. Максимович. Моравизмы в древнерусском книжном языке: ст.-сл. *КЪМЪТЬ, др.-рус. КМЕТЬ // Russian Linguistics. 2004. Vol. 28. № 1. С. 109—123.
- Младенова 1999 — М. Младенова. Кирило-Методиева география и история или западните славяне, Кирил и Методий и какво е (о)станало после. София, 1999.
- Молдован 2000 — А. М. Молдован. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М., 2000.
- Німчук 1983 — В. В. Німчук. Київські глаголичні листки. Київ, 1983.
- НРЭ I — Новое в русской этимологии. М., 2003.
- Пенкова 1995 — П. Пенкова. Латинизми // Кирило-Методиевска Енциклопедия. Т. 2. София, 1995. С. 502—504.
- Пентковский 2001 — А. М. Пентковский. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.
- Печ. Корм. — Книга глемеаа греческимъ яззыккомъ Номоканонъ, словенскимъ же скздемаа Закона правило. М., 1653.
- ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. 1— М., 1997—.
- Розенкамф 1829 — [Г. А.] Розенкамф. Обзорение Кормчей книги в историческом виде. М., 1829.
- Розенкамф 1839 — Г. А. Розенкамф. Обзорение Кормчей книги в историческом виде. 2-е изд. СПб., 1839.
- Ронин 1988 — В. К. Ронин. Принятие христианства в Карантанском княжестве // Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М., 1988. С. 104—121.
- РСА — Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Т. 1— Београд, 1959—.
- СБГ I—V — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Т. I—V. Мінск, 1979—1986.
- Син. пат. — Синайский патерик / Изд. подг. В. С. Гольщенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967.
- СК XI—XIII — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. М., 1984.
- Сл XI—XIV — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 1— М., 1988—.
- Сл XI—XVII — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1— М., 1975—.
- СЛУМ I—IX — Словник української мови. Т. 1—9. А—С. Київ, 1970—1978.
- Смедовски 1985 — Ст. Смедовски. Анонимна хомилия // Кирило-Методиевска Енциклопедия / Гл. ред. П. Динев. Т. 1. София, 1985. С. 80—82.
- Соболевский 1900 — А. [И.] Соболевский. Церковно-славянские тексты моравского происхождения // Рус. филол. вестник. 1900. Т. 43. № 1—2. С. 150—217.

- Соболевский 1904 — А. И. Соболевский. Из истории заимствованных слов и переводных повестей // Унив. изв. 1904. № 11. Ч. 2. С. 1—6.
- Соболевский 1910 — А. И. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910. [= Сб. Отд. рус. яз. и словесности. Т. 88. № 3].
- Соболевский 2004 — А. И. Соболевский. Очерки из истории русского языка // Соболевский А. И. Труды по истории русского языка. Т. 1. М., 2004.
- Срезневский I—III — И. И. Срезневский. Материалы для Словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. СПб., 1893—1912 [перезд.: М., 1989].
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Т. 1— . Л./СПб., 1965— .
- ССУМ I—II — Словник староукраїнської мови. Т. 1—2. Київ, 1977—1978.
- Суворов 1888 — Н. С. Суворов. Следы западно-католического церковного права в памятниках древнего русского церковного права. Ярославль, 1888.
- Суворов 1893 — Н. С. Суворов. К вопросу о западном влиянии на древнерусское право. Ярославль, 1893.
- Тихомиров, Милов 1961a — Закон Судный людем краткой редакции / Изд. М. Н. Тихомиров, Л. В. Милов; Под ред. акад. М. Н. Тихомирова. М., 1961.
- Тихомиров, Милов 1961б — Закон Судный людем Пространной и Сводной редакции / Изд. М. Н. Тихомиров, Л. В. Милов; Под ред. акад. М. Н. Тихомирова. М., 1961.
- Троицкий 1961 — С. В. Троицкий. Св. Мефодий как славянский законодатель // Богословские труды. Сб. 2. М., 1961. С. 83—141.
- Троицкий 1970 — С. В. Троицкий. Мефодий как автор «Закона судного людем» // Македония и македонцы в прошлом = La Macédoine et les Macédoniens dans la passé. Скопье, 1970. С. 441—453.
- Трубачев 1959 — О. Н. Трубачев. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
- Усп. сб. — Успенский сборник XII—XIII вв. / Под ред. С. И. Коткова. М., 1971.
- Фасмер 1—4 — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1986—1987.
- Флоря и др. 2000 — Б. Н. Флоря, А. А. Турилов, С. А. Иванов. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. М., 2000.
- Хабургаев 1994 — Г. А. Хабургаев. Первые столетия славянской письменной культуры. Истоки древнерусской книжности. М., 1994.
- Хелимский 1988 — Е. А. Хелимский. Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии // Славянское языкознание: X Междунар. съезд славистов. София, сентябрь 1988 г.: Докл. сов. делегации. М., 1988. С. 347—368.
- Хелимский 1993 — Е. А. Хелимский. Ранняя славянская христианская терминология в венгерском языке // Славянское языкознание: XI Междунар. съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г.: Докл. рос. делегации. М., 1993. С. 46—64.
- Христова-Шомова 2004 — И. Христова-Шомова. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. София, 2004.
- Цейтлин 1988 — Р. М. Цейтлин. Лексика славянских языков X—XI—XIV—XV вв. (результаты сопоставительного исследования) // Славянское языкознание: X Междунар. съезд славистов. София, сентябрь 1988 г.: Докл. сов. делегации. М., 1988. С. 369—388.

Цибранска-Костова 2000 — М. Ц и б р а н с к а - К о с т о в а. Формиране и развитие на старобългарските лексикални норми в църковноюрдическата книжнина. София, 2000.

Шантрэн 1953 — П. Ш а н т р е н. Историческая морфология греческого языка. М., 1953.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. акад. О. Н. Трубачева. Т. 1— М., 1974—.

Ягич 1886 — И. В. Я г и ч. Четыре критико-палеографические статьи. М., 1886.

Aitzetmüller 1991 — R. A i t z e t m ü l l e r. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. 2., verbesserte und erweiterte Aufl. Freiburg i. Br., 1991. (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes; T. 30).

Auty 1969 — R. A u t y. The Western Lexical Elements in the Kiev Missal // Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur / Hrsg. von W. Krauss, Z. Stieber, J. Bělič, V. I. Borkovskij. Berlin, 1969. S. 3—6.

Auty 1976 — R. A u t y. Lateinisches und Althochdeutsches im altkirchenslavischen Wortschatz // Slovo. 25—26. 1976. S. 169—174.

Berl. sbornik — Berlinski sbornik. Vollständige Studienausgabe in Originalformat von Ms. (Slav.) Wuk 48 aus dem Besitz der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin und von Ms. Q.p. I.15 der Staatlichen öffentlichen Bibliothek «M. E. Saltykov-Ščedrin», Leningrad / Eing. u. hrsg. von H. Miklas, mit einem Anhang von V. M. Zagrebin. Graz, 1988.

Berneker 1924 — E. B e r n e k e r. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd 1. Heidelberg, 1924.

Bielfeldt 1961 — H. H. B i e l f e l d t. Altslawische Grammatik. Halle (Saale), 1961.

Bojkovsky I—V — Paraenesis. Die altbulgarische Übersetzung von Werken Ephraims des Syrers / Hrsg. von G. Bojkovsky. Bde. 1—5. Freiburg i. Br., 1984—1990. (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes / Ed. R. Aitzetmüller, L. Sadnik, E. Weiher. Bd. 20; 1—5).

Brandl 1876 — V. B r a n d l. Glossarium illustrans bohemicomoravicae historiae fontes. Brno, 1876.

Burgmann 1983 — Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V. / Hrsg. von Ludwig Burgmann. Frankfurt am Main, 1983 (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte; Bd. 10).

Cibranska 1998 — M. C i b r a n s k a. Le *ЗАКОНЪ СОУДНИИ ЛЮДЪМЪ* du point de vue de la lexicologie et de la lexicographie historique // Études Balkaniques. T. 3—4. 1998. P. 196—210.

Cod. iust. (Krüger 1997) — Corpus Iuris Civilis. Vol. 2. Codex Iustinianus / Recognovit et retractavit P. Krüger. Hildesheim, 1997.

Dostál 1959 — Clozianus. Staroslověnský hlaholský sborník Tridentský a Innsbrucký / K vyd. přípr. A. Dostál. Praha, 1959.

Du Cange I—X — C h. d. F. D u C a n g e. Glossarium mediae et infimae latinitatis. T. 1—10. Graz, 1883—1887.

ESJS — Etymologický slovník jazyka staroslověnského. D. 1— Praha, 1989—.

Furlan 1991 — M. F u r l a n. Od izvora do etimologije besed // Slavistična revja. 1991. T. 39. Št. 2. S. 256—257.

Gebauer I—II — J. G e b a u e r. Slovník staročeský. D. 1—2. Praha, 1903—1916 [переизд.: 1970].

Holub, Kopečný 1952 — J. Holub, F. Kopečný. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952.

Holzer 2002 — G. Holzer. Zur Sprache des mittelalterlichen Slaventums in Österreich. Slavisch unter bairischem Einfluss // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 2002. 48. S. 53—73.

Holzer 2003 — G. Holzer. Zum Wortschatz des slavischen Substrats in Österreich. 1: Schichten und Areale // Studia etymologica Brunensia. 2003. 2. S. 215—227.

Isačenko 1947 — A. I. Isačenko. Začiatky vzdelanosti vo Vel'komoravskej ríši. Príspevok k dejinám západoslovanského písomníctva predcyrilometodejského // Jazykovedný zborník. 1—2. Turč. sv. Martin, 1946—1947. S. 137—178, 265—317.

Iveković, Broz I—II — F. Iveković, I. Broz. Riečnik hrvatskoga jezika. Sv. 1—2. U Zagrebu, 1901.

Jagić 1874 — V. Jagić. Sitna gradja za crkveno pravo // Starine. Kn. 6. U Zagrebu, 1874. S. 112—151.

Jagić 1913 — V. Jagić. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913.

Kopitar 1836 — B. Kopitar. Glagolita Clozianus. Vindobonae, 1836.

Kott I—VII — F. Št. Kott. Česko-německý slovník. D. 1—7. Praha, 1878—1893.

Kronsteiner 1986 — O. Kronsteiner. Method und die alten slawischen Kirchensprachen // Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. Bd. 126. Salzburg, 1986. S. 255—272.

Kronsteiner 1987 — O. Kronsteiner. Die altbulgarische Reichssprache und ihre Vorgeschichte // Кирило-Методиевски студии. Kn. 4. Хиляда и сто години от смъртта на Методий. София, 1987. S. 247—253.

Kronsteiner 1997 — O. Kronsteiner. Die Übersetzungstätigkeit des hl. Method in der Salzburger Kirchenprovinz // Die Slawischen Sprachen. 1997. Bd. 53. S. 39—47.

Machek 1957 — V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.

Machek 1968 — V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. 2-é, opravené a doplněné vyd. Praha, 1968.

Mareš 1956 — F. V. Mareš. НЕДѢЛЯ ЦВѢТЪНАЯ — *Květná neděle* 'dominica in palmis' // Slavia. 1956. Sv. 25. S. 258—259.

Mareš 1963 — F. V. Mareš. Česká redakce církevní slovanštiny v světle Besěd Řehoře Velikého (Dvojeslova) // Slavia. 1963. Sv. 32. S. 417—451.

Mažuranić I—II — V. Mažuranić. Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik. D. 1—2. U Zagrebu, 1908—1922.

Miklosich 1862—1865 — F. Miklosich. Lexicon palaeo-slovenico-graeco-latinum emendatum auctum. Vindobonae, 1862—1865.

Miklosich 1875 — F. Miklosich. Die christliche Terminologie der slavischen Sprachen. Wien, 1875.

Miklosich 1886 — F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.

Minčeva 1998 — A. Minčeva. Entstehungswege der frühesten christlichen Terminologie bei den Slaven // Orpheus. 1998. Bd 8. S. 53—63.

Nahtigal 1936 — R. Nahtigal. Starocerkvenoslovanske študije. Ljubljana, 1936.

Papastathis 1978 — X. Παπαστάθης. Τό νομοθετικόν ἔργον τῆς Κυριλλομεθοδικῆς Ἱεραποστολῆς ἐν Μεγάλῃ Μοραβίᾳ. Θεσσαλονίκη, 1978.

- Pauliny 1964 — E. Pauliny. Slovesnost' a kultúrny jazyk Vel'kej Moravy. Bratislava, 1964.
- Pokorny 1949—1959 — J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949—1959.
- Popović 1960 — I. Popović. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.
- Procházka 1957 — V. Procházka. K historickoprávnímu významu csl. *prityknouti* a jeho parafrází z ruských pramenů // *Slavia*. 1957. Sv. 26. S. 336—340.
- Procházka 1959 — V. Procházka. *Posluchъ* et *vidokъ* dans le droit slave // *Byzantinoslavica*. 1959. T. 20. P. 231—251.
- Procházka 1967—1968 — V. Procházka. Le *Zakonъ sudnyjъ ljudьmъ* et la Grande Moravie // *Byzantinoslavica*. 1967. 28. P. 359—375; 1968. T. 28 [чит. 29]. P. 112—150.
- Reinhart 1980 — J. Reinhart. Methodisches zu den lexikalischen Bohemismen im Tschechisch-Kirchenslavischen am Beispiel der Evangelienhomilien Gregors des Großen // *Wiener Slavistisches Jahrbuch*. 1980. 26. S. 46—102.
- Reinhart 2001 — J. Reinhart. Ein weiterer Bohemismus in den tschechisch-kirchenslavischen Homilien Gregors des Großen: *sněť* 'folia' // *Slavia*. 2001. Sv. 70. S. 439—446.
- Richards 2003 — R. O. Richards. The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian // *Ucla Indo-European Studies*. Vol. 2. Los Angeles, 2003.
- RJA — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Sv. 1—23. U Zagrebu, 1880—1976.
- Sadnik I—III — Des hl. Johannes von Damaskus Ἐκθεις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes / Hrsg. von L. Sadnik. Bde. 1—4. Freiburg i. Br., 1967—1983. (Bd. 4. Index und rückläufiges Wörterverzeichnis zusammengestellt von R. Aitzetmüller). (Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes; 17 (5, 1—4)).
- SčSl — Staročeský slovník / Hl. red. B. Havránek. D. 1—. Praha, 1968—.
- Schaeken 1987 — J. Schaeken. Die Kiever Blätter. Amsterdam, 1987.
- Schmid 1922 — H. F. Schmid. Die Nomokanonübersetzung des Methodius. Berlin, 1922.
- Schmitz 1958 — H. J. Schmitz. Die Bussbücher und das kanonische Bussverfahren nach handschriftlichen Quellen dargestellt. Bd. 1. Mainz, 1883; Bd. 2. Düsseldorf, 1898 [переизд.: Graz, 1958].
- Schuster-Šewc 1989 — H. Schuster-Šewc. Der kirchliche Wortschatz des Sorbischen und sein Ursprung: Ein Beitrag zur europäischen Sprach- und Kulturgeschichte // *Die Welt der Slaven*. 1989. 34, 2. S. 297—322.
- SJP I—VIII — J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. Słownik języka polskiego. T. 1—8. Warszawa, 1900—1927 [переизд.: 1952—1953].
- SJS I—IV — Slovník jazyka staroslověnského = Lexicon linguae palaeoslovenicae / Vyd. J. Kurz, Z. Hauptová. T. 1—4. Praha, 1966—1997.
- Skok I—IV — P. Skok. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Kn. 1—4. Zagreb, 1971—1974.
- Sławski I—II — F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1. Kraków, 1952—1956; T. 2. 1958—1965.
- Sł. stpol. — Słownik staropolski. T. 1—11. Warszawa; Kraków, 1953—2000.
- SSJ — Slovník slovenského jazyka. D. 1—7. Bratislava, 1959—1968.

SSKJ I—V — Slovar slovenskega knjižnega jezika. Kn. 1—5. Ljubljana, 1970—1991.

Sychta 1967 — B. S y c h t a. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. 1. A—Ġ. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1967.

Škrubej 2002 — K. Š k r u b e j. «Ritus gentis» Slovanov v Vzhodnih Alpah. Ljubljana, 2002.

Vaillant 1974 — A. V a i l l a n t. Grammaire comparée des langues slaves. T. 4. Paris, 1974.

Vašica 1961 — J. V a š i c a. K otázce původu Zakona sudného ljudem // Slavia. 1961. Sv. 30; 1. S. 1—19.

Vašica, Nom — J. V a š i c a. Nomokanon // Magnae Moraviae Fontes Historici. D. 4. Brno, 1971. S. 205—363.

Vašica, ZakSud — J. V a š i c a. Законъ sudnyi ljudьmъ = Soudní zákoník pro lid // Magnae Moraviae Fontes Historici. D. 4. Brno, 1971. S. 147—177 (введение), 178—198 (текст).

de Vincenz 1988 — A. d e V i n c e n z. Zum Wortschatz der westlichen Slavenmission // Slavistische Studien zum X. Internationalen Kongreß in Sofia 1988. Köln; Wien, 1988. S. 273—295.

Wasserschleben 1851 — F. W. H. W a s s e r s c h l e b e n. Die Bussordnungen der abendländischen Kirche nebst einer rechtsgeschichtlichen Einleitung. Halle, 1851.

Wiehl 1974 — I. W i e h l. Untersuchungen zum Wortschatz der Freisinger Denkmäler. Christliche Terminologie. München, 1974.

Zagiba 1961 — F. Z a g i b a. Die bairische Slavenmission und ihre Fortsetzung durch Kyrill und Method // Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas, N. F. Bd. 9. München, 1961. S. 1—56.

Zagiba 1964a — F. Z a g i b a. Paulinus II, Patriarch von Aquileja, und die Anfänge der Slavenmission // Vescovi e Diocesi in Italia nel medioevo (sec. IX—XIII). Padova, 1964. S. 239—247.

Zagiba 1964b — F. Z a g i b a. Regensburg und die Slaven im frühen Mittelalter // Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg. 1964. 104. S. 223—233.

Zagiba 1967 — F. Z a g i b a. Das Slavische als Missionssprache. Die sog. Lingua-quarta-Praxis der bayerischen Mission // Die Welt der Slaven. 1967. 12. S. 1—18.

Zagiba 1971a — F. Z a g i b a. Das Slavische als Missionssprache (lingua quarta) und das Altkirchenslavische als lingua liturgica im 9.—10. Jhd. (Eine Einführung in die Problematik des Altkirchenslavischen als Lehr- und Liturgiesprache) // Studia palaeoslovenica. Josepho Kurz septuagenario dedicatum. Praha, 1971. S. 401—414.

Zagiba 1971b — F. Z a g i b a. Das Geistesleben der Slaven im frühen Mittelalter. Wien; Köln; Graz, 1971.

О. Ф. ЖОЛОБОВ (Казан. ун-т)

ЗАМЕТКИ О ДРЕВНЕРУССКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ.

III: '5'—'10'

1. Большой квантитатив

Числительные *пять, шесть, семь, осмь* — слова *singularia tantum* *i*-основ женского рода. На род указывают согласовательные атрибутивные или предикативные формы:

яко *всю шесть* лѣтъ испълнити КЕ XII, 82а; оу боана възьми *шесть* коунъ *намьноюу* ГрБ № 509 (50—70 XII); по томъ пришли смерди ѿ андрѣа мужъ приали и дане ѿали людье · и *осмь выслагла* ГрБ № 724 (1166/1167) и под.

И—ВП	<i>пять, шесть, семь, осмь, девать</i>
РП, ДП, МП	<i>пяти, шести, семи, осми, девати</i>
ТП	<i>пятию, шестию, семию, осмию, деватию</i>

Данные числительные образуют сочетания с РП мн. ч. существительных — большой квантитатив. Аднумеративный родительный должен был употребляться независимо от падежной формы числительного. См. в раннедревнерусских памятниках:

И—ВП: живъши съ моужьмь *семь* лѣтъ ЕвР XI, 156 (Лк. 2, 36); отъ законьника слоужьбы отъставиша *девать* колѣнъ ПсЧ XI, 135в; и приимъ *семь* хлѣбъ и рыбоу ЕвМст к. XI, 48б (Мф. 15, 36); и сътвори яко *пять* не(д)ль ПС к. XI, 60; хотѣша же дати *осмь* златиць 80 об.; лежаше м(с)ць *шесть* Злат XII, 71 об.; бѣ же ихъ *пять* 74 об.; въ другоую *шесть* лѣтъ КЕ XII, 82b; *семь* же лѣтъ съ приходациими · да въноутрь црѣкве станеть 194а; *шьсь* <так!> коуно ГрБ № 630 (20—50 XII); оу дедене *пять* коуно оу чюдоке *пять* коуно оу деретокъ *пять* коуно оу несодичевее *пять* коуно оу таишинее *семе* резано оу косениле *пять* коуно оу боришекее тѣри коно оу хълөөе *пате* коуно оу надеекее *пате* коуно ГрБ (ст.-р.) № 22 (XII₁); а нежатици отроки били *шьсть* :1:хъ ГрБ № 855 (сер. XII); 21, 4: прѣбьхомъ дѣни *семь* АпХрист XII (Деян. 21, 4); оу боана възьми *шесть* коунъ *намьноюу* ГрБ № 509 (50—70

ХП); *восеме* гривено ГрБ № 437 (ХП/ХІІІ); и видѣвъше моучаше ихъ *седмь* воинъ вѣроваша 129а; миноувъ же дѣнии *осми* маинъ СБУ ХП/ХІІІ, 77г; *шесть* манастирь баше въ лѣсѣ крыкса 148а; патію хлѣбъ *паты* тысащъ насытивъшу 189в; оу ивана въ земль *деваты* гривень възми ГрБ № 219 (ХП/ХІІІ); *паты* же оубо · талантъ юсть · телѣсьнии разоуми · видѣннє слышаниє · вѣкоушениє обонаниє · и касаниє БГД ХІІІ, 366;

РП: не оставить ли *деваты* десатъ и *деваты* [овец] на горахъ ЕвМст к. ХІ, 27а (Мф. 18, 12); стѣл'пъника дѣва бѣста разнѣ себе яко *шести* попрыщъ ПС к. ХІ, 17; дѣва дѣтища първыи *деваты* лѣ(т). а друугыи патіѣж 50; прѣже *семи* лѣтъ 60 об.; отъ *осми* попрыщъ 76; без *деваты* коунъ :ѣ: гривень ГрБ № 119 (10—30 ХП); зри же и *паты* дѣвъ вѣнѣ стокущъ Злат ХП, 25 об.; и да попь тѣ отъ *паты* послушествованъ быти подобаѣтъ еп(с)пѣ КЕ ХП, 116а; въ *деваты* лѣтъ мѣсто 242в; члѣвка... ѿ *осми* лѣтъ сълежаша на одрѣ АпХрист (отр.) ХП, 1; бе *шести* ногатъ ГрБ № 710 (сер. ХП); ѿ *седми* цѣсарь Ст 1156—1163, 101; Прѣже *шести* дѣнь УСт к. ХП, 155; тѣ єдинъ бѣ · ѿ *деваты* свѣтникъ ПрС ХП/ХІІІ, 8г; свѣршено *деваты* м(с)цѣ родиса 82в; межю поутѣмъ имоушѣмъ · попрыщъ *паты* 83а; до *семи* дѣнь не почи оуча словеси бѣжию СБУ ХП/ХІІІ, 121г;

ДП: Иже къ *седми* дѣаконъ причтєнны Мин 1096, 25а; бещиниє нѣкоє сътворишу м'нѣ и инѣмъ *деваты* 121; *деваты* бо соущемъ алѣлоуиаремъ · въ кыждѣ гла(с) УСт к. ХП, 33 об.; по *паты* смокъвъ 208; по *ос(м)и* коуно ГрБ № 437 (ХП/ХІІІ); по *деваты* резано Там же; въсходитъ... къ *деваты* десатъ ти *деваты* СБУ ХП/ХІІІ, 264б;

МП: о *деваты* десатъ и .ѣ. правѣдникъ ЕвМст к. ХІ, 91а (Лк. 15, 7); по *осми* же м(с)цѣ. идоша же м'ниси ѿ райтоу ПС к. ХІ, 85 об.; по *шести* же м(с)цѣ · почи старѣць 89 об.; по *паты* бо лѣтъ съподобѣ бѣ ав'вж григоріа патриар'хоу быти ПС к. ХІ, 97 об.; и о *шести* криль аѣгли приставлєни Злат ХП, 80 об.; а съ еси полѣ оу мѣне роубоу <так!> и парѣбоко во *сьми* гривьно ГрБ № 831 (сер. ХП); въ *седми* всѣхъ лѣ(т) дѣржимъ бы(в) ЖФСт к. ХП, 142 об.; По *осми* дѣнии УСт к. ХП, 44; по *осми* дѣнии оумре ПрС ХП/ХІІІ, 124б; и по *седми* дѣнь изведенъ бы(с) итьмницѣ 149а; и по *паты* дѣнь... приде врагъ СБУ ХП/ХІІІ, 298г; п(ѣ)шено ти у *деваты* гривь(но) ГрБ № 108 (ХП/ХІІІ);

ТП: дѣва дѣтища първыи *деваты* лѣ(т). а друугыи *патыѣж* ПС к. ХІ, 50; и прѣдѣлежны поутѣ сътворивъ обрашашєса. овѣгда м(ѣ)цѣмъ... овогда *патыѣж* и *шестиѣж* 126; ц(с)рю вавилоньскому пришѣдѣш(8) *седмию* пѣлкъ Злат ХП... 77; єдинны бо тѣ и първыи дѣнь · семь краты · семь семь *семию* · бывѣши семи недѣль · сѣнныка пантикѣсти съвѣршаєтъ (ἐπτάκις ἐπταπλασιασθεῖσα, τὰς ἐπτά τῆς ἑρῶς πεντηχοστῆς ἑβδομάδας) КЕ ХП, 206а; да боудтѣ <так!> проклатъ... *семию* съборъ стѣхъ оѣць Надп 1161; нѣ тъкмо съ *шестию* или съ *пкатию* отрокъ прихожаашє къ нему СБУ ХП/ХІІІ, 40б (ЖФП); а мы *деватию* дѣнь доплоухомъ купра СБУ

XII/XIII, 167б; *патию* талантъ · пать разоумъ · то ксть внѣшнихъ · разоумѣние · назнаменається БГД XIII, 41а.

При большом квантитативе естественно ожидать употребления предикативных форм ед. числа:

бѣ же ихъ *пать* Злат XII, 74 об.; *шесть* манастырь *баше* въ лѣсѣ крыкса СБУ XII/XIII, 148а; *пать* же оубо · *талантъ ксть* · телѣсьнии разоуми · видѣние слышание · вѣкоушение обонание · и касание БГД XIII, 36б.

Но возможно и смысловое согласование:

Югда же *хотахоу седмь днѣи* съкончатиса АпХрист XII (Деян. 21, 27); и видѣвъше моучаше ихъ *седмь воинъ вѣроваша* ПрС XII/XIII, 129а.

2. Семь и восемь

Восточнославянская огласовка числительного '7', как известно, отличается от южно- и западнославянской: она не содержит корневого [d] (см. [НРЭ: 205; Фасмер III: 599; Кореѣнѣ: 318]):

блр. *сем*, рус. *семь*, укр. *сім*

vs.

болг. *седем*, макед. *седум*, сербохорв. *седам*, слвн. *sédem*; в.-луж. *sydom*, н.-луж. *sedym*, полаб. *siděm*, пол. *siedem*, слвц. *sedem*, чеш. *sedm*.

В старославянских источниках представлено числительное *седмь*, восходящее к позднепраславянскому **sedmь*.

Порядковые числительные у восточных славян представлены разными образцами:

блр. *сѣмы*, укр. *сьомий*

vs.

рус. *седьмой*.

Это расхождение символично. Как и во многих других случаях, здесь сказывается неповторимая природа русской нормы, в которой сочетаются и объединяются народно-разговорные и церковнославянские генотипы.

Огласовка *семь* (и соответственно — *семьи*) считается ранней восточнославянской инновацией [Крысько 1998: 82]. Числительные *семь* и *семьи* обнаруживаются уже в древнейших памятниках:

въ годинѣ *семѣхъ* остави и огонь Ево 1056—1057 (Ин. 4, 52); :ѣ: коунъ *семѣѣ* гр(в)нѣ ГрБ № 526 (2-я треть XI); днѣи *семь* да ѣсте опрѣсьныкы Изб 1073, 196; *семь* семицею МинП XI, 63 об. (в заголовке); живыши съ мужьмъ *семь* лѣтъ ЕвР XI, 156 (Лк. 2, 36); до *семи* лѣтъ ГВ XI, 24б—в;

и примь *семь* хлѣбъ и рыбоу ЕвМст к. XI, 48б (Мф. 15, 36); въ часть *семьи* ПС к. XI, 128.

В древнерусской письменности эта огласовка представлена рядом с церковнославянской *седмь* (и соответственно — *седмыи*):

седмиѣ же стлѣпъ прѣмѣдрости храмъ подѣпираемъ ГБ XI, 359б; *седми* же планитъ сѣтъ имена се · слънце лоуна · зеус · ермис · арис · афродити · кронос Изб 1073, 250 об.; къ *седми* дѣаконъ причѣтеныи Мин 1096, 25а; *седмь днѣи* АпХрист сер. XII (Деян. 21, 27); *седмыи* всеа вселеныа сборъ ПрС XII/XIII, 20б; *седмь* воинъ 129а.

В этимологическом исследовании О. Семереньи [Szemerényi 1960: 93 и сл.] числительному ‘7’ при рассмотрении славянских числительных отводится центральное место. О. Семереньи удалось доказать, что праславянские числительные **peťь*, **šestь* и под. вместо ожидавшихся **pešće*, **še* и под., хотя и наследуют индоевропейские корни **penk^we*, **(k)s(w)ek’s* и под., не являются их прямым продолжением, а отражают результат восстановления соотношенности с порядковыми числительными **peťь* < **penk^wtos*, **šestь* < **(k)s(w)ek’stos*. О. Семереньи полагал, что корреляция основ на *-b* и *-b̄* в системе числительных была задана именно парой **sedmь* < **setь* < **septm̄* и **sedmь* < **setmь* < **septm̄mos*.

Эта гипотеза была поддержана Б. Комри [Comrie 1992: 756—757], который предположил, кроме того, что обе огласовки — **semь* и **sedmь* — имеют праславянское происхождение. Праславянская порядковая праформа **semь* является ожидаемым продолжением индоевропейского числительного **septm̄mos*, а числительное **setmь* > **sedmь* отражает сложение порядковой и количественной основ — **semь* и **setь* < **septm̄* в ходе восстановления корреляции количественных и порядковых разновидностей счета. В противном случае трудно объяснить сохранение **-dm-* < **-tm-* < **-ptm-* в **sedmь* на фоне упрощений **damь* < **dadmь*, **plemь* < **pledmen* и под. Если это предположение верно, то в древнерусском *семь* и *семь* следует видеть обобщение старой основы **semь*, а в инославянском *седмь* и *седмь* — обобщение новой контаминированной основы **sedmь* < **setmь* < **setь* + **semь*. Однако сохранение **-dm-* < **-tm-* допустимо вслед за Трубецким [Trubetzkoy 1988: 376] усматривать в ассимилятивном развитии долготы согласного **-dm-* < **-tm-* < **-ttm-* < **-ptm-* (с той разницей, что Н. С. Трубецкой исходил из группы **-b̄dm-*). Судя по балтийским формам (прус. *sep(t)mas*, ст.-лит. *sėkmas*), нельзя исходить из праславянского **sebdmь*, вопреки Н. С. Трубецкому, который выстраивал следующую цепь изменений: **sebdmь* > **seddmь* > **sedmь* (> **semь* у восточных славян). Г. Ю. Шевелев [Shevelov 1964: 194—195] объяснял удержание *-dm-* в **sedmь* параллелью к *-sm-* в **osmь*, сохранение которого считается закономерным. Хотя замечание о параллелизме **sedmь* и **osmь* проникательно и уместно, предположение Трубецкого представляется более реалистичным

(см. ниже) хотя бы потому, что **osmь* вторично и представляет результат упрощения **ostmь*.

В новом этимологическом издании [НРЭ: 207] образование числительного **sedmь* вместо **setь* под влиянием **sedmь* связывается, вслед за В. Смочиньским [Smoczyński 1989: 83], с действием модели **desęть* — **desęть*. Однако исторически здесь восстанавливаются иные отношения, поскольку числительное **dese(tь)* исконно принадлежало к консонантным основам, в отличие от числительных **sedmь*, **osmь* и под., которые относились к основам на **ь < *i* [Жолобов 2002: 297].

До сих пор в этимологических разысканиях, посвященных числительным, не были использованы ресурсы морфологической интерпретации. Кроме того, остались не востребованными возможности раннепраславянской реконструкции, хотя все славянские числительные наследуют корни, которые уже в индоевропейском составляют наиболее архаичный слой корнеслова.

Историю славянского **se(d)mь* необходимо рассматривать не изолированно, а в связи с числительным **osmь*, славянская форма которого находит объяснение только в уподоблении соседнему числительному. Изменение **septmьmos > *septmäs > *settmäs, setmäs > *setmь, *semь* происходило параллельно с другим — **ok't(o)mos > *ästmäs > *osmь*, где **ok't(o)mos* из **ok'towos* под влиянием **septmьmos*¹. Развитие нового порядкового числительного в индоевропейском с необходимостью получало продолжение в славянском количественном числительном **osmь < *ästmьn < *ok'tō(u)* под влиянием **ästmäs < *ok't(o)mos* и **septьn < *septmь*². Двойное пропорциональное отношение **osmь < *ästmьn* и **osmь < *ästmäs, *se(d)mь < *se(t)tmьn < *septmьn* и **se(d)mь < *se(t)tmäs < *septmäs*, как можно полагать, и стало новым основанием морфологической корреляции числительных количественного и порядкового счета в праславянском языке. Взаимосвязь количественного и порядкового счета, которая существовала в индоевропейском, у славян, таким образом, была восстановлена. Если в индоевропейском количественный член пары был неизменяемым словом **septmь, *ok'tō(u)* и под., а порядковый — склоняемым именем **ok't(o)mos, *septmьmos* и под., то у славян корреляция количественных и порядковых форм явилась причиной морфологического переразложения количественного члена пары. Поскольку порядковый член был морфологически разложим: **se(d)m-ь < *se(t)tm-ä--s < *septm-ä--s*, эти же свойства приобрел количественный член: **se(d)m-ь < *se(t)tm-ь--n < *septm-ь--n < *septьn + septm-ä--s*.

Общевосточнославянской инновацией стало развитие протетического *в-* у числительного *осмь > восемь*: блр. *восем*, рус. *восемь*, укр. *вісім*. Интересна украинская форма: *вісім* вместо ожидавшегося *восем* с *i < o* в откры-

¹ Ср. авест. *aštama* под влиянием соседнего индо-иран. **saptama-* вместо ожидавшегося **actāva-* (см. [Blažek 1999: 163]).

² Ср. Auslaut-гармонизацию соседних числительных у балтов: лит. *aštuoni* '8' и *septyni* '7'.

том слоге, с $i < ь$ (ср. в РП *восьми*). Переход неорганического $ь$ в i вызван аналогическим действием числительного $sim < семь$.

В самом развитии протезы нет ничего необычного, но закрепление ее в русской норме обуславливалось особыми обстоятельствами.

Наиболее ранней фиксацией новой формы с протезой может являться пример из ГрБ № 437 (XII/XIII): *восеме гривено*. В нем, кроме того, отражен и вставочный гласный. Впрочем, *восеме* (= *восьмь*) в стандартной орфографии может быть прочитано и иначе: *въ семь*³. Тем более что ниже в грамоте встречается *по ос[м]и коуно*. Неоднозначность решения свидетельствует в пользу того, что сходящееся развитие звукообраза числительных '7' и '8' в раннедревнерусском языке «зашло слишком далеко». Ранние примеры с гласной вставкой отмечаются в ГрБ № 724 (1166/1167) и 223 (1 четв. XIII): *осьмь высагла*; *осьмь бьль*.

Развитие и закрепление протезы поддерживалось отталкиванием от соседнего числительного, с которым наметилось «опасное» сближение: *сьмь* ↔ *осьмь*. Кроме восточнославянского ареала, протетический согласный представлен на славянском западе — в кашубском, полабском и серболужицких языках: кашуб. *wõsmë*; полаб. *wisëm*; в.-луж. *wosom*, н.-луж. *wosum* [Корецнý: 247].

В источниках XIV в. новая огласовка *восемь* отмечается несколько раз, и это свидетельствует о ее утверждении в древнерусской речи рядом со старой огласовкой *осьмь*. См. примеры новой огласовки, в том числе в производных, связанных с числительным *восемь*:

Въ лѣто ѿсноу *восмьсотнюю* · и · ꙗ·ѣ · списаны быша книги сѣа рабоу бѣию блѣговѣрному и хр(с)тнлюбивомуу пантелѣимоу мартыновичю ЕвПант 1317, 128 (зап.); не надобѣ (<и)мѣ ни тамга ни *восмьничее* Гр 1371/1372 (моск.); а *восмьничее*. мои два жеребѣа кнагинѣ моеи ГрМ № 12 (1389); *восмьдеса* (т) р8(б). и *во(с)мь* р8бле(в) 17 (ок. 1401—1402)

vs.

мѣца октабра въ *осмы* день Надп XIII; *о:и:и:* <т. е. *осмьнацѣть*> было ГрБ № 410 (80—90 XIII); аче не боудеть полна ста оу домажирича. а *осмьдесаѣ* выдасть а допункъ възметъ ꙗ·ѣ гриве(н) оу княза исъ клѣти УСвят 1136/1137 сп. сер. XIV; не надобѣ ему никотораѣ дань н(<и) намъ ни подвода ни тамга ни *осмн(ич)ее* ни вѣсчее Гр 1372—1374 (моск.); въ лѣто шеститисачноу и *ошѣсотнюю*. деваносто. третее ГрЮЗ № 32 (1385); тысяча · и триста · *осмьдесаѣ* · шестаго ГрС, 74 (1386) и мн. др.

Необычная буквенно-цифровая запись числительных с начальным *о* или *о* (ГрБ № 410, ГрЮЗ № 32) указывает на то, что писцам была знакома

³ А. А. Зализняк [1995: 359], впервые отметивший этот пример, не считает его надежным: «Для отрезка *во семе* возможно также прочтение *восеме*, но его следует признавать менее вероятным ввиду отсутствия других, столь же ранних примеров слова 'восемь' с начальным *в*» [Зализняк 2004: 438].

новая огласовка числительного *восемь*, но они подчеркнута не хотели ее придерживаться — вероятно, из-за ее идиолектного, просторечного или инодиалектного характера.

3. Грамматические архаизмы *дева* и *деса*

Древнерусские памятники позволяют реконструировать праславянские архаизмы консонантного склонения **deve* '9' и **dese* '10', существование которых опровергает гипотезу о суффиксальном образовании количественных «существительных» (см. [Жолобов 2002: 297]).

В свое время А. И. Соболевский [1910: 150—151] обнаружил древние атематические формы основ на согласные: ико *содомлкъмъ* ть днѣ бѣраднѣе боудеть. нежели градоу томоу ЕВА 1092, 125; кви *ерсѣмламъ* пастоуха и оучителка Мин 1096, 896; свѣтъ бѣжикаго разоума. всикавъшааго *тъмѣжителкамъ* МинП XI, 76 об.; *корюнтѣмъ* (= коринфянам) ПА XI, 145 и т. д.

В вышедшей недавно «Исторической грамматике древнерусского языка» [Иорданиди, Крысько 2000: 49—51] примеры Соболевского существенно дополнены. Сюда же А. И. Соболевским, а в новой грамматике В. Б. Крысько были включены атематические формы консонантного склонения числительного *деса*. Это три формы Д—ТП дв. ч.: ико лѣтъ двѣма *десама* ПС к. XI, 109 об.; не боле четыре межи *десама* чать дакти КЕ XII, 304а⁴; в третьи межи *десяма* ЛР к. XV, 172 (под 1141 г.). Нужно отметить, что чтение ЛР к. XV поддерживается ЛЛ 1377, хотя там и содержится ошибка: в третии межи *деса* 103. Кроме того, Соболевский привел одну форму И—ВП ед. ч., которая морфологически точно соответствует форме *десама*, — пример вновь из ПС к. XI, 36: попьрищю дѣвоуж на *деса*. лавра есть. Нам встретилаь аналогичная форма в КР 1284, 1216: вътороѣ. же на *деса* правило.

Сейчас ряд подобных форм может быть расширен благодаря новгородоведческим работам:

⟨т⟩ри на *деса* гривнѣ ГрБ № 851 (сер. XII); пать на *деса* дежекѣ овьса ГрБ 219 (к. XII — 1-я четв. XIII); поло цтеверты ⟨так!⟩ *натца* гривно ГрБ 45 (10—30 XIV).

Наконец, нами обнаружена ранее нигде не отмеченная форма МП мн. ч. атематического консонантного склонения:

Юдро та морьскоѣ приимъ, преславьне, по трьхъ *деса(тъ)хъ* днѣхъ соуши предаваѣтъ, ико и ѳюноу древле Мин 1096, 55а⁵.

⁴ Ср. тематическое склонение: 254b (657) и самъ же *ѣ · межю десаьма · стухид · хочеть вса мнѣти* (греч. *хѣ*).

⁵ Добавка *тъ* внесена по списку Софийской минеи XII в. И. В. Ягичем, который, вероятно, счел подлинную форму ошибочной.

Приведенные словоформы являются закономерными формами консонантного склонения, и поэтому в них затруднительно усматривать позднюю восточнославянскую инновацию. Все новгородские примеры и тождественные им примеры из ПС к. XI и КР 1284 связаны с одной морфосинтаксической моделью, где форма *деса* была генетически оправдана. Там, где употребление ее было изначально невозможно, она не обнаруживается и позднее. Например, если предполагать фонетическую утрату *-ть* или, после отвердения, *-ть* (см. [Зализняк 1995: 63]), то *деса* ранее всего ожидалось бы в сочетаниях типа *пять десать*, *семь десать*. Однако таких форм нет вовсе. В современных славянских языках формы без конечного *-т* встречаются лишь в болгарском и македонском просторечии. В этом случае *-т* отсутствует как при обозначении числительных от 11 до 19, так и при именовании десятков. Ср. болг.: *петна̀десет* и *петна̀йсе*, *петдесѐт* и *петдесѐ* (см. [Comrie 1992: 765, 775]). Вместе с тем южнославянские формы также могут отражать индоевропейско-праславянский архаизм **desę < *dekṃ(t)*.

Хотя в свободном употреблении номинативная форма *деса* не встречается, она узнается по зеркальному отражению в словоформе *дева*. Известны сложные существительные, включающие ее. Так, в русском сборнике XVI—XVII вв. еще Срезневским было отмечено название города *Девагорскъ* (см. [Соболевский 1910: 155]). Этот топоним намного ранее фиксируется, как оказалось, ЛИ ок. 1425 в следующем чтении под 1147 г.: В то же верема. приде Гюргевиць Глѣбъ ко Стославоу *Девагорьскоу*. и ѿтоуда идоша Мцьнескоу 126. М. Фасмер предполагал для числительного *дева* древнюю консонантную основу, исходя из примера Срезневского и компонента *девясил* ‘растение *inula helenium*’, известного, кроме русского, украинскому, болгарскому, сербохорватскому, старо- и новопольскому, старому и новочешскому [Фасмер I: 491]. В сербохорватском, с одной стороны, и в чешском, с другой, числительное встречается в исконной огласовке — не с начальным *de-*, а с начальным *ne-*: *невисиль*, *nevěsil* в соответствии с ожидавшимся праславянским **nevь*. Ср. точную немецкую параллель — *Neunkraft*.

Благодаря новгородским находкам обнаружена форма числительного *дева* в свободном употреблении: *дѣва рѣзно* ГрБ № 621 (50 XII — 10 XIII)⁶. Словоформа, включающая числительное *дева*, встретилась также в древнейшем молитвенно-заговорном тексте, записанном на бересте: *тридева(т)о* анеело *тридева* ароханело избави раба жеа <так!> михеа трасавиче молитвами святаа богородича ГрБ № 715 (XIII₁).

⁶ Ср. также вариантное чтение со словоформой *дева* в старорусском списке Имп. Публ. Библ. Ф. II. 250 первой пол. XVI в. В издании KE XII оно подведено к следующему чтению: юда могоу часто дѣва на десате или осмь или *девать* · не мьншиихъ съзъвати еп(с)пы дѣва же соуѣда съчетати оудобно ѣсть моему оумалению 345b—346a. Любопытно, что в греч. здесь находится числительное ‘10’, а не ‘9’: δώδεκα ἢ ὀκτώ ἢ δέκα.

4. Десятъ и десятии

Числительное *десять* занимает ключевое место в счетном ряду, который основывается на десятичном счислении. С помощью числительного *десять* образуются составные числительные от '11' до '19', а также составные числительные от '20' до '90'. Эти числительные функционируют как целостные морфосинтаксические единицы, отчетливо проявляя частеречный статус числительных.

Числительное *десять* противопоставлено другим простым числительным. Это слово мужского рода консонантного склонения, которое имеет все числовые формы:

	ед. число	мн. число
ИП	<i>деса, десять</i>	<i>десяте</i>
ВП	<i>деса, десять</i>	<i>десяти</i>
РП	<i>десяте, -и</i>	<i>десять</i>
ДП	<i>десяти</i>	<i>десятьмь</i>
МП	<i>десяте, -и</i>	<i>десятьхъ</i>
ТП	<i>десятьмь</i>	<i>десятьми, десяти</i>

	дв. число
И—ВП	<i>десяти</i>
Р—МП	<i>десятоу</i>
Д—ТП	<i>десяма, десятима</i>

Вместе с тем необходимо отметить, что полная числовая парадигма не означает функционального равенства числовых форм. Формы дв. и мн. числа числительного *десять* употребляются только в связанном виде — в составных числительных. Насколько распространено числительное *десять* в составных числительных, настолько же редко употребляются самостоятельно его исконные формы. См. исконные формы ед. числа — связанные и несвязанные — в ранних текстах:

И—ВП ед. ч.: имоущюоумоу · *десять* · талантъ ЕвТ XI, 4 об. (Мф. 25, 28); да *десять* лѣтъ испълньше съвършениу причастаьса КЕ XII, 82b; оу медовеника *десять* коуно ГрБ № 833 (сер. XII); ⟨т⟩ри на *деса* гривнѣ ГрБ № 851 (сер. XII);

РП ед. ч.: Въ лѣтъниихъ же мѣсто написании · въ *десяте* и въ *дѣвадесяте* · или въ ·ї· лѣ(т): сѣимъ црквамъ · или инѣмъ всѣмъ чьстьнымъ домоу · єдино четыре *деса*тъ лѣтъ написаниє противоу положити повелѣваемъ КЕ XII, 294b⁷; поль третика *десяте* гривнѣ Гр ок. 1130; имоущемоу · *десяте* · талантъ БГД XIII, 40г⁸;

⁷ Т. е. въ (мѣсто) *десяте*. В греч. Ἀντὶ δὲ τῶν χρονίων παραγραφῶν ἰ καὶ κ' καὶ λ' ἐνιαυτῶν. РП *дѣвадесяте* предполагает существование композита *дѣвадесять*.

⁸ Здесь ожидался бы ВП (см. это же чтение в И—ВП). Ср., однако, такое же управление: межю поутьмъ имоущимъ · попьрищъ *пяти* ПрС XII/XIII, 83а. Эти

ДП ед.ч.: подобно юсть црѣствию небесноу · *десати* дѣвъ Ево 1056—1057, 85 об. (Мф. 25, 1); оуставляютъ(с) на койждо пѣ(с) · по ѿ · *ти* стихо(в) · на четвѣрти же · и на ѿ · по *дѣвадеса(т)* стихо(в) УСт к. XII, 37⁹; Стаи црѣкы *десати* дѣвъ · подобна сказається БГД XIII, 61б;

МП ед. ч.: Стою ликованию оученикъ хвѣ инокъ причѣтеса, коньчаю число *ѿ-те* Мин 1096, 22б; <дъс>А(тъ сиг)ово и пол(ъ)тъ во *дѣсать* коуно ГрБ № 831 (сер. XII)¹⁰; възми оу господини три на *десате* рѣзанѣ ГрБ № 84 (10—30 XII).

Исконная форма ТП ед. ч. не встретила.

Можно констатировать, что исконные формы у числительного *десать* сохраняются в целом только в связанном употреблении — в составных числительных, тогда как вне их оно имеет формы по ѿ-основам — по образцу числительных *пять, шесть, семь, осмь, девать*:

РП ед. ч.: и прѣже ѿ . *ти* днь даже къ гоу не ѿиде ПС к. XI, 127; кде сж еже кси сътворилъ вѣчера. или оноу дне. или прѣже ѿ . *ти* днь помъниши ли А 162 об.; оуне бо юсть *десати* мужъ хытръ и добль · неже тма невѣгласъ и слабъ Злат XII, 35 об.¹¹; ѿ *десати* градъ прозваса 69; прѣже *десати* каланѣдъ септѣабра КЕ XII, 140б; Варъвари иже о себѣ соутъ прѣбывше ѿ днии адамовъ · до *десати* родъ 249а; не мнѣ же *десати* 298а; мнѣ *десати* дньовъ 301б; *десати* же лѣтъ въздраста кю · мѣи кю къ гоу ѿиде СБУ XII/XIII, 143г;

МП ед. ч.: въ осмѣмъ *десати* · ти четвѣртѣмъ псалмѣ Злат XII, 92 об.; о *десати* литръ злата КЕ XII, 150б; и по *десати* лѣтъ поставленъ бы(с) прозвутеромъ ПрС XII/XIII, 39б; слово о *десати* дѣвицѣ СБУ XII/XIII, 180в; или не вѣси въ еуанѣлии · оуказа о *десати* дѣвѣ 182б.

Хотя в консонантном склонении формы на *-и* в РП и МП известны древнейшим текстам, приведенные формы необходимо отнести к склонению на **-ѣ*, поскольку в этом случае фактически отсутствует варьирование с исконными формами на *-е* вне связанного употребления. Подобное варьирование составляет характерную примету консонантного склонения. Более интенсивно оно представлено в МП, что отражает морфологическое распадление форм РП и МП ед. числа в склонении на согласный.

чтения можно истолковать как примеры обратного согласовательного влияния РП существительных.

⁹ Исходя из ДП по *десати*, форму по *дѣвадесати* из того же контекста следовало бы интерпретировать как ДП композита *дѣвадесать*.

¹⁰ Т. е. *десате* в традиционной орфографии. То, что в грамоте представлен местный падеж, подтверждается в продолжении грамоты, где в аналогичных условиях использована именно эта падежная форма: *во сѣми гривно, во довоу гривноу*.

¹¹ Здесь ожидался бы ИП *десать*. Ошибка вызвана либо обратным воздействием РП существительного, либо самой возможностью употребления РП при наречии *оуне* в других случаях.

На несомненное сближение со склонением по образцу числительных *пять*, *девять* указывают новые формы ТП:

Деcатию попрыщъ ѿ града козицака. каликииска ПС к. XI, 15 об.; аще сильнъ ксть. съ *деcатию* тысящъ сръсти градѣщааго. съ двѣма десатѣма тысящама на нь ЕвМст к. XI, 90в (Лк. 14, 31); хвалать *деcатию* кзвъ побѣдивѣщааго егуптъ СБУ XII/XIII, 207г; прѣдъ *деcатию* днѣ възиде на прѣстолю нѣсьныи 279б; съ стѣмь и патью *деcатью* воинъ ПрС XII/XIII, 63в.

Последняя словоформа очень интересна тем, что представляет наиболее древний пример новых отношений в большом счетном квантитативе — не управление (*патью десать*), а согласование (*патьюдесатью*), что тождественно современному типу употребления. Квантитативная форма субстантива, однако, сохраняет исконный вид *воинъ*, что свидетельствует об особой близости частей в составных числительных.

Таким образом, числительное *десать* является разносклоняемым словом. Морфосинтаксические особенности данного слова обусловлены его частеречной природой. Числительное *десать* теряет однозначную соотнесенность с грамматическим родом под влиянием морфосинтаксических отношений в большом квантитативе. Исконная принадлежность — муж. род — совмещается с новой — жен. родом. На муж. род указывают согласовательные формы:

въ *осмѣмь деcати* · ти четвертѣмь псалмѣ Злат XII, 92 об.; поль *тре-тици деcате* гривнѣ Гр ок. 1130.

Форма ТП *деcатью* совпадает с женским склонением. Поэтому становится возможным согласовательный жен. род:

идольскою нечѣстие вѣсе и незаконныхъ събытици разорыше, *деcать соугоубаки* и трию моученици Конд XII/XIII, 101б.

С П И С О К И С Т О Ч Н И К О В

АпХрист XII — Христинопольский Апостол // Actus epistolaeque Apostolorum palaeoslovenice / Ad fidem codicis Christinopolitani saeculo XII^o scripti edidit Aem. Ka-
lužniacki. Vindobonae, 1896.

АпХрист (отр.) XII — С. И. М а с л о в. Отрывок Христинопольского Апостола, принадлежащий библиотеке Университета св. Владимира // Изв. ОРЯС. 1910. Т. 15; Кн. 4. С. 229—269.

АСВР — Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. Т. 1—3. М., 1952—1964.

БГД XIII — Беседы Григория Двоеслова на Евангелие. Рукопись РНБ, Погод. 70.

ГБ XI — А. Б у д и л о в и ч. XIII слов Григория Богослова, в древнеславянском переводе, по рукописи имп. Публичной библиотеки XI века. СПб., 1875.

- Гр 1371/1372 (моск.) — АСВР, III, № 178.
 Гр 1372—1374 (моск.) — АСВР, III, № 238.
 Гр ок. 1130 — Грамота великого князя Мстислава Владимировича и сына его Всеволода новгородскому Юрьеву монастырю.
 ГрБ (+ номер грамоты) — Грамоты берестяные // Зализняк 1995; Янин, Зализняк 1999.
 ГрМ (+ номер грамоты) — [Московские грамоты XIV в.] // Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.; Л., 1950.
 ГрС (+ страница издания) — Смоленские грамоты XIII—XIV веков / Подгот. к печати Т. А. Сумникова, В. В. Лопатин. Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1963.
 ГрЮЗ (+ номер грамоты) — Грамоты XIV ст. / Упорядк., вст. ст., ком. і слов.-показ. М. М. Пешак. Київ, 1974.
 ЕВА 1092 — Архангельское евангелие 1092 года. М., 1912.
 ЕвМст к. XI — Апракос Мстислава Великого / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова. М., 1983.
 ЕВО 1056—1057 — Остромирово евангелие 1056—57 гг.: С прилож. греческого текста Евангелий и с грамматическими объяснениями / Изд. А. Х. Востоков. СПб., 1843.
 ЕвПант 1317 — Евангелие-апракос Пантелеймоново. Рукопись БАН, 34.5.22.
 ЕвР XI — Л. П. Жуковская. Реймское евангелие: история его изучения и текст. М., 1978.
 ЕвТ XI — Из Туровского евангелия // Н. М. Каринский. Хрестоматия по древнецерковнославянскому и русскому языку. Ч. 1: Древнейшие памятники. СПб., 1911. С. 114—118.
 ЖФП — Житие Феодосия Печерского СбУ XII/XIII. С. 135—160.
 ЖФСт к. XII — Житие Феодора Студита // Выголексинский сборник / Изд. подгот. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Гольщенко. М., 1977.
 Злат XII — Златоструй. Рукопись РНБ, Ф. п. I. 46 (по фотокопии).
 Изб 1073 — Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года. СПб., 1880.
 КЕ XII — Кормчая Ефремовская // В. Н. Бенешевич. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1; Вып. 1—3. СПб., 1906—1907.
 Конд XII/XIII — *Der altrussische Kondakar': Auf der Grundlage des Blagověščen-skij Nižgorodskij Kondakar'* / Hrsg. von A. Dostál und H. Rothe. Т. 3—5. Giessen, 1977—1980.
 КР 1284 — Рязанская кормчая. Рукопись РНБ, Ф. п. I. 1 (по фотокопии).
 ЛИ ок. 1425 — Ипатьевская летопись // Полн. собр. рус. летописей (ПСРЛ). Т. 2. М., 1962.
 ЛЛ 1377 — Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. 1. М., 1962.
 ЛН XIII₂ — Новгородская харатейная летопись / Изд. под наблюдением М. Н. Тихомирова. М., 1964.
 ЛР к. XV — Радзивилловская летопись // ПСРЛ. Т. 38. Л., 1989.
 Мин ок. 1095, Мин 1096, Мин 1097 — И. В. Ягич. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковнославянском переводе по рукописям 1095—1097 г. СПб., 1886. (Памятники древнерусского языка; Т. 1).
 МинП XI — Путятинна минея на май / Подгот. к изд. М. Ф. Мурьянов // *Ra-laeoslavica*. 1998. 6 (л. 1—43); 1999. 7 (л. 43—82); Новгородская служебная минея на май (Путятинна минея). XI век: Текст, исследования, указатели / Подгот. В. А. Баранов, В. М. Марков. Ижевск, 2003.

Надп 1161 — Надписи на кресте полоцкой княжны Ефросинии, 1161 г. // И. И. Толстой, Н. П. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства. Вып. 6. СПб., 1899.

Надп XIII — Надписи на обмазке стен в алтаре Старо-Ладожской церкви св. Георгия // Н. Е. Бранденбург. Старая Ладога. СПб., 1896. С. 233.

ПА XI — J. P o r o v s k i. The Pandects of Antiochus: Slavic text in transcription // Полата књигописьная. 1989. № 23—24.

ПрС XII/XIII — Софийский пролог. Рукопись РНБ, Соф., № 1324.

ПС к. XI — Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967.

ПсЧ XI — В. Погорелов. Чудовская Псалтырь XI в., отрывок Толкования Феодорита Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе СПб., 1910. (Памятники старославянского языка; Т. 3; Вып. 1).

СБУ XII/XIII — Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1971.

Ст 1156—1163 — Стихирарь. Рукопись РНБ, Соф. 384.

УСвят 1136/1137 сп. сер. XIV — Устав Святослава Ольговича // М. Н. Тихомиров, М. В. Щепкина. Два памятника новгородской письменности. М., 1952. С. 28—30 (фото).

УСт к. XII — Устав студийский церковный и монастырский, конца XII в. // А. М. Пентковский. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.

Словари

НРЭ — Новое в русской этимологии. 1. М., 2003.

Фасмер I—IV — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. 1—4. М., 1986—1987.

Кореčný — F. Кореčný. Základní všeslovenská slovní zásoba. Praha, 1981.

Литература

Белић 1930 — А. Белић 1. Ст.-слов. седмъ и седмь // Јужнословенски филолог. 1930. Књ. 9. С. 279—281.

Жолобов 2002 — О. Ф. Жолобов. Древнерусский счет: *деся, наця, тридевя...* // Russian Linguistics. 2002. Vol. 26. № 3. С. 293—300.

Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.

Зализняк 2004 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 2004.

Иорданиди, Крысько 2000 — С. И. Иорданиди, В. Б. Крысько. Множественное число именного склонения // Историческая грамматика древнерусского языка. Т. 1. М., 2000.

Крысько 1998 — В. Б. Крысько. Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне // Вопросы языкознания. 1998. № 3. С. 74—93.

Соболевский 1910 — А. И. Соболевский. Мелкие заметки по славянской и русской фонетике. 1—34 // Рус. филол. вестник. 1910. Т. 64. С. 102—149.

Янин, Зализняк 1999 — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1998 г. // Вопросы языкознания. 1999. № 4. С. 3—27.

Blažek 1999 — V. Blažek. Numerals. Comparative-Etymological Analyses of Numeral Systems and Their Implications (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European Languages). Brno, 1999.

Comrie 1992 — B. Comrie. Balto-Slavonic // Indo-European Numerals. Berlin; New York, 1992. P. 717—833. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; Vol. 57).

Shevelov 1964 — G. Y. Shevelov. A Prehistory of Slavic: The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg, 1964.

Smoczyński 1989 — W. Smoczyński. Studia balto-słowiańskie. Cz. 1. Wrocław etc., 1989.

Szemerényi 1960 — O. Szemerényi. Studies in the Indo-European System of Numerals. Heidelberg, 1960.

Trubetzkoy 1988 — N. S. Trubetzkoy. Opera slavica minora linguistica. Wien, 1988.

А. П. МАЙОРОВ

**СОЮЗЫ *КАКЪ*, *КОГДА*, *ЕГДА* В ДЕЛОВОМ ЯЗЫКЕ
XVII—XVIII ВВ.***

Для выражения временных отношений в сложных синтаксических конструкциях делового языка XVIII в. использовались 3 союза — *какъ*, *когда*, *егда*. Пришедшие из различных сфер функционирования допетровской эпохи, в деловом языке XVIII в. они обладали особыми синтаксическими и семантико-стилистическими свойствами.

Чтобы представить пути формирования этих служебных слов как нормированных средств связи в синтаксисе русского литературного языка XVIII в., необходимо рассмотреть предысторию их функционирования в русском языке XVI—XVII вв.

В приказном языке этого периода широко распространенным и регулярным средством выражения временных значений был союз *какъ*. Данный союз в старорусском языке был многозначным¹. В качестве временного союза он обладал недифференцированным значением, которое, по определению современной грамматики, «не способно однозначно квалифицировать частный семантический компонент» внутри временных значений [АГ: 540]. В связи с этим среди сложных предложений с союзом *какъ* в языке деловой письменности XVI—XVII вв. следует выделить два основных типа: 1) предложения со значением следования; 2) предложения со значением одновременности.

В предложениях со значением следования ситуация главной части следует за ситуацией придаточной. В этих условиях союз *какъ*, равнозначный союзу *когда*, передает информацию типа ‘после того как’: и *как я приехал в Шую после Светлова дни и целовалнику ту лошед явил* [Пам. Влад., 150, л. 1, 1645]²; и *какъ пришла домой и ее почало ломат* [Пам. Влад., 158, л. 163, 1659]; и *какъ я богомолецъ пошоль из горъницы и он поць Иосифъ*

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 04-04-62001а/Т).

¹ В языке деловой письменности XVI—XVIII вв. союз *какъ* активно использовался в причинном значении. Анализ функционирования *какъ* в этом значении см. в [Майоров, в печати].

² Здесь и далее графика текстов из опубликованных и неопубликованных источников приведена в соответствии с современной.

тут остался играт шахматы [Пам. Влад., 217, л. 1, 1681]. Характерная недифференцированность значений временного союза *какъ* в старорусском языке может обуславливать выражение значения очередности посредством сложного предлога *после того как*: и *какъ* де отць ево сшол и *после де того* мать ево Марфутка сошла к отцу своему [Пам. Влад., 199, л. 1, 1693]. Предложения со значением следования, безусловно, были более употребительны в нарративном контексте. Скорее всего, с этим фактом связано регулярное употребление в позиции перед союзом *какъ* союза *и*, служащего традиционным средством связи предложений в контексте повествовательного типа.

Значение следования может осложняться дополнительным значением потенциальной обусловленности: а *как* гсдрни в ту вотчину я поташус и вам гсдремъ властем известно учиню [Пам. Влад., 221, л. 1, 1685]; . При осложнении значением условия в главной части нередко содержится предложение с императивной модальностью: и *как* ты того Сидорку примешь и тебе бы о том к нам отписать в мнстръ [Пам. Влад., 224, л. 5, 1692].

Другой тип предложений с временным союзом *какъ*, используемых в деловых текстах, — это предложения со значением одновременности. В этих конструкциях передается информация типа ‘в то время как, в тот момент когда’: а *какъ* я был на Москве и мне он Иван Петров и жена ево Анна говори[ли] как де подрастет девочка Василиса приданое хотели ей дат [Пам. Влад., 315, л. 60 об., б. г.]; а *какъ* меня сироту они стали бит и увечит и шуенин Федор Побритенин (...) скоронился [так!] за поленицы [Пам. Влад., 178, л. 1, 1680]. Интересно то, что в предложениях со значением одновременности союз *какъ* предваряется сочинительным союзом *а* в отличие от союза *и* в предложениях со значением следования. Возможно, в силу той же недифференцированности семантики союза *какъ* союз *а*, выражающий значение сопоставления соединяемых частей, указывает на соотнесение одновременно совершающихся ситуаций.

Среди анализируемых предложений особое место занимали предложения с конструкцией *какъ буду* (*будет ...*). Данный оборот имел значение ‘оказаться во время пути в каком-либо месте’. Имплицитно в его значении содержится сема ‘неблагоприятные обстоятельства, неожиданный поворот событий для субъекта действия’. Она предполагает описание в главной части какого-то изменившегося положения дел в определенном месте, с чем и сталкивается субъект действия во время следования куда-либо: и *какъ буду* в селе Ляхах и он Лаврентеи вышед ис кузницы меня с лошади сорвал [Пам. Влад., 176, л. 1, 1679]; и *как* я холоп твои *буду* у него Миня и тот крстовой дьяк Петр Ивстратов веле[л] члвку своему взят коня моиво [Рус. чел., 33, л. 26, 1666]; и *как* гдръ *будут* на Пустынскаи старане и те Евесико[вы] дети умысля воровски людишак моих били рубили [Рус. чел., 10, л. 3, 1655]; ехали мы холопи твои ис Шацкого города к Москве с товаром *как будем* Солотченского мнстря в вотчине в селе Селце и тот Борис наших извощиков бил и грабил [Рус. чел., 20, л. 7, 1661]. В данном обороте

своеобразно значение глагола *быть*, стоящего в форме будущего времени. оборот *какъ буду* (*будет ...*) используется при повествовании и предназначен для того, чтобы привлечь внимание к важному для рассказчика моменту действия, совершаемого в определенном месте. В этом случае глагол *быть* в форме будущего времени в сочетании с союзом *какъ* передает значение непосредственного следования ситуаций, и в целом оборот соответствует выражению *как только я (он) оказался...*

Примечательной структурной особенностью сложных предложений с союзом *какъ* являлось инициальное расположение данного союза в придаточной части, которая, в свою очередь, всегда находилась в препозиции по отношению к главной части. Анализируя старорусские относительные конструкции с препозицией придаточной части типа *а которые лошади и коровы присланы и ихъ кормить нечемъ*, ученые считают, что их коммуникативное устройство «отражает один из принципов устно-разговорной актуализации, заключающейся в выносе наиболее информативной части в инициальную позицию» [Малькова 1985: 38]. Возможно, в нашем случае аналогичное расположение придаточной части с союзом *какъ* также отражает специфику устно-разговорных синтаксических конструкций, у которых препозиция зависимой части является актуализатором темы сообщения.

Преимущественное употребление союза *какъ* отмечается в произведениях XVI—XVII вв., стиль которых находился под непосредственным влиянием приказной традиции³. Так, во всех указанных временных значениях его можно встретить в историко-дипломатических сочинениях (статейные списки, Вести-Куранты), сатирических произведениях (Калязинская челобитная, Повесть о Ерше Ершовиче), литературных повестях (Повесть о Фроле Скобееве, Повесть об Азовском сидении), историческом сочинении Г. Котошихина⁴, Домострое и т. п. Приведем лишь некоторые примеры: *а как мы пиво допьем, так и к церкви скоро пойдем* [Кал. чел., 117]; *и как пришел в Ростовское озеро и впросился у нас начевать* [Пов. о Ерше Ершовиче, 115]; *а как приспееет обед, и в то время царь с царицею едят в той же полате* [Кот., 174]; *и какъ весть и повеленье будет и им тотчъ поити по наказу* [Вести-Куранты, 6, л. 63, 1621].

При активном функционировании союза *какъ* в памятниках деловой письменности XVI—XVII вв. союз *когда*⁵ в исследованных нами докумен-

³ Наряду с союзом *какъ* для выражения временных отношений в русском языке данного периода мог использоваться союз *коли*: *А коли хлебы пекут, тогда и платя моют* [Дом., 274]. Анализ функционирования этого союза не входит в задачу настоящего исследования.

⁴ В историко-повествовательных произведениях XVI—XVII вв. использовался книжно-славянский язык, и среди них историческое сочинение «О Московском государстве в середине XVII столетия», написанное подьячим Посольского приказа Г. Котошихиным в соответствии с приказной традицией, является исключением.

⁵ Следует отметить, что еще с древнерусского периода *когда* сохраняет отличие в семантике от союза *какъ*. В старорусских памятниках *когда* выступает в качестве

тах не отмечен. В то же время за пределами собственно делопроизводительной письменности в текстах, язык которых так или иначе отражал влияние приказной традиции, наряду с союзом *какъ* спорадически появляется союз *когда*: *А когда* преставится царевич, и его погребение против царицына малым чем с убавкою. *А как* преставитца царевна, и им в погребении бывает против царского в четвертую долю [Кот., 182]; *А как* он, архимарит, старца к нам присылает, и мы, богомолцы твои, то все покидаем (...) Да он же, архимарит, нам, богомолцам твоим, изгонно чинит: *когда* ясти прикажет, а на стол поставят репу пареную [Кал. чел., 118].

С другой стороны, в книжно-литературном узусе (житиях, литературно-художественных произведениях, исторических повествованиях) союз *когда* встречается наряду с регулярным союзом *егда*: (...) а муж мой Карп, *когда* поехал на куплю свою, и наказал: «*Егда* до меня не станет денег на потребу на что купити, и ты поиди моим словом ко другу моему...» [Пов. о Карпе Сут., 426]; *Когда* два сына новая родила / И с коим мужем она прибудила [Сим. Пол., 143]⁶.

Иными словами, союз *когда* в анализируемом значении в русском литературном языке XVI—XVII вв. являлся стилистически нейтральным, независимым от сферы функционирования. С другой стороны, исключительная редкость союза *когда* в памятниках деловой письменности исследуемого периода объясняется, на наш взгляд, тем, что деловая письменность того времени была обособленным письменным узусом, обладающим своей автономной стилистической системой, и в роли стилиобразующего средства приказного языка мог выступать только союз *какъ*.

В дальнейшем союз *как*, выражающий временные отношения, сохраняется в русском литературном языке. Однако в современном русском языке в данном значении он характеризуется разговорной или просторечной окраской, не свойственной стилистически нейтральному союзу *когда* [АГ 545].

Традиция книжно-литературного узуса, сохраняющаяся в XVI—XVII вв., предопределяет регулярное употребление союза *егда*. Он также является союзом с недифференцированным значением, выражая одинаково частные значения следования и одновременности: *Егда* же испив пития оного, начат сердцем тужити [Пов. о Сав. Груд., 403]; *егда* последние дни февраля проходят и наставаше месяц март [Рус. ист. пов., 127]; и *егда* же приидуть к тебе посланнии с клобукомъ онемъ, ты же приими сего честию [Пов. о

не только союза, но и вопросительного наречия, неопределенного наречия «когда-либо, когда-нибудь; некогда, иногда, однажды», а также в роли союзного слова, присоединяющего изъяснительное придаточное [СДЯ, IV: 345—346]. В этих значениях *когда* в настоящей работе не рассматривается.

⁶ Языковую основу в произведениях из «Вертограда многоцветного» Симеона Полоцкого составляют церковнославянизмы, а также общеславянская стилистически нейтральная лексика, и типичным средством выражения временных отношений в его произведениях является союз *егда*.

новг. кл.. 245]; *егда* же прихождаше зима, взимаше у детей своих серебряники [Пов. о Юл. Лаз., 349].

Особых замечаний требует употребление данного союза в «Житии протопопы Аввакума». Как известно, своеобразие этого памятника состоит в том, что повествование в нем в основном ведется живым, народно-разговорным языком. Между тем, книжный союз *егда* употребляется практически без исключений, независимо от его лексико-синтаксической позиции или тематики того или иного контекста: *Егда* аз в попех был, тогда имел у себя детей духовных много <...> И *егда* наполнилась гортань ево крови, тогда испустил из зубов <...> Я все у него и жил в церкви; *егда* куды отлучится, ино я ведаю церковь <...> А *егда* в Енисейск привезли, другой указ пришел: велено в Дауры вести <...> *Егда* дощеник привели, взяли меня палачи, привели перед него <...> и т. д. [Ав., 32—40]. Как видно, союз *егда* может использоваться в одном словесном ряду с разговорными словами *куды*, *отлучится*; в предложениях с *егда* нет типичных книжных форм аориста и имперфекта; этот союз оформляет в основном синтаксические конструкции разговорного свойства (порядок слов, бессоюзная связь между однородными предложениями — *взяли меня палачи, привели перед него*).

Интересно то, что даже специфический устойчивый оборот приказного письма *какъ буду (будет ...)* под пером Аввакума превращается в словосочетание *егда будем*: *Поехали из Енисейска. Егда будем в Тунгуске-реке, бурю дощеник мой в воду загрузило* [Ав., 40].

Последовательное употребление союза *егда* в памятнике можно объяснить тем, что, несмотря на изложение автобиографических фактов живым русским языком, соблюдение агиографического канона, требующего использования книжно-славянских средств, для автора является обязательным. Перед протопопом Аввакумом стояла задача описания своей жизни как «дела Божия, ознаменованного добрыми делами» [Ав., 19]. В этом свете применяемые книжно-славянские языковые элементы выступали в качестве своеобразных маркеров аввакумовской «исповеди-проповеди» о своей жизни как духовном подвиге.

Таким образом, в деловой письменности XVI—XVII вв. и в произведениях книжно-литературного узуса использовались соответственно противопоставленные друг другу союзы *какъ* и *егда*. Совпадая по значению, они строго различались сферой употребления. Союз *какъ* являлся стилиобразующим средством делового письма того времени. Особое временное значение он имел в устойчивом обороте *какъ буду (будет ...)*. С другой стороны, союз *егда* был присущ только книжно-литературному узусу.

В отличие от упомянутых синтаксических средств связи союз *когда*, за исключением сугубо приказной документации, мог использоваться практически в любом жанре старорусской литературы. Иными словами, уже в XVI—XVII вв. складываются предпосылки для функционирования союза *когда* в качестве стилистически нейтрального, общеупотребительного синтаксического средства.

Кардинальные изменения в русском литературном языке XVIII в. отразились на функционировании анализируемых союзов по-разному. В отличие от приказного языка Московской Руси деловой язык XVIII в. использует временной союз *какъ* преимущественно со значением следования: А *какъ* я на Галзутинской станецъ прибыл то вследъ за мной наехал иркутского баталиона порутчикъ Клепиковъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 75, л. 175, 1771]; *как* уснули бывшие в той казарме салдаты (...) тогда я взявъ бывшую в казарме железную пешню ходил из казармы [НАРБ, ф. 11, оп. 2, л. 4 об., 1785]; и *какъ* трилетней срокъ минул (...) напився пьянь одинъ собою в ночи бежалъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 534, л. 18 об., 1788]; и *какъ* из ворот вышел (...) уприметил четырех человекъ в платье [НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 3026, л. 3 об., 1790].

Редкими представляются примеры употребления союза *какъ* со значением одновременности: а *какъ* бил при том свидетели были [РГАДА, ф. 1025, оп. 1, д. 18, л. 1, 1741].

По данным материалов забайкальской деловой письменности XVIII в. можно предположить, что союз *какъ* теперь активнее применяется в тех случаях, где его семантика осложняется значением потенциальной обусловленности. С таким значением *какъ* нередко встречается в сложных предложениях, в главной части которых выражается императивная модальность: А *какъ* хлебъ поспеетъ, и мнстрские десетины у них выделять мерною веревкою [НАРБ, ф. 262, оп. 1, д. 4, л. 6 об., 1728]; а *какъ* оные материалы построены будут о томъ бы (...) в канцелярию уведомить писменно в немедленном времени [РГАДА, ф. 1092, оп. 1, д. 2, л. 157, 1730]; а *какъ* через него (Байкал. — А. М.) будетъ безопасной проездъ то не премину отсюда вскорости возвратится в Иркутскъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 369, л. 20 об., 1784].

Во второй половине XVIII в. выражение временных отношений с помощью союза *какъ* становится неактуальным. На смену ему постепенно приходят предложно-падежные словосочетания с отглагольным существительным. В силу недифференцированности временных значений союза *какъ* значение следования выражается словосочетанием предлога *по* с отглагольным существительным в предл. падеже, обозначающим действие, событие, после которого что-л. совершается, происходит (ср. *какъ* *прибуду* — *по прибытии*)⁷: И *по уходе* моемъ из оной мелницы коя была оставлена и заперта замкомъ покрадено окномъ из избы собственного моего экипажу кisa [НАРБ, ф. 262, оп. 1, д. 151, л. 158, 1764]; а *по приезде* моем туда вступился на оной островъ кабанской купецъ Никифоръ Округинъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 520, л. 1, 1788]; а *по затоплении* казарменной печи

⁷ Вариантом формы предл. падежа в сочетании с предлогом *по* в указанном значении могла выступать форма дат. падежа: и *по наидению* на него мелинхолии показалось ему кочка или пень которой онъ и рубиль [ГАИО, ф. 783, оп. 1, д. 12, л. 107, 1783]. Однако она в деловых текстах XVIII в. встречается значительно реже.

Полукетовъ уходиль а куда не знаю [НАРБ, ф. 11, оп. 2, д. 16, л. 3 об., 1796]; *по выполнении* оной (пересыпки хлеба. — А. М.) непременно против прежнего числа дироватых и негодных мешков усугубится [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 86, л. 13, 1798].

Интересны случаи своеобразной интерференции языковых средств приказной традиции и нового канцелярского слога, отражающей, видимо, стремление чиновника найти компромисс между старым и новым стилем делопроизводства: *А какъ по наступлении* срока и поехалъ он Хулханъ для той расплаты обще с попутными тунгусами [ГАИО, ф. 783, оп. 1, д. 78, л. 127, 1785]; а *какъ по приводе* в вобвахту то бывшей тутъ полиции сержантъ Лыковъ (...) приказаль отвестъ в полицию [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 494, л. 175, 1797]. Данные примеры в какой-то мере свидетельствуют о том, что синтаксические нормы делового языка еще не установились окончательно.

Значение одновременности ситуаций теперь выражается с помощью сочетания предлога *при* с отглагольным существительным в предл. падеже, обозначающим явление, событие, факт, с которым совпадает по времени какое-л. действие (*какъ прибуду — при прибытии*): Дабы *при покрыти*[и] реки Селенги лдом поломаны (...) не были (...) все те пять плашкоутов так же перевозной казенной карбаз вытащит [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 25, л. 122 об., 1766]; а *при* оном де Чюраковым *нападении* были братские станцовые жъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 59, л. 72 об., 1769]; (...) ево Лазарева товары осматривали а *при* том *осмотре* обысканъ темъ ларешнымъ Кошкаровым одинъ конецъ китаики нелощеной красной [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 63, л. 71 об., 1771]; на телеге же *при поезде* изъ Тарбагатаю (...) было положено в связкахъ образовъ на дсках писменныхъ шездесять пять венцовъ [ГАИО, ф. 783, оп. 1, д. 13, л. 12, 1783].

Замена синтаксических временных конструкций с союзом *какъ* на указанные непредикативные пропозитивные конструкции связана с влиянием книжно-литературного узуса, в котором они применялись еще с древнерусского периода. Так, для книжно-литературных произведений XVI—XVII вв. словосочетания с отглагольным существительным типа *по прошествии, по преставлении* были достаточно характерны: *По преставлении* же святейшаго папы Селивестра, вси православнии папы и епископы творяху честь велику [Пов. о новг. кл., 242]; и пожив с мужем 10 лет *по разлучении* плотне, и мужу ея преставльшуся, она же погребе и честно [Пов. о Юл. Лаз., 349]; аще *по моем умертвии* будет некто пришед (...) [Соч. М. Грека, 259]. Их актуализацию в деловом языке второй половины XVIII в. следует расценивать как установление единых норм русского литературного языка во всех сферах его функционирования.

Среди рассматриваемых союзов основным средством выражения временных отношений в синтаксических конструкциях, употреблявшихся в деловом языке XVIII в., становится союз *когда*. Отвергаемый в приказном языке Московской Руси, в деловой письменности XVIII в. этот союз упо-

требуется во всех временных значениях, свойственных некогда приказному союзу *какъ*. Так, в памятниках забайкальской деловой письменности он отмечается в значении следования: А иные лесины ⟨...⟩ *когда* с плотовъ сняты были и понне на тех же местах лежать [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 12, л. 75 об., 1768]; и *когда* услышила что Кропивинъ в воровстве повинился то пошла по воду и взявши те два рубли бросила в воду убоая обыску [НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 5985, л. 9, 1796]⁸; но *когда* по повеске старшина Максимъ Ивановъ с протчими по тем следам пошли то оныя и довели к пустой избе [НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 3026, л. 3 об., 1797].

В значении одновременности: И *когда* в летнее время въ ярмонку варитца гсдрево пиво и от дозжей без оного прикрытия и поварни великая памха чинитца [РГАДА, ф. 634, оп. 1, д. 9, л. 64 об., 1743]; брацкой Миханов *когда* ехали к шерти ⟨...⟩ то онъ ⟨...⟩ крестьянину Евдокимову дал денегъ 17 ру [РГАДА, ф. 413, оп. 1, д. 15, л. 10 об., 1782]; означенной Суранов *когда* находился у меня прикащикомъ в Кяхте то без дозволения моего очистил ⟨...⟩ восемьсотъ шесть кож юфтовых [НАРБ, ф. 20, оп. 2, д. 9, л. 19 об., 1785]; а *когда* тащили оныя то на тотъ случай прилучился бытъ здешней емщичей староста [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 494, л. 174, 1797].

В деловом языке XVIII в. союз *когда* также может выражать значение следования или одновременности, осложненное значением условия: И *когда* оная Наталья во оной мнстръ жить прибудет и намъ архимандриту з братьею ... принять ее за тотъ вкладъ в мнстръ пищу и питиемъ [НАРБ, ф. 262, оп. 1, д. 172, л. 20, 1748]; *когда* ты и оная команда будите во избранном месте ⟨...⟩ то с прибытия туда ⟨...⟩ немедленно начать ⟨...⟩ надлежашчую работу [РГАДА, ф. 1092, оп. 1, д. 2, л. 4, 1754].

Такая же экспансия союза *когда* характерна для литературного языка. В книжно-литературных произведениях XVIII в. более употребительным становится союз *когда*, в то время как союз *егда* постепенно в своем функционировании архаизируется. Например, в научных сочинениях, художественных произведениях *когда* уже предпочитается союзу *егда*: *Когда* на трон она вступила / Как вышний подал ей венец: / Тебя в Россию возвратила, / Войне поставила конец [Лом. 1747, 200]; *Когда* к сооружению какой-либо махины приготовленныя части лежат особливо ... тогда все бытие их тщетно и бесплодно [Лом. 1755, 209]; *когда* оной человек нам сказывал сие, мы в то время час от часу все ближе подъезжали к оному острову [Тред., 193]; а вы о жители Петербурга, питающиеся избытками ⟨...⟩ на дружеском пиру или на едине, *когда* рука ваша вознесет перьвой кусок хлеба определенной на ваше насыщение, остановитесь и помыслите [Рад., 235].

⁸ Следует отметить, что *когда* и *какъ* у отдельных писцов в этот период еще могут конкурировать друг с другом. В тексте допроса, откуда взят данный пример, в контексте с аналогичной временной конструкцией встречаем: А *какъ* услышала, что у тово Кропивина оказались оныя денги воровские то и болше испужалась [НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 5985, л. 9, 1796].

Таким образом, историческая динамика функций союза *когда* заключается в том, что он вытесняет союз *какъ*, выступавший в роли особого стилеобразующего средства приказного письма, традиция которого лишь к концу XVIII в. прерывается окончательно. В соответствии с установлением единых норм русского литературного языка распространение союза *когда* во всех жанрах художественной литературы, публицистике, научных сочинениях и, наконец, в деловой письменности свидетельствует о его нормативности для всех функциональных стилей русского литературного языка.

Отличительной чертой делового языка XVIII в. является функционирование в нем славянизмов. Союз *егда*, наряду с другими синтаксическими средствами, пришедшими из книжно-литературного узуса предшествующей эпохи, в деловом языке XVIII в. применялся как особое функционально-стилистическое средство.

В отличие от союзов *какъ* и *когда* союз *егда* выступает только со значением времени, осложненным значением потенциальной обусловленности. Характерная отнесенность придаточной части во временной план будущего предопределяет значение необходимого условия того распоряжения, о котором идет речь в главной части⁹: и *егда* они в команде у васъ явятца то изволите употреблять их в работе [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 25, л. 119, 1766]; и *егда* де означенные яблоки в Ёркуцке будут получены то из них досталная часть и в Селенгинскъ для размножения отправлены быть имеютъ [РГАДА, ф. 1092, оп. 1, д. 71, л. 179, 1766]; а *егда* Севрюков от болезни выздоровеет тогда и онъ отправлен быть имеетъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 79, л. 1 об., 1771]; *егда* капитан Торошинской в Удинскъ прибудет тогда реченных конвоинных (...) прислать в здешнюю канцелярию [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 92, л. 33—33 об., 1772]; и просил *егда* де объявленная женка будет поимана то б те пожитки отобрать [ГАИО, ф. 783, оп. 1, д. 77, л. 45 об., 1785].

Лексикографическая помета *Сл.* — «славянское» [САР¹, II: 934] — у союза *егда* в литературном языке характеризует это слово как архаичное, употребительное в церковно-книжных текстах средство. Из вышеприведенных примеров видно, что такая стилистическая интерпретация союза *егда* в деловом языке неприменима. В канцелярском слого данный союз выступает как специфическое стилеобразующее средство и используется в основном в документах распорядительного характера — указе, приказе, промемории, ордере. Сформировавшись как жанрово-стилистическое средство, союз *егда* в отличие от союза *когда* более употребителен в предложениях, содержащих какое-либо распоряжение.

История исследуемых временных союзов показывает, что сферы функционирования временных союзов *какъ* и *егда* в XVI—XVII вв. были строго

⁹ В современном русском языке конструкциям с союзом *егда* отчасти соответствуют условные предложения индикативного типа с временным планом будущего в придаточной части: При этом в главной части также возможны формы повел. накл.: Если кто придет, скажите, что я скоро вернусь [АГ: 569].

распределены. Союз *какъ* являлся стилеобразующим средством приказной традиции, а союз *егда* использовался исключительно в книжно-литературном узусе. В отличие от них союз *когда* в этот период был стилистически нейтральным и мог применяться в произведении любого жанра, за исключением текстов сугубо делопроизводственной документации. Взаимодействие двух письменных традиций в XVIII в., в результате которого складываются единые нормы русского литературного языка, шло сложным путем. Если в деловой письменности первой половины XVIII в. преобладает приказной союз *какъ*, то во второй половине этого столетия уже безраздельно господствует союз *когда*. Союз *егда*, занимая периферийное положение в стилистической системе делового языка, применялся в основном в качестве жанрово-стилистического средства в документах распорядительного характера.

Сокращения

- Ав. — Житие Аввакума и другие его сочинения. — М., 1991.
 АГ — Русская грамматика. Т. 2. Синтаксис. М., 1982.
 Вести-Куранты — Вести—Куранты. 1600—1639 гг. / Под ред. С.И. Коткова. М., 1972.
 ГАИО — Государственный архив Иркутской области.
 ГАЧО — Государственный архив Читинской области.
 Дом. — Домострой // Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н. К. Гудзий. М., 1962.
 Кал. чел. — Калязинская челобитная // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989. С. 116—119.
 Кот. — Григорий Котошихин. О Московском государстве в середине XVII столетия // Русское историческое повествование XVI—XVII вв. М., 1984. С. 162—316.
 Лом. 1747 — М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны 1747 года // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989. С. 199—200.
 Лом. 1755 — М. В. Ломоносов. Российская грамматика // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989. С. 209—213.
 НАРБ — Национальный архив Республики Бурятия
 Пам. Влад. — Памятники деловой письменности XVII века: Владимирский край. М., 1984.
 Пов. о Ерше Ершовиче — Повесть о Ерше Ершовиче // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989. С. 114—116.
 Пов. о Карпе Сут. — Повесть о Карпе Сутолове // Хрестоматия по древней русской литературе. М., 1962. С. 425—430.
 Пов. о новг. кл. — Повесть о новгородском белом клубке // Хрестоматия по древней русской литературе. М., 1962. С. 241—250.
 Пов. о Сав. Груд. — Повесть о Савве Грудцыне // Хрестоматия по древней русской литературе. М., 1962. С. 400—415.

Пов. о Юл. Лаз. — Повесть о Юлиании Лазаревской // Хрестоматия по древней русской литературе. М., 1962. С. 345—351.

Рад. — А. Н. Р а д и щ е в. Путешествие из Петербурга в Москву // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989. С. 231—237.

РГАДА — Российский государственный архив древних актов.

Рус. ист. пов. — Русское историческое повествование XVI—XVII вв. М., 1984.

Рус. чел. — А. П. М а й о р о в. Русские челобитные XVII века (явочные, изветные и другие). Улан-Удэ, 1998.

САР¹ — Словарь Академии Российской. Ч. 1—4. М., 1789—1794.

СДЯ — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 4. М., 1991.

Сим. Пол. — Стихотворения Симеона Полоцкого // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989. С. 140—145.

Соч. М. Гр. — Сочинения Максима Грека // Хрестоматия по древней русской литературе. М., 1962. С. 345—351.

Тред. — В. К. Т р е д и а к о в с к и й. Езда в остров Любви // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989. С. 191—193.

Л и т е р а т у р а

Майоров, в печати — А. П. М а й о р о в. Причинные союзы в деловом языке XVII—XVIII вв. В печати.

Малькова 1985 — В. Г. М а л ь к о в а. Возможности реконструкции старорусского устно-разговорного синтаксиса // Вестник МГУ. 1985. Сер. 9, Филология. № 4. С. 35—42.

М. И. РОЙТЕРШТЕЙН

ЗАМЕТКИ О КОМПОЗИЦИИ И МЕТРО-РИТМЕ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ

Описанные ниже наблюдения носят предварительный, «пилотажный» характер, и потому для них было взято — на основе случайной выборки — всего немногим более 300 пословиц (около 150 из сборника В. И. Даля «Пословицы и поговорки русского народа» [Даль 1984] и по полусотне из [Рыбникова 1961; Жуков 1966; Золотницкий 2000]). Ясно, что надежность сделанных в настоящих заметках обобщений относительна: вполне вероятно, что при расширении обследуемого материала окажется необходимым что-то поправлять. Однако памятуя, что «самый долгий путь начинается с первого шага» (китайская пословица), автор рискует этот шаг сделать. Насколько перспективно направление, в котором сделан этот шаг, будет судить читатель.

* * *

Для начала следовало четко отделить объект наблюдений — пословицы — от других паремий, и прежде всего от поговорок, что и было сделано на основе критериев, предложенных Аланом Дандисом [Сборник 1978: 21, 33] и Г. Л. Пермяковым [1970: 13].

Пословица — не только концентрат народной мудрости и морали, но и плод народной игры со словом. Пословица — детище народной науки и народного искусства. В этом своем втором качестве она демонстрирует совершенную, доведенную неизвестными авторами и соавторами «до блеска» художественную форму. В пословице не только высказана существенная мысль, но и найден для нее эстетически привлекательный звуковой облик.

Семантике и прагматике пословицы уделено во многих работах достойное внимание; о ее художественной форме сказано значительно меньше. «Русская фольклористика не может похвастаться... сколько-нибудь подробным изучением художественной стороны (пословицы)» [Пермяков 1988: 212]. Цель дальнейшего изложения — поделиться некоторыми наблюдениями именно о форме пословиц. В основном речь пойдет о метро-ритме (обоснование термина см. в разделе «Метр и ритм посло-

виц»), хотя по необходимости придется затронуть и вопросы ф о н и к и и к о м п о з и ц и и. С этой последней и начнем.

Композиция русской пословицы

«По композиции пословицы могут быть одночленными, двучленными и многочленными» [Зуева, Кирдан 2002: 122]. Констатация вызывает по меньшей мере два вопроса: каковы средства членения и что есть член композиции. Попытаемся ответить на эти вопросы.

Наиболее демонстративно членит пословицу так или иначе выраженное п о д о б и е частей:

по смыслу и, соответственно, по структуре (*Время — деньги, У богатого — телята, а у бедного — ребята*);

по фонике (*У Фили пили, да Филю ж побили*);

по ритму (*Либо в стремя ногой, либо в пень головой*).

Тут уместно сказать, что пословицу мы воспринимаем как жанр народной поэзии и в дальнейших рассуждениях будем пользоваться стиховедческой терминологией. С этой точки зрения можно говорить о форме пословиц как об одностишиях, двустышиях и т. д., считая — в данном случае! — стих синонимом члена.

Вернемся к средствам членения и добавим, что синтаксически разграниченными могут быть и несходные части пословицы: *Сколько волка ни корми, а он всё в лес глядит, Слово не воробей, вылетит — не поймаешь*.

Важное фоническое средство членения — рифма (*Всяк кулик свое болото хвалит, И на старуху бывает проруха*). При этом рифма может быть и достаточно точной (*телята/ребята, ногой/головой*), и весьма свободной (*Береги платье снову, а честь — смолоду, Во всяком подворьи свое поверье*).

Ю. М. Соколов пишет: «Наиболее характерным и основным (! — М. Р.) типом пословичного построения является отношение первой части ко второй как подлежащего к сказуемому: *жизнь прожить — не поле перейти, один в поле не воин, не всё коту масленица, поповское брюхо из семи овчин сшито* [Соколов 1941: 212]. Таким образом, о т н о ш е н и е группы подлежащего к группе сказуемого — тоже средство членения пословицы.

Тут следует сделать одну оговорку. Не всегда вопрос о членении пословицы решается однозначно. Так, скажем, пословица *Свято место пусто не бывает* может быть рассмотрена как одночленная: ни явного синтаксического деления, ни рифмы в ней нет, простое распространенное предложение поступательно разворачивается без заметных граней. Однако есть в нем явно сопоставленные группы подлежащего и сказуемого: каждая с двумя акцентами «в хореической позиции» и есть созвучие конца группы подлежащего и начала группы сказуемого (*место/пусто*, своего рода палилогия), что дает основания говорить и о двучленности этой пословицы.

Еще пример: *Не плюй в колодец — пригодится воды напиться*. Здесь четко разграничены «указание» (4 слова) и «аргумент» (еще 3), так что есть основание определить композицию пословицы как двухчастную. Однако рифма *пригодится/напиться* делит «аргументирующую» часть почти пополам, и возникает ощущение трехчастности (с соотношением слогов 5:4:5). Таких «пограничных» случаев, подобных указанным, не много, но они встречаются, и это надо иметь в виду при анализе пословиц.

Приведенные примеры пословиц позволяют ответить и на второй вопрос из поставленных на предыдущей странице, — что есть член пословичной композиции. Таковым может оказаться и единственное слово (*Время...*), и группа слов (*Всяк кулик...*), и даже распространенное предложение (*Гора с горой не сходится...*).

Просмотр массива пословиц подтвердил, что «особенно много двучленных пословиц» [Зуева, Кирдан 2002: 122] — их около 80%. Из остальных примерно три четверти составляют одночленные и лишь самую малую долю — многочленные (точное числовое соотношение приведено в таблице 1).

Композицию пословицы образуют ее сходные и несходные члены в их отношениях друг к другу. Говорить о композиции одночленных пословиц по существу нечего: они представляют собой целостные, не делимые на члены высказывания, а об их метро-ритмических свойствах речь пойдет несколько ниже.

Для композиции, состоящей из двух и более членов, существенны не столько смысловые связи частей (следующие за первой частью могут продолжать ее: *тише едешь — дальше будешь*; могут вступать с нею в отношения параллелизма — как «прямого»: *кто любит попу, кто попадью, кто попову дочку*, так и «обратного»: *скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается*), сколько формально-структурные — пропорции частей и степень подобия их метро-ритмической организации.

Обратимся сначала к вопросу о соотношении частей по величине. Двучленные пословицы естественно делятся на три группы: 1) с равновеликими по числу слогов частями (назовем такую композицию *уравновешенной*, $\Pi = I$ — здесь и далее римскими цифрами будем обозначать порядковые номера стихов-членов пословицы); 2) со второй частью, превышающей первую («*возрастающая*» композиция, $\Pi > I$); 3) со второй частью, меньшей, чем первая («*убывающая*» композиция, $\Pi < I$). Хотя, по мнению Ю. М. Соколова, «пословица стремится к соблюдению ритмической равномерности своих членов» [Соколов 1941: 213], это стремление не достигает своей цели: уравновешенная композиция встречается примерно лишь в каждой пятой пословице — столь же нечасто, сколь и убывающая. Напротив, превышение второй части над первой наблюдается вдвое чаще, в половине всех двучленных пословиц.

Трехчленные пословицы изложены иногда относительно равномерно, как уже упомянутая *Кто любит попу...*, но чаще два смежных члена относительно невелики, тогда как третий заметно больше. Этот больший

член — либо первый (*Бей галку и ворону: руку набьешь, сокола убьешь*), либо третий (*По грибы не час и по ягоды нет, так хоть по сосновы шишки*). Так что и тут равномерность явно уступает неравномерности.

Теперь еще раз обратимся к одночленным пословицам. Уже сказано об их целостности, неделимости на хотя бы относительно самостоятельные члены. Тем не менее внимательное вслушивание в них нередко позволяет обнаружить как бы свернутую в одночлен двух- или трехчастную композицию («микрокомпозицию»). При строгом силлабо-тоническом сложении внутреннее деление незаметно. Но если возникает ритмический сбой или образуется ритмическая периодичность (повторность), деление становится более явным: *В тихом омуте черти водятся* — скрытая равномерная двучленность. А когда регулярность акцентов не соблюдается, некоторые внутренние грани проявляются еще яснее. *Не в свои сани не садись* — окончание пословицы начато с того же «не», что и ее начало («анафора!»), и, кстати, с того же анапеста; таким образом, намечается убывающая двучленность, 5:3 (и в обоих «микрочленах» пословицы по два звука «с»).

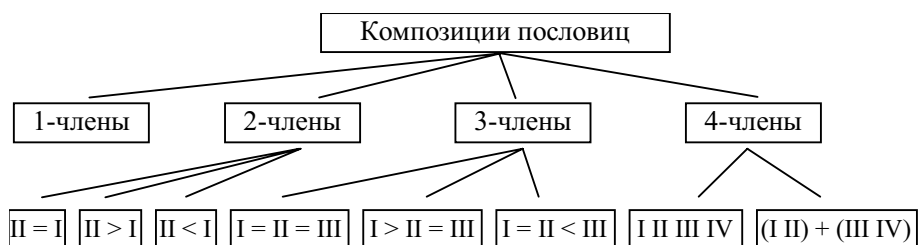
Еще два примера. *Богатый не бывает виноватый* — глубокая рифма *богатый/ -новатый* ясно отделяет первое слово от последующих и создает аналогию возрастающей двучленной композиции, где второй член получил спереди пятисложное приращение. Рифма позволяет почувствовать сконцентрированную трехчленность в пословице *Дома и солома съедома* (заметим, что к начальному хорю во втором quasi-члене добавляется спереди целых два безударных слога, двукратное увеличение, третий пеон, а в последнем слове — «золотая середина» между предыдущими, только три слога, амфибрахий; общие пропорции — 2:4:3).

Продолжим обзор неоднородных пословиц. Четырехчленные пословицы могут иметь «сквозную» относительно равномерную композицию: *Мужик год не пьет, два не пьет, а как запьет, всё пропьет*. Однако более типична для них иерархическая структура: они, как правило, «дважды двучленные» — вплоть до возможности самостоятельного бытования лишь одной своей половиной. В самом деле, широко известна пословица *На чужой каравай рот не разевай*, но это только половина пословицы, дальше следует *...а пораньше вставай да свой затевай*. Еще пример: *Чужую беду на бобах разведу* с гораздо менее популярным продолжением *...к своей беде ума не приложу*. По аналогии с музыкальными формами такие композиции можно называть сложными двучленными — имея в виду, что каждый их член — не одночлен, а двучлен.

Пословицы, насчитывающие более четырех членов, как правило, также представляют собой цепочки двучленов. «...Двучленная форма, повторяясь, ложится и в основу многих сложных пословиц, каждая часть которых образована по этому элементарному типу» [Соколов 1941: 212—213]. Вот еще один пример такой формы: *Что город — то норы; что деревня — то поверье; что изба — то стряпня*. Здесь три сложных члена, каждый из ко-

торых — двучлен (отметим одну великолепную подробность, движение стиховых размеров: амфибрахий разрастается до третьего пео́на, который, в свою очередь, сжимается до анапеста). Иногда такая форма придана диалогу: *Федул, чего губы надул? — Кафтан прожесг. — А зашить можно? — Да иглы нету. — А велика ли дыра? — Один ворот остался.* Впрочем, Г. Л. Пермяков такого рода «сверхфразовые единства» из числа пословиц исключает, называя их побасенками [Пермяков 1988: 18].

В наших заметках мы ограничимся рассмотрением материала в пределах четырехчленных пословиц. Его типовой композиционный репертуар может быть представлен следующей схемой.



Количественно пословицы в нашей выборке распределились следующим образом.

Таблица 1

тип пословицы	количественное соотношение	процентное соотношение
одностишия	52	15,9 %
двустышия:		
— равномерные	68	20,8 %
— возрастающие	127	38,8 %
— убывающие	66	20,2 %
трехстишия	9	2,8 %
четверостишия	5	1,5 %
всего	327	100 %

Таким образом, явно преобладают двучленные пословицы, причем возрастающих среди них примерно половина; другую половину в равных долях составляют равномерные и убывающие.

Метр и ритм пословиц

В музыке метр организует время на основе различия его ударных и безударных долей; ритм ту же функцию выполняет путем сопоставления от-

резков времени по их протяженности. Практически метр и ритм выступают в столь тесном взаимодействии, что образуют единую систему организации звукового потока — *метро-ритм*. В пословице, как и в музыкальном построении, время тоже организуется определенным количеством ударных слогов, отграничивающих определенные же количества слогов безударных, которые образуют межакцентные пространства одинаковой и различной протяженности. Эта качественно-количественная организация времени и дает основание, по примеру музыковедов, говорить о метро-ритме пословицы.

Наблюдение над метрическими и ритмическими свойствами пословиц начнем с одночленных образцов. Вот их некоторые общие свойства. Преобладающий объем определяется наличием в пословице трех акцентированных слогов (*От добра добра не ищут*, *Язык до Киева доведет*). Много реже попадаются четырехударные образцы (*Старого воробья на мякине не обманешь*) и еще реже — пятиударные (*Горе одного только рака красит*). При этом в пословицах с четырьмя и пятью акцентами в реальном интонировании по крайней мере один из них вуалируется. Так, в пословице *Для друга и семь верст не околица* слово *семь* произносится безударно, а в приведенной пословице о раке акцента в слове *только* практически нет.

С другой стороны, изредка встречаются и двухударные конструкции: *Сердцу не прикажешь*, *В семье не без урода*. И все же господствующей нормой в нашем материале выступает трехударность.

Как располагаются акценты в одночленных пословицах? Начальный слог может быть и ударным и безударным — примерно в равном количестве случаев. Но завершается пословица слабым слогом вдвое чаще, чем сильным. При этом окончание не выявляет зависимости от того, каким было начало.

В двухакцентных поговорках первый акцент может попасть и на первый слог (*Сердцу не прикажешь*), и на второй (*В семье не без урода*), и на третий (*Перед смертью не надыхнешься*). Второй же акцент — и примеры это демонстрируют — никогда не попадает на последний слог, окончание у этих поговорок либо хореическое, либо дактилическое.

В трехакцентных поговорках первый акцент также может попасть на любой из первых трех слогов, но и последний (третий) может занять одно из мест среди последних трех слогов, в том числе и последнее (*Против рожна не попрешь*). Второй акцент может быть равноудален от крайних, и тогда образуется силлабо-тонический стих, о котором несколько позже. Если же это не так, то второй акцент будет скорее сдвинут ближе к первому, как бы расширяя межакцентное пространство перед третьим (*С милым рай и в шалаше*, *Шила в мешке не утаишь*), хотя есть и противоположные случаи: первый межакцентный интервал шире второго (*Смелость города берет*, *Сила соломѣ ломит*). Такое последовательное расширение или сжатие межакцентного пространства — один из приемов игры с ритмом.

При равномерном распределении акцентов — с постоянным числом безударных слогов между ними — можно говорить о традиционных сти-

ховых размерах: хорее (*Капля камень точит*), ямбе (*Своя рубашка к телу ближе*), амфибрахии (*У страха глаза велики*), дактиле (*Хвост голове не указка*). Встречаются даже пеоны — второй (*В семье не без урода*), третий (*Перед смертью не надъишишься*). Сплошь и рядом возникает неполноударный стих. *Слезами горю не поможешь* — пропущено ударение в третьей стопе четырехстопного ямба; *Рыба с головы гниет* — пропуск акцента во второй стопе четырехстопного хорее. Особенно часто пропускается начальное ударение в хорейских стихах: *На миру и смерть красна*, *Уговор дороже денег*.

Самое существенное, что во всех случаях перед нами не просто словесное выражение мысли, но выражение художественное, плод поэтического творчества, стихи.

* * *

Двучленных пословиц, как уже говорилось, подавляющее большинство. Выше мы разграничили их по соотношению величины частей. Теперь группу равномерных ($\Pi = \text{I}$) разделим по критерию метро-ритмического подобия на изоритмические и гетероритмические. Группы приблизительно равновелики, они включают соответственно 31 и 37 пословиц. В первую группу входят те, у которых оба члена не только равны по числу слогов, но и идентичны по расположению акцентов: *Знай, сверчок, свой шесток*; *Сказал бы словечко, да волк недалечко*. В большинстве случаев это двустипия с рифмой или хотя бы приблизительным созвучием окончаний частей (*Без детей горе, а с детьми вдвое*). Реже встречаются нерифмованные члены пословицы, «белые» стихи (*В тихом омуте черти водятся*, *Не по хорошу мил, а по милу хорош*). В каждом члене изоритмической пословицы — одно или два ударения: *Время — деньги*; *Чем богаты, тем и рады*. По три ударения в каждой части — большая редкость (*Не дав слова, крепись, а дав слово, держись*).

Как и в одночленных пословицах, здесь имеют место и строгие силлабо-тонические построения (ямб: *Чем дальше в лес, тем больше дров*, хорей: *Щи да каша — тщи наша*, амфибрахий: *Сказал бы словечко, да волк недалечко*), и более свободная организация метро-ритма (см. выше — *Без детей...*, *В тихом омуте...*).

Вторая, гетероритмическая подгруппа наиболее интересна варьированием метро-ритма первого члена — во втором. Напомним, что речь идет о равномерных пословицах, число слогов в обеих частях одинаково, т. е. соблюден силлабический принцип стихосложения. Еще более интересно, что за редчайшими исключениями второй член сохраняет такое же число акцентов, какое было в первом, т. е. соблюдается и принцип тонического стихосложения. Таким образом, налицо и силлабика, и тоника, но не силлабо-тоника, поскольку акценты меняют свои места. *Видит око, да зуб неймет* — ударные и безударные слоги полностью поменялись местами,

хорей сменился ямбом. В пословице *Куда конь с копытом, туда и рак с клешней* и акцентов и слогов в обоих членах поровну, но акценты с 3-го и 5-го слогов сдвигаются на 4-й и 6-й.

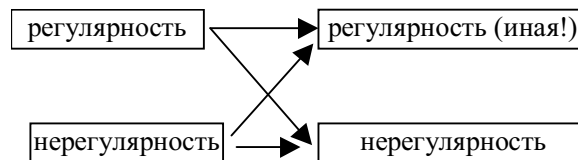
В обеих предыдущих пословицах акценты во втором члене сдвигались параллельно, межакцентное пространство (один слог) не менялось. Но может быть и иначе. *Правда — хорошо, а счастье — лучше* — первая строка начинается и кончается ударными слогами, между которыми три безударных, а вторая равномерно чередует безударные и ударные в размере ямба.

Иногда в равномерных пословицах нарушается тонический принцип — число ударений в частях не совпадает. Два примера. *Ожегшись на молоке, станешь дуть и на воду* — в первом стихе два ударения, а во втором три и совсем на иных местах. *Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше* — в первом стихе три ударения (они попадают на 1-й, 3-й и 6-й, последний слог), а во втором — только два, и если второе на том же 6-м месте, что и в первой части, то первое — на 4-м слоге, который в первом стихе — безударный.

Отметим еще один факт. При гетероритмическом строении пословицы в каждом из ее членов акценты могут появляться как регулярно (т. е. в соответствии с каким-либо стиховым размером), так и нерегулярно (т. е. с переменным числом слабых слогов перед, между и после акцентированных). И тогда возникают четыре возможности:

1. смена вида регулярности (размера),
2. выход из регулярности,
3. приведение к регулярности,
4. полная нерегулярность.

Представим поле этих возможностей в виде схемы:



Все четыре возможности многократно реализуются в равномерных гетероритмических пословицах.

Обратимся теперь к двучленным **н**е**р**а**в**н**о**м**е**р**н**ы**м** пословицам. Их, как уже говорилось, втрое больше равномерных. Здесь свое деление на подгруппы. Как показано в таблице 1, преобладают возрастающие, у которых второй стих длиннее первого (напоминаем — в слоговом исчислении), а убывающих вдвое меньше. Поэтому начнем с тех, которых больше.

Первые же вопросы — насколько увеличивается вторая часть пословицы по сравнению с первой и каким образом это происходит? Чаще всего второй член больше первого всего на 1—2 слога, причем, как правило, это слоги **б**е**з**у**д**а**р**н**ы**е (изредка, правда, среди слогов «прибавленных» по-

является и акцентированный: *От трудов праведных не нажить палат каменных*). Приращение одного слога имеет место вдвое чаще, чем приращение двух. А превышение второй части на 3—5 слогов в нашей выборке встречалось лишь в каждом пятом случае. И единственный раз второй член превысил длину первого на 7 слогов: *Ум в честь, а борода и у козла есть*.

Как распределяются «прибавленные» слоги во втором стихе? По большей части в его начале — и тогда, когда первый начинается с акцента (*Метил в ворону, а попал в корову*), и при безударном начале пословицы (*Красна птица перьем, а человек — ученьем*). Несколько реже второй стих увеличивается в своей середине, сохраняя метро-ритм начала и окончания (*Тиха вода, да омуты глубоки*). Наименьшее число случаев — приращение окончания (*Слово не воробей, вылетит — не поймаешь*). Наконец, сплошь да рядом наблюдается увеличение второго стиха одновременно в начале и в середине (*Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами*), в середине и в окончании (*Для глухого поп две обедни не служит*), в начале и в окончании (*Старый конь борозды не портит*). Есть немало пословиц, в которых второй стих увеличивается и в начале, и в середине, и в конце: *И рад бы в рай, да грехи не пускают; Гром не грянет, мужик не перекрестится*.

Таким образом, нормой увеличения второго члена пословицы надо считать прибавление слогов к той структуре, которая уже задана в первом члене. Впрочем, наблюдаются и отступления от этой нормы: хотя к структуре первого стиха и добавляются новые слоги, но в то же время из нее и выпадает слог — либо слабое начало (*Рыбак рыбака видит издалека*), либо слабое окончание (*Взял лычко, отдай ремешок*), либо слог из межакцентного пространства (*Невинно вино, виновато пьянство; Черного кобеля не отмоешь добела*). Прибавление в этих случаях, конечно, превышает потерю, иногда — значительно. *Все хорошо, что хорошо кончается* — в первом члене между ударными слогами два безударных, во втором остался лишь один, но зато появилось три перед первым ударением и два — после второго.

Во всех вышеописанных случаях мы сталкиваемся с разнообразными проявлениями принципа метро-ритмического развития: второй член структурируется как некое преобразование первого, в силу чего оба они и образуют эстетически убедительное единство. Этот принцип метро-ритмического *варьирования* в полной мере проявляется и в масштабно убывающих пословицах.

Здесь также преобладают пословицы с двумя ударениями в каждом стихе (более 2/3 общего их количества) и почти нет — с тремя (единственный встретившийся образец — *Сколько волка ни корми, а он всё в лес глядит*). Но зато заметна доля пословиц, в которых второй член содержит на одно ударение меньше, чем первый: не 2, а 1 (*Протягивай ножки по одежке*), не 3, а 2 (*Пьяному море по колено, а лужа по уши*), не 4, а 3 (*Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет*), и это позволяет говорить о меньшей метрической стабильности в подгруппе убывающих пословиц.

Насколько и каким образом уменьшается второй член в пословицах этой подгруппы? Ситуация в количественном отношении симметрична ситуации с пословицами возрастающей подгруппы: чаще всего второй член менее первого всего на 1—2 слога и много реже — на 3—4. Но, как только что было сказано, в отличие от пословиц возрастающей структуры здесь нередко второй стих сокращается и за счет ударного слога или группы слогов, включающей ударный: *За морем телушка — полушка, да рубль перевоз; Добрая слава лежит, а худая бежит*. Это повод считать ситуацию качественно иной в плане метрической стабильности.

И еще одно наблюдение. Выше говорилось, что приращение во втором члене возрастающей пословицы происходит чаще в начале стиха, реже в его середине и совсем редко — в конце. Если же проследить за процессом соответственных сокращений второго члена в убывающих пословицах, то окажется, что уменьшения начал, середин и окончаний происходят примерно в равном количестве случаев. Оказывается, что сокращать вторую строку одинаково незатруднительно в любом ее месте, тогда как увеличивать ее проще сначала, сложнее в середине и наименее удобно — в окончании.

Остается добавить, что и сокращения (как увеличения в предыдущей подгруппе) могут происходить одновременно в разных частях второй строки. *Игуменья за чарочку — сестры за ковши* — сокращен слабый слог перед первым акцентом и два слабых после второго. *Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет* — сокращено по одному слабому слогу до и после первого акцента, сокращен третий акцент и исчез последний слабый слог. И опять мы утверждаемся в ощущении второй строки как метrorитмического варианта первой, как очередного этапа развития некой двуединой целостности.

Завершая разговор о двучленных пословицах, уместно еще раз подчеркнуть их поэтический строй, их словесно-художественную природу, обеспечивающую им чисто эстетическую привлекательность и запоминаемость.

* * *

Трехчленных пословиц в нашей выборке резко меньше, чем двучленных и даже одночленных. Однако и сравнительно скромный по объему материал позволяет сделать некоторые наблюдения. Первое из них — явное преобладание двухакцентных членов. Редко-редко попадет строка с тремя ударениями — разумеется, единственная в пословице, остальные-то уж непременно двухударные (*Лошадь любит овес, земля — навоз, а воевода — принос*). Двухударность роднит трехчленные пословицы с двучленными, для которых тоже типично два ударения в стихе; а если в стихе двучленной пословицы их насчитывается три, то совпадает общее число ударений — два по три и три по два.

С другой стороны, в отличие от двучленных пословиц в трехчленных практически не встречается силлабо-тоническое подобие смежных членов

(редчайшее исключение — *Век живи, век учись, дураком помрешь*). Даже если члены и равновелики и «равноударны», они сопоставляются гетероритмически: *Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло* (интересно, что крайние члены здесь изоритмичны и возникает своего рода метроритмическая реприза).

Мы уже разделили трехчленные пословицы на относительно равномерные и со сравнительно большим крайним стихом — первым или третьим. В «равномерных» изредка число слогов в стихах совпадает (силлабика, *Закон что дышло...*). Чаще, однако, имеет место варьирование величины стиха в скромных пределах. *Попал в стаю, лай не лай, а хвостом вилай*, 4 ± 1 ; *Кто любит попа, кто попадю, кто попову дочку*, 5 ± 1 . Материала для обоснованных заключений явно недостаточно, но похоже, что сравнительная краткость среднего стиха — типична (напомним еще раз *Не плюй в колодец...*).

Пословицы с заметным масштабным преобладанием первого или третьего члена наводят на мысль о типичных масштабнo-синтаксических структурах музыкального текста — дроблении (2:1:1) и суммировании (1:1:2). С другой стороны, их общий ритмический облик напоминает о неравномерных двучленных пословицах, которые как бы дополняются, уравновешиваются с помощью еще одного короткого стиха (вообразим убывающую пословицу *Держи голову в холоде, а ноги в тепле*, где вторая строка меньше первой на один начальный и два конечных слабых слога; «дополнительная» средняя строка *живот в голоде* создает гораздо более пропорциональную конструкцию 8:5:5. Или, например, такой вполне возможный текст: *Век учись, а дураком помрешь*. Звучит как вполне типичная возрастающая пословица с двухакцентными стихами и превышением второго стиха за счет трех слабых слогов перед первым ударением. Но восстановим полный текст *Век живи, век учись, а дураком помрешь*, и пословица выявляет четкую структуру суммирования — 3:3:6). Конечно, лишь в редких случаях число слогов большей строки будет точно равно сумме двух других; но в этом и нет необходимости, важно лишь, что после относительно протяженного текста следуют более краткие построения (*Бей галку и ворону: руку набьешь — сокола убьешь*) или, напротив, после двух достаточно кратких — более развернутый (*По грибы не час и по ягоды нет, так хоть по сосновы шишки*). Общая закономерность заключается в том, что относительно краткие строки обычно ритмически сходны, сравнительно большая строка в начале как бы *задает* ритмический рисунок, далее появляются его «фрагменты», а если наибольшая строка завершает пословицу, то она либо *вбирает* в себя ритм предыдущих (...*а дураком помрешь*), либо предлагает совершенно *новый* рисунок ритма (...*так хоть по сосновы шишки*).

Четырехчленная пословица — еще более редкое явление, чем трехчленная. О двух типах ее композиции — сквозном и составном — уже было сказано. Что же касается метро-ритма, то он может быть и строго силлабо-тоническим (*Коси коса, пока роса. Роса долой, коса — домой*), и тоническим (в

известных нам образцах — только с двумя ударениями в стихе: *Хоть церковь и близко, да ходить склизко, а кабак далеконько, да хожу потихоньку; Счастье без ума — дырявая сума: что найдешь и то потеряешь* и др.).

* * *

Итак, русская пословица выражает некое существенное положение в отточенной форме, одну из важных сторон которой составляет метро-ритмическая организованность. При этом главную роль играет метр, акценты и их распределение. Тонический принцип организации словесного материала выступает как «скелетный», а силлабо-тонический как «покровный». На разных уровнях проявляет себя *повторение* — более или менее точное либо видоизмененное. Эти видоизменения касаются как количества (слабых слогов в пред-, меж- и послеакцентных пространствах, общего числа слогов в стихе), так и качества, собственно ритмической структуры (смена размеров от строки к строке, разные соотношения регулярности и нерегулярности акцентов). Поговорка лаконична. Одночленная преимущественно трехакцентна, а в более сложно организованных преобладают двухакцентные члены. И почти всегда без усилий обнаруживается логика метро-ритмического развития, придающая цельность форме пословицы.

Конечно, не одно лишь метро-ритмическое совершенство составляет художественное достоинство пословиц, — но без него не было бы столь виртуозно выполненной, поистине идеальной, «кристаллической» их формы. Не случайно же Пушкин воскликнул: «Что за золото, пословицы русские!».

Л и т е р а т у р а

- Даль 1984 — В. И. Даль. Пословицы русского народа. В 2 т. М., 1984.
Жуков 1966 — Словарь русских пословиц и поговорок / Сост. В. П. Жуков. М., 1966.
Золотницкий 2000 — Словарь пословиц и поговорок на семи языках / Сост. И. Золотницкий; Ред. Н. Дараган. Иерусалим, 2000.
Зуева, Кирдан 2002 — Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. Русский фольклор: учебник для высших учебных заведений. 4-е изд., М. 2002.
Пермяков 1970 — Г. Л. Пермяков. От поговорки до сказки (заметки по общей теории клише). М., 1970.
Пермяков 1988 — Г. Л. Пермяков. Основы структурной паремиологии. М., 1988.
Рыбникова 1961 — Русские пословицы и поговорки / Сост. М. А. Рыбникова. М., 1961.
Сборник 1978 — Паремиологический сборник. М., 1978.
Соколов 1941 — Ю. М. Соколов. Русский фольклор. М., 1941.

ДИСКУССИИ

О КНИГЕ Е. А. ЗЕМСКОЙ «ЯЗЫК КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: МОРФЕМА. СЛОВО. РЕЧЬ»

(*М.: Языки славянской культуры, 2004. 688 с.*)

0. Обсуждаемая книга представляет собой собрание избранных работ Елены Андреевны Земской, русиста с мировым именем, организатора и участника крупных коллективных исследовательских проектов в области русистики. В их ряду, во-первых, освоение языковедческой целины разговорной речи [Земская 1968; Русская разговорная речь 1973] и др.¹; во-вторых, коммуникативно-прагматическое исследование русского языка, вышедшее в труднейший для лингвистических публикаций год — 1993 (см. [Русский язык 1993]) и содержащее первые в русистике замечательно результативные работы о гендерных различиях в речи [Земская и др. 1993] и о неуспешных речевых актах, которые авторы назвали «коммуникативными неудачами» [Ермакова, Земская 1993]; в-третьих, наследующее традициям школы М. В. Панова социолингвистическое исследование изменений в русском языке 1985—1995 гг., вызванных крутыми историческими сдвигами в обществе [Русский язык 1996]²; в-четвертых, проблемы эмигрантского русского языка в дальнем зарубежье [Язык 2001]³. В рецензируемой книге Е. А. Земской «Язык как деятельность...» эти разные темы объединены в новое лингвистическое целое, которое развертывается в вос-

¹ В 1986 г. Е. А. Земской за исследования по русской разговорной речи была присуждена премия имени А. С. Пушкина.

² Книга «Русский язык» 1996 явилась важным источником российской части «Опольского проекта» — международной исследовательской программы «Современные изменения в славянских языках (1945—1995)», инициированной в 1990 г. профессором Ст. Гайдой (Институт польской филологии университета в Ополе) и реализованной, помимо конференций и препринтов, в издательской серии «Najnowsze dzieje języków słowiańskich» (Opole, 1996 —). Связь двух книг (коллективной монографии Русский язык 1996 и русского тома Опольского проекта (см. [Русский язык 1997]) видна по составу авторов и темам: О. П. Ермакова (семантические процессы в лексике), Е. В. Какорина (язык прессы), Л. П. Крысин (заимствования), Е. А. Земская (словообразование), М. Я. Гловинская (изменения в морфологии и синтаксисе).

³ Специально об этой книге см. [Мечковская 2004 (в печати)].

ходящем и расширяющемся направлении — от субморфов и интерфиксов до судеб языков и истории коммуникации.

В книге четыре части, которые лишь отчасти соотносятся с тремя номинативами в ее подзаголовке: 1) «Морфема и слово» (с. 11—233); 2) «Сферы языка» (с. 237—509); 3) «Активные процессы в русском языке на рубеже XX—XXI вв.» (с. 513—569); 4) «Проблемы коммуникативной и прагматической лингвистики» (с. 573—651). Затем следуют список сокращений; избранная библиография работ Е. А. Земской, насчитывающая 202 позиции; именной указатель, который, между прочим, показывает, что самое упоминаемое в книге имя — М. В. Панов. В конце даны содержание и резюме на английском языке.

Каждая из четырех основных частей книги заканчивается библиографическим списком литературы по проблематике соответствующего раздела, а также «Библиографическими справками», в которых указано отношение каждого параграфа или главы к предшествующим публикациям Е. А. Земской (с библиографическим описанием соответствующих работ). Большинство параграфов или глав книги являются переизданиями работ автора, часто в сокращенном или переработанном виде. Однако пять параграфов первой, «словообразовательной», части и 20-страничная 6-я глава («Язык русского зарубежья: итоги и перспективы исследования») написаны специально для новой книги.

Замечу, что ее справочно-библиографический аппарат оказался достаточно сложным для издателей, и это привело к некоторой путанице и непоследовательности в подаче информации. В частности, в «Библиографической справке» к части «Сферы языка» (именно к ее Главе 3) приводится информация к параграфам с отсутствующими в этой главе номерами (§§ 1 и 2), но не оказалось сведений к §§ 5 и 6. Относительно Главы 1 «Активные процессы в русском языке на рубеже XX—XXI вв.» в составе 3-й части книги библиографические справки не полны: не указаны названия двух изданий с первыми публикациями соответствующих текстов. К тому же эта 3-я часть имеет такое же заглавие, как входящая в нее 1-я глава, что представляется редакторским недосмотром.

1. «Морфема и слово» и «Словообразование как деятельность»

Кроме личности и воли автора, цельность книге придает деятельностное понимание языка/речи. Деятельностные аспекты словообразования были раскрыты в монографии Е. А. Земской «Словообразование как деятельность» [Земская 1992]⁴, вызвавшей ряд одобрительных рецензий [Waszakowa 1993; Ермакова 1994; Jelitte 1994]. Деятельностный подход к сло-

⁴ В обсуждаемой книге монография представлена параграфами 13 «О понятии „словообразовательная парадигма“» и 20 «Функции словообразования в языке».

вообразованию, сближая деривацию и осознание слова с процессами порождения и восприятия высказывания, включает в поле зрения исследователя субъект словообразования — человека, создающего новое слово, и человека, распознающего впервые встреченное им слово. Внимание к языковому сознанию говорящих позволяет исследователю находить дополнительные коммуникативные и смысловые объяснения таких явлений словообразования, как вариантность новообразований⁵; как расхождение отношений формальной и смысловой мотивированности или двойственная (разномодельная) мотивированность производного слова; как постепенное «отягощение» функцией или значением первоначально чисто «технических» звуковых прокладок между основой и суффиксом (вроде интерфикса *-и-* в *киношник*, *гаишник*, *кафэшка*) или иных «пустых» отрезков в составе слова (вроде унификсов в *стеклярус* или *почтамт*).

Признавая объяснительную ценность деятельностного подхода в теории словообразования, хотелось бы обратить внимание на его две ограничительные черты.

Во-первых, в отличие от процессов порождения и восприятия высказываний в словообразовании синтез и анализ резко асимметричны, прежде всего по своей «массовидности», т. е. по представленности в речевой деятельности. Осознание говорящими словообразовательных связей между словами составляет важный и обязательный компонент владения языком. Восприятие (семантизация) нового или еще недостаточно усвоенного слова имеет место в онтогенезе речи каждого отдельного человека, причем столько раз, сколько новых для себя производных (или членимых) слов человек узнавал (усваивал), овладевая языком. Процессы словообразовательного анализа, аналогичные семантизации новых для индивида слов, протекают также в сознании человека, который изучает неродной язык. Оба вида семантизации незнакомого слова (ребенком и иностранцем) не раз изучались в психолингвистике (см., например, [Юрьева 1990; Адуцкевич 1993; Медведева 1999] и др.). Между тем «словообразовательный синтез», т. е. создание конкретного нового слова, причем «настоящего», а не придуманного по просьбе экспериментатора, — феномен несравненно более редкий (чем анализ), и его едва ли можно наблюдать как психолингвистическую реальность. Это тем более справедливо для «словообразовательного синтеза» подсистем или серий слов (словообразовательных гнезд и дериватов, образованных по одной модели): психолингвистическое исследование реального образования слов таких серий, по-видимому, в принципе невозможно. (Наблюдения над поэтическими неологизмами не в счет, потому что они создаются не «для всех», но как исключительно индивидуальное средство, причем не столько как средство номинации, сколько — экспрессии, призванное подчеркнуть неповторимость авторского языка.)

⁵ См., в частности, включенную в сборник работу 1990 г. «Повторная номинация: (К проблеме варьирования в сфере словообразования)».

Второе ограничение деятельностного подхода к словообразованию связано с возможным несовпадением реальной истории слов и их синхронной словообразовательной характеристики. Деятельностный аспект, ценный как объясняющий принцип, как «малая диахрония», уводит исследователя от методического описания деривационных связей слов и способов деривации к раздумьям о том, как «вот это» новое слово появилось «на самом деле». Между тем вопросы о том, как «это было на самом деле», — это вопросы исторические, и результаты синхронного словообразовательного анализа далеко не всегда на них отвечают. Более 30 лет назад Е. А. Земская в своем образцовом вузовском учебнике «Словообразование» (см. [Земская 1973])⁶ показала, что значит синхронное исследование словообразования: по сути, оно должно быть описанием, во-первых, сосуществующих возможностей для словопроизводства и, во-вторых, имеющихся типов семантических отношений между «условно» производящей и «условно» производной основой («условно», потому что в реальности *зонт* образовано от *зонтик*, а не наоборот, и подобные возможности надо учитывать). Вопрос о том, как слово возникло «на самом деле», — это дело этимологии, а не словообразовательного анализа. Ценность деятельностного подхода к словообразованию состоит не в воссоздании психолингвистической картины того, как произошла чеканка конкретного неологизма, а в понимании того, как это обычно происходит: какие именно коммуникативно-психологические условия и факторы (из широкого спектра возможных) имели место в тех или иных конкретных случаях и из каких внутрисистемных словообразовательных возможностей выбирает говорящий, когда он «вдруг» произносит (пишет) новое слово.

Что касается словообразования «для слушающего» (в аспекте восприятия слова), то здесь эвристическая ценность деятельностного подхода, в том числе в межъязыковом когнитивно-сопоставительном плане, практически не знает ограничений. Свидетельства этому есть и в новых статьях Е. А. Земской, включенных в книгу, — «О применении понятия „пресуппозиция“ в словообразовании», «Единицы системы словообразования» и две статьи об иконичности и функциях интерфиксов.

2. «Сферы языка» как его социальные, территориальные и поло-возрастные варианты

Во второй части книги Е. А. Земской «внутренняя» лингвистика сменяется «внешней», т. е., по сути, социолингвистикой, только без анкет и подсчетов. С изменением проблематики во второй части (а не с хронологией работ) связано то, что здесь значительно шире, чем в первой части, пред-

⁶ Есть сведения, что издательство «Аспект Пресс» готовит эту книгу к переизданию в серии «классический учебник».

ставлены статьи, впервые опубликованные за рубежом, и доклады, адресованные международной аудитории, прежде всего славистической. Это сказалось и на библиографии: в списке литературы ко второй части книги, по сравнению с первой, в несколько раз больше некириллических источников.

Семь глав в «Сферах языка» объединяет то, что все они расширяют горизонты языкознания: происходит освоение того, что в русистике 30—70-х гг. находилось на периферии лингвистического внимания, — разговорная речь (как функциональный регистр литературного языка, противопоставляемый кодифицированному языку), речь города, просторечие, жаргоны, а также детская речь и гендерные различия в коммуникативном поведении и речи. Мне представляется важным, что о некодифицированных и субстандартных вариантах общенародного языка Е. А. Земская пишет не только по-исследовательски заинтересованно, но и с теплым человеческим интересом⁷. Между тем демократическая терпимость к разнообразию проявлений языка (и культуры) отнюдь не сама собой разумеется⁸. Более того, лингвистический либерализм и плюрализм нуждаются в защите и популяризации. Поэтому хорошо, что такой авторитетный русист, как Е. А. Земская, издает с двумя соавторами «Толковый словарь русского общего жаргона» (см. [Ермакова и др. 1999]). В одном из приложений к словарю приведен список популярных современников (а иногда и знаменитых — Горбачев, академик Лихачев, Солженицын), в чьих текстах составители нашли примеры использования жаргонных слов. Характерно также нейтрально-позитивное название книги: «Слова, с которыми мы все встречались». В рецензируемой книге Е. А. Земская пишет о важности изучения просторечия как части языковой культуры народа, в том числе и в преподавании русского языка как иностранного, — для «адекватного восприятия произведений художественной литературы» и «для общения с людьми в русском городе» (с. 369).

Одна из наиболее дискуссионных категорий русистики — русское просторечие — под пером Е. А. Земской получает глубокую и диалектически гибкую характеристику. Прежде всего, просторечие — это не стиль и не функциональный регистр языка (аналогичный разговорной речи), поскольку носители просторечия в любых ситуациях (в том числе и в суде или

⁷ Это особенно полно отразилось в работе «Письма просторечноговорящих как источник изучения некодифицированных сфер русского языка и городской культуры» (1996). Статья была написана для фestsрифта в честь А. А. Зализняка, что подчеркивало аналогию между берестяными грамотами и письмом старой няни, запечатлевшем на исходе XX в. «реальную бесхитростную речь» (с. 375) простой русской женщины.

⁸ Помню, как на XIII Международном съезде славистов (Краков, 1998) в докладе одного московского автора с сожалением говорилось о превращении литературного языка из элитарного в общенародный; людей, говорящих на родном языке с погрешностями, автор предлагал не называть «носителями языка», а только его «пользователями».

канцелярии) говорят именно «просторечно», потому что не владеют другими вариантами языка. Однако просторечие не является коммуникативно самодостаточной и регулярной системой. Это серии слов и форм, частью диалектных и архаичных, частью, напротив, «опережающих время» (вроде им. пад. мн. ч. *офицерá, инженерá*), которые маркируют речь необразованных и малообразованных горожан как нелитературную. Существенно, что такие элементы представлены в речи носителей просторечия в разной мере; в речи даже одного человека просторечные формы могут довольно случайным образом перемежевываться с нормативными: «просторечноговорящий может в одном разговоре употребить вариативные формы, например, императив *ляг* и *ляж*, *ложи* и *ложь*, *положи* и *положь*, от глагола *хотеть* формы *хотим* и *хочем*, *хотишь* и *хочешь*, *хочут* и *хотят*» (с. 367). Иначе говоря, в русском просторечии, в отличие от диалекта, нет узуса.

Что касается детской речи (в разделе «Сферы языка» это работа «Детская речь: К вопросу о системности некодифицированных сфер языка (речевой портрет ребенка 2—6 лет)»⁹), то трактовка детской речи как одной из «сфер языка» и тем более сближение ее с некодифицированной речью представляются мне спорными решениями. Разумеется, сходные явления есть, поскольку и ребенок и малообразованный взрослый говорят на одном этническом языке, в котором они владеют / овладевают в большей мере системой инвариантов (где *хочет* и *хотит* предстают как две реализации одной возможности), чем избирательным узусом (который бракует форму *хотит* и предписывает говорить *хочет*). И в детской речи, и в просторечии предпочитают более частотные формы и модели (*намазаю, нет медведь, пойду с дядем*) и игнорируются аномалии (например, фономорфологические чередования).

Однако детская речь не представляет собой «сферу» или «систему»; у нее нет серьезных социолингвистических параметров и детерминант. В детской речи главное состоит не в том, что ребенок не владеет всеми возможностями системы и еще менее усвоил узус, а в том, что языковая компетенция ребенка меняется не по дням, а по часам. Поэтому «речевой портрет ребенка 2—6 лет» принципиально невозможен: здесь нужна хроника изменений, дневник наблюдений. Вполне вероятно, что форма *пойду с дядем* встретила в речи конкретного ребенка только однажды: даже если ребенка и не поправили взрослые¹⁰, завтра-послезавтра он сам услышит, как говорят вокруг, и приножится, даже не вполне сознавая это, к окружающим.

Детская речь — это объект прежде всего психолингвистики, а не социолингвистики. Разумеется, социальные факторы в онтогенезе речи при-

⁹ Впервые опубликовано в «Harvard Studies in Slavic Linguistics». 1993. Vol. 2.

¹⁰ В реальности в подавляющем большинстве случаев неправильности детской речи не замечаются взрослыми и еще реже исправляются. Люди усваивают языковой узус преимущественно путем подражания речи окружающих; значимость внешне идущих указаний на ошибку и исправлений невысока.

сутствуют, но они определяют какие-то периферийные особенности процесса, может быть, как раз и устойчивые во времени «от 2 до 6 лет»¹¹, но не его сущностные черты. Сущность же онтогенеза речи состоит в поэтапном формировании в сознании ребенка порождающей системы языка.

В разделе «Сферы языка» заново публикуются три доклада Е. А. Земской на Международных съездах славистов: «Особенности русского разговорного литературного языка и структура коммуникативного акта» (Загреб, 1978), «Общее и различное в структуре ряда славянских и неславянских разговорных языков» (Киев, 1983), «Перспективы изучения славянских разговорных языков» (София, 1988). В последней из названных статей особое внимание автора привлекают сходства и различия в функционально-нормативном укладе между русским и чешским языками, а также вопрос о русском корреляте к той формации чешского языка, которая называется *obecná čeština* (и где прилагательное означает одновременно 'общий, обычный' и 'городской'). По резкости отличий от литературного языка (*spisovná čeština*) *obecná čeština* напоминает русское просторечие, однако функционально это разговорный язык многих (в том числе людей, вполне владеющих кодифицированным языком, что и дает основание сближать его с разговорной речью в русской ситуации). Однако аналогиям мешают два обстоятельства: во-первых, в чешском оказывается как бы два разговорных языка: *obecná čeština* и второй разговорный, а именно литературный разговорный (*hovorová čeština*), более поздний и с большей долей нейтрально-книжных средств, чем *obecná čeština*; во-вторых, в отличие от диалектно не маркированной разговорной русской речи *obecná čeština* обладает признаками западночешского, и в том числе пражского, интердиалекта, т. е. является территориально ограниченным идиомом. Таким образом, различия между языками в статусе и функциях их разговорных вариантов определяются всем нормативно-стилистическим укладом сопоставляемых языков, включая взаимоотношения их стандартных и субстандартных сфер. В свою очередь, объяснения сложившихся языковых ситуаций лежат в ареально-генеалогической и социальной истории языков (специально см. [Мечковская 2003]).

3. «Активные процессы в русском языке на рубеже XX—XXI вв.» и итоговая оценка происходящего: «язык ожил»

Говоря о тенденциях в развитии русского языка двух последних десятилетий, отмеченных либерально-демократическими переменами в жизни общества, Е. А. Земская предлагает различать три группы изменений: 1) в условиях функционирования языка; 2) в построении текста; 3) в системе

¹¹ В языковой биографии того мальчика, чей портрет «от 2 до 6», воссоздает Е. А. Земская, социальный фактор мог сказаться, например, в скорости онтогенеза речи; в раннем и интенсивном проявлении метаязыковой функции речи.

языка (с. 513). Однако, рассматривая изменения 2-й группы, автор относит к ним также и разнообразные инновационные процессы в лексике, в то время как изменения 3-й группы касаются главным образом грамматики и словообразования.

В ряду активных процессов в построении текста Е. А. Земская отмечает следующее: широкое использование в СМИ и публичной речи жаргонизмов, быстро ставших общеизвестными (феномен «общего жаргона», представленный в словаре [Ермакова и др. 1999]); colloквиализация языка; активизация заимствований и рост употребительности заимствованных слов; усиление интертекстуальности (мозаичности, цитатности) текстов; рост личностного начала и диалогичности текстов; широкое распространение «стёба» и «ерничества», направленных на пародийное развенчание языка советского тоталитаризма, — явление, которое М. А. Кронгауз назвал «социалистическим антисоциалистическим юмором», т. е. порожденным социализмом и направленным против него, и которое вполне сопоставимо с соцартом в изобразительном искусстве и музыке.

Активные процессы в грамматике (ослабление склонения у числительных; активизация несклоняемых имен — аналитических прилагательных и аббревиатур; распространение конструкций с предлогами, все заметнее вытесняющих синонимичные беспредложные сочетания) автор обобщает как дальнейшее усиление аналитизма, а тенденции в словообразовании (распространение деривации без чередований на морфемном шве — в производных с иноязычными приставками (*супер-*, *псевдо-*, *пост-*, *контр-*) и от аббревиатур (*МГУшники*, *ЛДПРовцы*) — как рост агглютинативности в строении русского слова.

Касаясь оценочно-нормативного аспекта действительно бурных изменений в русском языке последнего времени, Е. А. Земская приводит мнение, которое преобладало на Всероссийской конференции лингвистов (1991 г.) и которое автор разделяет: «язык не умирает и не портится»; «язык ожил» (с. 514). Что касается конкретных вопросов нормы и кодификации, то здесь позиция Е. А. Земской близка к идеям «гибкой нормы» в духе пражской школы, Л. В. Щербы, М. В. Панова. Характерно выразительное заглавие недавней работы, напечатанной в Варшаве: «Активные процессы в русском языке конца XX в.: норма не запрет, а выбор» (см. [Земская 2003]).

4. «Проблемы коммуникативной и прагматической лингвистики» и вопрос о границах языка

Четвертый раздел книги содержит две больших работы: опубликованную в 1997 г. в Германии статью «Категория вежливости: общие вопросы и национально-культурная специфика русского языка» и совместное с О. П. Ермаковой исследование о коммуникативных неудачах (см. [Ермакова, Земская 1993]).

Согласно Е. А. Земской, категория вежливости (КВ) является «имплицитной категорией коммуникативно-прагматического характера»; она «управляет речевым поведением людей, диктуя одно употребление и запрещая другое, вполне разрешаемое правилами грамматики и лексики», и обнаруживает «свое действие в явлениях разных уровней языка» (с. 578—579)¹². Взаимоотношения КВ и речевого этикета тракуются автором противоречиво: «КВ целесообразно отграничивать от понятия „речевой этикет“. КВ распространяется не только на устойчивые, повторяющиеся ритуализованные формулы типа приветствия, прощания, благодарности и т. п. (т. е. на то, что обычно относят к явлениям речевого этикета. — *Н. М.*), но на более широкий круг разнообразных явлений» (с. 579). Иначе говоря, Е. А. Земская и отграничивает речевой этикет от КВ, и одновременно включает этикет в КВ как его часть. Впрочем, преобладающий интерес автора связан не с этикетом, но с этикой.

Категория вежливости трактуется как эквиолентная оппозиция: вежливости противостоит грубость, в которой автор различает «невоспитанность» и «намеренную невежливость» (т. е. «сознательные акты грубости»), к которым относит различные речевые акты более или менее явных упреков, агрессии, самоутверждения или самозащиты. Например, это такие проявления КВ: 1) осуждающие вопросы со словом *зачем?* (при отсутствии намерения действительно выяснить цель действия адресата; ср., *Зачем ты Пете эту шапку нахлобучила?*); 2) неодобрительные и «провоцирующие» (определение Е. А. Земской) дескрипции знакомых адресата, вызывающие его отрицательную реакцию (как в диалоге брата и сестры: — *Опять твой Николай звонил. — Почему мой? Что ты мне его приписываешь?*); 3) «встречный» вопрос, имеющий цель повысить социальный статус говорящего, особенно в ситуации «должностное лицо — клиент» (ср. диалог продавца и покупателя: — *Что вам? — «Огонек» и... — Где вы «Огонек» видите?*); 4) неприятие сравнения себя с другими, в чем Е. А. Земская видит «защиту [говорящим] своей индивидуальности», приводя в качестве примера разговор взрослой дочери с матерью: *Д. Мам! Ну что ты все сидишь в кресле? Вышла бы, пошла бы хоть немного. Смотри как другие гуляют! М. Ну что ты меня с другими сравниваешь? Я твоя мать* (с. 589).

Представляется, что во всех обозначенных ситуациях запечатлены обычные межличностные коллизии (разной силы и глубины), но отнюдь не нарушения правил вежливости. Понятно, что столь широкое понимание вежливости — по сути, как этики повседневной жизни, но при этом в сочетании с равнодушием или невниманием к этикету — дискуссионно. Одна-

¹² Отмеченная «проявленность» КВ в языке (хотя бы частичная) противоречит характеристике КВ как имплицитной категории. По-видимому, она имеет смешанный, эксплицитно-имплицитный, характер (имплицитный — в силу этикетных запретов, эвфемизмов, умолчаний и т. п.).

ко, по-видимому, оно не случайно у носителя русской культуры. Думаю, что понимание вежливости в работах Е. А. Земской — сосредоточенное на этике межличностных взаимоотношений при невнимании к формальным и внешним приличиям — близко русской ментальности. Филология вообще не только аналитически отображает речевую, в том числе художественную, практику говорящих, но и в своих главных и глубинных смыслах созвучна ей. В общении русских меньше клишированного речевого этикета (в сравнении с западным бытом). Как пишет Е. А. Земская, «русские благодарят и извиняются не так часто, как французы, немцы и англичане» (с. 599).

Принимая предложенное в работе [Brown, Levinson 1987] различие «позитивной» и «негативной вежливости»¹³, Е. А. Земская делает два важных уточнения. Во-первых, есть проявления вежливости, нейтральные по отношению к позитивной или негативной вежливости: «Лишнее *спасибо* или отсутствие его, выражения типа *будьте любезны / добры*, формулы *не могли бы вы...* и т. п. не привязаны к позитивной или негативной вежливости» (с. 578). Во-вторых, вопреки распространенным на Западе суждениям, автор не считает, что солидарная вежливость типична для всякого русского и, наоборот, что все западные люди стремятся «всегда избегать позитивной вежливости» (с. 577)¹⁴.

Видя в вежливости прежде всего этику, а не этикет, исследование Е. А. Земской подводит к вопросам о границах между лингвопрагматикой и некоторыми нелингвистическими дисциплинами (социальная и этническая психология, культурология, этнография). В преобладающей части реальности, исследуемой названными дисциплинами, присутствует язык / речь — как вербальная оболочка бесконечного множества феноменов сознания и культуры. Однако вербальная оболочка — еще не основание, чтобы лингвистика, включая лингвопрагматику и лингвокогнитивистику, оказалась чем-то вроде «науки наук». Это принципиальный вопрос лингвистической методологии: необходимо видеть, где проходит граница между языком и феноменами другой, неязыковой природы (пребывающими в языковой оболочке).

Вопрос о границе языка возникает также при чтении заключительной в книге главы — пионерского исследования О. П. Ермаковой и Е. А. Зем-

¹³ Впрочем, в терминологической модификации Р. Ратмайр: «солидарная» vs. «дистанционная» вежливость. Проявления «солидарной» вежливости подчеркивают принадлежность коммуникантов к одной и той же группе, стремление говорящего избежать конфликтов и достигнуть согласия. «Негативная вежливость выражает дистанцированную позицию, т. е. подчеркивает независимость личности, ее потребность в неприкосновенной территории, и основана, главным образом, на стратегии избегания» [Ратмайр 1996/2003: 21].

¹⁴ Ср. у Р. Ратмайр [1996/2003: 27]: «Точка равновесия между ритуалами оказания внимания и стратегиями избегания в русской культуре оказывается явно ближе к первым и отстоит дальше от последних, чем в немецко- и англоязычных культурах».

ской 1993 г. «К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога)».

Феномен «коммуникативной неудачи» (КН) авторы определяют как «полное или частичное непонимание высказывания партнером коммуникации, т. е. неосуществление или неполное осуществление коммуникативного намерения говорящего [...]; представляется целесообразным относить к КН и возникающий в процессе общения не предусмотренный говорящим нежелательный эмоциональный эффект: обида, раздражение, изумление» (с. 602). При этом авторы не разграничивают «вклады» в «совместную» неудачу двух участников коммуникации — говорящего и слушающего.

Ценнейшая черта исследования О. П. Ермаковой и Е. А. Земской состоит в изобилии диалогического материала — нового и вместе с тем узнаваемого и психологически правдоподобного. Кажется, что в этом пестром и естественном материале исследования о КН, как и в материале книг о русской разговорной речи, заключена самостоятельная ценность человеческих документов — это как фотоснимки, как повседневная жизнь, заснятая скрытой камерой¹⁵.

Итоговая классификация КН насчитывает 20 разновидностей сбоев, сгруппированных в 8 основных типов КН. В их ряду различимо основное и теоретически наиболее интересное противопоставление: 1-й класс КН, с 4 подклассами, — это «КН, порождаемые свойствами языка»; в остальных 7 классах с 16 подклассами представлены КН, обусловленные психологическими и психолингвистическими факторами, могущими присутствовать в речевой коммуникации (в том числе и непосредственно связанные с языком, как, например, неадекватная передача чужой речи или различия в семантизации прагматически маркированных слов и форм).

Мне уже доводилось в связи с обсуждаемым исследованием КН писать, что причины большей части «коммуникативных неудач» лежат не в языке, а в психологии, точнее, во взаимоотношениях коммуникантов [Мечковская 2004: 215]. Но даже и то меньшинство сбоев, которое О. П. Ермакова и Е. А. Земская называют «КН, порождаемые свойствами языка», при ближайшем рассмотрении оказываются обусловленными не «свойствами языка», а какими-то особенностями владения языком или его использования в конкретном коммуникативном акте. Ср. приводимый авторами пример «КН, порождаемых неоднозначностью языковых единиц»: [Разговор А. и Б.] *А. Вы знаете / передавали / что в Ташкенте будет съезд афганцев // Б. А почему в Ташкенте? Что они / у себя не могут? А. Где у себя? Б. В Афганистане // А. В каком Афганистане? Вы разве не знаете / что афганцами сейчас называют тех / кто воевал в Афганистане?* (с. 609).

¹⁵ Ср. работы по близкой теме («непонимание»), написанные дедуктивно, — как «исчисление» возможных факторов непонимания [Левин 1981] или как список из 9 «подзадач», которые говорящий и слушающий должны решить для достижения понимания [Демьянков 1990]. Это опыты другого жанра — именно абстрактного осмысления темы.

Возникает и еще один вопрос: все ли разновидности КН, приводимые авторами, — это действительно неудачи, т. е. ситуации, где имеет место хотя бы «частичное непонимание высказывания партнером», или «неполное осуществление коммуникативного намерения говорящего», или «не предусмотренный говорящим нежелательный эмоциональный эффект: обида, раздражение, изумление» (с. 602). Вот, например, класс КН, «порождаемых реакцией на дескрипцию», с примерами такого плана: [мать — сыну] *Ты можешь объяснить этой своей девице / как принято разговаривать по телефону?* [Сын (раздраженно)] *Она не девица / не называй ее так // Ты ведь знаешь / как ее зовут //* (с. 643). По-моему, смысл («коммуникативное намерение») слов матери состоял не в совете сыну что-то объяснить своей подруге, а в выражении своей неприязни к «этой девице», и этот смысл был полностью понят адресатом. Здесь нет коммуникативной неудачи: это разлад отношений. Другое дело, что, вполне вероятно, цитированные слова матери могли быть «безотчетными», что называется «сорвалось», но именно из таких идущих из глубин естества вопросов и советов и состоит общение, в особенности близких.

Цитированный диалог из группы «КН, порождаемых реакцией на дескрипцию», полностью аналогичен одному подклассу «намеренно невежливых» актов, выделенных Е. А. Земской в статье о категории вежливости (как приведенный выше диалог брата и сестры: — *Опять твой Николай звонил. — Почему мой? Что ты мне его приписываешь?*). Возникает аналогичный вопрос: проявляется ли здесь коммуникативно-прагматическая категория вежливости? По-моему, нет. Люди просто выясняют отношения. Люди пристрастны, поэтому они агрессивны и уязвимы, они обижают и обижаются, обороняются и нападают... И им вполне послушны и язык, и коммуникативные стратегии. Действительные неудачи и обиды связаны не со сбоями в технике общения, но с его содержанием и порождающими его заботами жизни.

5. В заключение обзора этой интересной и внимательной к человеку книги мне хотелось бы вновь обратиться к ее тематически расширяющейся композиции, созвучной расширению интересов современной лингвистики. Вот ее четыре темы и раздела: строение слова, социофункциональное строение языка, фундаментальное детерминирование языка жизнью общества и в финале — безбрежное море людских разговоров, в которых язык как бы уходит в глубину — в первоэлементы. Коммуникативные неудачи, как и грубость или, напротив, нежность, как и вся прагматика, — всё это лежит за пределами языка. Прагматические явления в речевой коммуникации создают люди, а не язык; прагматика реальна лишь в акте коммуникации. Однако прагматика создается из языкового материала, из комбинаций и переливов языковых значений и оттенков.

Елена Андреевна Земская, оглядываясь на десятилетия своих занятий русским языком, объединила главные темы в знаменательную книгу, кото-

рая сама по себе есть развернутое свидетельство о русском языке и русистике начала XXI в. Обращаясь к прагматике, книга «Язык как деятельность» и наука о русском языке, как и лингвистика в целом, выходят за пределы собственно языка — в мир коммуникативных технологий, глобализации информационных процессов, пиджинов и креолизованных семиотик. И русистика, слава Богу, в состоянии поспевать за расширением границ в исследовании коммуникации. Вместе с тем в кругу авторов, пишущих о коммуникации, у языковедов, думаю, всегда будет «родовое преимущество» их базовой дисциплины: структуралистское понимание того, как устроены и как исподволь меняются первоэлементы коммуникации — языковые значения. В новой книге Е. А. Земской представлена развернутая демонстрация этих преимуществ.

Л и т е р а т у р а

Адуцкевич 1993 — Л. Б. А д у ц к е в и ч. Процессы семантизации лексики неродного языка (психолингвистическое исследование): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1993.

Демьянков 1990 — В. З. Д е м ь я н к о в. Недопонимание как нарушение социальных предписаний // Язык и социальное познание. М., 1990. С. 56—65.

Ермакова 1994 — О. П. Е р м а к о в а [Рец. на кн.] Е. А. З е м с к а я. Словообразование как деятельность. М., 1992 // Вопросы языкознания. 1994. № 1. С. 150—154.

Ермакова, Земская 1993 — О. П. Е р м а к о в а, Е. А. З е м с к а я. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект / Отв. ред. Е. А. Земская, Д. Н. Шмелев. М., 1993. С. 30—64.

Ермакова и др. 1999 — О. П. Е р м а к о в а, Е. А. З е м с к а я, Р. И. Р о з и н а. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. Около 450 слов / Под общ. рук. Р. И. Розиной. М., 1999.

Земская 1968 — Е. А. З е м с к а я. Русская разговорная речь: Проспект. М., 1968.

Земская 1973 — Е. А. З е м с к а я. Современный русский язык: Словообразование. М., 1973.

Земская 1992 — Е. А. З е м с к а я. Словообразование как деятельность. М., 1992.

Земская 1996 — Е. А. З е м с к а я. Введение // Русский язык конца XX столетия (1895—1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1996. С. 9—31.

Земская 2001 — Е. А. З е м с к а я. Общие языковые процессы и индивидуальные речевые портреты // Язык русского зарубежья: Общие процессы и речевые портреты / Отв. ред. Е. А. Земская. М.; Вена, 2001. С. 25—277.

Земская 2003 — Е. А. З е м с к а я. Активные процессы в русском языке конца XX в.: норма не запрет, а выбор // Procesy innowacyjne w językach słowiańskich / Red. nauk. Z. Rudnik-Karwatowa. Warszawa, 2003. С. 245—257.

Земская и др. 1981 — Е. А. З е м с к а я, М. В. К и т а й г о р о д с к а я, Е. Н. Ш и р я е в. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1981.

Земская и др. 1993 — Е. А. З е м с к а я, М. В. К и т а й г о р о д с к а я, Н. Н. Р о з а н о в а. Особенности мужской и женской речи // Русский язык и его функциони-

рование: Коммуникативно-прагматический аспект / Отв. ред. Е. А. Земская, Д. Н. Шмелев. М., 1993. С. 90—136.

Левин 1981 — Ю. И. Левин. Тезисы к проблеме непонимания текста // Учен. зап. Тартуского ун-та. № 515. Тарту, 1981. С. 83—96. (Труды по знаковым системам; Вып. 12).

Медведева 1999 — И. Л. Медведева. Психолингвистические проблемы функционирования лексики неродного языка: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Уфа, 1999.

Мечковская 2003 — Н. Б. Мечковская. Типы языковых ситуаций и нормативно-стилистических систем в социальной характерологии славянских языков // Мовознаўства. Літаратуразнаўства. Культуралогія. Фалькларыстыка: XIII Міжнародны з'езд славістаў (Любляна, 2003): Даклады беларускай дэлегацыі. Минск, 2003. С. 105—128.

Мечковская 2004 — Н. Б. Мечковская. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. М., 2004.

Мечковская (в печати) — Н. Б. Мечковская. Чем интересен русский язык в рассеянье? // Russian Linguistics. Vol. 28. № 2. 2004 (в печати). С. 237—259.

Ратмайр 1996/2003 — Р. Ратмайр. Прагматика извинения. Сравнительное исследование на материале русского языка и русской культуры. М., 2003.

Русская разговорная речь 1973 — Русская разговорная речь / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1973.

Русский язык 1993 — Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект / Отв. ред. Е. А. Земская, Д. Н. Шмелев. М., 1993.

Русский язык 1996 — Русский язык конца XX столетия (1895—1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1996.

Русский язык 1997 — Русский язык [в серии:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich / Red. nauk. E. Širjaev. Opole, 1997.

Юрьева 1990 — Н. М. Юрьева. Функции производного слова в онтогенезе речи // А. М. Шахнарович, Н. М. Юрьева. Психолингвистический анализ семантики и грамматики (на материале онтогенеза речи). М., 1990. С. 59—140.

Язык 2001 — Язык русского зарубежья: Общие процессы и речевые портреты / Отв. ред. Е. А. Земская. Москва; Вена, 2001. (Wiener slawistischer Almanach; S.-Bd. 53).

Brown, Levinson 1987 — P. Brown, S. Levinson. Politeness: Some Universals in Language Usage. 2nd ed. Cambridge, 1987. (Studies in International Sociolinguistics; 4).

Jelitte 1994 — Н. Jelitte [Рец. на кн.] Е. А. Земская. Словообразование как деятельность. М., 1992 // Russian Linguistics. 1994. Vol. 16. № 3. С. 389—394.

Waszakowa 1993 — К. Waszakowa [Рец. на кн.] Е. А. Земская. Словообразование как деятельность. М., 1992 // Poradnik językowy. 1993. № 6. S. 360—365.

Н. Б. Мечковская

ПУБЛИКАЦИИ

Р. И. АВАНЕСОВ

ИЗ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ (фрагменты беседы)

В апреле 1981 года член-корреспондент АН СССР Рубен Иванович Аванесов беседовал с молодыми сотрудниками Института русского языка АН СССР. Рубен Иванович рассказал об основных вехах в создании московской фонологии, об одном из возможных направлений ее развития, подчеркнул главный тезис в теории Московской фонологической школы. В рассказе Р. И. Аванесова о возникновении МФШ много новых, ранее неизвестных деталей. Интерес представляют и фонологические взгляды Р. И. Аванесова, высказанные им спустя 25 лет после споров, вызванных его книгой 1956 г.

Магнитофонная запись этого выступления хранится в Отделе экспериментальной фонетики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Текст записи был подготовлен к публикации Надеждой Евгеньевной Ильиной в 1985 г. Его предполагалось напечатать в очередном выпуске сборника «Развитие фонетики современного русского языка», однако по ряду причин «экстралингвистического» характера сборник так и остался в рукописи. С любезного согласия ответственного редактора сборника Н. Е. Ильиной редакция публикует данный материал на страницах журнала.

Говорить о Московской фонологической школе — это значит говорить о всей жизни, начиная с того дня, как я поступил в Университет. Это будет раскрытие основных положений МФШ. Это будет рассказ о той атмосфере, в которой она складывалась, о том, как мы встречались друг с другом, как постепенно у нас возникли научные связи.

Я дважды поступал в Университет. Первый раз сразу после окончания школы, в девятнадцатом году. Тогда достаточно было только подать заявление: «Прошу принять меня на филологический факультет...». Причем неважно было, закончил ли ты среднюю школу или нет. Я проходил мимо Университета — а я увлекался Достоевским, не лингвистикой, хотел писать работу о Достоевском — и подал заявление. Через три дня я пришел, увидел, что я принят в Московский университет. Но потом так больше ни разу там не появился, потому что это были трудные годы, голод. Я начал работать. В общем, прошло три года. И вот я уже имел трудовой стаж два три года и работал в местном Московско-Киевско-Воронежской железной дороге. (Это был железнодорожный лесной комитет, наша организация го-

товила дрова для паровозов.) Я получил направление от профсоюза деревообделочников в Университет. И опять в Университете меня не спросили, ни что я окончил, ни почему я туда поступаю, а просто зачислили, потому что этому профсоюзу было выделено несколько мест.

И вот первого сентября 1922 года я пришел в аудиторию, где Михаил Николаевич Петерсон читал введение в языкознание. Я сел на скамеечку. Рядом подсел молодой человек, очень такой гривастый, черноволосый, скуластый, губастый. Это оказался Владимир Николаевич Сидоров. Мы с ним разговорились, и с этого дня началась совместная жизнь, совместная работа, которая продолжалась очень долго: до начала войны, можно считать, мы с ним все делали вместе, порознь никто ничего не делал. Я думаю, если говорить о зародыше школы, то надо сказать, что все началось тогда, когда мы встретились в Университете. Наше направление складывалось постепенно, мы все шли разными путями — подобно отдельным ручейкам, сливающимся в реку. Вот одной из «тропинок», которая привела нас к МФШ, была наша с Владимиром Николаевичем совместная работа.

Надо сказать, что в эти годы наша наука была очень сильно отгорожена от западноевропейской: начиная с 1914 г., и особенно в послереволюционные десятилетия, не было таких крепких связей с зарубежными учеными, которые установились уже потом, в наше время. Так, о Соссюре мы впервые услышали на лекции Михаила Николаевича Петерсона, причем в такой «доморощенной», я бы сказал, редакции. Михаил Николаевич очень подчеркивал, что нельзя изучать отдельные особенности языка, а надо изучать язык в целом, как систему.

Мы очень рано приобщились к диалектологической работе, потому что оба учились у Афанасия Матвеевича Селищева и Дмитрия Николаевича Ушакова, которые направили наши интересы в область диалектной фонетики¹. Уже в первые студенческие годы мы участвовали — вначале порознь — в диалектологических экспедициях, и первые наши работы были посвящены отдельным говорам. В 1927 году я получил сразу два предложения участвовать в диалектологических экспедициях: одно — с Петром Саввичем Кузнецовым, а другое — с Владимиром Николаевичем Сидоровым. Я колебался, в какую экспедицию поехать. Сначала я договорился с Петром Саввичем Кузнецовым и Андреем Николаевичем Колмогоровым

¹ Ср. также воспоминания А. А. Реформатского о зарождении МФШ: «Все мы шли разными путями. Основу этой школы заложили Рубен Иванович Аванесов и Владимир Николаевич Сидоров, учившиеся вместе в Московском университете и начавшие разрабатывать фонологию на диалектологическом материале и еще студентами ставшие активными участниками Московской диалектологической комиссии при Академии наук. Там под руководством Д. Н. Ушакова, а далее и А. М. Селищева получили они свое первое лингвистическое крещение. Там они стали лингвистами» [Реформатский 1970: 14].

плыть на лодках на Мезень², но в последнюю минуту им изменил и отправился с Владимиром Николаевичем на Ветлугу. Я думаю, что наш интерес к описанию фонетической системы языка во всей сложности его функционирования относится ко времени, когда мы стали заниматься диалектологией. Мы хотели все осознать в целостности. Диалектологи обычно записывали то, что кажется им отличающим данный диалект от литературного языка, — мы же старались ухватить все. У нас получалось очень тяжеловесное описание, в котором многое было таким же, как в литературном языке, и в нем тонули отдельные элементы диалектной речи.

В 1928 году наш учитель Михаил Николаевич Петерсон предложил вместе с нами, то есть со мной и Владимиром Николаевичем, поехать в диалектологическую экспедицию в село Дорофеево Шатурского района Московской области³. Мы собирались написать коллективную монографию: я — фонетику, Владимир Николаевич — морфологию, а Михаил Николаевич — синтаксис. В экспедицию мы съездили, монографию составили, но ничего не напечатали. Только Михаил Николаевич Петерсон опубликовал свою часть в трудах ИФЛИ в сороковом или сорок первом году, перед войной⁴. А наши материалы, как вообще значительная часть моих диалектологических материалов и материалов Владимира Николаевича, остались ненапечатанными...

В 1928 году на Московской диалектологической комиссии мы с Владимиром Николаевичем сделали совместный доклад о фонетической системе говора села Дорофеева Шатурского района Московской области (доклад читал я). После моего выступления ко мне подошел Григорий Андреевич Ильинский. Он был очень вежливый человек, пожал мне руку и сказал: «Я очень вам благодарен за ваш очень интересный доклад, но мне было бы интересно знать, почему вы так много говорили о том, что является общим с литературным языком, может быть, следовало бы выделить собственно диалекты?». Вот этот вопрос очень характерен для представителей старой младограмматической индоевропейской школы. У нас же основная идея доклада как раз заключалась в том, чтобы дать с и с т е м у диалекта, а не то, чем отличается диалект от литературного языка, тем более что мы описывали подмосковный говор, в общем очень близкий к литературному языку, отличия были минимальными. Итак, мы с Владимиром Николаевичем пришли к понятию с и с т е м ы я з ы к а (применительно к звуковой системе) ч е р е з д и а л е к т о л о г и ю.

Другие наши товарищи приходили к этому же, но другими путями. Например, Александр Александрович Реформатский. Реформатский был стар-

² Об этой поездке сохранились воспоминания П. С. Кузнецова, см. [Кузнецов 2003: 181].

³ Отчет об этой экспедиции см.: [Петерсон, Аванесов, Сидоров 1930].

⁴ Статья М. Н. Петерсона была опубликована в трудах МИФЛИ в 1939 году [Петерсон 1939].

ше нас и годами, и по курсам, но мы довольно рано начали встречаться, хотя сначала особенно близки не были. Реформатский рано стал работать в издательствах. Он был техредом — техническим редактором, а потом даже занимался оформлением книг⁵. Уже в тридцатых годах Александр Александрович написал прекрасную большую книгу, где обобщил свой опыт техники оформления книги⁶. Он там затрагивает вопросы графики, орфографии и вообще вопросы семантики. Вот из этих прикладных областей А. А. Реформатский также пришел к вопросам фонологии. Один из самых ранних моментов в организации нашей работы в области фонологии — это объединение, которое, наверное, Реформатский назвал *ДАРС*. *ДАРС* — это объединение четырех лиц. Первое лицо, вам как раз неизвестное, — Сергей Иванович Дмитриев, наш товарищ по Университету: *Д*. *А* — это Аванесов, *Р* — это Реформатский, *С* — это Сидоров. Мы задумали большую книгу наподобие «Основ языковедения», в которой я должен был написать опять-таки фонетику, Реформатский — морфологию, Сидоров — синтаксис, а Дмитриев — лексику. Ну, из этой книги у нас ничего не получилось, однако мы собирались, обсуждали, какие-то материалы готовили... Больше всего наши интересы сходились вокруг вопросов фонологии.

Если говорить о развитии нашей Московской фонологической школы, то необходимо упомянуть еще одного человека, относящегося к поколению наших учителей, который не был непосредственно связан с Московской школой, но с которым мы — в особенности я и Владимир Николаевич — поддерживали отношения. Это Николай Николаевич Дурново. После его возвращения из Праги, где он находился в длительной служебной командировке, мы стали с ним встречаться. Он являлся членом Московской диалектологической комиссии. Это был удивительный человек, который не считал зазорным учиться у своих учеников. Дурново до революции был приват-доцентом Московского университета. У него учился Роман Осипович Якобсон. В Праге Дурново общался с Романом Осиповичем. Когда Дурново вернулся, он нам, только что окончившим университет, говорил, что многому научился у своего ученика Романа Якобсона. Николай Николаевич также загорелся идеями фонологии. И вот в конце двадцатых годов мы с ним втроем наметили написать книгу «Грамматика русского языка», где я должен был писать фонетику, Сидоров — морфологию, а

⁵ Ср. фрагмент воспоминаний А. А. Реформатского: «Я шел иным путем: служил в издательствах, думал о знаковости в письменной и печатной речи; в то же время была написана „Техническая редакция книги“, которая сейчас больше интересуется лингвистов, чем полиграфистов. Да, действительно, в этой книге есть „семантические наблюдения“, которые пригодились будущим теоретикам по новой дисциплине — теории информации» [Реформатский 1970: 14].

⁶ См. [Реформатский 1933]. Извлечения из этой книги позднее были опубликованы в [Реформатский 1987: 141—179]; текст подготовлен к печати М. В. Пановым.

Дурново — синтаксис. Но из этого, как вы знаете, тоже ничего не получилось. Дело в том, что в конце 1933 года Дурново был арестован⁷. Надо сказать, что знакомство с ним и вообще связи дорого стоили Владимиру Николаевичу Сидорову, которого также через месяц арестовали⁸. Таким образом, задуманная нами работа так и осталась только начатой, но незавершенной, хотя, должен сказать, что это был первый намек на нашу будущую совместную с Владимиром Николаевичем работу «Очерк грамматики русского литературного языка. Часть 1. Фонетика и морфология».

Заочную связь с Владимиром Николаевичем, несмотря на его ссылку, мы установили довольно быстро — примерно через год после его ареста. Ввиду болезни ему назначили жить в Казани, и я летом 1935—1936 гг. к нему ездил. Мы обсуждали разные вопросы и все-таки сумели написать учебник по русскому языку для педтехникумов⁹. Он переиздавался три или четыре раза, вплоть до сорокового года. Там нет еще термина *фонема*, но дано первое краткое описание фонологической системы русского литературного языка, даже есть одна главка по теории орфографии и ее связи с фонологией.

Важное значение имело объединение многих из нас в работе, связанной с реформой русской орфографии. В 1931 году при Наркомпросе была организована комиссия по реформе орфографии. Мы стали ее обсуждать в Научно-исследовательском институте языкознания (такой был НИИЯз при Наркомпросе, он помещался на улице Кирова)¹⁰. Там мы встретились еще с одним человеком, который оказался очень ценным приобретением как в нашей личной товарищеской жизни, так и в нашей научной работе. Это Алексей Михайлович Сухотин. Было заседание, посвященное вопросам реформы орфографии. И вот какой-то уже пожилой человек (ну, мы молодые были, а он лет на десять-двенадцать старше), одетый в какую-то гимнастерку необычного вида, сказал: «Вот вы тут говорите о реформе орфографии, а вы знаете, есть такие Аванесов и Сидоров, которые написали в журнале „Русский язык в школе“ статью „Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка“¹¹. Там совершенно справедливо подчеркивается, что буква обозначает не звук, а фонему». А мы тут рядом сидим, и кто-то нас ему показывает. Тут мы с ним и познакомились.

Ну, я не знаю, много ли вы слышали о Сухотине. Сухотин — это сын Михаила Сухотина, мужа одной из дочерей Льва Николаевича Толстого.

⁷ О так называемом «Деле „Российская национальная партия“», по которому были осуждены Н. Н. Дурново, В. Н. Сидоров и другие лингвисты, см. в [Ашнин, Алпатов 1994].

⁸ Подробное описание материалов следственного дела В. Н. Сидорова из Центрального архива ФСБ дается в [Ашнин, Алпатов 2004].

⁹ Первое издание учебника вышло в 1934 году [Аванесов, Сидоров 1934], издание 2-е, исправленное, — в 1935 г., а 3-е — в 1936 г.

¹⁰ См. также воспоминания П. С. Кузнецова [Кузнецов 2003: 205].

¹¹ См. переиздание этой статьи: [Аванесов, Сидоров 1970].

Имение Сухотиных находилось рядом с именем Толстых, и Алексей Михайлович Сухотин в нашем кружке назывался Феодалом. Это Александр Александрович Реформатский дал ему такое прозвище. Алексей Михайлович Сухотин в детстве сживал на коленях у Льва Николаевича Толстого. Он кончил аристократическое учебное заведение, училище правоведения и пошел по дипломатической линии. До революции он был советником Российского посольства где-то в Черногории и в Сербии. Первая мировая война застала его на дипломатическом посту, он, кажется, был переведен в Париж, видел многих государственных деятелей того времени: Пуанкарэ, Мильорана... Я не знаю, когда он вернулся в Россию, — до революции или сразу после. Но когда я принимал его на работу в Городской педагогический институт, я видел его анкету. У него там написано: 1914—1916 годы — советник посольства в Париже, 1918 год — член ревтрибунала Тамбовской губернии... Как это у него получилось — я не знаю. У меня на работе была из-за него тысяча и одна неприятность, потому что анкета такая, что вообще никуда не годится. Но все-таки каким-то образом удавалось его сохранять...

Сухотин, как я уже сказал, по годам относился к поколению наших учителей — он был 1889 года рождения, — но он стал нашим, если хотите, младшим другом. Ведь он имел образование, так сказать, общее: школа правоведения. Но в начале двадцатых годов он был аспирантом Николая Феофановича Яковлева, изучал тюркские языки и, в частности, непосредственно турецкий язык. Это был талантливейший человек, остро воспринимавший все, один из самых острых умов, который я вообще в жизни когда-нибудь встречал. Не имея специального филологического образования, он самоучкой дошел до того, до чего многие из нас не могли прийти путем профессиональной многолетней выучки.

Я не сказал, что в стороне от нас был Н. Ф. Яковлев, который является во многом предтечей московской фонологии. Еще в 1923 году вышла его работа «Таблицы фонетики кабардинского языка», некоторые очень ясные фонологические положения ее сохранили свою ценность до сих пор. А немного позднее, уже во второй половине 20-х годов появилась его превосходная статья «Математическая формула построения алфавита»¹², где дано краткое описание фонологической системы в связи с ее отображением русской графикой и орфографией. Я думаю, что эта статья является этапной вообще в истории развития фонологии. Таким образом, наши «дяди» — это, с одной стороны, Николай Феофанович Яковлев, а с другой — Николай Николаевич Дурново, который направлял нас в сторону фонологии, хотя сам ею не занимался.

Постепенно началось наше объединение. Сначала мы встречались в кругу, так сказать, домашнем (это так называемый ДАРС), потом в связи с реформой орфографии и, наконец, в самом начале 30-х годов — в Москов-

¹² См переиздание статьи: [Яковлев 1970].

ском городском педагогическом институте. В 1932 году я был приглашен в Московский городской педагогический институт, который только что образовался, заведовать кафедрой русского языка. Кстати, в то время ни у кого из нас никаких званий и степеней не было. Но меня почему-то пригласили заведовать кафедрой и быть профессором этого института. Я помню, когда через месяц или два кто-то оттуда позвонил ко мне домой и спросил профессора Аванесова, моя жена Лидия Моисеевна расхохоталась прямо в трубку. «Какого профессора?» — говорит. Она даже не поняла сначала, о ком речь. Ну, словом, оказалось, что я стал профессором.

Я сразу стал организовывать кафедру. Первым делом, естественно, я пригласил Владимира Николаевича, а потом и других единомышленников: П. С. Кузнецова, А. А. Реформатского, А. М. Сухотина, Г. О. Винокура, А. Б. Шапира, А. М. Селищева, вернувшегося из ссылки¹³. С середины 30-х годов на кафедре стал работать Сергей Игнатьевич Бернштейн, переехавший в Москву из Ленинграда. Он играл важную роль в жизни кафедры. Он был одним из лучших учеников Льва Владимировича Щербы. И с этим «щербовским наследием» он пришел к нам. Но тут Сергей Игнатьевич столкнулся с совершенно другими представлениями, другими понятиями. С одной стороны, мы должны были хорошо понять его аргументацию, но, с другой стороны, сам Сергей Игнатьевич должен был пересматривать свои позиции, и он их пересматривал. Конечно, нельзя сказать, что он перешел к нам совсем, вовсе нет. Но вы знаете, не так давно, лет пять-шесть-семь назад, в «Вопросах языкознания» появилась статья (не помню, как она называлась), написанная С. И. Бернштейном гораздо раньше, где он совершенно не является ортодоксальным щербинцем¹⁴. Я не касаюсь здесь существа наших споров, да это и невозможно в краткой беседе, а только описываю, так сказать, внешнюю сторону наших отношений. Надо сказать, что кафедра русского языка Московского городского педагогического института в тридцатые годы стала основным центром лингвистической мысли в Москве, во всяком случае в области фонологии и русского языка¹⁵.

¹³ А. М. Селищев в 1934 г. был арестован по делу «Российская национальная партия», отбывал наказание в заключении, а затем в ссылке [Ашнин, Алпатов 1994].

¹⁴ Статья, упоминаемая Р. И. Аванесовым, называется «Основные понятия фонологии», см. [Бернштейн 1962].

¹⁵ Ср. воспоминания М. В. Панова о кафедре русского языка в Московском городском педагогическом институте в 30-е гг. и ее заведующем: «...он вел кафедру с необыкновенной смелостью, строгой требовательностью и чувством ответственности перед наукой. Он не был тягостью для своих подчиненных; его строгость заключалась в выборе сотрудников: с удивительной чуткостью и смелостью он подобрал таких ученых-педагогов, которых не надо было контролировать и направлять. (...) Кафедрой заведовал смело, написал я; в первую очередь это проявлялось в том, что он не боялся брать преподавателями бывших каторжан. (...) Одна из его серьезнейших заслуг — он, в 30-е годы, отстоял кафедру от яростного натиска марристов. Антимарристское сопротивление — таков был общий дух кафедры.

В 1939 году В. Н. Сидоров вернулся в Москву, и мы с ним продолжили нашу совместную работу. К началу 1940 года была готова книга «Очерк грамматики современного русского литературного языка». В сороковом году ее сдали в печать. Она была набрана в конце 1940 года, но не успела выйти до начала войны. Однако матрицы сохранились в типографии, в 1944 году их обнаружили, а в 1945 году напечатали книгу. Таким образом, эта наша работа относится к 1940 году. В 1941 году под моей редакцией вышли Труды Московского городского педагогического института по кафедре русского языка¹⁶. Там были напечатаны две важные статьи, которые наряду с нашей с Владимиром Николаевичем книгой послужили основой для дальнейшей работы в этом направлении. Это статья П. С. Кузнецова «О фонологической системе французского языка»¹⁷ и статья А. А. Реформатского «Проблема фонемы в американской лингвистике»¹⁸. Можно считать, что основные положения фонологической теории в этих трудах были уже высказаны, т. е. теория сложилась в предвоенные годы. Говоря о Московской фонологической школе, нужно сказать вот о чем: фонология не являлась для нас лишь учением о звуковом составе слова, это было мировоззрение, это было особое мирозерцание.

Одновременно шла работа над лингвистическим атласом русского языка. И здесь мой фонологический опыт очень помог уяснить те теоретические вопросы, которые ставила перед нами лингвогеография. Ведь там тоже есть оппозиции, нейтрализация, дополнительная дистрибуция — все, что есть в фонологии, там тоже присутствует, но совершенно в другом плане. Чрезвычайно важным этапом для меня явились «Очерки русской диалектологии» (1949 г.), где я представил фонологическое описание русских говоров как целого строя.

Во время войны многие из нас уехали из Москвы и наши контакты нарушились, но мы писали друг другу письма¹⁹. В последний период войны

Пресловутые четыре элемента не проникали в лекции, не отравляли сознание студентов. Наоборот, гонимая Марром индоевропеистика, настоящее славяноведение, русистика, опирающаяся на испытанные традиции, определяли работу кафедры» [Панов 2002: 12—13].

¹⁶ Ученые записки Московского городского педагогического института. Кафедра русского языка. 1941. Т. 5. Вып. 1.

¹⁷ Р. И. Аванесов не вполне точно дает название этой статьи, она называлась «К вопросу о фонематической системе современного французского языка»; см ее более позднее переиздание: [Кузнецов 1970].

¹⁸ См. более позднее переиздание статьи: [Реформатский 1970a].

¹⁹ Ср. фрагмент письма А. М. Сухотина Н. А. Янко-Триницкой от 24.12.1941 г. (в это время Н. А. Янко-Триницкая находилась в эвакуации в Свердловске, а А. М. Сухотин — в Ульяновске): «Мы почти все рассеялись: Аванесов — в Козьмодемьянске (Марийской АССР, адрес: ул. Некрасова, 35), В. Н. Сидоров — в Красноярске (адрес его можете узнать через Аванесова), Шапиро выехал из Москвы, но где сейчас — не знаю, Варя (В. Г. Орлова. — *ред.*) — у Аванесова, Тоня

наши научные связи постепенно восстанавливались. Мы стали собираться в этом самом здании²⁰, тут был Институт языка и письменности народов Советского союза. Мы возобновили работу над Атласом, снова вернулись к обсуждению проблем фонологии. Надо сказать, что послевоенные годы оказались чрезвычайно трудными: марровское давление усилилось до невозможной степени, так что работать становилось все труднее. На нас начались нападки не только научного, но и политического характера. Нам говорили, что наша теория научно несостоятельна, что это идеализм, агностицизм, перепевы задов буржуазной лингвистики и так далее.

В декабре 1948 г. я отдыхал в санатории в Узком и ко мне приехал секретарь партийной организации Института русского языка. Он мне сообщил, что по постановлению партийной организации я должен сделать доклад в Ленинграде на сессии Академии наук, посвященной дискуссии по проблемам фонетики и фонологии. Хочешь не хочешь, а надо делать. Я там же, в санатории, две недели писал доклад. И вот в начале 1949 года в Ленинграде состоялась грандиозная дискуссия. Причем к этой дискуссии готовились как к бою. Например, со мной в Ленинград поехала моя жена Лидия Моисеевна — на случай оказания, так сказать, медицинской помощи, если понадобится. Ну, что это такое было — это даже трудно сейчас себе представить. Там был доклад Льва Рафаиловича Зиндера²¹, который назывался, кажется, «Проблема фонемы и учение Марра», и мой доклад «К вопросу об основных принципах теории фонемы». Были и другие доклады, но основная дискуссия разгорелась вокруг этих двух. Марристы нападали на московскую фонологию. Погром был страшный²². Выступали Кацнельсон, Аврорин, Десницкая, Гухман, Филин, Гринькова и многие другие.

(А. В. Алексеева. — *ред.*) — в Горьком. Я вас всегда помню и очень мечтаю о встрече и совместной работе. Пишите: держите связь! Ваш А. Сухотин» [Из переписки Н. А. Янко-Триницкой... 2004: 66].

²⁰ Т. е. в здании Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, которое находится по адресу: Москва, ул. Волхонка, дом 18.

²¹ Выступлению Л. Р. Зиндера предшествовала публикация в «Известиях АН СССР» его полемической статьи «Существуют ли звуки речи?», см. [Зиндер 1948].

²² Об этом заседании вспоминает и А. А. Реформатский: «В январе 1949 г. в Ленинграде была организована фонологическая дискуссия с явным намерением разоблачить МФШ в свете нового учения об языке Н. Я. Марра. К этому времени были опубликованы полемические статьи Л. Р. Зиндера „Существуют ли звуки речи“ и Ф. П. Филина „О двух направлениях в языкознании“. В связи с предстоящим выступлением на указанной дискуссии Р. И. Аванесова была написана большая статья „К вопросу об основных принципах теории фонем“ (48 машинописных страниц), где автор главным образом полемизировал с Л. Р. Зиндером и представленной в его статье точкой зрения. Статья Р. И. Аванесова не была напечатана, хотя некоторые ее положения вошли в позднейшие публикации Аванесова. Однако никакие вежливые „реверансы“ по адресу Марра ни Аванесову и никому другому во время не помогали. Шла демагогическая война» [Реформатский 1970: 31—32].

Лексика употреблялась совершенно недопустимая в научном обиходе: задворки буржуазного идеалистического языкознания, перепевы ученых-эмигрантов, князя Трубецкого, идеализм, реакционное учение — в общем, чуть ли не контрреволюция. Правда, когда я недавно перечитывал свой доклад (в связи с работой А. А. Реформатского по истории Московской фонологической школы), то увидел, что я использовал похожие выражения, там была просто неприличная ругань по отношению к Льву Рафаиловичу Зиндеру, с которым вообще-то у нас отношения и тогда, и потом были самые хорошие. Я вам скажу, что вот эти склоки отчасти отразились и в печати. В 1949 году в «Известиях Академии наук» появилось несколько статей, в которых мы подвергались уничтожающей критике.

Значит, если говорить о Московской фонологической школе, то надо сказать, что Аванесов, Сидоров — это один «ручеек», Реформатский — другой, Кузнецов — третий. Потому что хотя мы и учились вместе, но во время учебы так близки не были. Мы сблизились потом, в связи с реформой орфографии. Теперь нас где-то, на каком-то перекрестке поджидал Сухотин. Вот, я думаю, эти пять человек, их работы и есть то, что называют Московской фонологической школой. Но у нас были и, так сказать, члены-соперники, или сочувствующие. Это прежде всего Григорий Осипович Винокур.

Григорий Осипович был старше нас, не нашего студенческого поколения. Это был широко образованный филолог и прекрасный лингвист, который, правда, на долгие годы отрывался от лингвистики. Между прочим, одной из моих (извините за нескромность) заслуг является привлечение Григория Осиповича обратно в область филологии и лингвистики. Дело в том, что Григорий Осипович написал прекрасную книгу «Культура языка»²³, у него печатались статьи в ЛЕФ'е и в других местах. Но житейские обстоятельства его сложились так, что он отошел от лингвистики и ударился в журналистику. И вот, я помню, в 1933 году, когда я организовывал кафедру русского языка Московского государственного педагогического института, я на Арбатской площади встретил Григория Осиповича (а он жил на Арбате) и сказал ему: «Григорий Осипович, я хочу вас пригласить в городской пединститут, хочу, чтоб вы читали историю русского языка». Он отвечает: «Ну, понимаете, я отстал, я уже не знаю новых работ...». А я ему: «Не боги ведь горшки обжигают, давайте, попробуйте». И он стал работать в пединституте. Первый лингвистический курс, который он читал, был курс истории русского литературного языка²⁴. Он, конечно, не был фонетистом и не был сам, собственно говоря, фонологом, но, интересуясь

²³ См. [Винокур 1925; 1929].

²⁴ Об этом периоде своей жизни Г. О. Винокур писал в Curriculum vitae (в 3-м лице, как того требовал жанр документа): «С 1934 г. состоит профессором в Московском Городском Педагогическом Институте, где читает историю русского языка» [Винокур 1999: 459].

многими общими вопросами языкознания, он очень быстро понял наши идеи и очень им сочувствовал.

Другим сочувствующим был Абрам Борисович Шапиро. Любопытно его первое приобщение к московской фонологии. Его жена Фаина Абрамовна была студенткой вечернего отделения Московского городского педагогического института. Она слушала мои лекции. И вот Абрам Борисович познакомился с московской фонологией по записям лекций в тетрадке жены. Потом он стал беседовать со мной по этим вопросам и в своем преподавании тоже близко к нам примкнул. В его книге «Русское правописание» наши идеи в какой-то мере учтены²⁵.

Ну, потом публикации наших работ стали многочисленными. Уже и мы писали, и многие наши ученики писали. Из самых старших наших учеников бы назвал Варвару Георгиевну Орлову. Наверное, в 1934 году она была студенткой. Это моя ученица. Ирина Сергеевна Ильинская, ученица Григория Осиповича Винокура, также вошла в наш коллектив. Конечно, Михаила Викторовича Панова надо на первом месте отметить. Ну, и многие-многие другие.

Теперь я хотел бы сказать о том, что к середине пятидесятых годов между отдельными членами Московской фонологической школы возникли разногласия. Поводом для этих разногласий послужило появление моей книги «Фонетика современного русского литературного языка»²⁶. Я должен сказать, что мои ближайшие товарищи не сочувствовали тем некоторым новым для меня положениям, которые я изложил в этой книге. Тут с самого начала я хотел бы сказать, что я не считаю, что наши положения так называемой Московской фонологической школы всегда могут быть одинаковыми. И я отнюдь не считаю и не считал даже в тот день, когда отдал свою книгу в печать, что она является совершенством. Кстати, я должен сказать, что эта книга вышла в свет благодаря упорству и требовательности моей ученицы Клавдии Васильевны Горшковой. Книга стояла в издательском плане Университета, и я над ней работал, но мне казалось, что все не так, что многое надо переделать, дописать... Однажды ко мне на дачу приехала Клавдия Васильевна и сказала: «Терпеть больше невозможно, надо печатать». Она буквально взяла с письменного стола все, что было написано, и отнесла в издательство. Она сама была редактором книги, сделала оглавление и вообще привела в христианский вид.

Значит, я отнюдь не считаю эту работу законченной и не считаю, что это последнее слово науки, и не только науки в целом, но и мое в науке. Но я не могу согласиться с моими главными товарищами Реформатским, Кузнецовым и Сидоровым, что вот варианты, вариации, гиперфонема — это так установлено и так должно быть. А я считаю, что, может быть, со временем выяснится, что это не совсем так или совсем не так, что вообще можно идти, двигаться вперед. Я сейчас попробую объяснить.

²⁵ См. [Шапиро 1961].

²⁶ См. [Аванесов 1956].

Значит, мы в Московской фонологической школе говорили, что в слове *вода* предударное [Λ] есть вариант фонемы ⟨о⟩, а в слове *трава* предударное [Λ] — вариант фонемы ⟨а⟩. С какой-то точки зрения это совершенно правильно, потому что в предударном положении всякое [ó] замещается [Λ] и всякое [á] также замещается [Λ], и в каком-то смысле [ó] и [Λ], [á] и [Λ] — одно и то же. Но дело в том, что это [Λ] имеет двоякую функцию. Как выразились бы позднее, тут надо учитывать парадигматическую и синтагматическую ось. Когда мы говорим, что [Λ] есть замена [ó], мы имеем в виду парадигматический аспект. Но ведь [Λ] само по себе выполняет какую-то роль и противопоставлено другим элементам. Если вы откроете «классическую» (в кавычках, конечно) книгу Аванесова и Сидорова²⁷, или, как Реформатский пишет, ортодоксальную, — то вы прочтете там, что [Λ] есть вариант ⟨о⟩. Но найдем ли мы там указание, какова функция этого самого [Λ]? Абсолютно нет. Предположим, если в *вода* [Λ] вариант фонемы ⟨о⟩, то какую функцию выполняет [Λ] — в нашей книге не написано. И вообще этот вопрос школа замалчивает. Между тем в этом случае [Λ] противопоставлено [у] и [ы]. Значит, в позиции первого предударного слога может быть, например, *с[у]рок*, *с[ы]рок* и *с[Λ]рок*. Вот об этом там не говорится. Между тем важно, с одной стороны, что [Λ] в *с[Λ]рок* — это заместитель ⟨о⟩ (*с[ó]рок*). А с другой стороны, ведь очень важно, что звуком [Λ] *с[Λ]рок* отличается от *сурок* и *сырок*.

Приведу другой пример. Русская фонологическая система основана прежде всего на широкой коррелятивной категории твердости-мягкости, которая охватывает, почти насквозь пронизывает консонантизм, но которая очень существенна и для вокализма. Значит, поскольку мягкие-твердые перед многими гласными — сейчас, может быть, можно сказать: перед всеми гласными — различаются (*та — тя, ту — тую, ты — ти* и даже *тэ — те* теперь может быть), то у нас существуют параллели в вокализме после мягких и после твердых согласных. Ведь мы говорим, что в [ты] и [т'и] одна гласная фонема, в [та] и [т'а], [то] и [т'о], [ту] и [т'у] тоже одна гласная фонема. А теперь возьмем предударный слог. Предположим, *пытать* и *питать*: [ы] и [и] также ведь одно и то же. Вот не придумаю никак примера... скажем, если бы была пара *тукá* и *тюкá* — ⟨у⟩ ведь тоже одна фонема. А что такое [т'и³ни]? (Я возьму тот вариант литературного языка, где произносится в 1-м предударном слоге [и³], т. е. не-[и].) С точки зрения ортодоксальной московской школы [и³] — это вариант фонемы ⟨а⟩ ([т'и³ни] — [т'á]нут). Очень хорошо. Но само по себе [т'и³нут] что такое? Чему противопоставлен гласный первого предударного слога [и³] (я беру тип не-[и])? Он будет противопоставлен [и] и [у]. Теперь дальше. Предударные [и], [ы] после мягких / после твердых — одно и то же, предударные [у] и [у] — одно и то же. Есть также предударный [Λ] («крышка»), например, *т[Λ]ни* и [и³] — [т'и³ни]. Что это? Это ведь также то же самое. А где это сказано у Реформатского или Кузнецова?

²⁷ [Аванесов, Сидоров 1945].

Значит, если в ударном слоге постоянный параллелизм, то он есть и в первом предударном слоге. Между тем, конечно, в *n[ы]тать* и *n[и]тать* — одна и та же гласная, в *n[у]згать* и *n[ʹу]згать* (если бы такое слово было) — тоже. А *t[л]нуть* и *t[и³]нуть* — это одна и та же гласная или разные? Значит, модель русского вокализма в первом предударном слоге (в типе, где не-[и]) после твердых и мягких согласных одна и та же: [ы]-[у]-[л] — [и]-[ʹу]-[и³]. Если [и] равно [ы], [у] равно [ʹу], то [л] и [и³] тоже ведь друг другу равны, это одно и то же. Мне кажется, что этого не сказано ни у Аванесова — Сидорова, ни у Реформатского. И мне кажется, что это очень важно. Другое дело — хорошо ли я назвал: слабая фонема, сильная фонема, фонемный ряд. Я отнюдь не настаиваю на этой терминологии. Может быть, можно и лучше придумать. Кстати, например, вместо фонемного ряда, конечно, гораздо лучше подошла бы морфонема. Но этот термин имеет другое значение, например, в работах Трубецкого и у многих других авторов.

Говоря о составе фонем, надо говорить о составе сильных фонем. И у меня ясно говорится, что сильные и слабые фонемы нельзя причислять друг к другу: пять и еще пять или десять. Точно так же как нельзя прибавить двадцать яблок к тридцати стульям, предположим, или даже к тридцати грушам. Конечно, здесь многие вопросы надо продолжать обдумывать.

Еще в докладе 1948 года я говорил о том, что высшая единица каждого уровня является низшей единицей следующего, высшего, уровня. Сейчас это можно считать общепринятым положением. Мне кажется, что фонема Московской школы или мой фонемный ряд — это есть высшая единица фонологии и низшая морфонологии. То есть ряд ⟨о⟩—⟨а⟩ и так далее — это низшие единицы морфонологии. Чередование этих единиц, то есть высших в фонологии и низших в морфонологии, образует чередование фонем. Но я бы их назвал морфонемами, потому что никакого единства между ⟨о⟩ и ⟨а⟩ и ⟨с⟩ и ⟨ш⟩ в *носит — нашивать* я не вижу. Это просто разные фонемы, которые чередуются и которые не образуют чего-то общего. В то время как фонемный ряд — это есть единица. Конечно, сам термин *фонемный ряд* не особенно хороший, потому что для названия используется слово *ряд*, а имеется в виду нечто цельное.

Я бы тут высказал такую мысль. Мне кажется, что морфонология не образует, так сказать, особого яруса наряду с фонологией, а является некоторой промежуточной зоной. Она отличается от фонологии тем, что не знает позиций, позиционных условий, а от морфологии тем, что эти явления морфонологии незначимы сами по себе, т. е. не облечены каким-либо значением.

В своем выступлении я не излагал основ Московской фонологической школы. Думаю, в этом не было необходимости. Но мне кажется, что нас отличает от шербианцев и всех других учение о позиции. П о з и ц и и. Дело в том, что для учеников Щербы проблемы позиции не существует, потому что для них на конце слов *плот — плот* в обоих случаях одна и та

же фонема /t/. А для нас в слове *плот* (*плота*) — одно, а в *плод* (*плода*) — другое. Таким образом, учение о позиции — существеннейший момент нашей теории.

Возможно, я довольно бессвязно тут кое-что вам рассказал, но ведь невозможно в одной беседе изложить все, о чем я думал в течение сорока лет. Для всех вас важно всегда быть уверенными в том, что то, о чем вы сейчас думаете, что излагаете, не является абсолютно постоянным. Всегда можно изменять то, что мы думаем. Каждый может и вправе отстаивать свою точку зрения, но, мне кажется, всегда не мешает помнить, что ваша точка зрения может быть тоже не совсем правильной. Я не могу согласиться с тем, что есть кто-то, кто всегда и во всем прав. Невозможно закоснеть в каких-то догмах, которые мы, кстати, придумали во второй половине тридцатых годов. Не может быть, чтобы вообще тридцать лет ничего не двигалось! Как это можно? Мне кажется, что нельзя стоять на месте. И пусть это и будет признаком Московской фонологической школы.

Л и т е р а т у р а

Аванесов 1956 — Р. И. А в а н е с о в. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.

Аванесов, Сидоров 1934 — Р. И. А в а н е с о в, В. Н. С и д о р о в. Русский язык: Учебник для педагогических техникумов. М., 1934.

Аванесов, Сидоров 1945 — Р. И. А в а н е с о в, В. Н. С и д о р о в. Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. М., 1945.

Аванесов, Сидоров 1970 — Р. И. А в а н е с о в, В. Н. С и д о р о в. Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка // А. А. Р е ф о р м а т с к и й. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. С. 149—156.

Ашнин, Алпатов. 1994 — Ф. Д. А ш н и н, В. М. А л п а т о в. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994.

Ашнин, Алпатов 2004 — Ф. Д. А ш н и н, В. М. А л п а т о в. Арест и заключение В. Н. Сидорова // Отцы и дети Московской лингвистической школы: Памяти Владимира Николаевича Сидорова. М., 2004. С. 50—55.

Бернштейн 1962 — С. И. Б е р н ш т е й н. Основные понятия фонологии // Вопросы языкознания. 1962. № 5. С. 62—80.

Винокур 1925; 1929 — Г. О. В и н о к у р. Культура языка. Очерки лингвистической технологии. М., 1925; 2-е изд. — 1929.

Винокур 1999 — Г. О. В и н о к у р. Автобиографические сочинения и наброски / Публ. С. И. Гиндина и А. В. Маньковского // Язык. Культура. Гуманитарное знание. Научное наследие Г. О. Винокура и современность. М., 1999. С. 449—475.

Зиндер 1948 — Л. Р. З и н д е р. Существуют ли звуки речи? // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1948. Т. 7. Вып. 4. С. 298—302.

Из переписки Н. А. Янко-Триницкой... 2004 — Из переписки Н. А. Янко-Триницкой с известными лингвистами / Публ., предисл. и прим. С. Н. Боруновой и В. А. Плотниковой-Робинсон // Отцы и дети Московской лингвистической школы: Памяти Владимира Николаевича Сидорова. М., 2004. С. 62—76.

Кузнецов 1970 — П. С. Кузнецов. К вопросу о фонематической системе современного французского языка // А. А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. С. 163—203.

Кузнецов 2003 — П. С. Кузнецов. Автобиография // Московский лингвистический журнал. 2003. Т. 7. № 1. С. 156—250.

Панов 2002 — М. В. Панов. Воспоминания о Р. И. Аванесове // Аванесовский сборник: К 100-летию со дня рождения чл.-кор. Р. И. Аванесова / Отв. ред. Н. Н. Пшеничнова. М., 2002. С. 7—13.

Петерсон 1939 — М. Н. Петерсон. Говор села Дорофеева Московской области Орехово-Зуевского района (бывшей Рязанской губернии Егорьевского уезда) // Тр. МИФЛИ. 1939. Т. 5. С. 55—65.

Петерсон, Аванесов, Сидоров 1930 — М. Н. Петерсон, Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров. Отчет о наблюдениях над говором деревни Дорофеево Орехово-Зуевского округа // Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1929 г. 2. Отчет о научных командировках и экспедициях. Л., 1930. С. 61—62.

Реформатский 1933 — А. А. Реформатский. Техническая редакция книги. М., 1933.

Реформатский 1970 — А. А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.

Реформатский 1970а — А. А. Реформатский. Проблема фонемы в американской лингвистике // А. А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. С. 204—248.

Реформатский 1987 — А. А. Реформатский. Лингвистика и поэтика. М., 1987.

Шапиро 1961 — А. Б. Шапиро. Русское правописание. М., 1961.

Яковлев 1970 — Н. Ф. Яковлев. Математическая формула построения алфавита (опыт практического приложения лингвистической теории) // А. А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. С. 123—148.

Публикация Н. Е. Ильиной

ИЗ НЕИЗДАННОГО ЛИНГВО-СЕМИОТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ А. А. РЕФОРМАТСКОГО*

*Публикация и подготовка текста Е. А. Ивановой;
Предисловие С. И. Гиндина и Е. А. Ивановой*

Предисловие

1. О современном состоянии изучения научного творчества А. А. Реформатского

Судьба научного наследия А. А. Реформатского довольно противоречива. С одной стороны, авторитет его работ по фонетике, орфографии, теории терминологии неоспорим, ссылки на них постоянно встречаются в лингвистических исследованиях; учебник «Введение в языковедение» по-прежнему является базовым для лингвистического образования; редкие воспоминания об отечественной лингвистике 30—70-х гг. XX в. обходятся без его колоритной фигуры. С другой — до сих пор не до конца разобран и описан архив, не изданы некоторые существенные работы, как раннего периода, так и самые поздние, подводившие итог его деятельности. Вследствие такого положения дел и в изучении творчества самого Реформатского, и в общей истории отечественной лингвистики до сих пор остаются лакуны.

Монографических исследований научного наследия и творческого пути А. А. Реформатского пока нет. Приходится довольствоваться статьями в прижизненных сборниках в честь Реформатского (см. прежде всего [Аванесов, Панов 1971]) и вступительной статьей [Виноградов 1987б] к избранным работам ученого, автор которой в предисловии к сборнику определил цели своего очерка так: «...показать истоки и развитие его научных интересов, однако без всестороннего и исчерпывающего анализа его лингвистических взглядов, равно как и без подробного жизнеописания —

* Публикация подготовлена в рамках работ по теме «Диахроническая динамика текста и принципы формирования надтекстовых единиц» (грант РФФИ № 03-06-80145).

и то, и другое требует особого исследования и гораздо большего объема. В предлагаемом очерке намечены лишь основные вехи становления его как ученого и обозначены главные сферы его научных интересов» [Виноградов 1987а: 4]

Наибольшая трудность для исследователей, по-видимому, кроется в необычайно широком диапазоне интересов А. А. Реформатского и чрезвычайном разнообразии научных направлений, в которых он работал. Для характеристики этого диапазона приведем лишь маленький отрывок из автобиографического описания первого десятилетия его творчества — приведшего к занятиям фонологией: «Я шел иным путем: служил в издательствах, думал о знаковости в письменной и печатной речи; в то же время была написана „Техническая редакция книги“, которая сейчас больше интересует лингвистов, чем полиграфистов. Да, действительно, в этой книге есть „семиотические наблюдения“, которые пригодились будущим теоретикам по новой дисциплине — „теории информации“. Параллельно со службой в различных издательствах внештатно состоял в ГАХНе (Государственной Академии художеств) и в НИЯзе (Научно-исследовательском ин-те языкознания). Общение с такими людьми, как Н. Ф. Яковлев, Л. И. Жирков, и с моими друзьями Аванесовым и Сидоровым во многом помогло стать мне одним из ведущих участников Московской фонологической школы. И еще была причина: я был членом Московского кружка ОПОЯЗ и членом Московского лингвистического кружка, который возник по инициативе Р. О. Якобсона и считался ведущим лингвистическим центром тех годов. Кстати сказать, я в 1920 г. был учеником Р. О. Якобсона, который читал курс „Русский язык“ в театральной школе при I Государственном театре РСФСР, где я тогда обучался. Идеи, воспринятые на заседаниях Московского лингвистического кружка и в личном общении с О. М. Бриком и В. Б. Шкловским, толкнули меня к формальному методу в поэтике и к внедрению этого метода в лингвистику (1922). Большую роль сыграл здесь Г. Г. Шпет, два семинария которого я проработал в 1923—1924 гг. (в Институте слова; я уже кончил тогда университет и был тем, что ныне называется „аспирантом“, а по-тогдашнему — научным сотрудником 2-го ряда РАНИОНа)» [Реформатский 1970: 14—15]

Столь интенсивная и разнообразная научная работа далеко не всегда успевала отражаться в публикациях. Много, особенно в первые и последнее десятилетия творческого пути ученого, оставалось в письменном столе. Поэтому для изучения наследия А. А. Реформатского необходимо обращение к его обширному архиву, не введенному еще в научный оборот, и издание целого ряда находящихся в нем рукописей. (Ср. ценную публикацию: [Реформатский 1986].) Предлагаемая публикация статьи А. А. Реформатского «„Приметы“ в языке и их распознавательная и опознавательная роль» и фрагмента другой неопубликованной работы «Семиотические заметки» являются еще одним шагом в этом направлении.

2. Место публикуемых материалов в семиотическом наследии
А. А. Реформатского

В последние два десятилетия значение работ Реформатского для развития семиотики, впервые отмеченное еще в [Панов 1967: 407; Аванесов, Панов 1971: 10—11], стало общепризнанным. Юношеская брошюра [Реформатский 1921] была переиздана в хрестоматии [Семиотика 1983]. Отрывки из его первой большой, сугубо прикладной книги [Реформатский 1933] собраны в однотомнике в разделе «Семиотика печатного текста» [Реформатский 1987: 141—179]. Легко заметить, что названные ранние работы Реформатского не были специально посвящены семиотике. Исследования зрелого периода его творчества также затрагивали семиотические проблемы и использовали семиотический аппарат «по мере необходимости». По существу первыми собственно семиотическими публикациями ученого явились тезисы [Реформатский 1958] и большая статья [Реформатский 1963]. Именно в 60-е — начале 70-х гг. А. А. Реформатский сделал попытку собрать воедино и обобщить семиотические идеи и наблюдения, накопленные им в прикладных и теоретических лингвистических работах предшествующих десятилетий.

К сожалению, статья [Реформатский 1963] осталась и последней собственно семиотической публикацией ученого. Все более поздние статьи, над которыми он работал, по разным причинам не увидели света. Среди них «Код и деиксис», «Семиотические заметки», «„Приметы“ в языке и их распознавательная и опознавательная роль» и ряд других. Основу данной публикации составляет последняя из названных статей, непосредственно связанная с анализом русского языкового материала. Включен также необходимый для ее понимания фрагмент «Заметок».

Одной из важных задач своего позднего семиотического цикла Реформатский считал корректировку и дополнение подходов к построению базисной типологии знаков, предложенных Соссюром и Пирсом. В решении этой задачи он опирался на изученные и усвоенные им в юности под руководством Г. Г. Шпета труды Э. Гуссерля. В «Семиотических заметках» в третьем разделе читаем²⁸:

«Очень важно указание Гуссерля на то, что надо различать, с одной стороны, „выработанные“, „образованные“ знаки (*Gebildete Zeichen*), и, с другой стороны, все прочее. Это связано с рассуждением об интенции и о различении подлинных знаков („выработанных знаков“), которые наполнены значением (*bedeutungserfüllt*) и примет, лишонных этого качества. Это очень важное положение для тех, кто не склонен рассматривать семиотику как гуманитарную дисциплину (в этом не повинны логики и хорошие лингвисты!). Но сейчас существует такая тенденция, прикрывающая себя семиотикой, которая все факты информации, будь то природные

²⁸ Цит. по машинописи из архива М. А. Реформатской с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

или социальные, ставит под один угол, а тогда и „останки ископаемых“, и „даты генов в микроорганизмах“ (...) попадают вместе с сознательными коммуникативно-семиотическими системами вплоть до языка. Но это, на наш взгляд, глубоко неверно. Здесь как раз и лежит грань между знаками и приметами разного рода, а это — не все равно!

Продолжая эту мысль далее, можно указать на различие того, что по интенции коммуникативно, что существует для сообщения, и того, что не предназначено для этой Функции, но может оказаться „индексом“ (по Пирсу). Так можно различить: 1) Индексы-сигналы и 2) Индексы-приметы.

Индексы-сигналы нельзя считать „выработанными знаками“ по Гуссерлю, они не члены системы, а изолированные семиотические явления (стартовые выстрелы, сигналы SOS на море, узелки на платке и т. п.), но они коммуникативны „в замысле“, в этом их Функция. А вот „приметы“ (если видишь дым, значит что-то горит, если летают птицы над морем, значит берег недалёко, если есть запах сигары, то, значит, кто-то курил) не задуманы как сообщение, в них нет интенции коммуникации, и они не только не образуют системы, но и не предназначены для этой функции».

Статья, составляющая основу нашей публикации, ставит вопрос о приметах в знаковой системе естественного языка. Ее введение в оборот важно не только для изучения семиотической концепции, но и для понимания общей логики лингвистического пути ученого. Знакомство с ней позволит лингвистам по-новому взглянуть и на хорошо известные фонологические исследования Реформатского, и свести воедино его многолетние орфографические штудии, так и не получившие систематического итогового изложения.

3. Источники и особенности текстологической подготовки публикации

Статья «„Приметы“ в языке и их распознавательная и опознавательная роль» сохранилась в машинописном варианте (8 страниц, текст с одной стороны листа) с правкой и вставками рукою автора. Исправления вносились красной и синей шариковыми ручками. Возможно, исправления красным внесены позднее (их меньше, и они, как кажется, дополняют первую правку). Публикация осуществляется по этой машинописи с учетом всей авторской правки.

Статья «Семиотические заметки» сохранилась в автографе и нескольких вариантах машинописи. Раздел «Приметы» публикуется по наиболее полному из авторизованных машинописных вариантов.

Характерные для Реформатского отклонения от принятой в 60—70-е гг. нормы правописания сохранены. Авторская транскрипция сохранена полностью. В случаях, когда Реформатский не проставил в тексте соответствующих знаков транскрипции, они восстановлены по аналогии с другими примерами, встречающимися в тексте статьи и имеющими его правку. Явные опечатки исправлены без оговорок.

Кроме того, изменены некоторые полиграфические приемы подачи материала:

1) введен курсив или, при необходимости, полужирный курсив для обозначения примеров;

2) в цитатах, приводимых Реформатским, подчеркнутые им самим слова выделены полужирным курсивом, остальные выделения, если они имелись в цитируемом отрывке, воспроизведены полностью в соответствии с изданием, по которому цитировал Реформатский; разночтения с цитируемым источником устранены, поскольку они не носили принципиального характера и были явными ошибками памяти;

3) уточнена расстановка скобок: как знак пунктуации используются круглые скобки (); ломаные скобки < > используются для обозначения пропуска текста, конъектур и в фонематической транскрипции; квадратные скобки [] используются в фонетической транскрипции. Во всех случаях в первую очередь учитывалась правка, сделанная самим А. А. Реформатским, там, где он ее не сделал или сделал непоследовательно, скобки восстановлены без каких-либо комментариев;

4) приводимые А. А. Реформатским обширные цитаты, составляющие самостоятельные абзацы, печатаются с увеличенным отступом.

Библиографические ссылки в авторских примечаниях к статье сохранены в том виде, в каком они были сделаны А. А. Реформатским. Цитируемые им работы Д. Н. Ушакова ныне переизданы в книге [Ушаков 1995].

Л и т е р а т у р а

Аванесов, Панов 1971 — Р. И. А в а н е с о в, М. В. П а н о в. Александр Александрович Реформатский // Фонетика. Фонология. Грамматика: К семидесятилетию А. А. Реформатского / Отв. ред. Р. И. Аванесов и Ф. П. Филин. М., 1971. С. 5—17.

Виноградов 1987а — В. А. В и н о г р а д о в. От составителя // А. А. Р е ф о р м а т с к и й. Лингвистика и поэтика / Отв. ред. Г. В. Степанов. М., 1987. С. 3—4.

Виноградов 1987б — В. А. В и н о г р а д о в. Александр Александрович Реформатский (1900—1978) // А. А. Р е ф о р м а т с к и й. Лингвистика и поэтика / Отв. ред. Г. В. Степанов. М., 1987. С. 5—19.

Панов 1967 — М. В. П а н о в. Русская фонетика. М., 1967.

Реформатский 1921 — А. А. Р е ф о р м а т с к и й. Опыт анализа новеллистической композиции. М., 1921.

Реформатский 1933 — А. А. Р е ф о р м а т с к и й. [При участии М. М. Каушанского] Техническая редакция книги: Теория и методика работы / Под ред. Д. Л. Вейса. [М.], 1933.

Реформатский 1958 — А. А. Р е ф о р м а т с к и й. Перевод *sub specie structuralismi* // Тезисы конференции по машинному переводу / Моск. пед. ин-т. иностр. языков. М., 1958. С. 52—53.

Реформатский 1963 — А. А. Р е ф о р м а т с к и й. О перекодировании и трансформации коммуникативных систем // Исследования по структурной типологии. М., 1963. С. 208—215.

Реформатский 1970 — А. А. Р е ф о р м а т с к и й. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. М., 1970.

Реформатский 1986 — А. А. Реформатский. Мысли о терминологии / Подгот. текста А. В. Суперанской // Современные проблемы русской терминологии. М., 1986. С. 163—198.

Реформатский 1987 — А. А. Реформатский. Лингвистика и поэтика / Отв. ред. Г. В. Степанов. М., 1987.

Семиотика 1983 — Семиотика / Под. ред. Ю. С. Степанова. М., 1983.

Ушаков 1995 — Д. Н. Ушаков. Русский язык / Вступ. ст., сост., подгот. текста М. В. Панова. М., 1995.

А. А. РЕФОРМАТСКИЙ

**«ПРИМЕТЫ» В ЯЗЫКЕ
И ИХ РАСПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ**

В статье «Семиотические заметки» (рукопись, 1973) я пытался показать, какую роль в нашем познании играют различные знаковые явления: собственно знаки, сигналы, приметы, следы (как улики и как камуфляж, и не только у зайцев, но и у правонарушителей и даже у самых добропорядочных граждан), и как это осуществляется в различных ситуациях жизни человеческой (в обыденной жизни каждого дня, в условиях детективных столкновений, на охоте, в шахматах, в искусстве). Меньше всего там было сказано о роли «выработанных знаков» (Гуссерль) и примет при языковом общении и в практике применения языка, хотя, казалось бы, здесь может ожидать автора наиболее обильная жатва, да и автору эти «сюжеты» ближе всего.

В некоторое восполнение этого пробела я и решился поделиться кое-какими семиотическими соображениями в применении к языковому «полю», отнюдь не предвкусывая слишком обильной «жатвы».

1

Обычно — и вполне справедливо — считается, что опознание слов и словоформ в русском языке опирается на фонемный состав данных слов и словоформ и именно на те данные, которые проявляются у фонем, находящихся в сильных позициях.

При этом главную опознавательную роль выполняют согласные (ср. старый пример: *о-е-а-и-а* (точнее: [э̄-э̄̄-э̄̄-ӣ̄-а]) и *прлрт* = *пролетариат*; композитор С. С. Прокофьев всегда подписывался одними согласными: *СПркфв*. Что же касается гласных, то обычно «вехами опознавания» считаются ударные гласные, могущие при тождестве согласных давать ключ к опознанию морфемы и слова и к различению морфем и слов с одинаковым составом согласных (*совершенный* и *соверионный*, *королева* и *Королёва*, *капитальный* и *капительный*, *расейский* и *российский* и т. п.).

А могут ли нейтрализованные, редуцированные и тем «обезличенные» гласные быть вехами опознания и различения морфем и слов? Могут ли они в таком положении выполнять функцию знаков или хотя бы «примет»?

Думаю, что могут, но не в полном объёме, то есть в тех случаях, когда есть налицо нейтрализация двух (или более) гласных фонем, опознавание той или другой нейтрализованной в слабой позиции отдельной гласной невозможно: неразличимы безударные *о* и *а* [смá | плимáлэ | смá] — это: или *сама поймала сома*, или *сома поймала сама*; [тэкáвóй] — это: или *таковой* (от *так*), или *токовой* (от *ток*); *он переквалифицировался из [л'э"слвóдэ] в [л'э"слвóдл]* — может значить: и *лесовод* — в *лисовода*, и *лисовод в лесовода*. Однако, поскольку в нормальной русской речи (имеется ввиду московское орфоэпическое произношение) группа ⟨э⟩ — ⟨и (ы)⟩ не нейтрализуется с группой ⟨о⟩ — ⟨а⟩ после твёрдых согласных (ср. [фтруб'э | дымáвóй | зэв'э"лс'á | дэмáвóй], где безударные ⟨и (ы)⟩ в *дымовой* (от *дым*) и ⟨о⟩ в *домовой* (от *дом*) различаются); а вот решить вопрос, что же он сделал: *завелся* или *завился*, — нельзя (здесь безударная гласная находится после мягкой согласной, когда нейтрализуются все гласные, кроме ⟨у⟩).

Конечно, дело в подобных случаях в том, что фонемы могут иметь и индивидуальную различимость (например, фонема ⟨у⟩ в отличие от всех гласных, в любых положениях) и — групповую, когда группы фонем, различаясь друг с другом в определённых слабых позициях друг с другом, могут различаться с членами другой группы; так — фонемы группы ⟨о⟩ — ⟨а⟩ различаются с группой ⟨э⟩ — ⟨и (ы)⟩. Объяснение этому явлению находится в выдвинутом В. Н. Сидоровым понятии «гиперфонемы».

На этом основании фамилии *Жирков* и *Жарков*, для тех, кто следует новомосковскому произношению и не произносит *шары* как [шыры́] и *жара* как [жыра́], — различимы; но если бы надо было различить, при тех же условиях, фамилии: с одной стороны, *Жирков* и *Жерков* и, с другой стороны, *Жарков* и *Жорков*, — то «механизм» отказывает. В этих случаях гиперфонема накладывает своё «вето», но две разные гиперфонемы различаются и по слабой позиции безударного положения (как *дымовой* и *домовой*, см. выше).

Из всего сказанного орфографических выводов сделать нельзя, если оставаться в пределах «Правил...» 1956 г., но в плане орфоэпическом для чтецов и актёров тут есть пожива.

2

А вот ещё один случай гиперфонемного порядка, связанный уже с безударными гласными после мягких согласных, где встаёт вопрос не только о том, как это произнести, но и как это понять грамматически. Речь идёт о рифмах одного прекрасного стихотворения А. К. Толстого «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре...». В первой и в последней строфе этого стихотворения имеются рифмы:

1 стр(офа): *взоре* (предл. п.) — *просторе* (предл. п.) — *море* (им. п.),

5 стр(офа): *горе* (им. п.) — *вскоре* (нареч.) — *море* (им. п.).

Как известно, А. К. Толстой был очень фонетически одарён и не только как превосходный пьянист, но и как очень тонкий и чуткий к стиху поэт; ср. его письмо к Б. М. Маркевичу о рифме и безударных гласных. В этом письме А. К. Толстой писал:

«**Гласные** в конце рифмы, если ударение на них не падает, по моему мнению, совершенно безразличны и значения не имеют. В счёт идут и образуют рифму только согласные. По-моему, *безмолвно* и *волны* рифмуются куда лучше, чем *шалость* и *младость*, чем *грузно* и *дружно*, где гласные точно соблюдены. Мне кажется, что только малоискушенный слух может требовать совпадения гласных, и он его требует потому, что делает уступку **зрению**. Я могу ошибаться, но это мне подсказывает внутреннее ощущение, эвфоническое чутьё, а Вы знаете, что слух у меня чрезвычайно требовательный...»²⁹

Тем не менее возникает законный вопрос: как же декламировать указанное стихотворение А. К. Толстого: 1) Верить ли его рифмам и произносить все концы, как они написаны: -оре [-ór'э]? Или же верить законам русской орфоэпии (основанной на фонологической системе русского языка), а тогда — не признавать здесь точной рифмы и произносить в рифмах по-разному:

Стр. 1: [взór'э^и] — [прлстór'э^и] — но: [мóр'л],

Стр. 5: [гóр'л] — но: [фскóр'э^и] — и опять: [мóр'л]?

Сказать по правде: и то, и другое плохо — книжный вариант выдаёт не естественную русскую речь, а следование этой «естественной речи» рушит стих... Я не собираюсь здесь давать правила для чтецов и декламаторов, а лишь указываю на имеющееся в тексте противоречие, на материале чего можно увидеть, как безударные гласные в русском языке могут быть даже индикаторами грамматических явлений, поэтому даже в изолированном виде «звукоформа» [фпóл'э^и] — это предложный падеж, а [фпóл'л] — винительный падеж.

В связи со сказанным хочется вспомнить то, что когда-то писал Ф. Е. Корш в своей книге «О русском правописании», 1902 г. по поводу предполагавшейся реформы орфографии.

«Как видим, в новом правописании (имеется ввиду проект реформы орфографии в начале XX века. — А. Р.) решено, кажется, оставить ⟨...⟩ прежнее обозначение, т. е. **а** или **о** по требованию этимологии, напр. *мыло*, род. *мыла*. Смягченное **а** есть **я**; потому род. *поля*. Смягчённое **о** есть **ё**; следовательно, имен. пад. того же слова должен писаться *полё*. Скажут, что так, т. е. с **ё** никто не говорит; а кто же говорит *мыло* с **о**? Если уж на то пошло, на Севере слышно и то и другое; но для нас важно следующее соображение: если мы, образованные люди, пишем *мыло* с **о**, как *стекло*, и вводим последовательно в употребление **ё** в таких формах, как *копё*, очевидно, что мы должны писать *полё* ⟨...⟩. Решившись на употребление **ё** (**о**) не в одних уда-

²⁹ А. К. Толстой, Собрание сочинений, 1964, т. IV, стр. 108.

ряемых слогах, мы различим написанием не только поле и *полѣ*, различаемые в обыкновенном правописании, но также, напр., отнюдь не тождественные по звукам, хотя изображаемые теми же буквами сравн. степ. *туже* и местоим. *ту-жо*, различим два звука в окончании *-ѣе*, как *добреѣ*, звучащее совершенно одинаково с деепричастием *добрея*, т. е. *добрѣя* от *добрѣть*». (стр. 29)³⁰. Далее у Корша приведены случаи «неточных рифм» в «Полтаве» Пушкина в связи с вышесказанным.

Действительно, по дореволюционной орфографии, когда в алфавите была буква *ѣ*, можно было различить и в графике: имен.-винит. п. (*ѣ*) *поле*, (*ѣ*) *море* (куда?) и предл. п. *в полѣ*, *в морѣ* (где?); после же реформы орфографии, когда буква *ѣ* была изъята из алфавита, это различие на письме пропало, и многие «грамотные» люди стали произносить одинаково: *пойду в поле* и *был в поле*, тогда как в языке, а тем самым и в нормальной орфоэпии, это не должно совпадать: *в поле* (винит. п.) совпадает по своей финали с родит. п.: *с поля* ([пóл'л] или [пóл'э]), а предл. п. *в поле* не совпадает ([фпóл'э^н]). Ср. под ударением: именит. и винит. п. *копѣ*, а предл. п. *в копѣ* (фонематически: <копйó — вкопйэ>, как <окно — вокне>); и в безударных флексиях это различие есть: *иду в поле* ([фпóл'л]) и *был в поле* ([фпóл'э^н]).

То же, что писал Ф. Е. Корш 70 лет тому назад, поражает своей фонологичностью! Вот — кто мог бы возглавить МФШ...

Д. Н. Ушаков в статье «Русская орфоэпия и её задачи» тоже касался данного вопроса.

«...в следующих окончаниях слов *е* и *я* произносятся как звук *ѣ*: в имен. пад. ед. ч. (*воля, злая*), в имен.-вин. ед. ч. (*поле, злое*), в род. пад. ед. ч. (*поля*)...»

«Примечание. В предложном падеже: произносится по общему правилу, звук близкий к *и*: [*ф поли*], так же, как *в городе, в деревне* — [*в горѣди, в дивни*]).»

«В речи уроженцев окающих местностей, хотя бы и утративших уже оканье, мы часто слышим отчётливое безударное *е*, особенно в первом предударном слоге: *весна, прекрасный*. Надо прибавить, что в московском говоре на месте *е* неударяемого кроме звука, близкого к *и*, может слышаться и чистое *и*: [*висна, вечир*])»³¹

В другой статье, написанной в 1936 году, но опубликованной посмертно, «К вопросу о правильном произношении», Д. Н. Ушаков в порядке деликатной полемики с С. И. Бернштейном снова возвращается к этому вопросу.

³⁰ О букве *ѣ* в русской графике см. А. А. Реформатский. Буква *ѣ*; сборник «Проблемы орфографии современного русского языка», под ред. В. В. Виноградова, 1964, стр. 28—32.

³¹ Д. Н. Ушаков. Русская орфоэпия и её задачи; сборник «Русская речь», под ред. Л. В. Щербы, «Новая серия», III, 1928, стр. 24.

«...по его (С. И. Бернштейна. — *А. Р.*) словам, теперь говорят, „как пишут“: *какое счастье, трое* и т. д. Хочет ли он этим сказать, что произносят настоящее, чистое, полное *е* (как, например, в слове *ехать*)? Хочется думать, что (...) привело к неточности нежелание затруднять читателя тонкостями. Но недоразумение не устраняется, а, наоборот, усиливается. Я тоже не хочу утруждать читателя фонетическими тонкостями, а потому скажу кратко: и произносили, и произносим во всех указанных случаях одинаковый звук, но не *я* и не *е*; поэтому напишите мне, старому коренному москвичу, *троя* (возьмите, например, город *Троя*) или *трое, море* или *моря*, я прочту с одним и тем же неясным звуком (которого для простоты определять здесь не буду). *Троя* с ясным *я* для меня областное, например рязанское, *трое* с ясным *е* тоже областное, но из других мест, из севернорусских...»³²

И я, на основании своего московского произношения и опыта, писал в своём курсе современного русского языка:

«В существительных среднего рода произносится одинаково флексии родительного, винительного и именительного падежей единственного числа: *моря, море, в море* (куда?) — [мóр'л], *варенья, варенье, в варенье* (куда?) [влр'эн'јл], так как здесь фонемы ⟨а⟩ и ⟨о⟩ (сравн. *ружья, ружьё, в ружьё*); но: *в море, в варенье* (где?): [в мор'из, в:лр'эн'јиз], так как здесь фонема ⟨э⟩ (сравн. *в ружье*)»³³.

Хотя и сказанные несколько по-разному, эти положения представляют собой то же: таково объективно положение с русским произношением, и это положение вполне оправдано с фонологической точки зрения.

3

До сих пор мы рассматривали случаи, когда фонемы в слабых позициях так или иначе могли быть источником информации для фонологической интерпретации или даже для грамматического распознавания словоформ. Сейчас я хочу привести один случай, когда подобные явления соприкасались и с фонологией, и с грамматикой, и с орфографией, а к тому же имели определённую морфонологическую окраску.

В Орфографической комиссии Академии наук при Институте русского языка (1964) среди многих предложений по улучшению и унификации правил русского правописания было выдвинуто пожелание унифицировать написание корневых глагольных морфем (-кас-/-кос-, -плыв-/-плав-/-плов- и др.); в частности, был поставлен вопрос о единообразном написании

³² Д. Н. Ушаков. К вопросу о правильном произношении; «Вопросы культуры речи», V, 1964, стр. 13, 14.

³³ [А. А. Реформатский] Методические указания и руководство по современному русскому языку для студентов-заочников; Литинститут, 1950, раздел «Орфоэпия», стр. 37.

корней в глаголах типа: *запереть* — *запирать*, *умереть* — *умирать*, *протереть* — *протирать*. При обсуждении этого вопроса возникли возражения, исходившие из очень различных соображений и отвечавшие очень разным точкам зрения. Об этих разногласиях писали Б. З. Букчина и И. Ф. Протченко в статье «К обсуждению некоторых предложений по орфографии (с заседаний Орфографической комиссии)».

«Предложения об изменении написания глагольных корней вызвали возражение. Указывалось на то, что написание *е/и* не является чисто буквенным; что современному русскому языку свойственно эканье (т. е. различение *е* — *и* в предударной позиции)»³⁴.

Это возражение могло исходить только от Ленинградских членов Комиссии, которые в своём произношении не имели «иканья», т. е. нейтрализации предударных ⟨и⟩ и ⟨э⟩ (что является характерной чертой московской орфоэпии). Ленинградцы (правда, сейчас далеко не все) различают (как и представители северновеликорусских говоров) предударные ⟨и⟩ и ⟨э⟩ (*Лиса убежала в леса*), а москвичи нейтрализуют в [л'и́са]. Но важнее другое.

«Серьёзным возражением было указание на наличие в языке чередования *о/и(ы)* (*созову* — *созывать*): фонеме ⟨и⟩ в форме несовершенного вида соответствует фонема ⟨о⟩ в форме совершенного вида — эта закономерность очевидна после твёрдых согласных. Следовательно, с фонематической точки зрения нельзя унифицировать написания: *протереть* — *протирать* (А. А. Реформатский)» [Там же]

Действительно, по системе формообразования глаголов русского языка, где явления безударных гласных после мягких согласных нельзя отделить от судьбы тех же гласных фонем после твёрдых согласных в тех же словоформах. Сопоставление таких глаголов, как: *запереть* — *запирать*, *умереть* — *умирать*, *протереть* — *протирать* с глаголами типа: *называть* — *назвать*, *созывать* — *созвать*, *призывать* — *призвать* и под. показывает, что после твёрдых согласных нейтрализации предударных гласных при образовании словоформ совершенного вида не происходит, а следовательно, вряд ли кому придёт в голову унифицировать написания: *называть*, *созывать* и *назову*, *созову* на **называть*, **созовать* или же **назыву*, **созыву*...

Так параллельная линия той же фонологическо-морфологической системы (а тем самым — и морфонологической, включающей в себя нижнюю границу в фонологии, а верхнюю — в морфологии) указывает на нежелательность (я бы сказал: невозможность!) унифицировать написания типа: *запереть* — *запирать*, *умереть* — *умирать*, *протереть* — *протирать* ни в виде: *запереть* — **заперать*, *умереть* — **умерать*, *протереть* — **протерать*, ни в виде: **запиреть* — *запирать*, **умиреть* — *умирать*, **протиреть* — *протирать*.

³⁴ Б. З. Букчина и И. Ф. Протченко. К обсуждению некоторых предложений по орфографии; сборник «Вопросы русской орфографии», под ред. В. В. Виноградова, 1964, стр. 126.

4

К затронутым вопросам относится ещё один частный случай. Я долго думал, почему меня так раздражает принятое сейчас написание глагола *танцевать* с *е* в предударном слоге, вместо *о* в прежнем написании: *танцовать*? А ответ оказался прост, если довериться произношению безударной гласной по примеру уже рассмотренных случаев. Ведь по московской орфоэпической норме этот глагол следует произносить [тэнцв́ат’], а не [тэнцыв́ат’], и ведь вариант [ʌ] может быть от фонем ⟨о⟩ и ⟨а⟩, но не от фонем ⟨э⟩ и ⟨и(ы)⟩³⁵. А если это так, то написание *танцевать* — ложно, и надо писать по-старому: *танцовать* (срвн. кстати: *вытанцо́вывать*, *танцо́щик*, где фонема ⟨о⟩ под ударением!).

Из всего сказанного следует, что и в слабых позициях фонемы способны выполнять свой семиотический долг и быть опознавателями.

Август 1973

ИЗ СТАТЬИ «СЕМИОТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ»

4. Приметы

То, что Пирс называл индексами, а Гуссерль — метками, указаниями (Anzeige), существует и широко бытует в жизни человека. Пусть это будут и не полноценные знаки, не непременные члены системы, что существенно для «выработанных знаков» (gebildete Zeichen, по Гуссерлю), но все эти «метки» и «индексы» всё же имеют качество сигнала, в них заложена определённая коммуникативная интенция, их производят и направляют как

³⁵ Надо помнить, что русский вокализм в течение веков претерпел много видоизменений и с XI—XII века, после падения редуцированных и окончательного установления противопоставленных твёрдых и мягких согласных, стянулся до 8-и, 7-и и 6-и единиц (по разным диалектам), причём фонема ⟨а⟩ была противопоставлена не только фонеме ⟨и (ы)⟩ и, естественно, фонеме ⟨у⟩ (что осталось и по сейчас), но и фонемам ⟨о⟩ и ⟨э⟩, имевшим некоторую общность. Эта группировка гласных перестроилась в связи с переходом фонемы ⟨э⟩ в ⟨о⟩ (перед твёрдыми согласными и в исходе, перед диэрезой по Панову), с развитием аканья и с объединением фонем ⟨э⟩ и ⟨ѣ⟩ в одну фонему. Так как наряду с указанным переходом ⟨э⟩ в ⟨о⟩ (охватившем не все говоры, например, некоторые рязанские) в литературном русском языке появилось много слов, где этого перехода в тех же позициях не было (слова с бывшей фонемой ⟨ѣ⟩, иноязычные заимствования, результаты аналогии), то бывшая группировка вокалических фонем: ⟨а⟩ в противопоставлении с ⟨у⟩, с ⟨и (ы)⟩ и с группой ⟨о⟩ и ⟨э⟩, — уступила место новой группировке: ⟨у⟩ — ⟨а/о⟩ — ⟨и/э⟩. В условиях этой последней группировки и были рассмотрены все факты, затронутые в данной статье.

призыв к кому-то, будь то крест на двери дома гугенота в августовскую ночь 1572 года, или тавро на теле раба, или даже неизвестно к кому обращенный призыв SOS с гибнущего в море судна... Всё это «направлено», принципиально коммуникативно и содержит в себе семиотическую интенцию.

От таких «индексов» следует отличать те явления, которые не направлены на обозначение, не задуманы как знаки чего-то, которые лишены коммуникативной интенции, не адресованы никому и даже наоборот, которые стараются стереть, сделать невидимыми, которые не адресуют, а часто скрывают. Такого рода «знаки» встречаются в нашей жизни повсеместно и повсечасно, они могут служить намёком на что-то происходившее, они могут стать уликами чего-то. Назовём их *приметами*.

Для примет, впрочем как и для индексов, очень важную роль играет ситуация; вне ситуации (имеется в виду ситуация во всей её эмпирической полноте) приметы не могут быть тем, что от них требуется.

Итак, речь далее пойдёт именно о тех явлениях, которые не предназначены быть знаками, но в практике жизни «volens-nolens» становятся ими или, по крайней мере, стараются вести себя как знаки. Без них не может быть для человека необходимого познания действительности, нужной для жизни информации; о том, что мы условились называть «приметами».

Есть сферы деятельности человека, где почти всё сводится к изучению и истолкованию примет. Такова работа сыщика и следователя. Их дело — анализ и интерпретация зрительных дат: следов, пятен, дактилоскопических данных, найденных вещей, как-то: одежды, коробок от папирос, спичек (вспомним «Шведскую спичку» А. П. Чехова!), гильз от патронов, пыжей, оторванных пуговиц, носовых платков, зубочисток и т. д.; слуховых данных: услышанный выстрел, крик, плач, голоса птиц и зверей, звуков удара и т. п.; запахов — дыма, духов, табачного; тактильных ощущений и многих других явлений, могущих послужить уликами.

Аналогична и работа следопыта, охотника. След, который оставляет на снегу, на песке, на земле, на траве зверь или птица, вовсе не предназначен для нахождения и поимки тех, кто наследил, однако и для хищника, и для охотника, и для детектива-следопыта след — первая примета присутствия и местонахождения преследуемого объекта. След — типичная примета, становящаяся источником и путём необходимого познания для преследующего.

«Вечерняя Москва» в № от 24 октября 1972 г. даже указала, как это называется: трассология. «Трассология в основном занимается следами, отражающими строение одного предмета в результате соприкосновения с другим. Они и дают возможность получить доказательства, в категорической форме установить важные, уличающие преступника факты». Называть ли это *трассологией* или *следоведением* — вопрос чисто терминологический, но можно не ограничиваться только следами преступника, а исследовать любые следы как улики и вехи познания.

Любое преследуемое существо старается как можно меньше «оставить следов» и не показывать себя и место своего пребывания, но в силу объек-

тивных обстоятельств оно неизбежно наследит (пусть это будет и настоящий след, и оброненная вещь, оставшийся запах, наконец, отпечаток пальцев, что давно уже исследуется в криминалистике), хотя зачастую прибегает к лжеследам, к камуфляжу. Так гонимый заяц делает «скидки» и «смётки», «двойт» и «тройт» след; так преступник, передвигаясь по почве, неизбежно сохраняющей след, переобувает сапоги наоборот, чтобы было непонятно, куда ведёт след, а иной преступник и «чужую лапу» тыкает взамен своего следа (вспомним проделки «комиссара» Данилки с чортовой лапой в «Соборянах» Лескова). Это уже сигнализация, хотя и ложная, дезориентирующая, но сознательно семиотическая. Сам же след есть невольный акт; он не сигнал, а улика.

Очень интересны «речевые приметы». Вспомним в «Кармен» Проспера Мериме: «Андалузцы произносят *s* с придыханием, так что смешивают его с *c* и *z*, которые испанцами выговариваются как английское *th*. По одному лишь слову *señor* можно узнать андалузца» (Примечание автора в главе 1, Собр. соч., стр. 335).

Знаком русского произношения А. Н. Островский особо подчёркивал те или иные языковые особенности в речи персонажей своих пьес и дополнял «речевыми приметами» характеристику отдельных лиц и их реплики. Например, в списке действующих лиц пьесы «Бешеные деньги» дана такая ремарка: «Савва Геннадич Васильков... Говорит слегка на *o*, употребляет поговорки, принадлежащие жителям городов среднего течения Волги: *когда же нет* — вместо *да*; *ни божже мой!* — вместо отрицания, *шабёр* — вместо *сосед...*», что потом экземплифицируется в его репликах. В пьесе «На бойком месте» представительницы крестьянства и мещанства (Аннушка, Евгения) говорят *конфеты*, а аристократы Надежда Антоновна Чебоксарова и «князьинька» Кучумов, персонажи «Бешеных денег», — *конфеты* (действие 2, явление 3). Таких тонких примеров у Островского сколько угодно!

Излишне точная артикуляция русских пословиц у штабс-капитана Рыбникова в одноимённом рассказе А. И. Куприна наводит на мысль адвоката, что он имеет дело с японским шпионом. Известен эпизод в первом акте «Пигмалиона» Бернарда Шоу, где мистер Хиггинс, специалист по фонетике, по репликам опознаёт, откуда родом тот или иной случайный собеседник.

Д. Н. Ушаков, тонкий фонетист и диалектолог, удивлял так же студентов, когда он безошибочно определял при первом знакомстве, откуда кто родом! Услышав по радио или по телевидению в передаче произношение первого предупредительного слога с гласной второй степени редукции [ə] независимо от качества гласной под ударением, например [хэз'áин тэйг'й скэзál] *хозяин тайги сказал*, можно смело утверждать, что говорит ленинградец (например, киносценарист Каплер). Однако тот же редуцированный гласный звук в предупредительном слоге перед слогом с ударным [а], но с [л] перед другими ударными гласными ([сэмá], но [слмó, слмú] да ещё с эпизодическим [γ] вместо [г], — обозначают выходца из Смоленщины (так — редко, но бывало в речи покойного А. Т. Твардовского).

В работе угрозыска внимание к произношению опрашиваемого может быть «золотой нитью» для опознания того, верно ли объект опроса утверждает о местах своего происхождения. Еврея, произносящего [рат] вместо [р'ат] *ряд*, сразу можно опознать как белорусского, а певицу, которая произносит в своей речи (но вовсе не обязательно в пении!) *безумно* с твёрдым [б] и отчотливым [э] — как происходящую с Украины (А. В. Нежданова, К. Г. Держинская). Ещё очевиднее «грубое аканье» и «йканье» в русской речи выдаёт уроженца Кавказа. Всё это — следы, приметы, улики!

Конечно, выстрел как сигнал атаки, как стартовый выстрел для начала спортивного состязания и даже крик погибающего о помощи — это уже направленные знаки, пусть и не образующие системы (особенно крик о помощи!), но выстрел бандита, который слышал свидетель, отнюдь не сознательный знак, а досадная примета, свидетельствующая против преступника.

Великолепные этюды Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и Уотсоне тем и хороши, что они вскрывают лабораторию следователя, показывая ложные и истинные образцы истолкования различных примет. Ещё раз повторяю, что сознательно создаваемые приметы, служащие для скрытия истины, отвлечения внимания от правильного и нужного, наведения на ложный след, создание камуфляжа, — уже не приметы, а направленные знаки, ложные для вскрытия истины, но по-своему обладающие логикой, хотя и не имеющие качества системы.

Человек в своей повседневной деятельности постоянно живёт в сфере истолкования примет. Вот, например, диагностика болезней обычно начинается с таких показателей, как измерение температуры, анализов выделения организма, показаний самочувствия и т. п. Всё это — симптомы, нужные для установления диагноза, но ещё не познание прямого объекта и тем паче — предмета (срвн. выше). Человек, будь то научная деятельность, медицина, техника, обыденная жизнь, — всё время сталкивается с различными приметами и пользуется ими для построения гипотез и для разгадки непонятого или ещё не познанного.

Так, и охотник, и собака на охоте (каждый по-своему) опираются на данные слуха (улавливают птичьи и звериные звуки, например рёв изюбря, токование глухаря, хорканье вальдшнепа), зрения (рассматривают и истолковывают малик зайца на снегу, на песке, наброды тетерева или глухаря по росистой траве), обоняния (это главным образом, но не исключительно! — собаки (но не борзые!)), осязания (ощупывание волчьего следа для определения его свежести, нащупывание молодняка в норе)...

Рыболов следит за состоянием поплавка, чтобы вовремя сделать подсечку, или вглядывается в разбросанные по водоёму кружки в ожидании перевёртки. Конечно, колокольчик, дающий звук, когда рыба берёт наживку, уже не примета, а выработанный сигнал, обладающий качеством коммуникации. К сигналам надо отнести и всяческие звуковые подманивания на охоте: писк «под мышь» при скрадывании мышкующей лисы, подмани-

вание чуждым токующего тетерева, кряканье «под утку», вабление волков на заре, игра на берестяном рожке, когда идёт гон маралов, и т. д.

То же происходит и в обыденных, а не социальных ситуациях: увидав дым, мы заключаем о наличии огня (но тот же дым может быть и выработанным сигналом, срвн. дымовые сигналы индейцев и т. п.); видя пар над кастрюлей или над чайником, умозаключаем, что вода кипит; тыкаем вилкой в картошку в кипящей воде, чтобы удостовериться, что она разварилась; услышав хлопанье окон, понимаем, что подул ветер; увидав блеск молнии и услышав грохот грома, понимаем, что нашла гроза; звук хлопнувшей двери указывает на то, что кто-то вышел или вошел. Опять же, если дверью хлопнули «с намерением», например со зла, то это может быть для «хлопающего» симптомом (по К. Бюлеру, Schprachtheorie) его психического состояния (признак раздражения) или даже сигналом, угрозой, заменяющей ругательство. Переставленная в буфете посуда показывает, что кто-то там шарил; обнаружив исчезновение костюма и пальто, Шпак в пьесе М. А. Булгакова «Иван Васильевич» стал звонить в милицию, что его ограбили (что было правильно!).

Перестановка предметов в буфете или на письменном столе и т. п. может выступать не только как примета, но и как направленный знак, как сигнал. Вспомним остроумный рассказ Мопассана «Булавки», где две дамы одного кавалера после своего очередного визита к нему перекалывали по-другому булавки на стене, создав целую «систему сигнализации», что привело к их знакомству и в дальнейшем к обоюдному бойкоту кавалера...

Работа графолога, психологически интерпретирующего чей-то почерк, всецело основана на анализе оптических примет: чем индивидуальнее почерк, тем больше в нем искомым данных, каллиграфический же, «писарский почерк» ничего графологу не даёт, а это ведь и есть «выработанная графическая система», тогда как «частный», не унифицированный почерк таит в себе кладёшь примет.

Собственно говоря, мы никогда не познаём объект прямо, а всегда через «что-то», через примету (зрительную, звуковую, осязательную и т. д.). Так, движение (бег зайца, полёт птицы, ход человека или машины) мы познаем прежде всего через изменение цвета; жар огня горячей печки — через оранжевую окраску; грозу — через потемнение неба и шум грома; гнев жены — через тембры её голоса и т. д. Дело воспринимающего путём умственной операции постигнуть суть; ведь воспринимаем мы либо цвета, либо запахи, либо звуковые явления, иной раз лишь сопутствующие главному. Прав был Блок, сказав:

Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар...

Познание через прямую знаковую систему — это островок среди моря того, что познаётся человеком посредством истолкования примет! Ведь «прямое познание» через строгую семиотическую систему — это познание

через язык и его аналоги. Информация, получаемая из данных «точной семиотики знаков», то есть из книг, надписей, грамот, писем, — ничтожна для знания жизни во всём её масштабе по сравнению с теми данными, которые нам предоставляет «неточная семиотика примет», это массовый источник информации в любой области: хотите ли вы проследить неверность жены или хотите просто найти спрятанную ею бутылку; хотите ли вы раскрыть преступление или даже сделать научное открытие; ведь знаменитое «яблоко Ньютона» — тоже примета! А какие из этого получились следствия! И таких случаев не только на страницах детективных романов, или в практике настоящих сыщиков, но и в обычной жизни — тьмы, и тьмы, и тьмы!

ИНФОРМАЦИОННО-ХРОНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Отчет о диалектологических экспедициях Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 2004 года

В 2004 г. отдел диалектологии и лингвогеографии совместно с отделом фонетики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН продолжил сбор диалектного материала. Состоялось 12 экспедиций, в результате которых записано на пленку 413 часов звучащей речи*. Группы исследователей работали в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Кировской, Московской областях, в Забайкалье, в Ставропольском крае, в Белоруссии, Эстонии и в США. Цель всех экспедиций — магнитофонная запись русской диалектной речи для последующей расшифровки, анализа и описания.

С 18 ноября по 19 декабря проходила экспедиция в штате Орегон США, где проживают русские старообрядцы, предки которых в разное время и из разных мест бежали из России. Старообрядцы живут южнее г. Портленда в небольших городках Аурора, Вудбурн, Джервес, Малала, Монитор, Монт-Анджел, Сильверстон, Хаббард и др., наиболее компактно в поселке Вифлеем и на хуторах-фермах. Выделяются четыре группы этих старообрядцев: «синьцзянцы» и «харбинцы», выехавшие из Китая в 1950—1960 гг., и «кубанцы» и «дунаки», переселившиеся в 1963 г. из Турции, общее их название «турчане». В экспедиции принимали участие Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина и Т. Б. Юмсунова. Записано на магнитофон 63 часа звучащей речи.

* Экспедиции были поддержаны грантом РГНФ № 04-04-18003е и Президиумом Российской Академии наук.

Это четвертая экспедиция Л. Л. и Р. Ф. Касаткиных к старообрядцам США. В экспедиции этого года расширен круг информантов. Записано много рассказов «синьцзянцев» и «харбинцев» об их жизни и хозяйствовании в Китае, о взаимоотношениях с местным населением, о причинах переселения оттуда, о жизни в Аргентине, Бразилии, Боливии, об особенностях жизни в США, о рыболовстве на Аляске и т. д. Старообрядцы «турчане» рассказали много интересного о жизни в Турции и о переселении в США. Записано много рассказов по обрядам семейного и календарного циклов, сюжетов из народной Библии.

Совместное проживание на одной территории, в штате Орегон, смешанные браки привели к культурному взаимовлиянию и взаимообогащению языка этих групп старообрядцев. Например, в настоящее время в Орегоне сложился единый женский старообрядческий костюм: все женщины носят платья одинакового покроя — *тальки*, *тальчки*. Их принесли из Турции «дунаки», но их *тальки* отличались от нынешних. Они состояли из двух частей: сарафана и нижней рубахи, которую надевали под сарафан. Сейчас наряд упростился: прямо к сарафану пришиваются рукава, таким образом получается платье. На голове под платком все замужние женщины носят чепец — *шашмуру* (*сашмуру*), это придает форму головному убору. *Шашмуру* принесли в США старообрядцы, переселившиеся из Китая. Костюм турчан «кубанцев» не прижился в США.

Результатом языкового контактирования в Америке разных групп старооб-

рядцев явилось развитие междиалектных синонимов: так, бублики «турчане» называют *кóврики*, а «синьзянцы» — *кара́льки*; для обозначения противня «синьзянцы» употребляют слово *ли́стик*, «харбинцы» — *прóтвень*, а турчане — *тава́*; в значении ‘сильно’ «турчане» чаще употребляют наречия *дью́же*, *рэ́зко*, *совсе́м*, а «синьзянцы» и «харбинцы» — *ши́тко* и т. д.

Основные фонетические, грамматические и некоторые лексические черты говоров оregonских старообрядцев описаны в опубликованных статьях Л. Л. Касаткина и Р. Ф. Касаткиной. В данном отчете остановимся на особенностях их лексики.

В словарном составе старообрядцев, переехавших из Китая, преобладает лексика севернорусского и сибирского происхождения: *влегóтку* ‘легко, без усилий’, *глубе́ника* ‘клубника’, *гря́дка* ‘широкая полка, находящаяся под потолком между стеной и боковой частью русской печи’, *досле́диться* ‘разыскать по следу’, *запу́ки* ‘народные приметы; суеверия, предрассудки’, *захáчивать* ‘начинать хотеть’, *ли́стик* ‘противень’, *наперё́ж* ‘сначала, сперва’, *наруши́ться* ‘поломаться’, *натяга́ть* ‘заставлять или убеждать делать что-л.’, *не́вдосóль* ‘малосолено, недостаточно солено’, *оши́ршеться* ‘обидеться, рассердиться’, *попрóведовать* ‘попробовать, отведать’, *рукава́* ‘женская нижняя рубаха, надеваемая под сарафан’, *шашму́ра* (*сашму́ра*) ‘чепец, надеваемый под платок’ и др.

В речи турчан сохранилась южно-русская лексика, распространенная в донских, орловских, курских, смоленских, брянских говорах: *га́диться* ‘брезговать’, *квасо́ля* ‘фасоль’, *колю́ка* ‘название различных колючих растений’, *копани́ца* ‘мотыга’, *ля́ки* ‘лекарства’, *прашева́ть* ‘полоть, рыхлить землю’, *прити́снуть* ‘поставить в трудное положение’, *рыба́лка* ‘рыбак’ и др.; наблюдается много заимствований из ту-

рецкого языка: *карагэ́ль*, *карае́ль* ‘северо-западный ветер’, *кю́ль* ‘глиняный сосуд для воды, врытый в землю’, *нар*, *на́ринка* ‘гранат (дерево и плод)’, *ногу́т*, *ну́гут* ‘разновидность бобовых’, *петме́с* ‘густой сок из винограда’, *портука́лина*, *портука́линка* ‘апельсин (плод)’, *пры́нч* ‘рис’, *рака́* ‘анисовая водка’, *та́рло* ‘поле, на котором сеяли зерновые культуры’, *чачма́*, *чючма́* ‘кран’ и др.

Сильное влияние на речь старообрядцев, особенно младшего поколения, оказывает английский язык. Школы, в которых преподается русский язык, в штате Орегон единичны, дети в основном учатся в американских школах. Кроме того, многие дети и дома говорят на английском языке. Поэтому существует вполне реальная угроза утраты старообрядцами Орегона русского языка в недалеком будущем.

В традиционном говоре широко употребительны такие заимствования из английского языка, как: *бе́ба*, *бе́бичка*, *бе́бка* ‘маленький ребенок’, *виве́й* ‘сок из восьми витаминов’, *га́рбич*, *га́рбична* ‘мусор’, *кеч* ‘наличные деньги’, *кинова́ть* ‘консервировать’ и производное *закинова́ть* ‘законсервировать’, *ма́йла* ‘миля’, *нюс* ‘новости’, *о ке́й* ‘хорошо’, *па́унт* ‘фунт’, *са́йна* ‘знак’, *сма́рт* ‘сообразительный, догадливый’, *фа́рма* ‘ферма’ и производное *фарми́ст* ‘фермер’ и др.

Говоры оregonских старообрядцев интересны и тем, что они не испытали влияния русского литературного языка.

В 2004 г. было продолжено обследование говоров **семейских** — старообрядцев **Бурятии** и **Читинской области**. Это четвертая экспедиция ИРЯ РАН в Забайкалье. Она проходила с 14 по 24 августа в с. Урлук Красночикийского района Читинской области и сс. Верхний Жирим и Нижний Жирим Тарбагатайского района Бурятии. Всего Т. Б. Юмсуновой и Л. Л. Матхеевой записано на магнитофон 48 часов звучания.

Основные черты говоров семейских описаны в отчетах за 2001, 2002 и 2003 гг. В данном отчете остановимся на некоторых морфологических чертах. Так, в говорах старообрядцев Забайкалья имена существительные могут иметь иную по сравнению с литературным языком родовую принадлежность. Существительные, относящиеся в литературном языке к среднему роду, в исследуемых говорах могут переходить в мужской род. Согласующиеся с такими существительными определения имеют форму мужского рода в формах И. и В. пп.: *У нас у всех свой хозяйство; Семенный масло всячина ёли: заправляли им, хлеб в ево макали; Семя кругленький, ево соберёш и торюшьш* ('шелушишь') и др. Глагол-сказуемое прошедшего времени в сочетании с такими существительными также употребляется в форме мужского рода: *Лонинский год-то ишó ничó было, а нóне чо-то хромáю: адé-то стегнó отказáлся, ступáть не могу-ка; Мясо начáл гнить; Престрашённый был ружьё* и др.

В речи старшего поколения семейских у существительных ж. р. на -а (1-е склонение) в Д. и П. пп. ед. ч. зафиксировано наряду с окончанием -е окончание -и (-ы), которое отмечается при ударности окончания в твердой и мягкой разновидности склонения, а при безударности — в твердой: в Д. п.: *Не давай волю своей жань; Топёрь к старой вёры повярнулись; Потóm и нашей сямь вьделили надёл зямли; в П. п.: Онí худо жьли, в нужды; На самой гривы монастырь был; И чо ты думаеш — вькопали в зямли клад* и др. В безударном окончании после мягкого согласного произносится [-и], в котором нейтрализуются фонемы /e/ и /и/: *И поползли по дярэвни слухи об ём; Я вот вам расскажу, как бурята в бани мыли* и др.

При преобладании форм с -а у неодушевленных существительных м. р.

Р. п. ед. ч. наблюдаются формы с -у: *Ни скотá у нас, ни животá, дэвять соток огорóду да старик больнóй; Поехала, онé менé пять лет дали стáжку у зверо-совхозе-то; С магазину ничó не брали, а за чо будеш брать, дёнех же не было; С яшшыку всё выклат; А котóрые вышли с колхозу* и др. Сфера употребления окончания -у в П. п. ед. ч. значительно шире, чем в литературном языке: *На сплаву-то чо ж день и нóчь в воде; В одном дому мы с золовкой пять лет прожыли; Дети у меня в садике* и др. Преимущественно в речи старшего поколения окончание -у (наряду с -е) наблюдается у существительных м. р. не только неодушевленных, но иногда и у одушевленных: *В войну мы на быку пахали; Раньше в армию провозжали на коню* и др.

Повсеместно в русских старообрядческих говорах Забайкалья в речи разных поколений наблюдается наряду с более частым различием форм Т. п. и Д. п. мн. числа существительных, прилагательных, местоимений, числительных также и совпадение Т. п. с Д. п.: *Вот как наших посослали, они тоже там сямьям уехали; Стала глазам жалитца; Петь с вам ня буду; Плачу горьким слезам; Костыль бяру да по избь скакаю, с двум костылям на двор иду* и др.

В настоящее время в говорах прослеживается тенденция к употреблению прилагательных с утратой звука на месте /j/ в интервокальном положении и ассимиляцией и стяжением возникших в результате этого соседних гласных в ударных и безударных окончаниях. Такие формы, подобно именам существительным, имеют односложные окончания в И. и В. пп. Так, в ед. ч. ж. р. наблюдается окончание -а в И. п. и окончание -у в В. п.: *баня тёпла, какá система пришла; долгу горó, евоину бабу, в такú пору; в И. и В. пп. ср. р. — окончание -о, -е: открыто вокóшко,*

лётне время; во мн. ч. — окончание *-и* (*-ы*): *избы гáдки, такí* дялá, *бáло-ваишны дéти* и др.

Наряду со стяженными формами в исследуемых говорах широко распространены и нестяженные формы, особенно это характерно для речи старшего поколения: *гадковáтая погóда*; земля *сýльная, дорóдная*; *кúренга — шышка пустáя*; *копору́ля — сохá старíнная, сошники́ у ей двóйны́е*; *у пóс(т)ный день усё даю́ть пóс(т)ное: кáшы — гречáную, прося́ную* и др.

В исследуемых говорах наблюдаются некоторые закономерности в распределении нестяженных (полных) и стяженных (кратких) форм. Так, полные формы употребляются под фразовым ударением или при акцентном выделении слова, поэтому если в конце предложения употребляются два прилагательных (как правило, это местоименное и прилагательное и прилагательное знаменательное), то первое будет кратким, а второе полным: *Барíк — коло-ту́шка такá деревя́нная, ей шы́шку б́или*; *Вот кáску нам ня в́ибросить, не уб́ить соба́ку, вот такí мы, вот сёр(д)це какó-то у нас дру́го́е*; *Ой, не ходíte замуж, пока́ молóденькие, мужу́кí чичás пошли́ такí гáдкие*; *Кол-пакí с барáньей шёрсти катáли, онí такí высóкие, прямы́е, под в́ид шля́пы, тóлько поля́ корóтенькие*; *Клётки такí деревя́нные, из их лагу́ны́* ('деревянные бочонки') *сбивáли, крепи́ли их обруша́ми вкруг* и др.

У прилагательных П. п. ед. числа м. р. и ср. р. наряду с ударным окончанием *-ом* наблюдается ударное окончание *-ым, -им*: *в какóм, другóм, сухóм, худóм, большóм* и др.; *в какíм, другíм, сухíм, худы́м, большы́м* и др.

Зафиксированы случаи произношения [кы], [гы] в формах прилагательных (наряду с формой И. п. ед. ч. м. р.) на стыке основы с окончанием: *вля́йкым постом, редкые случаи́, сладкые пи-*

ро́ги, стрóгие устáвишыки (а также *ру́сский человек, мя́хкый хлеб, стрóгый устáвишык*) и др.

В речи старшего и значительной части среднего поколений семейских Забайкалья широко распространено употребление /т'/ в окончаниях 3 л. глаголов ед. и мн. числа независимо от спряжения, что является яркой чертой говоров южнорусского наречия: *Счас бы стари́кí встáли, да посмотре́ли, как молодёж рабóтает*; *В ускресённе, когда́ на свою́ рабóту пойдёши́ или по ягóду, ли куда́ — след сзáди огнём го-рítь, рабóтать няльз́я ускресённе*; *Я чо́ буду с-под рук глядéть, когда́ мне дадóть чо по́йс, я уж луч́ше в преста-рельй дом уéду, всё равнó меня́ возь-мóуть*; *Какую́ молодóуху не взли́бят, вот ту́ на займку отпра́вляють* и др. Во всех слоях исследуемых говоров безударные окончания 3 л. мн. ч. глаголов II спряжения часто совпадают с соответствующими окончаниями глаголов I спряжения: *Вólки стáям ходю́ть, всю ночь рявóуть*; *А тапéрь жéнютца́ ши́ ничо́ не гляд́ять* и др.

Нами зафиксированы также единичные случаи употребления глаголов с отсутствием конечного т': *А он [муж] н́ише письмó*: «Я за вам не приéду»; *Онá на мнэ́ глянóла, говорít*: «Чó да об чём не слéдовае́ думáеши?»; *Онá куды́ йéде, с собо́й у́гли бярё́т*; *Оны́ менé кáжын день хó(д)ить свáтають*: «Да-ва́й свéденне пítь». *Но нáшы говор́я, што́ у нас дéдушка хворáет*. Данное явление лексикализовалось во вводном слове *може*, которое возникло из глагольной формы *может*: *Ино́й, мóже, хто́ потрáпитца, расскáжет вам чевó нóвово, а я уж ничо́ не помню́*; *Я, мóже, мно́го глабóлю?* и др.

У глаголов с основой на *к/г* отмечены формы инфинитивов на *-кчи, -гчи*: *-пекчи́, помогчи́, берегчи́* и др.: *Пекчи́ хлеб мно́го приходíлось*; *Берегчи́ себя́ нáдо с мóлоду, а то виши́ мы какí*

гáдкие, стáрые; Всем дéтям náдо по-могчú и др.

В настоящее время, особенно в речи среднего и младшего поколений, прослеживается тенденция к употреблению глагольных форм 2 и 3 л. ед. ч. и мн. ч. с утратой интервокального [j] и ассимиляцией и стяжением возникших в результате этого соседних гласных с ударным и безударным сочетанием, т. е. -а, -е, -о на месте -а^{йе}, -е^{йе}, -о^{йе}: *бéгаиш, закíдываиш, рабóтаиш; бывáт, знат, игрáт, пускáт, дúмат, уплáчиват, зацарствéт, умéт, мот; игрám, спáхám* (вспахаем), *умém, бéгате, рабóтате, думáте* и др.

В речи семейских старшего поколения наблюдаются формы деепричастий на -виши (-виша), -миши (-миша), -ши (-ша): *У тво^{йх} годáх ес(т)ь дáчи купíвиши, машины завéвиши; Яйчко лóпнувиши; На покойново одеváли сарафáн, рубáху, крес надеváли, сáван сшúмиши; Вот надéла монíста рáзны. И хоть однá она́ надéмиша, всё равнó монíста; Мáтка моя́ уж давнó умéриши; Цэрква на (о)днóм нарисовáвиша быlá* и др.

В говорах семейских отмечено образованное от деепричастия наречие *кράдчи* (из *кράдучи*): *Рáньше-то жанихú нявэст воровáли. Крáдчи увязúть кúды-нибудь и нядéлю не приязжáють; Идé, мóжа, крáдчи вытивáли, я не видáла* и др.

О. Г. Ровнова и Т. Б. Юмсунова продолжили изучение говора казаков-некрасовцев. С 15 по 24 октября они работали в **Левокумском районе Ставропольского края** — в поселке Новокумском и селе Кумская долина — и записали на пленку 37 часов звучащей речи.

Рассказы казаков-некрасовцев по своему содержанию существенно расширяют и обогащают материал, полученный в экспедиции 2003 года. В подробностях записаны родильный, крестильный, свадебный и поминальный обряды, а также обряды праздничного

цикла; в материале нашли отражение темы знахарства, внутрисемейных отношений и др.

Настоящий отчет дополняет лингвистические наблюдения над говором, которые отражены в отчете за предыдущую экспедицию.

При склонении существительных *лоб* и *рот*, а также существительных с суффиксами -онок-, -ок- отсутствует чередование *о* с нулем звука: *написано на лобú; ротóм похожая на него; мышóнока поймали; этому сомёноку; взяла котёнока; тóроку жалуются*. В словах *легкий, мягкий* на месте сочетания *жк* произносится сочетание [фк]: *рука лё[фк]ая у меня; подушка мя[фк]ая*.

В отчете за 2003 г. было сказано, что существительные, относящиеся в литературном языке к ср. р., в говоре казаков-некрасовцев переходят в ж. р. Последняя экспедиция позволила уточнить, что данное явление характерно не только для И. п. (*худая лицо на ней была; какая уважения была*), но и для других падежей. В В. п.: *каждый месту себе выбирает; мы ня знали эту слову; нашли же мне имю; одеялу кинул; на голую телу извёстку клали*; в Р. п.: *двести грамм говяжэй мясы; брус мылы дать*; в Д. п.: *к масле на силу попривыкли; ехали по море; время по солнышке узнавали*; в Т. п.: *мылой потрёшь-потрёшь; кормила своёй молокою; не виной, а бузой бабушка угощала; всё под решатой стояло*; в П. п.: *в Турсьи сидели в одной селе; в своёй же казачьей платье*.

Зафиксирована особая звательная форма: *Оляй!* Возможно образование простой сравнительной степени прилагательных с помощью контаминированного суффикса -ейше- (из -ей- + -ше-): в Орегоне *теплейше зима; она изо всех сятёр посмелейша*. Отмечено присоединение дополнительного инфинитивного показателя -ть к глаголам *бечь* и *печь* (*бечьть, печьть*): *надо с бабкой*

бе[ш'т']; на улице буду не[ш'т']. Зафиксировано редкое употребление многократных глаголов: *знаваться* (от *знать* — 'поддерживать знакомство, водиться'), *дѣлывать*, *хаживать*. Используясь в рассказах-воспоминаниях о прошлом, они обозначают давность действия: *Они дружили, братками назывались, с детства знавались*; *Тогда молотили, из овса кисель дѣляли*. Образование собирательных числительных с помощью суффикса *-вер-* возможно в говоре не только от числительного *четыре*, но и от числительных *пять*, *шесть*: *пятьверо*, *шестьверо*. Из служебных частей речи интересна частица *бай*: *Бай придется, повицелуить, попоцелуить, пообнимить* — *ласковый, совсем ласковый!*

Глагольное управление в ряде sluчаев отличается от литературного языка: *иде ты русского языка научился?* 'русскому языку'; *радовались над нами* 'нам'; *сидят в картах* 'в карты'; *он на отпуску* был 'в отпуске'; *умирает, а потом приходит к себе* 'в себя'; *мы своё настаивали* 'на своем'; *под аварию* попал 'в аварию'; *я Богу верующая* 'в Бога'; *я за своих детей не обижаюсь* 'на своих детей'; *ты обутая-то чем-то?* 'во что'. В соответствии с В. п. литературного языка прямой и косвенный объект может обозначаться в говоре Р. п., в том числе и в неполных предложениях с опущенным дополнением в Р. п., на что указывает форма согласованного определения: *эту стаду туда гоняли пить воды; кто же этого знает?*; *как я буду греха брать?*; *становят на столы борща*, мясу; *рос северный саперави, а этот не похож на северного*; *бобы сеяли, самито кушаешь хороших*. Наречие степени *совсем* имеет в говоре более широкую сочетаемость по сравнению с литературным языком: *Отец был очень хороший у меня, совсем хороший*; *Мы как голосим, совсем голосим!*; *Много людей попомёрло, совсем много*; *Она совсем*

скупает; *И вот боялся, так боялся, совсем боялся!*; *Эту совсем любил*.

Во время второй экспедиции существенно расширились представления о лексическом богатстве говора казаков-некрасовцев. Были зафиксированы такие слова, как: *атаманок* 'глава рыбацкой артели', *бить уколы* 'делать уколы', *бумажить* 'месить тесто после того, как оно поднимется первый раз', *горячий стол* 'поминки после похорон', *жадность* 'жадность', *Зажары* 'созвездие Плеяды (Стожары)', *зѣбры* 'жабры', *зѣвы* 'нижние скулы', *земь* 'земля', *знатно* 'понятно', *зѳром* 'насильно', *катунки* 'скатанные в тюки вещи', *Коромысли* 'созвездие Большая Медведица', *крадкой* 'тайно, украдкой', *куточка* 'коробка спичек', *ласор* 'рассол', *ликоваться* 'целоваться', *луданый* 'розовый', *начнуть* 'начать', *мазьвы* 'мази', *Матвѣева Дорога* 'скопление звезд Млечный Путь', *моли́та* 'молитва', *надоумиться* 'вспомнить, догадаться', *найти(сь)* 'родить(ся)', *нежилской* 'близкий к смерти', *нелюбимый* 'такой, который никого не любит', *остовый* 'сотовый (о меде)', *падь* 'тля', *переперечить* 'ослушаться', *Петрѳв Крест* (созвездие), *поповать* 'быть попом, батюшкой в церкви', *рода* 'родня', *рудать* 'использовать', *руданый* 'не новый, использованный (о полотенце, посуде)', *слышки* 'слухи', *трудиться* 'испытывать физические страдания, тяжело болеть', *урак* 'поле, засеянное хлебом (пшеницей, рожью, овсом)', *хаты* 'таблетки', *харчный* 'требующий много продуктов для приготовления', *хата* 'комната', *чистый четверток* 'четверг перед Пасхой' и др. Особую лексическую микросистему представляют собой термины родства. В казачьих семьях сестра и брат матери назывались *тѣта* и *дядя*, а сестра и брат отца — *тѣтушка* и *дядюшка*. Обращаясь к свекрови, невестка называла ее *матовка* ([мат:фка]).

О. Г. Ровнова продолжила обследование говора старообрядцев, живущих в Эстонии. Как и в прошлом году, эта работа велась в тесном контакте с кафедрой русского языка Тартуского университета и Союзом старообрядческих общин Эстонии. Во время экспедиции, проходившей с 5 по 25 августа, были обследованы говоры дд. Желачек, Межа, Тони **на острове Пийриссаар**, а также населенных пунктов **Западного Причудья** — г. Муствеэ и дд. Рая, Кикита, Тихеда. Записано на пленку 40 часов звучащей речи от 27-ми информантов в возрасте от 60-ти до 93-х лет. Среди них головщица хора — единственная в Причудье владеющая древней традицией пения по крюкам и солям, женщины-«крылошанки», активные прихожане моленных, а также отошедшие от веры люди. Собран обширный материал, требующий осмысления, связанный с историей старообрядческих общин, традиционным бытом русских людей, их участием в исторических событиях, влиянием эстонского окружения, историческими связями с «русским берегом».

В обследовании о. Пийриссаар приняли участие лингвисты Тартуского университета — заведующая кафедрой русского языка профессор И. П. Кюльмоя и преподаватель кафедры О. Н. Паликова. Основная задача экспедиции на остров заключалась в том, чтобы определить гомогенность / гетерогенность причудского и пийриссаарского говоров. Было установлено, что это один и тот же говор, однако целый ряд диалектных черт (сильное яканье, отсутствие *t* в глагольных формах 3 л. и др.) в речи островитян представлен более последовательно, чем в речи жителей побережья. Заслуживает специального внимания языковое проявление «островного сознания» пийриссаарцев и их «русскости». Например, старообрядческие поселения Западного Причудья — от

д. Варнья (Воронья) до г. Калласте (Черный Посад) — они называют *зарубеж*, *зарубежица*, а их жителей *зарубежскими*.

После поездки на остров О. Г. Ровнова самостоятельно продолжила сбор историко-культурного и диалектного материала в причудских деревнях, которые не были обследованы в прошлом году. От жителей дд. Рая, Кикита, Тихеда, а также от новых информантов из г. Муствеэ были записаны содержательные рассказы о жизни староверов Эстонии.

Во время экспедиции была собрана новая диалектная лексика: *ва́ленцы* 'валенки', *во́бочь* 'в сторону, вбок', *ва́льй* 'вяленый', *га́яться* 'путаться', *заветерье* 'безветренное место', *засте́жка* 'задвигка на воротах', *зимня́к* 'юго-восточный ветер', *кара́ть* 'говорить вздор', *лететь* 'идти (о дожде)', *мокри́к* 'западный ветер', *па́рник* 'напарник', *плак* 'плач', *плыть* 'ползти', *полу́денник* и *полуде́нник* 'южный ветер', *посто́ронь* 'по сторонам', *пусто́й перебе́г* 'незастроенное пространство между г. Муствеэ и д. Рая', *рост* 'возраст', *руга́тый* 'часто ругающийся', *се́вер* 'северный ветер', *стекля́ха* 'муравей', *сластимый* 'подслащенный', *труши́ться* 'крошиться', *ту́чить* 'покрываться тучами (о небе)', *ту́шка* 'прорубь', *уры́льник* 'мусорная куча', *хвиль* 'метель', *шарьё* 'тряпье'.

С 12 по 22 июня группа под руководством О. Г. Ровновой работала в **Сямженском районе Вологодской области**. В нее входили И. И. Исаев и студенты Московского гуманитарного педагогического института. Цель экспедиции состояла в том, чтобы установить восточную границу говора деревень Слободского сельсовета Харовского района Вологодской области, монографическое описание которого является плановой темой Отдела диалектологии и лингвогеографии.

Говоры востока Сямженского района (волость Русиново) примыкают к западной границе говоров Слободского сельсовета, обследованных в ряде экспедиций 1960—1990-х гг., 2002—2004 гг. (волости Карачуново, Слобода, Катрома). В качестве экспедиционной базы была выбрана деревня Борок-1, расположенная на левом берегу реки Кубены. В течение 10 рабочих дней записывалась речь жителей волости Русиново Любовицкого сельсовета: дд. Борок-1 («Красный»), Борок-2 («Цыганский»), Клоково, Пуронга, Погребное, Макаровская, Истоминская, Малинник, а также с. Пигилинское Пигилинского сельсовета. Было сделано 34 часа записи.

Основные языковые диалектные черты этого района совпадают с Харовским говором.

В области фонетики (ударный вокализм) отмечаются рефлексы прежней семифонемной системы вокализма: в соответствии с /ъ/: *пѣла*, *пѣсни*; /ѣ/ из *е, *ь: *сем*, *ден*; /ѡ/ из *о под «восходящим» ударением: *куѡт*; /о/ из *о под «нисходящим» ударением и *ь: *дом*, *сон*; узкие гласные в соответствии с *а в словах *пѣт* (пять), *зѣт* (зять, взять); отмечен также дифтонг [ѣо] в словах типа *береѡза* при обычном для говора *берѣза*. Подобные примеры описывались Л. Л. Касаткиным и свидетельствуют, вероятно, об усвоении новой системы с результатами перехода *e > o* в позиции С'ГС.

Вологодские говоры характеризуются полным оканьем. Впрочем, уже во втором предударном слоге, наряду с произношением *х[о]рошѡ*, можно слышать звук типа «шва» [э] *хэрошѡ*. Последовательное различие происходит лишь в позиции первого предударного слога. Отмечены примеры *n[y]ступѣли*, *n[y]зури* с сильно лабиализованным гласным после губного согласного и перед гласным [у] первого предударного слога.

В первом предударном слоге после мягких согласных гласные неверхнего подъема совпадают в общем варианте [е], т. е. реализуют *сильное еканье* (термин предложен Л. Л. Касаткиным). Иногда сильное еканье перебивается гласным типа [и], но условия употребления этого гласного пока не выяснены и требуют дополнительного изучения.

В прочих предударных позициях после мягких согласных фонемы /и, е, о, а/ могут совпадать в ослабленном [и]-образном звуке.

В заударных слогах после твердых согласных отмечено различие гласных фонем неверхнего подъема. Иногда может произноситься гласный [э]. После мягких согласных обращает на себя внимание произношение типа *внимá-ниѡ*, *пигили́нскиѡ* с конечным [о], соответствующим фонеме /о/.

Консонантизм сямженских говоров напоминает харовский. Здесь также слабо реализовано противопоставление согласных по твердости/мягкости, употребляется [ɲ]-«средний» «европейский», [w] губно-губной, часто реализуемый нулем звука в начале слова, отмечается разрушающаяся система различения аффрикат.

В области морфологии можно отметить употребление формы Т. п. мн. ч. имен существительных *с рукам*, *с ногам*; в области глагольного слово- и формообразования можно отметить распространение многократных глаголов типа *хаживал*, *сиживал* и др.; на стыке фонетики и морфологии флексий отмечены «стяженные» формы прилагательных: *хорѡша*, *красна* и пр.; употребляется полифункциональная союз-частица *да*: *сказал он и сделал да*; отмечены формы инфинитива с основой на заднеязычный и архаическим ударением *испектиѣ*, *берегтиѣ* без морфонемного чередования.

В говоре сохраняются лексемы *еси* 'есть', *эжа* 'еда', *осѣдность* 'место во дворе под постройками и домом', *кос-*

títʹ ‘мочиться’; ‘мусорить’, *góbec* и *góbcʹik* ‘ход в подпол’, *perévéslo* ‘ручка корзины’, *náужна* ‘обед’, *úжна* ‘ужин’, *криу́ли* ‘качели’, *нежирóвый* ‘нежилой’, *изби́ца* ‘чердак’, *плант* ‘порядок улицы’, *коло́коло* (колокол).

В июне-июле состоялась двухнедельная экспедиция Н. Л. Голубевой и Н. К. Онипенко **в Харовский район Вологодской области**. В экспедиции продолжался сбор материала по плановой теме отдела «Монографическое описание севернорусского говора». Записано 27 часов мужской, женской и детской речи от жителей Арзубихи и окрестных деревень: Ваулихи, Захарихи, Макарихи, Полутихи, Злобихи и Дягилева. Административным и хозяйственным центром является Арзубиха, сюда переехали многие жители перечисленных деревень. В Арзубихе ведется строительство домов для семей молодых специалистов, действует средняя школа и детский сад, существуют два магазина, гостиница и дом для ветеранов. Что же касается других перечисленных деревень, то их можно назвать «умирающими»: зимой в них живут несколько пожилых людей, летом приезжают дети и внуки, а также дачники — выходцы из этих деревень, которые проводят зиму у своих детей в разных городах России.

Харовский говор известен диалектологам. Экспедиции направлялись сюда Институтом русского языка АН СССР еще в начале 1950-х гг., а в 1960—1990-е гг. этот говор, сохранивший архаические черты (в частности, семифонемный вокализм, отсутствие смягчения согласных перед гласными переднего ряда), был записан на магнитофон. Собранный материал лег в основу исследований отдельных явлений фонетики Р. Ф. Касаткиной (Пауфошумы), Л. Л. Касаткина, Ю. С. Азарх, М. Н. Преображенской, Е. А. Брызгуновой, А. М. Красицкого, С. М. Треблер.

Целью данной экспедиции было изучение синтаксиса и интонации говора. В связи с этим особое внимание уделялось записи диалогической речи, которая является преобладающей формой диалектной речи. Наибольшая часть существующего ныне фонда магнитофонных записей говоров — это рассказы диалектоносителей или их пространственные ответы на вопросы собеседника. Такой рассказ всегда обращен к собеседнику, хотя нередко содержит в себе и языковые средства, характерные для диалога; кроме того, в устных рассказах иногда средствами прямой речи передаются диалоги. Все это дает определенное представление о диалогической речи говора, однако материал должен быть существенно дополнен.

С 24 по 29 июля в **Гусь-Хрустальном районе Владимирской области** работали И. И. Исаев и Н. В. Исаева. Цель экспедиции состояла в записи диалектной речи на цифровой диктофон для последующей расшифровки текстов, анализа фонетической системы говора и установления его эволюции.

Говоры северо-востока бывшей Парахинской волости Касимовского уезда Рязанской губернии и примыкающие к ним с севера (теперь Гусь-Хрустального района Владимирской области) были исследованы в конце XIX в. Е. Ф. Будде, в 1950-х гг. О. Н. Мораховской и в начале XXI-го в. И. И. Исаевым.

В качестве экспедиционной базы выбрано село Парахино, расположенное на правом берегу реки Гусь. Село являлось волостным центром, а его население в разное время образовало все деревни волости — Уляхино, Сивцево, Астахово, Новомальцево, Новоуваровку и др. В течение 4 рабочих дней записывалась речь жителей села Парахино и деревни Астахово (записано 17 часов).

Говор деревень Парахинской волости, генетически южнорусский, сегодня определяется как типичный вос-

точный среднерусский акающий отдела «Б».

Установлено, что в сильных позициях в ударном слоге функционируют пять единиц: фонемы /a/, /o/, /e/, /и/, /y/. Помимо комбинаторных реализаций этих фонем, обусловленных твердостью/мягкостью соседних согласных, отмечены факультативные представители, обусловленные влиянием суперсегментной фонетики — дифтонги и дифтонгоиды: *сы^ви*||, *ску^вт*||, *н'а-е^витът*, *с^врафа^ви*||, *до^вм сво^ви*|| (*с'-р'ез'б'о^ви*||). Анализ узких гласных, выполненный с использованием компьютерных программ акустического анализа речи, показал, что в случаях реализации фонемы /o/ в виде узких гласных монофтонгов [o] и [y] в конце фразы может быть отмечена неоднородность составляющих гласного звука: гласный, воспринимаемый на слух как узкий монофтонг, является дифтонгом или дифтонгоидом, но с менее выраженными частями, быстро сменяющимися друг друга во времени. Ярким признаком таких гласных является резкое падение звучности, а на слух будет отмечена нисходящая интонация.

В первом предударном слоге после твердых согласных отмечено недиссимилятивное аканье. После мягких согласных статистический анализ произносительных норм различных возрастных групп выявил сосуществование в говоре четырех подсистем предударного вокализма (диссимилятивное, сильное и умеренное яканье, сильное еканье). Сегодня, спустя более чем 50 лет с момента первого описания говора, можно утверждать, что предударный вокализм говора все еще не сложился в единую систему. Гласные фонемы верхнего подъема могут быть представлены 4-мя вариантами — [a], [e], [и], [o]. Все они обнаруживают более или менее тесную связь с позициями, позиционную прикрепленность.

В целом совпадая с реализацией гласных фонем в заударных слогах в литературном языке, заударный вокализм говора имеет несколько отличительных черт. Отступления характеризуют прежде всего реализацию фонемы /y/ в конечном открытом слоге слова после твердых согласных: происходит понижение подъема гласного в конце фонетической фразы с сохранением ряда образования: *косо* (косу) *паб'и^ви*||, *н'а-бу^вду^ва*||, *п^влав'инку^ви*||, *за^врплато^ви*.

Отступления в реализации гласных фонем верхнего подъема в конечном открытом слоге после мягких согласных также связаны с особым характером их фразовой реализации. Так, фонема /и/ в конце интонационного единства может быть реализована шкалой звуков от монофтонга переднего ряда [и] через средний подъем до гласного [e] и дифтонгов [иа] и [ea]: *у^вм'ерл'e*||, *па^вцмал'ea*||, *л'уд'иа*||. Фонема /и/ реализуется звуками, которые различаются подъемом и степенью развернутости компонентов сложного гласного: [и], [и^в], [иа], [e], [e^в], [ea], [ь].

То же можно сказать относительно фразовой реализации фонемы /y/, которая бывает представлена рядом вариантов (монофтонгов, дифтонгов и дифтонгоидов): *см^вотр'и*||, *к^ворм'о^ви*||, *см^вотр'у^ви*||, *р^вьстатыр'у^ви*||.

Основные изменения вокализма за сравнительно небольшой период эволюции (примерно 50 лет) коснулись главным образом архаичных звеньев, представленных многочисленными рядами, потерявшими непосредственную (живую) функциональную обусловленность в подсистеме гласных.

В области гласных ударного слога требуют особого внимания два момента. Во-первых, рефлекс *o под восходящим и нисходящим ударением встречены уже в единичных случаях, но, как и прежде, в строгом соответствии с этимологией: *с'-р'ез'бу^ви*||, *ац-т^выр'и*-

ку́бф||, хару́бшъц, харо́бшъц||, ну́бш||. Фразовой реализацией дифтонга [уо] является, по-видимому, дифтонгоид [оъ] — гласный, пониженный по подъему, но не утративший лабиализацию первого компонента, что позволяет сохранять контраст между фазами гласного. Важно, что 90% слов с дифтонгом [уо] расположены непосредственно в конце фонетической фразы. Дифтонг оу употребляется во всех остальных случаях (под «нисходящим» ударением, в соответствии с *ь).

Фонему /о/ в ударном слоге после мягких согласных представляет дифтонг [оу] и узкий монофтонг [о]: он п'јот|| (нарушенная оппозиция пьёт ↔ пьют), гр'еб'онокъ||, пацд'от||, наск'отш. Неоднородность гласного [о] — как фразового представителя дифтонга [оу] — подтверждена инструментальным исследованием.

Наибольший интерес с точки зрения эволюции системы вокализма представляет позиция первого предударного слога после мягких согласных.

При первом знакомстве с фонетикой тех говоров, которые находятся на периферии лингвогеографических объединений и развиваются в условиях длительных междиалектных контактов, кажется, что фонетическая вариативность в них — как «неизбежное следствие языковой эволюции» — определяется беспорядочным смешением, случайным употреблением вариантов. Однако, как показывает анализ материала, большинство случаев факультативности имеет лингвистическую тенденцию, позиционную прикреплённость, а те факты, которые не могут быть приведены «к общему знаменателю», вернее всего относятся к редким случаям неустойчивой (временной) функциональной дублетности или объясняются недостаточным количеством языкового материала, подвергнутого анализу.

С 6 по 12 июля проходила экспедиция Е. В. Щигель, Е. В. Ивановой и

О. А. Кузнецова в Меленковский район Владимирской области. Этот район расположен в юго-восточной части области. С юго-востока его естественной границей является р. Ока, на другом берегу которой расположены Нижегородская и, южнее, Рязанская области.

Во время экспедиции были сделаны записи говоров деревень Большой Приклон, Раменье, Двойново, Коровино, Дмитриевы горы, Копнино, Верхоунжа (всего около 27 часов).

Новые слова заимствуются из литературного варианта то в окающем, то в акающем варианте: м[о]бильный телефон, к[а]миссия. Зафиксировано много примеров предударного ёканья: [в'о]дú хозяйство, [л'о]жу, с[т'о]кает, на[д'о]ваю. В абсолютном начале слова во втором и первом предударном слогах в соответствии с /о/ произносится [у]: [у]дногó, [у]вдовёл, [у]дейло, [у]собенно. Встречается произношение [и] между мягкими согласными: [п'ин']сия, в не[р'ид']ней. У некоторых дикторов регулярно представлено мягкое цоканье. Например, в записях из д. Коровино отражено: [ц'ём-то, си[ц']ас, на пле[ц]áх и др. Наблюдается неисконное чередование глухих согласных в слабой позиции со звонкими в сильной: лепё[ш]ка и лепё[ж]ек.

Широко распространены краткие формы прилагательных: крупны яблоки, плоха погода и даже мобильны телефоны.

Названия ягод почти везде имеют основу на -иг-: землянига, клубнига, чернига. Зафиксированы такие слова, как баня 'мастерская для изготовления и обжига глиняной посуды', задёргышки 'занавески'.

В Меленковском районе много староверов. Деревня Тимошино (в которой были сделаны записи) и две прилегающие деревни представляют собой куст староверческих поселений и интересны как объекты будущей диалектологической экспедиции.

А. В. Тер-Аванесова продолжила изучение говора **с. Пустоша Шатурского района Московской области**. В экспедиции, проходившей с 27 мая по 20 июля, записано около 40 часов звучащей речи. Говор Пустошей, обнаруживающий признаки владимирско-поволжских и в особенности муромских говоров, а также ряд южно- и средне-русских черт, сохраняет semifонемный вокализм и неполное смягчение согласных перед гласными переднего ряда.

В ходе экспедиции основное внимание уделено записи связных текстов. Некоторые детали распределения аллофонов и употребления грамматических форм оказалось возможным установить только на материале связных текстов. К числу таких явлений относятся следующие. 1) Палатализация заднеязычных *к*, *г* после палатализованных согласных, наблюдаемая в диминутивах с суффиксом *-ьк-* (*Вáнькиа*), в суффиксе прилагательных *-еньк-* (*мáненькиа*), в суффиксе прилагательных *-ьск-* (*гъроцки́йа*), а также в отдельных словах вроде *деньги́а*. Оказалось, что действие этого правила в говоре ограничено позицией перед *о*, например: *пиреньки́а*, *пиреньки́у*, но *пиренько́м*, ср. в глаголах твердость *к*, *г* перед *о*: *пекóш*, *текóт*, *бирегóм*, *пекóти* и под. Согласный *х* в указанных условиях не смягчается: *ольхá*. 2) Сохранение архаических предикативных форм прилагательных: наряду с известными в восточнорусских говорах формами мн. ч. типа *сы́ти*, *ра́ди*, *виновáти* в говоре сохраняются неизменяемые предикативные формы прилагательных *похож*, *полон*: *Рибиа́тишки на тиа́ похóди*; *Дие́вчкa фси́а на Пётю похóди*; *Ведру́о по́льн*. 3) Противопоставление кратких и полных форм личных местоимений Р. и Д. пп. ед. ч: *тиа́* — *теби́а*, *си́а* — *себи́а*, *тиё* — *тебиё* и т. д. Краткие формы весьма частотны с предлогами и в энклитическом употреблении (*бес тиа́*, *ви́жу*

тиа́). 4) Употребление *dativus ethicus* местоимения *себя*: *Ты подúмай-ки си!*

5) Остатки склонения постпозитивного местоимения **ть* обнаруживаются только у старшего поколения; имеются две формы: И. п. ед. ч. м. р. *-ът* и прочие формы падежа, числа и рода *-ть*.

По специально подготовленным программам был собран материал, показывающий отклонения от правила Васильева — Шахматова о распределении двух фонем типа *о*. Были собраны факты закономерно появляющихся отклонений в разных классах слов (существительные *а*-склонения, *и*-глаголы, полные прилагательные, диминутивы на *-ик* и др.), объясняемые, очевидно, разного рода акцентными и морфологическими перестройками, а также выравниванием фонемного состава морфемы. Из чисто фонетически объясняемых отклонений можно указать последовательное появление дифтонга *уо* на месте **ъ* в сочетаниях вида **trъt* (*кру́от*, *слиу́бы*, *кру́бишът*, *снубóхи*) в ортотонических словоформах. Это явление следует сопоставить с отмеченным Д. В. Бурбихом тонким различием качества *уо* во втором слоге полногласия (*кору́ова*) и в других позициях (*сру́ок*), которое С. Л. Николаев предложил объяснять тем, что в восточнорусском полногласии второе *о* представляет собой развитие **ъ* (в этом случае восточнорусское полногласие имеет такое же устройство, как украинское и западнорусское). Наличие дифтонга *уо* на месте **ъ* после сонантов в говоре Пустошей делает это предположение вероятным.

С 13 по 28 августа проходила экспедиция аспиранта А. Израеляна в д. **Веркола Пинежского района Архангельской области**.

Цель экспедиции: запись северных говоров для последующей расшифровки.

Наиболее характерные черты говора д. Веркола:

Фонетика. Вокализм. Пятифонемный состав вокализма. Под ударением между мягкими согласными *ѣ дает [е], хотя в говоре встречаются примеры произношения [и], возможно лексикализованные: *juc'*, *пойд'еш*. Достаточно регулярно *а дает [е], т. е. [а] перед твердыми согласными чередуется с [е] перед мягкими: *гул'ал* — *гул'эл'и*. Оканье полное.

Консонантизм. Заднеязычная звонкая фонема смычно-взрывного образования даже в интервокальном положении, в частности в форме Р. п. ед. ч. прилагательных и местоимений, произносится как [г] (хотя во многих северных говорах в этой позиции [γ]). Наличие в говоре двух аффрикат /ч/, /ц/ (отсутствие цоканья). На месте долгих шипящих произносятся твердые бифонемные сочетания, как правило однородные: *јѣжжу*, *можжев'эл'ник*. Интервокальный /j/ в формах глаголов выпадает, и происходит стяжение согласных *роб'отат*, *бол'ѣт*. Конечное сочетание [ст] упрощается: *хвос*. Наблюдается тенденция к сокращению согласного звука на месте сочетаний двух согласных, причем внутри корня она более явная, чем на стыке морфем: *клáсоф*, *зб'еркáсы*; но *с'ез'он.ик'и*. В говоре зафиксированы единичные случаи произнесения краткого согласного в позиции, когда предлог вместе со знаменательным словом образуют одно фонетическое слово: *в'ал'енках* — в валенках.

Морфология. Прилагательные мужского и среднего рода в Р. п. ед. ч. имеют окончание - о[г]о. Местоимение 3-го л. женского рода имеет одну форму для всех косвенных падежей — *јей*: *без јей*, *к јей*, *с јей*. Встречается употребление местоимения *онé*. В 3-м лице глагола конечное [т] может отсутствовать в формах 3-го л. ед. ч. I спряжения: *он несé*, *они сидя́*. В спрягаемых формах глаголов с основой на заднеязычный согласный чере-

дования к|ч нет. Твердый заднеязычный чередуется с мягким: *п'ек'у́* — *п'ек'эш*. Иногда употребляются сложные формы прошедшего времени, состоящие из форм прошедшего времени глагола *быть* и формы на -л полнозначного глагола, которые имеют значение плюсквамперфекта.

Синтаксис. Предлог *с* употребляется в пространственном значении: *приехал с Архангельска*. В качестве средства связи в подчинительных конструкциях широко используется *дак*.

Аспиранты О. Р. Горинова и В. Л. Строменко работали 2—7 августа в **Советском районе Кировской области**. Было обследовано четыре населенных пункта: г. Советск, с. Ильинское, с. Васильково, с. Грехово. В городе Советске и селе Ильинском есть дома ветеранов, в которых живут пенсионеры из самых разных деревень и сел Советского района. Большинство пенсионеров переехало в дома ветеранов сравнительно недавно. Запись речи носителей вятских говоров в домах ветеранов, таким образом, как бы расширила территорию обследования до 12 населенных пунктов (деревни Верхопижемье, Патруши, Косогорье, Пазмугово, Луговая, Ключи, Гаврино Советского района и д. Мысы Лебяжского района). За шесть рабочих дней было записано 17 часов спонтанной диалектной речи на магнитофон от 15 человек. В основном в записях представлены монологи: рассказы жителей района о своей жизни, рассуждения и т. д. Есть и диалоги — разговор между собой местных жителей.

Говоры Советского района сохраняют черты, присущие диалектам восточной части севернорусского наречия (оканье, апико-альвеолярное *l*). Для фонетики местного наречия характерно наличие шестифонемного вокализма («ѣ» реализуется в виде закрытого монофтонга), прогрессивного ассимилятивного смягчения заднеязычных со-

гласных (*Тáнь*[к'а], *молоч*[к'о]). Отмечено местное прилагательное [п'р'ас'к'ий] в значении 'аккуратный, опрятный', употребление вопросительного местоименного наречия *зачем* вместо литературного *почему*: *Зачем не ходил?*

Собранный материал интересен для исследования интонации севернорусского типа и особенностей передачи чужой речи в русских говорах (этим вопросам посвящены диссертационные исследования участников экспедиции).

В говорах Советского района отмечены основные черты интонации севернорусского типа: пословное мелодическое оформление синтагм, невыразительность интонации общих вопросов на фоне утвердительных высказываний, продление конечного гласного высказываний, достаточно высокий темп речи.

В материале представлены как разговорные, так и чисто диалектные особенности передачи чужой речи. К диалектным особенностям относятся использование в качестве вводного компонента частиц *мол*, *де*, *дескать*, а также отсутствие вводного компонента. В речи информантов встречаются случаи препозиции, интерпозиции и постпозиции авторских слов. Зафиксировано автоцитирование, цитирование лиц противоположного пола и официальных источников (радио, телевидения).

В июле-августе И. А. Букринская, О. Е. Кармакова и А. В. Тер-Аванесова работали в **Городокском районе Витебской области республики Белоруссии**. За 12 дней записано 50 часов звучащей речи.

Была записана речь жителей г. Городок — уроженцев окрестных сел и деревень 1920—1950-х гг. рождения, как малообразованных, так и со средним образованием. Кроме того, было сделано несколько записей речи работников культурных и общественных учреждений, бывших учителей. Речь последних представляет собой диалектно

окрашенный русский литературный язык, сохраняющий отдельные особенности местной фонетики: фрикативный [γ]; [ш'], [ж'] на месте [с'], [з']; белорусский тип диссимилятивного яканья, широкие [e] и [o]. Диалектно окрашенная литературная речь представляет особый интерес, и в настоящее время исследование ее становится актуальным.

Большинство записей передает местный диалект, при этом отмечаются и разного рода переходные формы от местного диалекта к упомянутой разновидности русского литературного языка.

Экспедиция работала также в с. Бычиха и дд. Меховое и Дрожакки. Население этих мест в значительной мере переселенцы из окрестных деревень, причем в Меховом живут и выходцы из северо-восточного угла Городокского района, непосредственно граничащего с Псковской областью. Таким образом, удалось сделать записи двух разновидностей диалекта, представленного на территории Городокского района. Это диалект его центральной и южной части и диалект севера и северо-востока. Последний, по-видимому, продолжает южнопсковские говоры (Невельского района), а первый в целом ему очень близок, но обнаруживает отдельные белорусские черты. Носители этих говоров считают, что они говорят по-русски (некоторые добавляют, что их язык «смешанный», в нем есть и белорусские элементы). Школьные учителя также отмечают, что изучение русского языка дается школьникам гораздо легче, чем изучение белорусского; в частности, местным ученикам незнакома специфическая белорусская лексика.

В обоих говорах представлен пятифонемный вокализм, яркой особенностью которого является широкий [e] перед твердыми согласными — главным образом на месте *ѣ и *ь в сочетаниях *ѣрт. Перед мягкими согласными произносится [e] среднего или даже верх-

не-среднего подъема. Такое устройство вокализма отмечено в севернорусских говорах Е. Ф. Карским, вслед за которым принято утверждать, что для этих говоров характерны широкие рефлексы *ѣ и *ь. Материалы экспедиции показывают, что в тех редких случаях, когда имеются рефлексы *е перед твердым, они не отличаются от рефлексов *ѣ, т. е. всякое е перед твердым в говорах является широким.

В 1-м предударном слоге представлено диссимилятивное аканье и яканье жиздринского (белорусского) типа.

Яркой чертой консонантизма является [ц'], [д'з'], [ш'], [ж'] на месте [т'], [д'], [с'], [з'] перед гласными переднего ряда. В северо-восточном говоре у старшего поколения имеется твердое цоканье, тогда как в центральном говоре различаются твердый [ц] и мягкий [ч]. Различаются твердый [р] и мягкое [р'].

Особенностями словоизменения являются: синкретизм показателей Р., Д., М. пп. ед. ч. существительных ж. р. (*от жены́, к жены́, на жены́*), Д., М. пп. мн. ч. (*к домáм, за домáм*), окончание -у в М. п. ед. ч. существительных м. р. независимо от исхода основы и акцентуации (*на быкú, при отцú, в гóроду*).

Среди особенностей акцентуации следует назвать последовательное нафлекссионное ударение слов м. и ср. р. праславянской «смешанной» акцентной парадигмы, установленной В. М. Илличем-Свитычем. По мнению ряда ученых, эта черта акцентной системы восходит к диалекту кривичей (псковских и смоленских). Яркой западнорусской особенностью является переход существительных ж. р. акцентной парадигмы с в акцентную парадигму b (*рукú, вадú*). Два обследованных говора различаются ударением форм прошедшего времени тематических глаголов, причем северо-восточный обнаруживает «западнорусский» тип акцентуации (*дáла, нíла, дáли, нíли*), а южный — «белорусский» тип (*дáла, далí, нíла, нилí*).

С точки зрения лексических черт различий между двумя разновидностями диалекта не наблюдается: это продолжение южнопсковско-смоленского ареала (*бíло, бия́к, бич* 'бьющая часть цепа', *весéлка* 'радуга', *испóдки* 'вязаные рукавицы', *лáпина* 'заплата' и др.).

Отчет подготовлен О. Г. Ровновой и Т. Б. Юмсуновой

Международная конференция «Проблемы современной русской диалектологии»*

Отдел диалектологии и лингвогеографии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН организовал Международную конференцию «Проблемы современной русской диалектологии». Она проходила с 23 по 25 марта 2004 г. в подмосковном доме отдыха «Покровское». В ней приняли участие 85 человек — российские диалектологи из Владимира, Волгограда, Вологды, Воро-

нежа, Екатеринбург, Костромы, Красноярск, Москвы, Набережных Челнов, Новокузнецка, Орла, Перми, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Саратова, Сыктывкара, Тамбова, Твери, Томска, Тюмени и зарубежные коллеги из Латвии, Литвы, Украины, Финляндии, Чехии. На двух пленарных и девяти секционных заседаниях было прочитано и обсуждено 67 докладов.

* Конференция была поддержана грантом РГНФ № 04-04-14045г.

Открывая конференцию, председатель оргкомитета Л. Л. Касаткин подчеркнул, что такая масштабная по количеству участников и широте диалектологической проблематики конференция проводится в Институте русского языка впервые.

На пленарном заседании 23 марта прозвучало пять докладов. В докладе *В. Е. Гольдина* (Саратов) «Текстообразующие факторы диалектной речи» обсуждались свойства диалектной речи, обусловленные ее устностью, ситуативностью, общностью информационной базы диалектоносителей и другими текстообразующими факторами традиционной сельской речевой культуры. По мнению докладчика, выделенные им текстообразующие факторы создают отличающийся высокой степенью согласованности и системной устойчивости комплекс прототипических признаков речи на диалекте.

О. Г. Гецова (Москва) посвятила свое выступление проблемам русского диалектного словообразования. Опираясь на данные архангельских говоров, она показала, что диалектные различия в словообразовании касаются состава словообразовательных единиц, их значений, сочетаемости словообразовательных формантов, степени регулярности и продуктивности словообразовательных типов и словообразовательных формантов, а также состава лексических единиц, относящихся к одному и тому же словообразовательному типу. *О. Г. Гецова* подчеркнула, что в настоящее время можно представить лишь предварительную картину русского диалектного словообразования, что связано с недостаточной изученностью словарного состава говоров. Она отметила также, что диалектное словообразование, безусловно, имеет лингвогеографическую картину — говорам разных территорий могут быть свойственны как разные словообразовательные типы,

так и различные словообразовательные средства и словообразовательные значения типов и средств.

В докладе *Р. Ф. Касаткиной* (Москва) «Голос Арины Родионовны в творчестве Пушкина» шла речь об отражении в пушкинских текстах диалектных черт. Поэт, хорошо знакомый с народной речью в ее псковском диалектном варианте, нередко использовал «псковизмы» в произведениях, представляющих собой стилизацию под фольклорные тексты: в сказках, балладах, некоторых прозаических произведениях. В докладе было показано, что псковский диалект представлен в творчестве Пушкина разными уровнями — лексическим, грамматическим, словообразовательным, акцентологическим и фонетическим. *Р. Ф. Касаткина* обратила внимание на современные словари, авторы которых, исходя из представления о том, что все написанное Пушкиным является нормативным, ошибочно придают некоторым использованным им диалектизмам статус вариантов, допустимых в литературном языке (*мышиий, в ъзбу, запречь*).

Доклад *С. М. Толстой* (Москва) был посвящен праславянским типам глагольных основ и их лексическому распределению в русских говорах. Говорилось о том, что семантические отношения между глаголами с разными тематическими показателями уже в праславянском языке не были абсолютно регулярными, хотя некоторые типы глагольных основ сохраняли свою семантику и соотносительность друг с другом. Дальнейшая перестройка системы основ и экспансия продуктивных глагольных типов нарушили исконную семантическую соотносительность глагольных основ. Было показано, что в русских диалектах лексическая репрезентация типов глагольных основ отличается от литературной как количественно, так и по составу и лексическому распределению.

В совместном докладе *Л. Л. Касаткина* и *Т. Б. Юмсуновой* (Москва) рассматривались некоторые фонетические особенности говоров семейских — старообрядцев Забайкалья. В говорах семейских авторами отмечено произношение не только [т'], [д'] на месте *к', г'*, широко известное в русских говорах, но и [с'], [з'] на месте исконных *х', г'* в различных фонетических и морфологических позициях: *на со[с']и́, у бр[з']е, [с']и́трая, но[з']и* и др. Такое произношение отражает фонетическую замену всех мягких заднеязычных согласных на переднеязычные — не только взрывных, но и щелевых. Данное явление ранее в русских говорах не отмечалось. В докладе на большом фактическом материале объясняется произношение типа [у]брасывать, [у]пивать с начальным [у] на месте *вы-*, а также [у]пойдем, [у]травá, [у]к[и]чка, [у]сос[е]д и т. п., возникшее из [wo]пойдем, [wo]травá, [wo]к[и]чка, [wo]сус[е]д, где [wo] — частица.

23 марта на секционном заседании «Фонетика» было прочитано 6 докладов.

Заседание было открыто сообщением *С. Ю. Дубровиной* (Тамбов), в котором на материале лексико-семантической группы «вера и церковь» были показаны некоторые черты вокализма говоров Тамбовской области, и прежде всего — функциональные особенности фонемы ⟨а⟩ под ударением между мягкими согласными, а также отношения фонем в паре ⟨е⟩—⟨о⟩.

Н. В. Удалов (Набережные Челны) обратился к вопросу о фонетической организации русских окающих говоров позднего формирования Предкамья Татарстана. В докладе было показано различие в просодических характеристиках двух типов говоров — консервативном и прогрессивном. Внимание уделялось главным образом ритму фразы, а именно соотношению ритма различных частей фонетической фразы.

В докладе *Й. М. Ваахтера* (Хельсинки) «Определение гласной фонемы между мягкими согласными в вологодских говорах» говорилось о том, что известное чередование гласных в ударном слоге после мягких согласных, зависящее от качества следующих согласных ([ê] и [и], соответствующих этимологическому *ê, и гласных [а] и [е], соответствующих *а, в словах типа в[и́]ник, м[ê]чик), представляет гиперфонему, так как в окающих вологодских говорах сигнификативно слабая позиция гласной фонемы обусловлена не столько безударностью, сколько положением гласного между мягкими согласными.

И. И. Исаев (Владимир) в выступлении, посвященном особенностям фразовой фонетики в периферийном мешерском говоре деревни Уляхино Гусь-Хрустального района Владимирской области, указал на зависимость реализации всех заударных гласных фонем и отдельных согласных *т, т', д, д'* от положения в фонетической фразе. В ходе исследования было установлено, что некоторые явления из области заударного вокализма и консонантизма (дифтонгизация гласных и аффрицирование переднеязычных согласных) обнаруживают позиционную прикреплённость к концу фонетической фразы или речевого такта.

Проблема лексикализации фонетических явлений субстратного происхождения, волновавшая диалектологов и прежде, была вновь поднята в докладе *Л. П. Михайловой* (Петрозаводск). В некоторых русских (славянских) по происхождению слова отражены процессы, обусловленные влиянием прибалтийско-финских языков. Это, например, упрощение начальных сочетаний согласных (*лад[о]шка > лад[о]шка* 'гриб'), мена *в || б, j || г' || д'* (*ба[л]ить > ва[л]ить* 'обрабатывать землю'; *съезд || згиздо || дес* 'покатый настил') и др.

Особенностям интонации общего вопроса в вятских говорах был посвя-

щен доклад *В. Л. Строменко* (Москва). Автором отмечалась главная характеристика этого типа интонации в вятских говорах — ровное движение тона при условии пословного оформления слова (а иногда и слога). Самое яркое отличие в интонации общего вопроса между вятскими говорами и литературной речью — его неявное отличие от нарративных высказываний. Различение интонации общего вопроса и утверждения осуществляется носителями вятских говоров благодаря контексту и знанию ситуации.

На секции «Грамматика» было прочитано 9 докладов. Четыре из них были связаны с вопросами диалектного словообразования. В докладе *Л. Н. Новиковой* (Тверь) «Особенности глагольного словообразования в тверских говорах» деривационные структуры глаголов рассматривались как структуры семантические в своей основе. Деривационные процессы трактовались как реализация семантической валентности мотивирующего слова при реляционном (мутационном) словообразовании и как транспозиция вещественного значения из одной части речи в другую при транспозиционном словообразовании. Были выделены специфические диалектные явления в сфере глагольного словообразования.

Е. Н. Шаброва (Вологда) в докладе «Морфемика диалектного глагола» обратилась к проблемам морфемного анализа слова в русских говорах. Были определены теоретико-методологические основания и методические приемы морфемного анализа диалектного слова и с этих позиций охарактеризованы общерусские закономерности и диалектные особенности морфемной структуры основ инфинитива диалектных глаголов в современных вологодских говорах.

Л. Г. Гусева (Екатеринбург) в докладе «К вопросу о словообразовании в устаревшей диалектной лексике» про-

анализировала диалектные лексемы с приставками *воз-(вос-)*, *без-(бес-)*, *запо-*, бытовавшие прежде в русских говорах на территории бывшей Пермской губернии и не зафиксированные в современных уральских словарях. В частности, была показана судьба подобных образований в литературном языке и диалектах с учетом происхождения словообразовательных средств, их исторической трансформации, стилистической маркированности и продуктивности при образовании разных частей речи.

Т. Н. Попова (Набережные Челны) в докладе «Книжно-славянские элементы в языке русских говоров (деривационный аспект)» обратилась к анализу взаимодействия церковно-книжной и исконно русской субстантивной словообразовательной системы, а именно использованию книжно-славянских суффиксальных формантов *-ость*, *-ство*, *-ствие*, *-тель* в диалектном словопроизводстве. Рассматривались способы выражения словообразовательных значений *nomina actionis*, *nomina instrumentis*, *nomina agentis* в говорах, возникающие между ними парадигматические отношения. Наблюдение проводилось в диахронном аспекте с учетом стилистических, лексико-семантических и фонетических особенностей функционирования интересующих формантов. Были высказаны предположения о причинах проникновения данных суффиксов в диалектное словопроизводство.

Доклад *А. В. Мальшиевой* (Москва) посвящался особенностям функционирования и семантики беспредложного родительного падежа при переходных глаголах в современных архангельских говорах. Такой родительный употребляется как в говорах, так и в кодифицированном литературном языке параллельно с винительным и имеет количественное значение. Отмечена разница в составе и грамматических характеристиках глаголов и существительных,

образующих количественные сочетания, а также разница в значениях самого количественного генитива. В говорах количественный генитив может обозначать не только неопределенное количество объекта, но и разную степень ограниченности глагольного воздействия на объект (временную ограниченность, интенсивность или, наоборот, неинтенсивность глагольного воздействия и т. д.), что и обуславливает более широкое употребление родительного количественного в говорах по сравнению с литературным языком.

В докладе *Я. П. Лохера* (Прага) шла речь об употреблении генитива лица в сочетании с кратким причастием в литовском языке и русских северо-западных говорах. По наблюдениям автора, модель «меня нога сломано» 'я ногу сломал' в литовском языке четко отличается от других синтаксических конструкций и смешения с согласованными причастными оборотами не происходит. В северо-западных русских говорах, напротив, эта модель погружена в широкое поле аналогичных конструкций, в которых функция агенса может выражаться различными способами при разной степени согласованности рематического причастия с агенсом или логическим объектом.

О. Г. Ровнова (Москва) прочитала доклад «Аспектологические наблюдения над говором казаков-некрасовцев». Были показаны особенности глагольного видообразования, приведены примеры архаичного двувидового употребления некоторых глаголов в говоре некрасовцев. Особое внимание уделялось дистрибутивному способу действия, обладающему высокой продуктивностью в данной аспектуальной системе.

В. А. Закревская (Тюмень) посвятила свое сообщение местоглагольным словам в архангельских говорах. Было рассмотрено употребление глагола *тогóделать* и многочисленных производ-

ных от него (*вытогóделать, дотогóдить, натогóдить, притогóдить, стогóдить* и *стогóдивать, перетогóдиться* и под.), зафиксированных в некоторых говорах Архангельской области и имеющих очень широкое указательное значение, распространяющееся обычно на любое конкретное действие, смысл которого определяется в контексте или в ситуации. В докладе ставился вопрос о статусе местоглагольных слов и перспективах их изучения.

На секции «**Лексикология**» прозвучало 7 докладов. Доклад *Н. Г. Ильинской* (Петропавловск-Камчатский) посвящался описанию лексико-семантической группы глаголов движения в архангельских говорах. На примере глаголов *идти, ходить, бегать, летать* были показаны различия общерусских лексем, существующих в литературном и диалектном языках. Эти различительные особенности связаны с семантической структурой слова (в диалектном языке она шире), грамматическими и стилистическими аспектами.

В докладе *В. А. Малышевой* (Пермь) «Глаголы речевой деятельности в идиолексиконе» были представлены этапы порождения глаголов речевой деятельности, отмечены типовые ситуации использования единиц данного пласта идиолексикона и структурные компоненты, среди которых важнейшим является субъект, обозначены ведущие группы рассматриваемых глаголов в речи конкретного лица.

С. М. Васильченко (Орел) на материале «Словаря орловских говоров» рассмотрела проблему многозначности диалектного слова. Анализировалась алфавитная группа слов на букву «л». Было установлено, что среди полисемантов преобладают двузначные и чем больше лексико-семантических вариантов у полисеманта, тем меньше таких многозначных слов. Во многих субстантивных полисемантах значения те-

матически связаны, что свидетельствует о непрерывности семантического пространства. Между лексико-семантическими вариантами диалектных полисемантов наблюдаются традиционно выделяемые отношения: метафорические, метонимические, функциональные. В производных словах полисемия может быть отраженной.

В докладе *Г. П. Вишневецкой* (Киев) в этимологическом, семантическом, словообразовательном и функциональном аспектах рассматривались общеславянские лексемы, функционирующие в украинском говоре Холмщины (это территория вдоль левого берега р. Буг, которая сейчас принадлежит Польше). В центре внимания автора были главным образом наименования старинных поселений (*Холм, Червен, Переспа, Стольце, Дорогобуж, Красник* и др.), сохранившие исконные значения в своих топонимах, а в говорах Холмщины сузившие, расширившие, изменившие их или вовсе утратившие.

Доклад *Л. Ф. Баранник* (Одесса) был посвящен исследованию материнской южнорусской лексики в русских островных говорах юга Украины, которые около 200 лет функционируют в отрыве от материнских южнорусских диалектов в украинском, болгарском, молдавском, гагаузском языковом окружении. По наблюдениям автора, наиболее богата южнорусизмами местная бытовая и сельскохозяйственная лексика. В некоторых южнорусских словах произошли семантические изменения: сужение, конкретизация значений (*бульба* 'картофель, предназначенный на корм скоту') и, реже, под воздействием семантики украинских соответствий — расширение значений (*ботвіна* 'ботва огородных растений: картофеля, моркови, петрушки, укропа и т. п.').

В докладе *К. В. Маёровой* (Москва) «Семантические процессы в говорах алтайских старообрядцев (лексическая

группа „названия людей“») рассматривались семантические процессы в лексике, связанной с общими названиями человека, с названиями лиц по внутрисемейным отношениям, с характеристикой людей по различным физическим и поведенческим признакам и др. Анализ строился на рассмотрении явлений полисемии, омонимии, синонимии, антонимии, а также дифференциации наименований лиц по роду их деятельности, возрасту и под.

В докладе *Е. А. Пользю* (Петрозаводск) «Семантика экспрессивов со значением лица (по данным севернорусских говоров)» шла речь об экспрессивной лексике, отражающей душевные качества, характер и поведение человека, анализировались слова русского и прибалтийско-финского происхождения со значением 'болтливый, ворчливый человек'.

24 марта проходили секционные заседания. Работали шесть секций — «Грамматика», «Лексикология», «Диалекты отдельных регионов и литературный язык», «Лексикография», «Этнолингвистика» и «Ономастика».

На секции «**Грамматика**» было выслушано 8 докладов.

В докладе *Т. А. Демешкиной* (Томск) «Диалектное высказывание и его миромоделирующие возможности» обосновывались миромоделирующие возможности диалектного высказывания на разных уровнях — денотативно-пропозициональном, структурно-пропозициональном, вербальном. По мнению докладчика, образ мира отражен в диалектном тексте через пропозициональные модели, а также через систему модусных смыслов. Семантические модели, являясь общими для национального языка, обнаруживают свойство поливариативности при реализации в диалектной речи.

О. Ю. Крючкова (Саратов) в докладе «Метатекст в диалектном тексте» рассмотрела метатекстовые компоненты в

диалектной речи: высказывания поясняющего характера, оценки речи, вставные дискурсивные элементы. Было отмечено, что если поясняющие высказывания, прямые оценки речи появляются в связи с деавтоматизацией речи как способ декодирования не вполне знакомого собеседнику культурно-речевого кода, то дискурсивные элементы типа *вот, ну, же, и, а* и их композиции исключительно частотны в диалектной речи. Они выполняют многообразные метатекстовые функции, обеспечивая связность и цельность диалектного текста.

С. К. Пожарицкая (Москва) выступила с докладом «Архаизмы и инновации в синтаксисе падежей в диалектной речи (на материале функционирования форм творительного падежа в говорах архангельского региона)». В нем говорилось о том, что севернорусские говоры сохранили архаические конструкции с беспредложным творительным падежом, в которых отсутствует дифференциация частных значений, получивших в литературном языке выражение с помощью разных предложно-падежных конструкций. В то же время в диалектной речи имеются инновации, основной путь возникновения которых — эллипсис, свойственный устной разговорной речи, когда сложное по своей структуре действие представляется как одно простое путем пропуска промежуточных звеньев (*кипятильником напилась*).

В докладе *А. Д. Черенковой* (Воронеж) «Синтаксические конструкции с глаголами речевого взаимодействия в говорах Воронежской области» затрагивались проблемы отражения в русских говорах речемыслительной деятельности человека, давалась семантическая характеристика глаголов *разговаривать, беседовать, договариваться* и др. и анализировались синтаксические конструкции, в состав которых эти глаголы входят. По мнению автора, в говорах способы выражения речемыслительной

деятельности человека недостаточно разработаны по сравнению с литературным языком, что проявляется в подвижности семантической структуры глагольной лексики и неустойчивости синтаксических конструкций, в которых эта лексика употребляется.

С. П. Петрунина (Новокузнецк) в докладе «Функционально-семантическое поле персональности в диалекте» на материале говоров Кемеровской и Томской областей обсуждала центр функционально-семантического поля персональности, который представлен через концепт 'Лицо' ('Человек'), находящий свое выражение в лексико-грамматическом разряде личных существительных. Отмечались лексические и грамматические особенности репрезентации данного концепта в диалекте.

Доклад *Е. Ф. Кульпиной* (Петрозаводск) посвящался функциональной омонимии диалектных союзов в русских говорах Карелии. В нем предложена классификация союзов по происхождению и показана взаимосвязь между происхождением союза, его синтаксической функцией и омонимией: союзы одинакового происхождения, выполняющие определенную функцию, как правило, имеют омонимичные соответствия среди одних и тех же частей речи.

В докладе *Н. Л. Голубевой* (Москва) рассматривались особенности функционирования частиц, частиц-союзов, союзных аналогов в говоре Харовского района Вологодской области. Были установлены черты сходства между построением монологического текста в говоре и моделью цепочечного нанизывания (большое количество начинательных частиц-союзов и показателей конца высказывания; небольшое число союзов, их полифункциональность; возможность продолжить тему с помощью слов *дак, дак вот*).

В докладе *О. Р. Гориновой* (Москва) говорилось о разновидностях, роли и

особенностях частиц, употребляемых при передаче чужой речи в русских говорах. По наблюдениям автора, выбор той или иной частицы может зависеть от целей, которые рассказчику необходимо реализовать в процессе коммуникации. Частота использования частиц предположительно находится в прямой зависимости от интонационного разнообразия той или иной группы говоров.

На секции «Лексикология» прозвучало 6 докладов.

В сообщении *Г. Ф. Ковалева* (Воронеж) «О плане и планте» говорилось о том, что среди номенклатурных названий Центрального Черноземья типа *улица, конец, порядок* и др. выделяется диалектный термин *плант*. По мнению автора, он происходит не от слова *план*, а скорее от польского *planty* ‘улица, бульвар’ и представляет собой заимствование из языка польской диаспоры.

М. В. Панова (Воронеж) рассмотрела названия пояса в воронежских говорах. В данной тематической группе было выявлено несколько лексико-семантических групп, показаны фонетические и словообразовательные варианты лексем, а также синонимичные названия одной реалии. Подчеркивалось, что распространение лексем отражает историко-этнографические особенности Воронежской области.

Н. В. Попова (Санкт-Петербург) обратилась к уточнению неясных этимологий некоторых слов, начинающихся вариантами префикса *об-/обо-* (*беседа, ба́чить, будни, набекрень* и др.). При анализе использовался метод сопоставления однокоренных синонимов с привлечением диалектного материала.

В докладе *С. М. Беляковой* (Тюмень) «Экспрессивный потенциал диалектной темпоральной лексики (на материале тюменских говоров)» подчеркивалось, что темпоральная лексика и фразеология являются адекватным объектом для изучения экспрессивных возможностей

диалектной речи, так как в ней отражена релятивная и вместе с тем прагматическая сущность времени. Способы создания экспрессии данного пласта лексики весьма разнообразны — повторы разных типов, суффиксы субъективной модальности, кванторные выражения, лексемы-экспрессоиды. Их использование позволяет повышать категоричность речи, гиперболизировать высказывание, а также отражать этические представления коммуникантов.

Н. В. Лабунец (Тюмень) в докладе «Взаимодействие языков в географической лексике юга Тюменской области» обратилась к некоторым аспектам взаимодействия говоров севернорусского типа с аборигенными языками (диалектами), бытовавшими на территории Нижнего Прииртышья в XVII—XIX вв., — обских угров и западносибирских татар. На материале субстратных включений (*начибей* ‘большое болото’, *чагыт* ‘широкий ручей’, *кочёб* ‘поле’ и др.) исследовались пути проникновения в сибирские старожильческие говоры заимствований из угорских языков через тюркское посредство. Было показано, что грамматическая адаптация заимствований в русском языке осложняется процессами контаминации в семантической структуре слова.

В докладе *Л. А. Инютиной* (Новокузнецк) «Развитие семантики названий сенокосных угодий в говоре вторичного образования» рассматривалась проблема общерусского слова в диалекте. Было показано, что лексемы *сенокос* и *покос*, несмотря на тождество на уровне вокабуляра в русском литературном языке и в томском говоре, имеют различия в этих лексических системах на уровне синтагматики, а следовательно, и на уровне семной структуры лексического значения.

На заседании секции «Диалекты отдельных регионов и литературный язык» выступили 5 докладчиков. Вы-

ступления *Н. Н. Пиеничновой* (Москва) и *Н. С. Ганцовской* (Кострома) посвящались говорам Костромского акающего острова. По мнению *Н. С. Ганцовской*, по своей величине и местоположению, этнокультурным и лингвистическим особенностям эти говоры представляют собой уникальное явление. Их можно считать особой этнокультурной зоной с внутренними локальными подзонами. В сообщении *Н. Н. Пиеничновой* было показано, что с точки зрения диалектного членения русского языка, разработанного *К. Ф. Захаровой* и *В. Г. Горшковой*, говоры Костромского акающего острова с полным основанием отнесены к северному наречию; в соответствии же со структурно-типологической классификацией они не представляют собой единства: большая часть их относится к говорам среднерусского диалектного типа, немногие — к среднерусским и единичные — к говорам западнорусского диалектного типа.

В совместном докладе *И. А. Букринской* и *О. Е. Кармаковой* (Москва) обсуждались проблемы изучения говоров центральной диалектной зоны. Авторы подчеркнули, что данные говоры, называемые центральными в рамках русского языка, характеризуются как восточные с точки зрения восточнославянского континуума и являются периферийными в масштабах всей Славии. Именно поэтому отдельные лексические черты говоров центра находят соответствия в южнославянской языковой области, которая также относится к маргинальным зонам.

На секции обсуждалась также проблема воздействия литературного языка на современные диалекты. В докладе *Н. А. Тупиковой* и *Е. С. Рудыкиной* (Волгоград) речь коренных жителей Калачевского района Волгоградской области была охарактеризована в связи с взаимодействием литературной и диалектной лексики. Проблеме терминологизации сочетания «внелитературная лекси-

ка» посвящался доклад *Л. Г. Самотик* (Красноярск). В нем была показана значимость этого явления в современном языке, определены его границы, внутреннее единство, пограничные явления и квалификационные характеристики.

Работа над составлением диалектных словарей по-прежнему остается насущной задачей диалектологии. Об этом свидетельствовали доклады, прозвучавшие на заседании секции «**Лексикография**».

О работе над самым масштабным диалектным словарем — «Архангельским областным словарем» — говорилось в докладах *Е. А. Нефедовой* и *И. Б. Качинской* (Москва). *Е. А. Нефедова* познакомила коллег с опытом лексикографического описания морфосемантического поля глаголов с корневой морфемой *-верн-/-верт-/-ворот-/-вороч-*, *И. Б. Качинская* — с результатами работы по созданию электронной карточки «Архангельского областного словаря», насчитывающей на сегодняшний день около 450 тысяч «карточек».

О. Н. Крылова (Санкт-Петербург) посвятила свое выступление многоаспектной проблеме семантизации слова в современной диалектной лексикографии. На примере лексики одежды было показано, что для эксплицитного описания семантики слова с национально-культурным компонентом, расширения объема информации о его логико-предметном содержании в диалектном словаре необходимо использовать содержательные семантические толкования.

В выступлении *И. А. Кобелевой* (Сыктывкар) шла речь о проекте фразеологического словаря севернорусских говоров, который будет включать не менее 15 тысяч словарных статей. Автор обозначил цель создания такого словаря и источники фактического материала, охарактеризовал состав и структуру словаря, показал примеры словарных статей.

Работу секции «**Этнолингвистика**», включавшей 6 выступлений, открыл доклад *Е. М. Сморгуновой* (Москва) «Старообрядческие рукописи как источник для диалектологических исследований, синхронных и диахронических». В докладе рассматривалась найденная экспедицией МГУ 1975 г. в Сепычевском районе Пермской области рукопись «О разделе», содержащая описание разделения старообрядческого поморского согласия на «максимовцев» и «деминцев» в 1866 г. С лингвистической точки зрения подлинник «О разделе» ценен тем, что автор отразил в рукописи произношение, свойственное его говору.

В докладе *О. В. Беловой* (Москва) «„Письмо к лешему“ (к проблеме локальных вариантов)» анализировались народные представления, связанные с ритуалом поиска пропавшего домашнего животного (или человека). Доклад основан на материалах диалектологическо-этнолингвистической экспедиции Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН в 2001 г. в Харовский район Вологодской области, где практика обращения к лешему называлась «кабалу писать». Было обращено внимание на основные структурные составляющие ритуала (акциональный, предметный, персональный и вербальный код), а также на семантику и ареальное распространение термина «кабала» в русской диалектной традиции. Указывалось, что современные вологодские данные находят соответствие в этнографических свидетельствах конца XIX — первой половины XX в. из Архангельской и Пермской областей.

Е. Н. Королева (Даугавпилс) в докладе «Этнолингвистический аспект диалектологических исследований» охарактеризовала этноконфессиональную группу — старообрядцев Латгалии — с точки зрения национальной самоидентичности, принадлежности к

коллективному типу общины, хранителя старины, особого типа религиозности.

Т. Н. Бунчук (Сыктывкар) представила результаты этнолингвистического изучения севернорусского диалектного слова *причитать* ‘вспоминать умерших в особые дни’. На основе анализа корневой группы **сьт* сделан вывод об отражении в семантике данного слова древней прагматики действия *причитать* в обрядовом «тексте»: причитание, вероятно, связано с мотивом счета и собирания, актуальным в традиционной культуре в переломные моменты жизни человека для символического воссоздания первопоступка творения мира.

В докладе *Л. Б. Матхеевой* (Москва) шла речь о реализации оппозиции «свой — чужой» в речи представителей одного из беспоповских толков старообрядцев Забайкалья — «темноверцев». Подчеркивалось, что оппозиция «свой — чужой» наиболее ярко проявляется в отношении их к представителям других толков. На большом диалектном материале было показано, что у «темноверцев» существовала целая система опознавательных знаков для *своих* и *чужих* в различных областях жизни — от религиозного обряда до сферы семьи и быта.

Вопросы диалектного ономастикона обсуждались на заседании секции «**Ономастика**», где прозвучало 5 докладов.

В докладе *И. А. Кюришиновой* (Петрозаводск) говорилось об антропонимах русских говоров Карелии, о возможности использования материалов исторической региональной антропонимии для определения диалектной принадлежности экспрессивных названий лиц, к которым восходят имена собственные.

Г. И. Глебо (Сыктывкар) рассмотрела ойконимы отантропонимического происхождения в топонимической системе бассейна Нижней Печоры. Особое внимание уделялось словообразовательной структуре личных имен, по-

служивших производящей базой для ойконимов. Докладчик пришел к выводу, что формирование посессивных ойконимов зависит от времени заселения территорий вторичных говоров и от степени хозяйственного освоения этих территорий.

В докладе *Н. А. Бойко* (Киев) «Диалектная лексика с семантикой ‘поворот реки’ в восточнославянских дегидронимических ойконимах» анализировались слова *лука* и *колена*, от которые образуются топонимические апеллятивы (*прилук*, *коленец* и др.), формирующие ойконимы. Рассматривались также лексемы *кряк*, *шея*, которые не представлены в составе наименований населенных пунктов Восточной Славии.

Доклады *О. В. Сахаровой* (Киев) и *Е. Л. Смаль* (Киев) были посвящены этимологии, семантике и функционированию топонимов г. Киева. В докладе *О. В. Сахаровой* была представлена система номинаций различных бытовых учреждений, магазинов, кафе и др., ставшая знаковой в коммуникативном пространстве г. Киева, отражающая переход от формальных безликих названий к онимам. Докладчик проанализировал проблемы терминологического статуса онимов, их мотивирующую базу, тенденции функционирования. *Е. Л. Смаль* рассмотрела этимологию и семантику названий *Тельбин*, *Оболонья*, *Оболонь* и их вариантов с целью реконструкции праславянского гидронимического фонда. Был использован широкий фактический материал, извлеченный из памятников деловой письменности XVI—XVII вв., диалектных и нормативных словарей.

25 марта состоялось заключительное **пленарное заседание**.

Е. А. Брызгунова (Москва) в докладе «Существуют ли региональные варианты русского литературного языка?», используя понятие континуума, показала, что градации насыщенности речи теми

или иными диалектными чертами имеют континуальную природу. Она выделила артикуляционные и интонационно-ритмические градационные признаки и показала, что количество и сочетаемость этих признаков варьируется у разных говорящих — жителей разных регионов, а также у москвичей.

Т. И. Ерофеева (Пермь) говорила о территориальном варьировании русского литературного языка как о реальном существующем факте. В своем докладе она обосновала необходимость введения новой лингвистической единицы, отражающей взаимодействие литературного языка и диалекта, и предложила термин *локализм*.

Доклад *Е. Л. Березович* (Екатеринбург) «„Чужие земли“ в зеркале русской диалектной лексики» был основан на материале русских диалектных словарей XIX—XX вв. В нем рассматривались слова, образованные от географических названий, которые появляются в диалекте в результате деонимизации (*африка* ‘солнечный склон горы’), трансонимизации (*Париж* — прозвище бойкого человека, забияки) или словообразовательно-семантической деривации (*мордовская копеечка* ‘о луне’).

С. А. Мызников (Санкт-Петербург) говорил о наименованиях крестьянского жилища в русских говорах северо-запада как результате этноязыкового взаимодействия. По наблюдениям докладчика, хотя в говорах данного региона во всех тематических группах лексики отмечаются результаты иноязычного воздействия, доминирование русской культурной традиции неоспоримо.

Доклад *Н. А. Морозовой* и *В. Н. Чекмонаса* (Вильнюс) «Особенности функционирования пассивных перфектных форм (на *-н/-т*) в старообрядческих говорах Литвы» посвящался проблемам описания старообрядческих говоров Литвы на примере пассивных перфектных форм на *-н/-т*. Отмечалось, что

предпочтение пассивных конструкций типа *земля дадена* вместо *землю дали* в говорах старообрядцев Литвы может быть приписано литовскому влиянию, в котором эти формы также очень широко распространены, при том что носители традиционного говора не знали литовского языка и не знают его до сих пор. Этот факт наводит на мысль, что пассивные конструкции были широко представлены в той диалектной зоне, с которой генетически связаны литовские старообрядческие говоры. Рассмотренный материал показывает также, что старообрядческие говоры Литвы неоднородны в отношении использования пассивных перфектов, что, видимо, связано с разными этапами и потоками заселения старообрядцев на территории Литвы.

Пленарное заседание завершил доклад *Т. С. Коготковой* (Москва) «Деулин-

ский словарь — „автопортрет деревни“», в котором автор поделился воспоминаниями о работе над словарем и сборе диалектного материала в д. Деулино.

При обсуждении докладов и подведении итогов конференции ее участницы говорили, что конференция позволила лучше узнать направления и методы диалектологических исследований, проводимых в российских учебных и научных центрах, дала возможность диалектологам ближе познакомиться друг с другом, способствовала установлению научных контактов. Был отмечен высокий научный уровень докладов и выражено пожелание сделать конференцию регулярной.

Тезисы докладов, прозвучавших на конференции, опубликованы в виде сборника.

О. Г. Ровнова

VII Международная конференция Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов «Мотивированное слово в лексической системе языка»

В Братиславе (Словакия) с 27 сентября по 1 октября 2004 года состоялась VII Международная конференция Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов «Мотивированное слово в лексической системе языка». В работе конференции приняли участие 28 лингвистов из 10 стран.

В докладе *И. С. Улуханова* (Москва) «Мотивированное слово в лексической системе языка» была затронута одна из центральных, но малоизученных проблем взаимодействия лексики и словообразования. Изучение взаимодействия мотивированного слова с другими (мотивированными и немотивированными) словами может осуществляться в рам-

ках: а) различных семантических групп — лексико-семантического ряда, семантических классов, множеств и подмножеств; б) лексико-словообразовательной категории (Манучарян); в) лексических функций (Мельчук), в том числе в рамках синонимического и антонимического рядов.

Интересной и перспективной задачей, по мнению *И. С. Улуханова*, является анализ единиц, выделенных в результате чисто семантической классификации, с точки зрения участия словообразовательных средств в выражении значений этих единиц.

В процессе изучения участия мотивированной лексики в выражении значений различных семантических групп

может быть построена типология данных групп с указанной точки зрения. Предварительное рассмотрение единиц классификации, содержащейся в «Русском семантическом словаре» (М., 2000), с точки зрения участия в них мотивированных и немотивированных слов показало, что существуют все возможные их виды, т. е. группы, состоящие только из мотивированных или только из немотивированных слов; группы, состоящие преимущественно из мотивированных или немотивированных слов; группы, включающие примерно равное количество мотивированных и немотивированных слов.

В докладе были рассмотрены свойства семантических групп, способствующие или препятствующие мотивированности входящей в них лексики.

В докладе *Е. С. Кубряковой* (Москва) «Мотивация, степени мотивации и демотивация» сделана попытка обосновать подход к понятию «мотивированность» с когнитивно-семиотических позиций. Рассматривая ключевое для теории словообразования понятие мотивированности в историческом аспекте (начиная с Ф. де Соссюра и Е. Куриловича), автор подробно остановился на практических следствиях одного из двух изначально заложенных пониманий мотивированности. Так, по его мнению, восходящее к Е. Куриловичу («рефлекс корневого начала») и Г. О. Винокуру представление о мотивированности «переключивалось» на корневую часть слова, тогда как фрагменты текста также должны быть мотивированными. Анализ комплексных знаков языка, общая семантика которых складывается из семантики составляющих и отношений между ними, требует более гибкого подхода к изучению факторов, влияющих на степень мотивированности производных единиц. Е. С. Кубрякова подробно остановилась на ситуациях, «когда носитель языка знает части слова,

но не знает, как они соединены» (*евро-поп* ‘особый музыкальный стиль, альтернативный поп-арту’, *дизайнер-бэби* ‘ребенок, рожденный в соответствии с планом, выработанным дизайнером’). Эти и другие приведенные автором примеры подтверждают мысль о том, что понимание слова и его частей — результат знания мира, а не только результат знания языка.

В докладе *Е. А. Земской* (Москва) «О некоторых процессах в сфере словообразовательной и лексической мотивации в русском языке рубежа XX — XXI вв.» рассматривается ряд явлений, обнаруживаемых в русском и некоторых других языках, характеризующих не только словообразовательную мотивированность, но и семантические связи между словами. Автора в первую очередь интересует та роль, которую отношения словообразовательной мотивации играют в тексте. Так, для построения современного дискурса (газетного, разговорного, художественного, звучащего по ТВ и радио) характерно резкое смешение языковых средств разного происхождения и состава. Нейтральный литературный язык соседствует с жаргоном, книжным языком, просторечием. Эта чересполосица используется и как намеренное средство выразительности, но может свидетельствовать о языковой непритязательности, иногда переходящей в неяршливость речи. Для нашего времени характерно разнообразие графических средств, используемых как средство выразительности. Это является показателем тенденции к интернационализации. Е. А. Земская выделяет два подвида игровой мотивации: 1) не связан с семантикой: обладать, вы100ять, на4ер-тить; 2) каламбурная мотивация: сторонников олигарха Березовского называют *подберезовиками*. В докладе также был рассмотрен и другой вид явлений: функциональное размежевание лекси-

ческих синонимов, совпадающих по денотативному значению (*доктор — врач, помидор — томат, дама — женщина*).

В докладе *З. А. Харитончик* (Минск, Беларусь) «Мотивировочные признаки в структуре лексических значений» была предложена семантическая типология степеней мотивированности лексических единиц, дальнейшим продолжением которой, по мнению автора, должен стать концептуальный анализ корреляции мотивирующих и мотивированных единиц, что позволит не только установить тип и диапазон семантических признаков, выбираемых из общей структуры знания об обозначаемом, как идентификаторов соответствующих референтов, но и придаст описанию объяснительно-интерпретативный характер.

В докладе *И. Онхайзер* (Инсбрук, Австрия) «Мотивационные отношения как системообразующий фактор в лексике» на примере фрагмента повести К. Вольф «На своей шкуре» (немецкий и русский варианты текста) после установления структурно-мотивационных параллелей нем. *Zeit* и рус. *время/времен-* рассматривается зависимость производства дериватов и сложных слов, мотивированных словами определенного семантического поля от различных факторов (парадигматических и синтагматических связей производящего и производного слов), а также учитываются приемы и средства, предоставленные словообразовательными системами русского и немецкого языков для выражения временных модификаций и временных отношений.

В докладе *Е. И. Коряковцевой* (Седльце, Польша) «Мотивированность деривата: роль внешнего контекста и речевой ситуации» анализируется «контекстуальное поведение» существительных с формантом *-ство/-ничество/-тельство*. В ходе анализа автором выявлены «естественные» контексты, а в

ряде случаев сконструированы «метатексты», в которых актуализируется общекатегориальное и частнокатегориальное значение этих существительных.

Доклад *М. Соколовой* (Прешов, Словакия) «Отношение морфемной и деривационной структур в Словаре корневых морфем словацкого языка» был посвящен особенностям интерпретации различных случаев соотношения морфемной и словообразовательной структур слов словацкого языка. Особое внимание было уделено «полиинтерпретации» морфемной структуры слова, которая нашла отражение в указанном словаре.

В докладе *А. Нагурко* (Берлин, Германия) «Калькирование как способ словообразования» автором была высказана мысль о необходимости рассмотрения данного явления с позиций сопоставительного словообразования, включая сюда не только историю взаимодействия культур и лексических подсистем, известных и достаточно хорошо изученных процессов конвергенции, но и исследованных в меньшей степени процессов когнитивных.

В докладе *К. Вашиковой* (Варшава, Польша) «Активность производства слов-гибридов в современном польском языке последней эпохи» рассмотрены наиболее активные типы слов-гибридов в польском языке конца XX — начала XXI в. Автор обратил внимание на то обстоятельство, что, несмотря на отчетливо обозначающийся процесс интернационализации, структурное отличие мотивированных слов с иноязычными формантами по отношению к национальным основам в современном польском языке все-таки остается достаточно отчетливым, и, по его мнению, можно говорить о двух отдельных словообразовательных системах, в которых существуют своеобразные правила, касающиеся, в частности, сочетаемости иноязычных формантов с национальными основами.

Доклад *Р. Беленчиков* (Магдебург, Германия) «Словообразовательная мотивация в сопоставительном аспекте» был посвящен мотивирующим признакам языковых номинаций как предмету синхронного сопоставления близкородственных языков. В центре внимания автора оказались цели и методические основы подобного анализа, а также возможные последствия для проводимых в указанном направлении сопоставительных исследований.

Проблеме произвольности языкового знака в связи с теорией мотивации был посвящен доклад *М. Феррана* (Бюсси, Франция).

В докладе *Ю. Балтовой* (София, Болгария) «Словосложение и современные тенденции в лексических системах славянских языков» внимание акцентировалось на общих интеграционных процессах, характеризующих лексические системы славянских языков, и особой роли композитов, которые, по мнению автора, существенно расширили сферу своего влияния.

В докладе *А. А. Лукашанца* (Минск, Беларусь) «Заемствования из близкородственных языков и проблема мотивации» были рассмотрены характерные для современного белорусского языка случаи пополнения словарного состава за счет актуальных заимствований как из неславянских, так и из славянских языков. При этом, как отметил автор, многие заимствования из близкородственных языков сохраняют в принимающем языке свою исходную мотивированность, что порождает ряд проблем, связанных с их вхождением в словообразовательную систему языка-реципиента.

В докладе *А. В. Никитевича* (Гродно, Беларусь) «О взаимодействии единиц разных уровней в лексических подсистемах языка» рассматривались различные случаи синонимии, антонимии и других видов противопоставлений, характери-

зующих, по мнению автора, не только известные в лексической семантике отношения между словами, но и деривационные подсистемы вида «производное слово — словосочетание с деривационно родственным компонентом».

В докладе *Л. Селимского* (В. Тырново — Катовице) «Интернациональная лексика в словообразовательной лексике болгарского языка» были представлены в критическом освещении случаи непоследовательного, противоречивого, по мнению автора, отражения интернациональной лексики в ряде работ и «Словообразовательном словаре болгарского языка» (София, 1999).

В докладе *М. Олоштыка* (Прешов, Словакия) «„Словацкое словообразование“ Юрая Фурдика — точка зрения издателя» были представлены последние труды известного словацкого ученого, специалиста по словообразованию — Ю. Фурдика. Проблемам перевода и эквивалентности словообразовательных терминов (на примере перевода работ И. С. Улуханова на немецкий язык) был посвящен доклад *С. Хёбуша* (Халле, Германия).

Процессам семантизации, активно влияющим на характер и «качество» словообразовательных категорий и словообразовательных типов, был посвящен доклад *К. Клецёвой* (Катовице, Польша) «Дериваты в отношении к процессам неосемантическим». Автор обратил внимание на те семантические процессы, которые влияют на изменения в системе словообразования, понимаемой в данном случае как «собрание» определенных правил и моделей.

Доклад *Е. Картиловской* (Киев, Украина) «Системообразующие параметры украинской мотивационной лексики и возможности ее лексикографического моделирования» был посвящен обоснованию категориально-функционального описания украинской мотивированной лексики и созданию на его основе сло-

варя моделей словообразовательной мотивации. В докладе *К. Бузашиовой* (Братислава, Словакия) «Дополнительная роль словообразовательного значения при толковании лексического значения в толковом словаре» были затронуты проблемы, с которыми столкнулись авторы при разработке нового многотомного толкового словаря современного словацкого языка.

Ряд выступлений был так или иначе связан с рассмотрением понятия мотивации в различных его аспектах и проявлениях. Некоторым видам мотивационных отношений был посвящен доклад *Б. Тошовича* (Грац, Австрия) «Мотивационное отношение». Мотивации в области неузального словообразования был посвящен доклад *О. Мартинцовой* (Прага, Чехия). Различные случаи соотношения мотивации и коннотации были рассмотрены в докладе *О. П. Ермаковой* (Калуга). В докладе *В. Н. Виноградовой* (Москва) «Мотивированное слово в тексте и системе поэтического языка» на примерах из текстов русских поэтов серебряного века были приведены факты неотмеченных или редких значений мотивированных слов определенных

словообразовательных типов, которые характеризуют прежде всего поэтическую речь.

В докладе *Й. Раэке* (Тюбинген, Германия) «Аугментатив: языковое значение и функции в тексте» на примерах из хорватского языка была затронута проблема различий в представлении словообразовательными средствами таких значений, как 'аугментатив' и 'дими́нүтив'. Доклад *Е. Серотюка* (Познань, Польша) «Словообразовательная вариантность и семантические категории дериватов» был связан с выявлением причин словообразовательной вариантности, имеющей место в говорах польского языка. Проблеме универбации был посвящен доклад *Ц. Аврамовой* (София, Болгария) «Универбы в лексической системе языка».

На заседании Комиссии по славянскому словообразованию при Международном съезде славистов был подведены итоги конференции и определены проблематика и место проведения следующей конференции, которая состоится в сентябре 2005 года в Берлине.

А. В. Никитевич

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта. Вып. 1—3. / Гл. ред. чл.-кор. Ю. Н. Караулов. М.: Азбуковник, 2001—2003.

Первый выпуск «Словаря языка Достоевского. Лексический строй идиолекта» вышел в 2001 г. В конце 2003 г. вышли второй и третий выпуски, представляющие базовый корпус словаря. Второй выпуск посвящен светлой памяти Ефима Лазаревича Гинзбурга, одного из создателей концепции данного лексикографического труда.

Сама идея создания Словаря изложена в его первом выпуске, открывающем всю словарную серию «Словаря языка Достоевского». Основной словарный корпус в нем предваряет большое предисловие, написанное Е. Л. Гинзбургом и Ю. Н. Карауловым, в котором развернута концепция строения базового словаря и всей словарной серии. Скажем сразу, что такая развернутая программа создания словаря — уникальное явление в русской писательской лексикографии. Само заглавие этого в полной мере «пред-и-словия» (поскольку оно вводит в «словарь») — «Язык и мысль Достоевского в словарном отображении» — говорит о масштабности задач, которые ставили перед собой авторы словаря. Прежде всего новаторской в данной концепции является программа создания целой словарной серии, в которой, с одной стороны, возможно дифференциально-распределительное словарное описание, с другой, благодаря гипертекстовым операциональным средствам это описание сводимо в целостную структуру, дающую полное представление об идиолекте Достоевского в эволюционном аспекте. Так, кроме базового словаря, в котором ключевым является понятие идиоглоссы (см. ниже), на основе единой базы данных предполагается параллельное создание

частотного словаря Достоевского, словарей антропонимов, топонимов, словаря фразеологизмов, а также глоссария, где получают свое толкование неизвестные или малопонятные для современного читателя слова, которые встречаются в произведениях Достоевского, и каждому из них будет дан лингвокультурный комментарий. Подобное разнообразие представления лексикографического материала связано с тем, что каждый тип лексических единиц требует своих особых форм лексикографического описания. Однако единообразная форма подачи материала по жанрам и функциональным разновидностям текста (художественная проза, публицистика, эпистолярный жанр, деловая, документальная проза), а также хронологическое его упорядочение позволят проследить те изменения, которые свойственны языковой личности Достоевского на разных этапах его творчества. В то же время почти во всех словарях серии возможно будет определить, принадлежат ли данные лексические единицы автору, рассказчику или персонажу, что в итоге может дать реальный материал для проверки выдвинутой М. М. Бахтиным идеи об особой «диалогичности» и «полифоничности» прозы Достоевского. А именно можно будет с «фактами в руках» ответить на вопрос, действительно ли, как писал Бахтин [1972: 25], «несовместимейшие элементы материала Достоевского распределены между несколькими мирами и несколькими полноправными сознаниями... и не материал непосредственно, но эти миры, эти сознания с их кругозорами сочетаются в высшее единство, так сказать второго порядка, в единство полифонического романа».

Центральным среди всех словарей серии, конечно, является словарь идио-гloss, отражающий лексический строй идиолекта писателя. Что такое идио-гlossа? Авторы словаря приняли решение прежде всего дать лексикографическое описание не всем словам, встретившимся в целостном корпусе текстов Достоевского, а только «ключевым» для понимания мира и языка этого автора, т. е. выполняющим главную роль в числе используемых им изобразительных средств. Эти ключевые слова и получили название «идиогloss»; причем создателями словаря предложены верифицируемые принципы отбора индивидуально-авторских идио-гloss. Такое первоначальное решение, на наш взгляд, было удачно не только с содержательной, но и операциональной точки зрения — оно дало бы возможность получить базовое представление о лексическом строе идиолекта Достоевского в обозримое время. Создатели словаря предполагали реализовать свою программу в трех выпусках базового словаря-идиогlossария, однако уже во втором выпуске словаря, как отмечает его главный редактор, читатель может найти не только словарные статьи для идио-гloss, но и для единиц, которые не отвечают свойствам «идиогloss». Такая расширенная концепция представления материала, по мысли его создателей, отражает саму логику работы над словарем — только на разнообразных лексических единицах можно выявить и отработать особенности описания именно идио-гloss, которые формируют картину мира писателя. В третьем выпуске в Приложении представлен и Сводный словник трех «предварительных», как назвали их авторы, выпусков словаря, и Словник предполагаемого идио-гlossария, так что любой читатель может сопоставить сам эти два словника. Смена концепции по ходу работы над первыми выпусками словаря —

вполне естественный процесс, однако все же жаль, что окончательный список идио-гloss писателя помещен только в завершающем третьем выпуске, и поэтому возможен лишь ретроспективный взгляд на весь спектр основных вербальных доминант стиля Достоевского.

Отличительной чертой задуманного «идиогlossария» является то, что это словарь аналитического типа, в котором каждая статья — авторское исследование (авторами-составителями словаря являются Е. Л. Гинзбург, М. М. Коробова, Е. А. Цыб, С. Н. Шепелева), выполненное с учетом многообразных лексикографических параметров. Это позволяет читателю далее достраивать представление о языке Достоевского в трехмерных координатах «язык-текст», «язык-система», «язык-мир», заданных самими создателями словаря. В основном корпусе словарных статей значения лексем представлены на уровне лексико-семантических вариантов, причем последовательность этих вариантов исчисляется на основании того, какую роль каждый из них играет непосредственно во всей лексической системе писателя-прозаика. Иллюстрирующие каждое значение цитаты-контексты охватывают, как мы отмечали ранее, четыре функциональных разновидности текста писателя — художественную прозу, публицистику, эпистолярный жанр, деловую, документальную прозу; причем выборка цитат репрезентативна как по объему необходимой информации о слове в отдельных произведениях Достоевского, так и по отдельным периодам его жизни и творчества. Так, внимательный пользователь словаря сразу может заметить, что в каждом тексте Достоевского лексическая единица имеет собственную лексическую среду, которую она иррадирует, и свои текстообразующие функции. Определить эту зону иррадиации и текстовые функ-

ции помогают количественные характеристики словоупотребления в каждом из 4 функциональных типов текста. Кроме выделяемых значений лексемы, их толкования и иллюстративных контекстов, распределенных по функциональным типам текстов, а также отмеченных фактов употребления слова в составе фразеологических единиц и имен собственных, каждая статья содержит словоуказатель, в котором содержится алфавитный перечень текстформ и их распределение по жанрам. Далее следует комментарий составителя, цель которого представить информацию о сочетаемости слова, и прежде всего обратить внимание читателя на нестандартную для современного и общего состояния языка сочетаемость; а также на особые значения слова, комбинацию значений в контекстах, типовые ассоциаты и дериваты лексемы (словообразовательное гнездо), случаи ее использования в афоризмах; завершают комментарий частные наблюдения автора словарной статьи. Нельзя не отметить, что структура статьи прекрасно продумана и с точки зрения использованных в ней условных обозначений, сокращений, вариации шрифтов, а также функционального членения текста. Именно благодаря своей наглядности и функциональной дифференцированности вся сложная и многообразная информация, которая содержится в статьях базового словаря, легко из него извлекаема.

Но поскольку данный словарь является авторским, некоторые позиции в нем не могут не содержать субъективных моментов.

Во-первых, безусловно, всегда может возникнуть вопрос о том, почему одни лексемы получают статус идиоглосс, а другие не получают. Вполне естественно может возникнуть и некоторое удивление по поводу того, что, начиная со второго выпуска, авторы

применили некоторый менее «строгий» подход к отбору Словника, а сами три выпуска получили название «предварительных» (согласно первоначальному замыслу, они должны были охватить «базовый» словарь писателя). Бросается в глаза и некоторая непоследовательность в выделении «идиоглосс»: например, вряд ли в список идиоглосс одновременно должны были войти лексемы КРОТКИЙ и КРОТКОСТЬ, представляющие одно и то же понятие и входящие в одно словообразовательное гнездо. Понятно, что на решение авторов словаря мог повлиять тот факт, что одно из произведений Достоевского названо «Кроткая», однако и отнесение этого заглавного слова только к разряду имен собственных тоже вызывает сомнение (см. с. 201 первого выпуска).

Во-вторых, может встать вопрос о распределении разных значений лексемы, их внутренней дифференцированности, порядке представления, достаточного объема иллюстрации каждого значения контекстами. К примеру, авторы концепции пишут: «значения упорядочены так, что функционально менее значимые смысловые деления следуют за более значимыми для языковой характерологии» (с. L первого выпуска). И действительно, если мы возьмем последовательность значений, выделяемых у слова БЕЗУМНЫЙ в «Словаре языка Достоевского», то заметим, что их порядок изменен по сравнению с представленным в толковых словарях. А именно первым значением этого прилагательного признается «крайний в проявлении своих чувств, неистовый (о человеке); крайняя степень качества чего-либо», вторым — «неразумный, не оправдываемый логикой, рассудком», и только третьим — «лишившийся рассудка, сумасшедший, находящийся в состоянии безумия, обезумевший; выражающий безумие» (с. 24—26 первого

выпуска). Ясно, что в общем языке эти значения в толковании слова расположены ровно в обратном порядке, а первое значение словаря Достоевского вообще признано переносным. Однако нельзя исключить, что след того, что значение «крайний в проявлении своих чувств, неистовый (о человеке); крайняя степень качества чего-либо» действительно является переносным, производным, а не основным у слова БЕЗУМНЫЙ, в некоторых контекстах из произведений Достоевского, иллюстрирующих это значение, остается. Так, производность от прямых значений, т. е. от значений «лишившийся рассудка» и «не оправдываемый логикой, рассудком», выходит на поверхность в контексте из «Вечного мужа» (с. 25 первого выпуска): ср. *Она [Лиза] молчала и не решалась; неподвижно глядела в его [Вельчанинова] глаза своими голубыми глазами, и во всех чертах ее личика выражался один только безумный страх.* На наш взгляд, прилагательное *безумный* в этой цитате имеет не только значение гиперболизации «страха», но и невозможность для героини подчинить свои чувства логическому объяснению, рассудку. С такими явлениями вторичной этимологизации значений мы, видимо, будем сталкиваться у Достоевского часто, поскольку у этого прозаика состояния «безумия», «отчаяния» его героев служат своеобразными операторами создания исключительных ситуаций «схождения концов», доведения героев до крайней точки, когда мотивация их чувств, речи и поведения становится слабо детерминированной. Ведь многими исследователями доказано, что Достоевский постоянно держит не только своих героев, но и читателя «на пороге запретельной тексту нормальности» [Джоунс 1998: 145].

Иногда встает общий вопрос, стоит ли слишком дробно дифференцировать

значения слова, только исходя из его сочетаемости. Например, в статье ЧУВСТВО авторы выделяют как самостоятельное следующее значение этого слова: «способность к художественному восприятию явлений окружающей действительности» (с. 449 третьего выпуска). По нашему мнению, во всех приведенных в данной статье примерах мы имеем дело лишь с семантическими нюансами, которые возникают при согласовании слова ЧУВСТВО с лексемами, обозначающими проявления художественной соразмерности и красоты, в едином словосочетании: *чувство изящного, чувство прекрасного, чувство красоты* и т. п. В этой связи непонятно, почему данные словосочетания целиком не выделены в раздел фразеологических единиц наравне с НРАВСТВЕННЫМ ЧУВСТВОМ, РЕЛИГИОЗНЫМ ЧУВСТВОМ, ХРИСТИАНСКИМ ЧУВСТВОМ, а также ЧУВСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА, тем более что существуют контексты, где эти словосочетания стоят в одном ряду и имеют одно управляющее слово: ср. *Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, веселых и солидных, юношей и степенных, радостных и прилично-туманных, (...) — кавалеров, имевших на себе, от первого до последнего, приличный чин и фамилию, — кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного, чувством собственного достоинства, — кавалеров, говорящих большей частью на французском языке с дамами, а если на русском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами и глубокими фразами* («Двойник», с. 453 Третьего выпуска). При этом отметим, что словосочетание ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА один раз трактуется в словаре как фразеологическое сочетание (т. е. попадает в зону фразеологии — Там же), другой — как свободное сочетание, в котором слово

ЧУВСТВО имеет значение «переживания конкретного отношения с другим, с другими и субъективная оценка этого отношения»: ср. *Но вернейший ли это способ уронить книгу, лишить ее читателей, которые бегут от всего, что им навязывают?.. Где же смысл? Где такт? ...где, наконец, приличие?.. где чувство собственного достоинства?..* (публицистические статьи, с. 446—447 третьего выпуска). Во-первых, на наш взгляд, в этом контексте лексема ЧУВСТВО не несет того значения, которое ему приписывается (здесь в чистом виде нет «субъективной оценки отношений с другими»), во-вторых, в этом контексте выделяется ровно такое целостное словосочетание ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА, как и в процитированном выше.

Иногда вопрос у читателя-филолога может вызвать и то, что авторы — составители словаря считают тропеическим значением заглавного слова статьи (ТРП). Мы имеем в виду те случаи, когда заглавное слово статьи само формирует признак сравнения, например *Я знаю, что ты добра, как ангел, и сердиться даром не способна* (из текста письма), и семантической трансформации подвергается не оно, а тот объект, который с ним сравнивается, — в данном случае адресат Достоевского 1857 г. женского пола «Ты» (большей информации об адресате из словаря, к сожалению, получить невозможно). Здесь правильнее было бы говорить об участии слова АНГЕЛ в создании тропеического, образного значения, или формировании образа сравнения.

В то же время было бы более наглядно, если бы в этом разделе комментария в контекстах выделялись полужирным шрифтом целостные словосочетания, образующие тропы, а не только заглавное слово. Ведь тропы — это семантические преобразования, ко-

торые только в определенном контексте позволяют языковым единицам развить образные значения за счет совмещения в их словесной форме двух или более семантических представлений. Так, в разделе комментария ТРП к статье ЧУВСТВО следовало бы отметить такие целостные сочетания, как *горячка чувства, жирные чувства, обрывки чувств, чувства мои были возмущены* (с. 456 третьего выпуска), в которых, собственно, и происходят трансформации, или сдвиги, от прямого значения к переносному.

Понятно, что работа с художественным текстом, а тем более любая попытка строгой лингвистической классификации словесного материала произведения искусства, всегда подразумевает возможность принятия решения, которое можно оспорить. Ведь, согласно Ф. Шлегелю, словесное творчество в том и состоит, чтобы «нечто определенное сказать так, что в акте речи эта определенность будет снята в пользу неопределенного» (цит. по [Франк 2001: 313]). Однако такая «неопределенность» никогда бы не могла обнаружиться в данном словаре, если бы его концепция не была столь «определенно» филологической.

Л и т е р а т у р а

Бахтин 1972 — М. М. Б а х т и н. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.

Джоунс 1998 — М. Д ж о у н с. Достоевский после Бахтина. СПб., 1998.

Франк 2001 — М. Ф р а н к. Аллегория, остроумие, фрагмент, ирония. Фридрих Шлегель и идея разорванного «Я» // Немецкое философское литературоведение наших дней: Антология. СПб., 2001.

Н. А. Фатеева

Новый орфографический словарь-справочник русского языка /
Отв. ред. В. В. Бурцева. М.: Рус. яз., 2000.

Последнее десятилетие характеризуется подъемом в издании словарей и справочников всех типов. Словарная активность затронула и такую, казалось бы, устойчивую в своей традиционности сферу лексикографии, как орфографическая лексикография. В статье десятилетней давности [Иванова 1994] мы отмечали, что развитие отечественной орфографической лексикографии в XIX—XX вв. пошло по пути «монополизации» формы и содержания: словарное многообразие прошлого (более 100 изданий во второй половине XIX — первой трети XX века) сменилось единообразием лексикографической формы и единством орфографической нормативной концепции, реализованными в «Орфографическом словаре русского языка», издававшемся Академией наук с 1956 г. (1956—2001, 36 изданий; далее — ОРФ). Уникальный статус ОРФ изменился с появлением новых изданий, прежде всего академического «Русского орфографического словаря» (М., 1999; далее — РОС). РОС был создан с установкой заменить морально устаревший за сорок лет ОРФ — устаревший не столько в отношении ориентации на единую орфографическую норму, сколько с точки зрения лексикографических параметров решения орфографической темы: разрешающие возможности ОРФ были ограничены невключением в словник ономастической лексики, фразем и фразеологизмов, неполнотой лексических парадигм и словообразовательных гнезд, «аскетической» структурой словарной статьи и упрощенной структурой самого словаря (без приложений, списков знаков, сокращений — всего того, что необходимо при создании письменных текстов). Концепция РОС — академического издания, реализующего представ-

ление об орфографической нормативности применительно к функционально и стилистически разнородному массиву русской лексики и фразеологии, в значительных объемах включающего также и собственные имена (т. е. решающего проблему употребления «большой» и «маленькой» букв в едином словнике), — уже получила положительную оценку специалистов [Осипов 2001].

К числу книг, которые в той или иной степени предназначались для замены ОРФ, относится и появившийся в 2000 г. «Новый орфографический словарь-справочник русского языка» издательства «Русский язык» (отв. ред. В. В. Бурцева; 2-е изд., стер., 2001, далее — Справочник). Данный труд, выпущенный известным словарным издательством и соразмерный по словнику ОРФ, и является объектом рассмотрения в рецензии. В Справочнике, превышающем на 9 тыс. единиц объем академического «Орфографического словаря русского языка» и претендующем на лексикографическое новаторство, сделана попытка преодолеть каноны сложившегося типа орфографического словаря. Эта задача решается за счет различных лексикографических приемов и дополнительных сведений, к числу которых относятся статьи новой структуры, информация о правильном/неправильном ударении и произношении слов, об их употреблении, о глагольном управлении. В корпус Справочника активно вводятся толкования отдельных слов и некоторые другие сведения, располагаемые в специальных рамках на каждой странице издания. Лексикографические новации коснулись также и структуры словаря, который включает два приложения: «Список некоторых слов, пишущихся с прописной буквы» (приложение 1) и «Рус-

ские личные имена» (приложение 2). При этом основной корпус и приложение 1 связаны отсылками. В результате Справочник приобрел индивидуальный лексикографический образ.

Положительной оценки заслуживает словник Справочника, достаточно полный, содержащий немалое число новых слов, в том числе зафиксированных впервые (хотя включение некоторых просторечных и откровенно грубых слов, таких как *кайфуха*, *кайфушный*, *махонистый*, *мудила*, *мудак*, *текстилка* (ср. нет *кондитерка*, *социалка*), с нашей точки зрения, находится все-таки за гранью оправданности интересами правописания). В справочнике проведено рациональное решение о сокращении больших словообразовательных гнезд слов и рядов однотипно пишущихся единиц, и выбран путь, соответствующий жанру и направленности издания — давать примеры написания.

Соответствует жанру «словаря для всех» и приведение при некоторых словах орфоэпических рекомендаций в виде запретов, предупреждающих неправильное ударение и произношение, например: компрометация [не компроментация], кондоминиум [не кондиминимум], красивее [не красивее], лóжечник [не ложечник], матчи́ш [не ма́тчиш], преднаме́рение [не преднамере́ние], собо́ровать [не соборова́ть], толи́ка [не то́лика]. В то же время обращает на себя внимание выборочность упомянутых произносительных характеристик. При том что некоторые запреты кажутся надуманными (не аутода́фе? грóтеск? жи́вица? жу́желица? кра́мола?), отсутствуют указания на высокочастотные ошибки в ударении и произношении многих слов и форм, таких как *догма́т*, *звóнит*, *каучу́к*, *ко́рысть*, *краны́*, *крано́в*, *крестья́нин*, *кухо́нный*, *намере́ние*, *осу́жденный*, *созы́в*, *торты́*, *торта́*, *украи́нский*, *украи́нец*, *хозяева́* и др., *импланта[н]т*, *инци[н]дент* и др.

«„Новый орфографический словарь-справочник русского языка“, — говорится в Предисловии, — некоторым образом ломает привычное представление об орфографическом словаре, выходит за чисто орфографические рамки» (Предисловие, с. III). Составитель словаря видит его достоинства в количестве и разнообразии дополнительной информации. Хотя данное издание претендует лишь на лексикографическое новаторство, принимая за нормативную основу рекомендации РОС (о чем сообщается на с. IV), оставить без внимания его собственно орфографическое содержание не представляется возможным, поскольку словарь заявлен как нормативный орфографический справочник, предназначенный для самого широкого круга читателей.

В предисловии редактор, сетуя на отсутствие нового свода правил орфографии, присоединяется, с одной стороны, к рекомендациям «Русского орфографического словаря», а с другой, оставляет за собой право по-своему представлять сложившуюся орфографическую практику (с. IV). Последнее выразилось, в частности, в отражении орфографических вариантов. Отношение к этой проблеме носит принципиальный характер. По сложившейся за сорок лет академической традиции орфографический словарь не дает собственно орфографические варианты, т. е. такие, в которых варьируется знаковый состав слова, не отражающий произношение и словоизменение. Общеизвестно, что орфографические варианты по сравнению с языковыми избыточны. Осознание избыточности собственно письменных вариантов слов, не связанных непосредственно с языковой природой слова и обусловленных или недавним вхождением слова, или отсутствием строгих правил и субъективным выбором пишущего, постепенное вытеснение, устранение таких вариан-

тов — такой естественный путь становления прошла современная русская письменная практика. Представление о ненормативности орфографического варьирования и сегодня отражает точку зрения многих специалистов — составителей словарей, хотя следует признать, что существует и иное отношение к орфографической вариантности. Так же как и первое, оно опирается на признание ведущей роли письменнопечатной практики в кодификаторской деятельности орфографистов. Однако следствием такого признания является не выбор одного целесообразного способа написания, а допущение существования на письме вариантов (нередко неизбежных на начальном этапе письменной жизни слова), возможности их фиксации в нормативных источниках и вытекающего отсюда ограничения кодификаторской роли лингвистов.

Ни тот ни другой взгляд на орфографическую вариантность не нашел последовательного воплощения в рецензируемом справочнике. В нем обнаружилось случаи чисто орфографической вариантности, и хотя она затрагивает в основном слова периферийных лексических слоев, ее наличие, с нашей точки зрения, ставит под сомнение заявленную нормативную ориентацию данного издания. Так, например, предлагаются статьи: *аллонж* и *алонж*, *батуд* и *батут*, *батудный* и *батутный*, *бедленд* и *бэдленд*, *бенди* и *бэнди*, *берчизм* и *бэрчизм*, *блокатпарат* и *блок-аппарат*, *гуайява* и *гуаява*, *лакэ* и *лаке*, *сейшен* и *сэйшин*, *тайбокс* и *тай-бокс*, *тайбоксёр* и *тай-боксёр*, *тайбоксинг* и *тай-боксинг*, *тис* и *тисс*). Данную вариативность было можно и следовало избежать, так как имеется или зафиксированная ОРФ и РОС норма передачи данных слов на письме, или достаточно сильная и прозрачная аналогия для принятия однозначного решения. Например, для *аллонж*, *бедленд*, *бенди*,

блок-аппарат, *тис* норма написания уже установлена двумя академическими словарями (ОРФ и РОС). Слова *батут*, *берчизм*, *гуайява* зафиксированы в данной письменной форме в РОС, причем последний отказался от варианта *батуд*. Предлагаемые Справочником рекомендации характеризуются непоследовательностью. Например, вслед за «Современным словарем иностранных слов» (М., 1992, далее — ССИС) и энциклопедическими словарями дается вариативность *гуайява* и *гуаява*. Орфографическая норма для этого слова установлена РОС *гуайява* и согласуется с однотипными написаниями редких иноязычных слов *кебайя*, *маракуйя*, *напайя*, *секвойя*, *тупайя*, *черимойя* и др. Справочник, давая варианты в этом случае, в другом фиксирует новое слово *гайярдия* только в написании с *й*, в третьем — *кебая* (вопреки СЭС, БСЭ и РОС), в четвертом — *тупайя*. Другой пример. Для установления правописной нормы слова *лаке* можно было воспользоваться существующей прозрачной аналогией — слова сходной грамматической природы и происхождения *аплике*, *плаке*, *пике* пишутся с *е* на конце. Показ орфографической вариантности оправдан, может быть, лишь в случаях типа *галеон* — *галион*, *гарига* — *гаррига*, где она идет от различных языковых источников (в РОС принят *галеон*, «Толковый словарь иноязычных слов» Л. П. Крысина (М., 1998, далее — словарь Крысина) дает оба слова, «Политехнический словарь» — *галион*, а этимологию испанскую — *galeon*).

Вообще подход к отражению вариантности — орфографической и языковой — в рецензируемом справочнике характеризуется заметной непоследовательностью в различных аспектах. Так, отражаются некоторые языковые варианты, например *аналгетик*, *аналгезия* и др., которые не включаются в филологические словари, или вариант *боб-*

тейль, не отвечающий ни произношению в языке-источнике, ни рекомендации РОС. В представлении пар прилагательных с наличием/отсутствием соединительной гласной обращает на себя внимание пропуск отдельных компонентов (нет *асбестосодержащий*, *боро-содержащий* и нек. др.). Само решение давать подобные варианты в виде разных словарных статей не является удачным: весь смысл наличия их в словаре – показать, что это «одно и то же слово», эту цель можно достичь лишь в пределах одной словарной статьи с союзом *и*. То же относится к родовым и некоторым другим вариантам слов типа *автокар* и *автокара*, *аллофон* и *аллофона*, *апофегма* и *апофтегма*, *траулер* и *тралер*, *желатин* и *желатина*, *тождество* и *тожество*: приведение их в отдельных статьях оставляет невыраженность их равноправность/неравноправность, что понижает нормативную «разрешающую способность» Справочника и не согласуется с его стремлением к повышенной информативности. Кроме того, слова *автокара*, *аллофона*, *апофтегма*, *тралер*, отмечаемые словарями скорее по традиции, воспринимаются как излишняя перегрузка общедоступного справочника достаточно редко употребляемыми и известными лишь специалистам вариантами терминов. Не совсем понятно, почему для *архидьякон* указан вариант *архидиакон*, а для *дьякон* нет (то же и для их производных). Для слова *манёвранный ОЭ*, РОС и словарь Крысина дают вариант с *é*. При том что данный Справочник изобилует вариантами разного рода, была выбрана лишь одна из возможных рекомендаций. Представляется, что как раз в этом случае при отражении вариантовности не было бы никакой натяжки.

Решение, противоположное предыдущему раздельному представлению вариантов, принято в Справочнике относительно омонимов типа *гей* (сущ.) и

гей (межд.); *кар* (сущ., «углубление, машина») и *кар* (межд.) — они даются в одной словарной статье (*гей*, *-я* и *межд.*). Такой подход представляется нам лексикографически некорректным, так как объединяются абсолютно не связанные между собой единицы, типичные омонимы, для которых существует традиционный способ подачи в лингвистических словарях — самостоятельные статьи с верхними индексами.

Оформление статей слов различных частей речи в целом осуществляется в соответствии с лексикографической традицией, хотя используемые при этом некоторые новые приемы подачи вызывают ряд замечаний.

Не имеет большого смысла, на наш взгляд, приведение форм множ. числа у существительных с регулярной парадигмой, которая задается формой род. пад. ед. числа, например, *аванпóрт*, *-а*, *мн. -ы*, *-ов*, *аванпост*, *анкер*, *ассессор*, *балкер*, *бойлер*, *бройлер*, *бруствер*, *гангстер*, *кондитер*, *тонер*, *хакер*, *якут* и под. Такое указание представляется избыточным даже для словаря, обращенного к широкому кругу неспециалистов.

Представляется устаревшим и поэтому нередко условным использование в качестве исходной словарной формы для ряда наименований формы единственного числа, поскольку в энциклопедических, а теперь и в «Русском орфографическом словаре» для названий жителей и народов, названий веществ, химических элементов, микроорганизмов и пр. принята начальная форма множ. числа (*албанцы*, *тайцы*, *анальгетики*, *антигормоны*, *антипиретики*, *бактерии*, *бифидобактерии*, *диуретики*, *фумиганты*, *фунгициды* и др.), то же относится и к мифологическим именам *гарпии*, *горгоны*, *мойры*, *наяды*, *парки*, *пшериды* и т. п.

Вызывает возражение такая подача, как размещение зоны синтаксического управления перед формами словоизме-

нения — т. е. до морфологической парадигмы (напр.: благословить кого, на что, что, кого, чем, ~ся, -яю, -яет(ся), блестять чем, блестя, блестят). Кроме того, местоименные слова, указывающие на способ глагольного управления, не отличаются по шрифтовой разметке от парадигматических форм (флексий), особенно это мешает прочтению статей односложных глаголов (см. *бить, брать, быть; блестять, болеть*).

Подача *ватт*, -а, р. мн. *ватт* и -ов, *рентген*, -а, р. мн. *-ен* и *-ов* для единиц измерения не является лингвистически корректной, так как форма с нулевой флексией (*ватт, рентген*) — это особая счетная форма, а не просто вариант род. падежа (обоснование см. в академическом «Орфоэпическом словаре русского языка», М., 1983; Сведения о грамматических формах, § 5. Далее — ОЭ; данному решению следует РОС).

Избранный способ оформления слов с частицей/приставкой *не* — не отражать возможность слитного или раздельного ее написания — соответствует практике школьных словарей. Однако в них, а также в справочнике «Русское правописание» Н. В. Соловьева (СПб., 1997, 2-е изд.) перечень слов дополняется правилами написания *не* (правила написания *не* печатаются и в РОСе, где слова с возможным двояким написанием снабжены особым знаком *). В рецензируемом Справочнике выбран путь умолчания: принятый способ подачи единиц с *не* нигде не комментируется, для этого не использованы ни возможности предисловия или статьи о структуре словаря, ни принятый прием подачи дополнительной информации в рамке на каждой странице словаря, где можно было бы показать случаи разнописания на конкретных примерах.

И еще конкретное замечание. Трудно согласиться с частеречной характеристикой *недурно бы, неплохо бы* как частиц. В приводимых в Справочнике

контекстах их позиция однозначно указывает на роль сказуемого двусоставного предложения с инфинитивом на месте подлежащего: *Неплохо (бы) (было) (и) отдохнуть* (ср. недурно / неплохо / нелишне / не вредно... хорошо / не грех / не худо бы отдохнуть). Частица *бы* — показатель синтаксического желательного наклонения как одной из форм реализации основной синтаксической структуры. Она (частица) может и отсутствовать, и быть замещенной частицей *и*, ср. *Неплохо бы и отдохнуть — Неплохо и отдохнуть*, а может быть дополнена связкой *было*: *Неплохо было бы отдохнуть*. При этом *неплохо* и *недурно* остаются наречиями, хотя и употребленными в роли предиката (так наз. предикативные квалифицирующие наречия). (*Не*) *грех* и (*не*) *худо* — существительные в таком же синтаксическом употреблении (кстати, *не грех* в справочнике отсутствует). Синонимичное *хорошо бы* выполняет роль частицы, видимо, только в структурах типа *Хорошо бы он нас не заметил* (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1992. Далее — СОШ), что невозможно для рассмотренных выше предикативных наречий (**Неплохо бы он нас не заметил*).

Необходимо отдельно остановиться на лексикографической новации данного справочника — информации, помещенной в рамках на каждой полосе. Это — в целом интересное — лексикографическое решение страдает недостатком, общим для всей книги: отбор информации здесь далеко не оптимален. Содержание же ее нередко вызывает возражения. Чтобы быть убедительными, приведем лишь некоторые примеры. На с. 1 фрагмент, посвященный словам *абонент* и *абонемент*, содержит повтор информации, уже данной при этих словах в общем алфавитном перечне. Полезнее бы подтолковать, например, прилагательные *абонентный* и

абонентский, в употреблении которых существует трудность (в сочетании со словом *плата*); на с. 3 при слове *автоматно-пулеметный* вводится правило написания сложных прилагательных; полагаем, что правило можно ввести и в более интересном или сложном случае, а именно на этой странице уместнее прокомментировать различие слов *аграрий* и *аграрник* (как *атомник* и *атомщик*), которые смешиваются в употреблении, — это отвечало бы заявленным целям «рамочной» информации; на с. 8 и 32 разработка слов *альфа* и *бета* сделана различно, хотя это аналогичные случаи, ср. *гамма* вообще подается иначе; на с. 13 имеет место лингвистически некорректное толкование неизменяемого прилагательного *апаи* как существительного (см. хотя бы словарь Крысина и ср. *редингот* на с. 565); разрабатываемые на с. 15 подтолковки слов *аркадия* и *Аркадия* опять-таки содержат повторение уже имеющейся в алфавитном перечне и в прилож. 1 информации. При этом очевидно, что *Аркадия* в прилож. 1 разработана недостаточно, хотя именно там и должны быть даны основные сведения о слове с прописной буквой; на с. 22 — неточно выражена мысль относительно слова *балдэж*: говорится о лексической нормативности, а ведь словарь, как следует из аннотации, является нормативным орфографическим справочником; на с. 36 в рамке со словом *блок* дана ошибочная орфографическая рекомендация *блокшпарт. В настоящее время слитное написание этого слова приводится лишь в словаре Крысина, что спорно. Зачем же популярному справочнику предлагать в таких случаях вариант? Тем более не следует отклонения от общепринятой рекомендации выносить в отдельный информационный блок; на с. 218 сообщается явно недостаточная информация о слове *казеннокоштный* (уточним: оно пишется слитно, потому

что вторая часть самостоятельно не употребляется; то же *своекоштный*); с. 230 *кисло-сладкий*, *кисло-солёный* — непонятно, что такое «обе части соотносительны по значению» и какое отношение это имеет к написанию *прилагательного*; с. 245 *коричнево-красный* — следует отработать подтолровку такого рода сложных прилагательных и оперировать общеизвестным клише «оттенка качества» (или цвета, вкуса), ср. толкование единиц *бело-*, *горьковато-солёный*, *кисло-сладкий*, *ржаво-красный*, *ядовито-зелёный*; с. 280 *махонистый* — сомнительна ценность помещения в рамке и какой-либо разработки такого типа просторечного слова; на с. 341 *новеллка* толкуется как «пустяшный (sic!) рассказик»; с. 660—661 содержит повтор содержания в рамках; с. 694 *хлеб-соль* — ударения нет; с. 696 *хомячок* (также *гиацинтик* с. 105) — говорится, что это разновидность животного (растения), но ведь это еще и также формы к *хомяк*, *гиацинт* с суффиксами субъективной оценки. Все же научная классификация не отменяет всем известное модификационное значение слова.

Ограничимся этим количеством примеров. По нашему мнению, информация, которую редактор счел целесообразным разместить в рамках, нуждается в серьезном дополнительном редактировании. Что касается характера «рамочных» сведений, то логично было бы значительно сместить акцент в сторону собственно орфографической информации. Для орфографического справочника важнее обратить внимание на соотносительность *мелочовка* — *межёвка*, чем *онагр* — *онагра*. Пусть лучше не на каждой странице, но прицельнее, существеннее, весомее будет информация Справочника в данном отношении.

По замыслу составителя, основной корпус справочника 1 и приложение 1 «Список некоторых слов, пишущихся с прописной буквы» связаны одина-

правленными отсылками. Такой лексикографический ход вполне приемлем и воспринимается как новация. В исполнении этого замысла, однако, можно многое улучшить (само содержание приложений анализируется далее). Многие нарицательные слова основного корпуса имеют аналог, пишущийся с прописной буквой, но лишь часть этих слов дается в соотношении с прилож. 1, например, не имеют отсылки к приложению единицы: *авгиевы конюшни, агнец, адамово яблоко, альфонс, амазонка, аргентина, ариаднина нить, боливар, бобик, буренка, мурка, мурлыка, сивка, шарик* (клички — с прописной), *буцефал, камчатка, марина, мартын, мафусаилов век, медведица, мизгирь, могол, монтекристо, море, мцыри, незнаяка* (нет отсылки, но в прилож. 1 есть Незнаяка), *танталовы муки*.

Замечены также и отклонения в орфографических рекомендациях по сравнению с академическим словарем (РОС) и словарем «Строчная или прописная?» В. В. Лопатина, Л. К. Чельцовой, И. В. Нечаевой (М., 1999; также см. словарь тех же авторов: «С большой буквы или с маленькой?» М., 2002): слова *Гарпагон, Мекка, Мессалина, Тартюф* (полная сверка нами не проводилась) пишутся с прописной буквы также и в переносном употреблении (при *гарпагоне «пустая» отсылка к прилож. 1).

Большая последовательность требуется и в обработке отдельных типов единиц: *авгиевы конюшни, адамово яблоко, ариаднина нить, мафусаилов век, танталовы муки* и др. не имеют отсылки к прилож. 1, а *ахиллесова пята, сизифов труд* и др. имеют; статья *браманизм* и *брахманизм* дана без отсылки, *брахманизм* и *браманизм* — с отсылкой к прилож. 1; *богочеловеческий* дается со строчной и отправляет к прилож. 1, где видим *Богочеловек* и *Богочеловеческий*. Что должен думать читатель? Что от *Богочеловек* прилагательное пишется и

с прописной и со строчной буквы? (кстати, РОС и словарь «Строчная или прописная?» не дают написания со строчной). Это как раз тот случай, когда справочник, желающий быть полезным своему читателю и сообщающий об этом в предисловии, должен давать адекватную информацию.

Отсылки от *медовый, прощенный, тайный, федеральный, федерация, хлебный, яблочный* к приложению, где они входят в составные наименования Медовый Спас, Тайная вечеря и др., смотрятся сиротливо на фоне отсутствия подобных соответствий у других прилагательных, входящих в составные наименования прилож. 1 (*белокаменный, ветхий, вечный, государственный, красный, новый, серый, страстной, человеческий*).

Вообще значительное количество производных от собственных имен в справочнике «повисают», так как не имеют ни производящего в скобках, ни отсылки к приложению. Чем *анакреонтический, аннинский, буденновский* и мн. другие хуже *амударьинского, апокалиптического* и др., а *буденновка* хуже *брахманизма*? Видимо, их «вина» только в том, что прилож. 1 имеет ограниченные лексические рамки для словаря в 107 тысяч слов. В обработке этой части словника составителю можно предложить пойти по проторенному пути: больше информации приводить непосредственно в словарной статье (в основном корпусе) в виде указания на производящие слова.

Поскольку наличие приложений разного рода призвано повысить информативность и, соответственно, ценность любого словаря, на содержании обоих имеющихся в Справочнике дополнительных списков слов стоит остановиться отдельно.

О приложении 1 «Список некоторых слов, пишущихся с прописной буквы». Оно представляет собой компакт-

ный перечень единиц, принадлежащих к ограниченному кругу тем. Последний в перспективе следует расширить (прежде всего за счет составных наименований, включающих нарицательные имена типа *Страна восходящего солнца*, *Вечный город*, *Древний мир*, *Смутное время* и под.). В более полном перечислении нуждаются также названия священных понятий религии, а также соборные имена, употребленные в нарицательном смысле, часть которых помещена в списке. Так, есть *Духов день*, нет *Троицына дня*, есть *Всевышний*, *Творец* и нет *Создатель*, нет *Бродвея*, но есть (впрочем, сомнительный для такого небольшого списка) *Бeverли-Хиллз*, сомнительно также включение *Гадеса* — гораздо менее известного, чем *Аид*, есть *Панакея* и *Панацея*, нет *Наркисса* (а только *Нарцисс*), *Центавра* (только *Кентавр*), есть *мойра*, нет *парки*, есть *Мекка*, нет *Вандей*, *Клондайка*, *Ходынки* и др. под. Иными словами, речь опять-таки идет о последовательности и полноте представления материала в уже заданных тематических пределах.

Выявляются различия в толкованиях у единиц одной лексической парадигмы или у различных наименований одного денотата. Так, по-разному толкуются: 1) названия года по восточному календарю (ср. *Бык*, *Мышь* — и все остальные), 2) имена богов и одноименных планет (ср. *Марс*, *Тритон* — и все остальные), 3) *Каин* и *Авель* (первый — сын *Адама*, второй — сын *Адама* и *Евы*), 4) *Ганимед*, *Гиацинт*, *Кипарис* — и *Нарцисс*, 5) *Прощёное воскресенье*, *Страстная неделя*, *Тайная вечеря* (без подтолкования) — и *Духов день* (в христианстве), *Покров*, *Рождество* (в православии), 6) наименования Бога, ср. *Всевышний*, *Вседержитель* (Бог), *Всемилолюбивый* (одно из имен Бога), *Творец* (о Боге), 7) *Мальчик с пальчик*, *Кощей Бессмертный*, *Винни Пух* ... (сказочный

персонаж) и *Вечный жид*, *Мужичок с ноготок*, *Миледи*, *Квазимодо*, *Фигаро*, *Ундина* (персонаж). Сказать о Вечном жиде «персонаж» мало, он ведь менее известен, чем *Винни Пух*, это «персонаж христианской легенды», или «легендарный и литературный персонаж, Агасфер». У некоторых слов толкование и вовсе отсутствует (*Адриатика*, *Аника-воин*, *Балтика*, *Богоматерь*, *Бог Дух Святой* и др. лица *Троицы*, *Божья мать* и нек. др.), хотя в предисловии к Справочнику сказано «все слова в приложении I имеют толкования».

Отметим довольно значительное для такого небольшого списка слов количество неточностей и прямых ошибок в толкованиях. Например, *Адонис* — это божество только греческой мифологии; *Амазонка*, *Амур*, *Кама* — нет толкования как названий рек; *Персефона* — толкование «богиня земного плодородия» ошибочно, это «богиня царства мертвых, жена *Аида*», а богиня земного плодородия — *Деметра* (см.); *Сатурн* — толкование ошибочно, оно отвергается исследователями как народная этимология, это «один из древнейших римских богов, который стал почитаться как бог золотого века»; *Сатана* — в иудаизме и христианстве — кроме того что он повелитель бесов, он еще антагонист Бога (что важно!); *мекка* — в основном алфавите это слово дано со строчной буквы, хотя норма написания его в переносном употреблении установлена в РОС с прописной буквы. Кроме того, толкование «наиболее посещаемое место» неверно: вокзал или туалет, например, тоже очень посещаемы, но это не *Мекка*; *Мекка* в переносном смысле — место паломничества, поклонения. *Мекка* — «главный религиозный центр ислама; место паломничества, поклонения», так может быть? *Мойра* — в приложении с прописной, а в основном алфавите со строчной (*мойра*) имеют одну помету (миф.): где же

правда? как писать?; *Олимп* — хорошо бы в основном алфавите дать *олимп* в переносном употреблении со строчной буквы как «избранный круг, верхушка какого-л. общества» (*литературный, политический, театральный олимп* (слово зафиксировано в РОС и Большом толковом словаре русского языка под ред. В. Н. Кузнецова. СПб., 2000).

О приложении 2 «Русские личные имена». Помещение мужских и женских имен в общем алфавите, а также указание их словоизменительной парадигмы соответствует общепринятому оформлению словарных статей и таким способом как бы включает личные имена в общесловарный контекст.

Вызывает сомнение чистота списка, если исходить из заявления, что это «наиболее распространенные» русские личные имена (разве являются таковыми *Авелина, Аделина, Адельфина, Алесина, Альвина, Ангела, Антониана, Анфуса, Астра, Василида, Веселина, Гаяна, Гея, Инара, Искра, Кима, Леонилла, Лири, Люцина, Тамилла и Томила, Эллина, Аган, Аврелий, Агний, Афоний, Вукол, Марьян, Наркис, Нафанаил, Роговолд, Савёл, Светозар, Свирид, Сила, Хрисанф* и др.). Список содержит многие редкие старые имена, а также имена, известные по произведениям русской классической литературы, и имена — новообразования советской эпохи. Эти категории имен практически не воспроизводятся в настоящее время. Подобный список безусловно имеет право на существование, но в предисловии к Справочнику тогда не следует указывать на признак распространенности. В то же время помещенное в данный перечень имя *Макс* представляет собой не самостоятельное мужское русское имя, а является разговорным вариантом имени *Максим* (то же — отсутствующие в приложении популярные ныне *Влад* и *Стас*). Поэтому его включение в общий список имен, как и обра-

зование от него отчеств, вызывают возражение. Орфографический справочник не может, по нашему убеждению, выступать инициатором фиксаций такого рода.

Новшеством, которое следует считать неудачным, является приведение через запятую основного и разговорного вариантов отчеств типа *Абрамович, Абрамыч, Игоревич, Игорич, Маратович, Маратыч, Орестович, Орестыч, Сергеевич, Сергееч* и др. без соответствующего примечания или пометы *разговорное* при втором из них, используемой в подобных случаях. В документах, удостоверяющих личность, форма на *-ич, -ыч* воспринимается как ошибка: правомерность ее употребления и соотношение с основной формой отчества обычно требует лингвистической экспертизы. Какими бы соображениями ни руководствовался составитель в этом случае, полагаем, что данное решение некорректно, так как ставит в один ряд заведомо неравноправные единицы, которые — в отличие от нарицательных имен — имеют не только разные речевые (стилевые), но и разные юридические сферы функционирования. При этом принятая подача еще и вводит пользователя в заблуждение, поскольку для имен со второй частью *-слав* варианты отчеств *-славович* и *-славич, -славовна* и *-славна* нормативно равноправны (и тут отметим пропуск: нет вариантов *Бориславна, Мирославна*). Таким образом, обсуждаемый способ представления материала приложения 2 не отвечает требованиям нормативного орфографического справочника.

Формы отчеств *Аникевна, Димитревна, Дмитревна, Сергевна, Саввишна* (эта форма провоцирует массовые ошибки), *Яклич* и *Яклевна* (!) (нет *Якович*), *Акинфич* (допускаем, что и некоторые другие) ни в «Словаре русских личных имен» Н. А. Петровского, ни в руководстве Л. П. Калакуцкой «Фамилии. Имена. Отчества» (М., 1994) не за-

фиксированы. Их включение кажется по меньшей мере спорным.

Таким образом, оба приложения, представляя собой более чем скромный по объему материал, содержат значительное количество фактических ошибок, непоследовательностей и неполноты подачи, наконец, просто опечаток. В настоящем виде приложения лишь условно выполняют роль носителей «дополнительной информации», которая «во многих случаях позволит читателю не обращаться к другим словарям». Он и не обратится, пребывая в уверенности, что извлеченные им сведения являются достоверными.

Полагаем, что изложенные выше наблюдения над решением орфографической темы в «Новом орфографическом словаре-справочнике русского

языка», позволяют обоснованно утверждать, что он не может претендовать на статус нормативного источника, рекомендациям которого можно доверять, а сообщаемой информацией пользоваться без дополнительной проверки.

Л и т е р а т у р а

Иванова 1994 — О. Е. Иванова. О перспективах развития орфографической лексикографии // Изв. Акад. наук. Отд. лит. и яз. 1994. № 4. С. 62—68.

Осипов 2001 — Б. И. Осипов. Русский орфографический словарь (рецензия) // Вопросы языкознания. 2001. № 3. С. 126—128.

О. Е. Иванова

С. А. Попов. Ойконимия Воронежской области в системе лингвокраеведческих дисциплин. Воронеж: Изд. Дом Алейниковых, 2003. 285 с. (150 экз.).

В последние 25—30 лет в нашей стране существенно возрос объем и уровень топонимических исследований. Особенно это заметно для регионов, по которым составлены топонимические картотеки той или иной степени полноты (Русский Север, Карелия, Подмосковье). Нет нужды доказывать, что возможности подобных исследований в большой степени определяются наличием и доступностью полных сводов географических названий различных территорий. Естественно, эта потребность не может быть удовлетворена лишь за счет региональных топонимических словарей, как бы ни был высок их уровень (см. «Топонимический словарь Московской области» Е. М. Поспелова, «Географические названия Тюменского Севера» и «Географические названия Свердловской области» А. К. Матвеева). Таким образом, запросы исследователей удовлетворяются далеко не в полной мере. В

области гидронимии можно указать лишь: «Гидронимия бассейна Оки» (Г. П. Смолицкая. М., 1976. 1200 экз.), «Сухона от устья до устья» (А. В. Кузнецов. Вологда, 1994. 1000 экз.), «Словарь гидронимов юго-восточного Приладожья (бассейн реки Свирь)» (И. И. Муллонен, И. В. Азарова, А. С. Герт. СПб., 1997. 150 экз.) и «Реки и водоемы Волгоградской области. Гидронимический словарь» (И. В. Крюкова, В. И. Супрун. Волгоград, 2002. 200 экз.). В других областях топонимии ситуация еще менее удовлетворительна. Поэтому можно всячески приветствовать выход рецензируемой работы С. А. Попова.

Работа состоит из четырех глав и двух обширных приложений, составляющих основную ее ценность для топонимических исследований.

В Главе I «Общие вопросы лингвокраеведческого изучения региональной топонимии» привлекают разделы «Ис-

точники и литература по изучению воронежской ойконимии» и «Изменение административно-территориального деления Воронежской области». Сведения, приведенные в них, будут полезны всем приступающим к изучению топонимии региона. Раздел же «Из истории заселения Воронежского края» написан поверхностно; материал подан фрагментарно, особенно в отношении неславянских этносов.

Глава II посвящена характеристике ойконимов по семантике образующих основ. По нашему мнению, здесь классификация излишне дробна, да и спорна в своей основе; не отражает современного развития топонимики как науки. В ряде случаев наблюдается непоследовательность в атрибуции материала. Так, к отантропонимическим ойконимам совершенно справедливо отнесены (как здесь, так и далее — в тексте словаря) *Воробьевка, Галкино, Журавлево, Зайцевка, Комаровка, Коршуновка, Котовка, Кочетовка, Орлово* и т. п. (с. 67—72). Но одновременно все эти названия включены в перечень ойконимов с «зоонимической» основой (с. 60—61), причем перечень этот предваряется словами «Данная тематическая группа связана с названиями животных, птиц и рыб, обитающих в настоящее время и обитавших в прошлом на территории Воронежской области».

Автор подчас вводит собственную терминологию, например — *религиоойконим* (с. 72), что выглядит неоправданным на фоне хорошо известного *агиотопоним* [Подольская 1988: 128].

В корне неверно утверждение (с. 74): «При постройке церкви населенный пункт, как правило, приобретал статус села (если до этого здесь были хутор, поселок или деревня)». Общеславянское *село* ‘жилище, поселение; пашня’ (см. у Фасмера) возникло задолго до принятия славянами христианства. Ср. и летописные «села красные боярина

Кучки»; о каких церквях в этих селах можно было говорить применительно к языческой пра-Москве? Исходный смысл слова *село* ‘поселение вообще’ не забывался и в позднейшие времена, иллюстрацией чего могут служить названия *деревень Новое Село, Красное Село* в Московской обл., *Село* в Кирилловском р-не Вологодской обл. В феодальное время село являлось административно-хозяйственным центром княжеского, боярского или монастырского владения [Веселовский 1936: 12]. В то же время село было и церковноприходским центром, и его церковь была наиболее авторитетна для населения соответствующей округи. Но это не значит, что церковей не было в деревнях этой округи. Другое дело, что название церкви чаще отражалось в названии сел, а не деревень. Чаще, но далеко не всегда, ср. «церковные» имена деревень *Петропавловка, Петропавловское, Богородская, Троеручная* в Московской обл., *Знаменка* в Смоленской обл. и др.

Отметим и удачные фрагменты главы: об ойконимах-мигрантах (с. 79—80), о переосмыслениях (точнее, переделках) названий по идеологическим соображениям в советское время: дер. *Гардеевка — Красная Гвардеевка*, хут. *Развин* (< *Развин яр*) — *Разино*, с. *Троицкое — Тройня* и др. (с. 82).

Глава III посвящена структурно-словообразовательной классификации ойконимов. В ней рассматриваются русские по происхождению топоформанты, ойконимы типа *pluralia tantum*, ойконимические *composita* и ойконимы-словосочетания.

Топоформанты рассмотрены весьма неравномерно; не всегда четко определены их функции, а для формантов *-н(я)*, *-ин(а)* не определены вовсе. Попросту неверно определение суффикса *-щина*. По С. А. Попову, он обозначает место, где ранее находилось что-то. Но эта (наряду с другими) функция присуща

суффиксу *-ище* (в перечне С. А. Попова отсутствует). Суффикс же *-щина*, как хорошо известно (работы А. М. Селищева, Г. Сафаревич, В. А. Никонова, Г. Я. Симиной и др.), входил в состав топонимов, указывающих на владельца поселения, угодья, территории. Этим владельцем могло быть отдельное лицо, группа лиц (род, семья) либо организация (чаще монастырь, но иногда и целое княжество, ср. былые *Ростовщины* на Двине). Соответственно, в основах рассматриваемых топонимов лежат антропонимы, патронимы, соционимы, агнионимы: *Комаровщина, Васильевщина, Паневщина, Полевщина ~ Полево* (владение бояр Полевых), *Ивановщина ~ Ивановское, Баяртовщина; Боярщина, Княщина; Монастырщина, Богословщина* и т. д.

Особо скажем о суффиксе *-оват-*. Здесь уместна развернутая цитата (с. 98—99): «Несколько обособленную группу составляют названия, в которых формант *-к(а)* сочетается с суффиксами качественных прилагательных *-оват-/еват-*, характерных именно для воронежской ойконимии. В современном русском литературном языке суффикс *-оват-* имеет значение неполноты признака (*красноватый* — ‘чуть красный’, *грязноватый* — ‘немного грязный’), нехарактерное для топонимических образований. Он никогда не присоединяется к основам слов, называющих растения или компоненты рельефа, как, например, в ойконимах *Песковатка, Ольховатка*. В данном случае вполне возможным представляется предположение М. В. Федоровой [1976: 16] о мордовском происхождении форманта. По ее мнению, данный формант является этимологическим (sic! — А. Ш.). Основа *-ват-* (*-уват-*) по своей семантике обладала в мордовских языках конкретное-предметным значением в виде ‘берег’, в дальнейшем перешедшем в более широкое ‘местность вблизи берега’ и ‘местность вообще’. В последнем зна-

чении она и закрепились в гидронимах и ойконимах Воронежского края (*Ольховатка* — ‘река, текущая по местности с порослью ольхи’; *Меловатка* — ‘река с меловыми берегами, текущая по почве с преобладанием меловых пород’»).

Здесь неверно все — от первой до последней фразы. Во-первых, топонимы со славянским сложным суффиксом *-ов-ат-* встречаются отнюдь не только в Воронежской обл. Они распространены от Украины (гор. *Ясиноватая*), Белгородской (балки *Гаяватка, Камышеватая*) и Волгоградской обл. (р. *Иловатка*) на юге до Карелии (пор. *Щельеватик*: *щелье* ‘гладкий скальный берег’, о. *Дыроватик*, губа *Виловатая*) на севере. Во-вторых, хорошо известно, что активность и значение суффиксов зачастую различны в нарицательной и ономастической лексике. В топонимах суффикс *-оват-* передает не неполноту признака, а попросту его наличие и может оформлять не только (и не столько) качественные основы. В-третьих, на территории, где мордовская топонимия заведомо является субстратной, появление мордовского элемента в постпозиции к элементу русскому немислимо. В-четвертых, слово (*о*)*ват* со сначением ‘берег’ или ‘местность’ в мордовском неизвестно.

Тем не менее ряд ойконимов Воронежской области с элементом *-оват-* (*Коловатовка, Кочеватка*) действительно имеют мордовские истоки, поскольку восходят к мордовским дохристианским личным именам с антропонимическим элементом *-Vvat* (о таких именах см. [Мокшин 1993: 84]; здесь же и критика построений М. В. Федоровой). Естественно, что подобные антропонимические топонимы встречаются и на других территориях былого и нынешнего проживания мордвы — в Мордовии, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской обл.

Как ни странно (для топонимической работы), в разделе о суффиксах не нашлось места для характеристики их географического распространения и исторических судеб, что, собственно, и определяет в значительной степени «топонимическую физиономию» той или иной территории (см. [Никонов 1965: 69—84]).

Небольшая Глава IV посвящена украинскому наследию в воронежской ойконимии. Отмечены особенности топонимов украинского происхождения на фонетическом, лексическом и словообразовательном уровнях. Остается сожалеть, что в этом отношении никак не охарактеризованными остались древние топонимические пласты: иранский, тюркский, древнемордовский.

Основной объем работы составляет словарь воронежских ойконимов. Он отличается полнотой и включает не только старые названия (в случае переименований), но, что особо ценно, и названия многих исчезнувших населенных пунктов. При большинстве названий приведен топонимический комментарий, во многих случаях представляющий полезную и интересную информацию. Однако встречаются и спорные или попросту неверные объяснения, которые не всегда легко отчленишь от правильных. Ограниченно подаются исторические сведения (так, указано, что город Острогжск строился в XVII в., хотя можно было бы привести точную дату основания — 1652 г.). Чтобы не быть голословным, приведу один развернутый пример. О городе Бобров сказано: «Назван по водившимся здесь в XVII в. бобрам. На гербе города изображен бобр, что подтверждает данную этимологию». Далее, со ссылкой на В. П. Загородского, повторяется: «...в XVII в. в этом месте водились бобры и существовал бобровый промысел. Но ко времени возникновения постоянных поселений на Битюге бобры, видимо, были

уже истреблены». Сравним это с соответствующим текстом «Историко-топонимического словаря России» Е. М. Поспелова (М., 2000): «На берегу р. Битюг, там, где позже вырос город, в документе 1685 г. упоминается *Бобровский откупной юрт* (тюрк. *юрт* — ‘владение, земля’); название связано с существованием в этом месте бобрового промысла. В 1698 г. в этом юрте возникает *Бобровская слобода*, неофициально называемая также селом или даже городом *Бобровск*. В 1779 г. *Бобровская слобода* была преобразована в город *Бобров*».

Завершает работу обширный список справочной и топонимической литературы.

Сам автор позиционирует свою работу следующим образом (с. 121): «В целом материалы монографии могут быть использованы в лекционных курсах лингвистического, исторического и географического циклов, при чтении спецкурсов и проведении спецсеминаров в вузах и школах нового типа (гимназиях, колледжах, лицеях и т. д.), а также при проведении лингвокраеведческой работы в общеобразовательных учебных заведениях». Мы, к сожалению, должны предостеречь читателей от использования работы С. А. Попова как учебного или методического пособия ввиду многочисленных неточностей, спорных положений и прямых ошибок как принципиального, так и частного характера. В качестве же справочника по ойконимии Воронежской области, издание является, бесспорно, полезным в силу полноты представленного материала.

Л и т е р а т у р а

Веселовский 1936 — С. Б. Веселовский. Село и деревня в Северо-

Восточной Руси XIV—XV вв. М.: Л., 1936.

Мокшин 1993 — Н. Ф. Мокшин. Мордовско-русско-татарские контакты в топонимии // Топонимия России. М., 1993.

Никонов 1965 — В. А. Никонов. Введение в топонимику. М., 1965.

Подольская 1988 — Н. В. Подольская. Словарь русской ономастической терминологии. М., 1988.

Федорова 1976 — М. В. Федорова. Славяне, мордва и анты: к вопросу о языковых связях. Воронеж, 1976.

А. Л. Шилов

Классика научной русистики в газете «Русский язык» и на ее сайте*

...весь путь приобщения к словесной культуре связан у нашего современника с именем и трудами Д. Н. Ушакова. Крайне необходимы ему научные работы Ушакова! Но где же он их возьмет? Они не переиздавались много десятков лет.

М. В. Панов

1.

С 1995 года при педагогической газете «Первое сентября» издается еженедельное приложение «Русский язык». С января 2002 г. это издание получило статус самостоятельной учебно-методической газеты. Основной адресат газеты — школьные учителя русского языка и словесности. Поэтому на ее страницах преобладают дидактические и научно-популярные материалы. Тем не менее за истекшее десятилетие в газете было напечатано и немало статей собственно научного характера. Наряду с публикацией новых исследований редакция газеты уделяла постоянное внимание и пропаганде лингвистического наследия.

Публикации небольших фрагментов классических исследований осуществ-

лялись в ходе обсуждения наиболее сложных вопросов школьной программы или в связи с памятными датами истории языковедения. Таковы, к примеру, публикации Ю. Н. Тынянова («Смысл стихового слова», № 14 за 1995 г.), Г. О. Винокура («Морфология, словообразование, этимология и прочее» в № 7 за 1996 г.), И. И. Срезневского («Держаться родного языка как главной основы» в № 21 за 2002 г.), Н. И. Жинкина («Интонация и смысл поэтического текста» в № 27—28 за 2003 г.).

Подобные разовые, фрагментарные публикации, знакомя читателей с отдельными идеями и результатами классиков науки, безусловно способствуют расширению лингвистического и общекультурного кругозора. Но они не создают привычки к самостоятельной

* Обзор подготовлен в рамках работ по теме «Диахроническая динамика текста и принципы формирования надтекстовых единиц» (грант РФФИ № 03-06-80145).

работе с научной литературой, не позволяют получить представления об авторской концепции в целом, вступить в подлинное общение с автором, пройти у него «школу» мышления о языке.

Поэтому с осени 1996 г. в газете «Русский язык» возникла специальная рубрика «Библиотечка учителя», предназначенная для полной (или почти полной) публикации классических научных и методических работ по русскому языку. Выпуски «Библиотечки» печатались, как правило, на срединных полосах и в меньшем формате, чем остальные полосы газеты (А4 вместо А3), — с тем чтобы подписчики могли, извлекая и складывая их, составлять небольшие брошюры. К началу 2005 г. увидело свет больше 50 выпусков рубрики — и у постоянных подписчиков действительно сформировалась целая библиотечка классической русистики (полный алфавитный указатель опубликованных работ см. в конце настоящего обзора).

В 1997 г. началось частичное выставление материалов газеты на сайте издательского дома «Первое сентября» (www.1september.ru; теперь газета выставляется там полностью). С этого времени практически все выпуски «Библиотечки учителя» доступны и пользователям Интернета. Хотя «Библиотечка» формировалась и формируется с ориентацией на школьного учителя, она, думается, представляет интерес и для научной общественности, ведь в нее вошло значительное количество работ, давно не переиздававшихся, почти забытых, а порой и впервые напечатанных именно на страницах газеты «Русский язык». Научного обсуждения заслуживают и сами принципы отбора и представления классического наследия лингвистической русистики для школьного педагога.

2.

Законы и тайны русского языка, его возможности и его свершения уже почти 300 лет составляют предмет наблюдений, размышлений, исследований крупнейших деятелей отечественной культуры. Тут и писатели, и профессиональные лингвисты, и методисты, и учителя-практики. Русский язык бывал главным героем пространственных специальных сочинений и предметом отрывочных, мимолетных высказываний, которые нередко тоже стоили целых томов.

Постепенно сформировалась подлинная сокровищница знаний о русском языке — правдивое отражение языкового сознания прошедших поколений и одновременно грандиозный потенциальный учебник и источник вдохновения для поколений будущих. Понятно, какую ценность представляет она для школьного учителя, на котором лежит миссия передачи языка и воспитания языкового сознания и языкового вкуса новых поколений. Однако оказывается, что именно учителю эта огромная сокровищница практически недоступна, причем недоступна в обоих смыслах слова: 1. ‘то, до чего трудно добраться’; 2. ‘то, что нелегко понять’.

Физическая малодоступность объясняется тем, что у нас нет сложившейся системы собирания и публикации литературы о русском языке. Если не считать принятых на данный момент школьных и вузовских учебников и учебных пособий да двух-трех наиболее распространенных словарей (В. И. Даля, С. И. Ожегова, третье имя присоединить к этому ряду уже непросто), все остальные сочинения о русском языке, даже признанные классическими, переиздаются крайне редко и в большинстве школьных и массовых библиотек отсутствуют. А эпизодические наблюдения и мысли практиков языка собираются и издаются еще реже. Между замечательной антологией [Русские писатели

1954]) и ее недавним аналогом [Русские писатели 2000] пролетело почти полвека. А ведь вплотную сталкиваться с муками и тайнами речи в своей профессиональной деятельности приходится отнюдь не только писателям... Но о составлении хрестоматий типа «Журналисты о языке» или «Редакторы о русском языке» пока нет никаких известий.

3.

Но, допустим, нужная книга в школьной библиотеке нашлась и физически для учителя достижима. Вот тут-то вступает в дело второй смысл слова *недоступный* — недостаточная понятность. Книги о русском языке, специально адресованные широкой аудитории, любознательным неспециалистам, — будь то «Русский язык» Г. О. Винокура или «Живой как жизнь» К. И. Чуковского — в нашей культуре немногочисленны. Большинство научных сочинений о русском языке адресовано коллегам-ученым, а значит, предполагает у читателя специальную подготовку и оснащение: хорошее владение терминологией, осведомленность в литературе вопроса, возможность быстро найти цитируемую работу в домашней или в универсальной библиотеке. И чем меньше научное сочинение (книга > статья > заметка > тезисы), тем менее оно самодостаточно, тем меньше содержит развернутых цитат — и тем больших знаний о своем предмете и о других сочинениях требует от читателя.

У учителя такой специальной подготовки и оснащения чаще всего нет. Образованный учитель может разобратся в специальном научном сочинении по своему предмету, но на это ему нужно время, которого в школьной жизни всегда не хватает. Собственная научная библиотека учителя обычно невелика (особенно при нынешней стоимости книг), а поработать хотя бы в

областной научной библиотеке, не говоря уже о центральных библиотеках в Москве и Петербурге, — чаще всего несбыточно.

Поэтому даже те немногие книги лингвистов, что доходят до школьных библиотек, в работе учителей осваиваются неполно, а то и вовсе пылятся невостребованными. В этом плане поучителен единственный масштабный опыт систематического издания лингвистической классики для школ, предпринятый в годы оттепели Учпедгизом под эгидой ОЛЯ АН СССР.

Первый выпуск этой необъявленной серии, двухтомник [Фортунов 1956] был, конечно, тяжел для учителей, но второй выпуск — небольшой и недорогой сборник [Щерба 1957] — казалось бы, учителя должны были расхватать: ведь все, что писал Л. В. Щерба, всегда было пронизано думой и заботой о школе, о системе образования в нашей стране. На это был рассчитан и большой тираж — 45 тысяч экземпляров. Но даже через десять лет, в середине 1960-х гг., книгу можно было купить в Москве уцененной! Неудивительно, что следующие книги этого типа — сборники [Пешковский 1959; Винокур 1959] — вышли в том же издательстве тиражами 4—5 тысяч экземпляров, мизерными не только по сравнению с количеством учителей русского языка, но даже и с числом школ в стране.

Замысел серии был фактически похоронен, и в дальнейшем издательство (переименованное в «Просвещение») выпускало сборники классиков русистики очень редко и без всякого общего плана [ср. Чернышев 1970 и Ларин 1977].

Причина неудачи крылась, на мой взгляд, в неучете специфики учительской аудитории. Да, Л. В. Щерба никогда не писал наукообразно, его стиль изящен, а изложение занимательно. Но непосредственно к учителям он обращался лишь в нескольких статьях. А ос-

тальные материалы книги [Щерба 1957] были извлечены из научных изданий, и учительская аудитория тех лет не нашла ключа к ним.

Показательна с этой точки зрения и различная судьба однотомников Пешковского и Винокура. В сборнике [Пешковский 1959] заглавия почти всех статей содержали внятные для учителей слова-сигналы: *школа, диктант, орфографические ошибки* и т. п. И книга была сразу раскуплена и почти не попадает у букинистов. А работы, вошедшие в том Винокура [1959], таких школьных «меток» в заглавиях не содержали, и книга долежала на складах до уценки.

Урок этого издательского начинания не был как следует осмыслен. Классические книги о языке для учителей издавать просто перестали. Единственное исключение за последние 15 лет — сборник [Ушаков 1995]. Новейшие переиздания знаменитого «Синтаксиса» А. М. Пешковского [2001а, б] выпущены тиражами и по ценам, которые исключают их приход в школу. А «Повторительный курс русского языка» С. О. Карцевского и вовсе оказался заключенным в малотиражное научное издание [Карцевский 2000].

4.

Между тем задача была в том, чтобы понять, **как** издавать лингвистическую классику **для учительской аудитории**. Многие лингвистические тексты не могут быть перенесены в класс в том виде, в каком увидели свет на страницах научных изданий. Для школы их надо специальным образом готовить, учитывая те условия, в которых работает учитель. В тех случаях, когда ученый отвлекается на сугубо специальные вопросы, могут понадобиться сокращения, в других — дополнение иными текстами, в третьих — специальные разъяснения.

Так подбираются и готовятся классические произведения русистики для «Библиотечки учителя».

Чаще всего выпуски «Библиотечки» имеют монографический характер и посвящаются какому-либо одному лингвистическому или методическому произведению. Для публикации особо значительных и полезных для учителя памятников лингвистической и методической мысли отводится два и более выпусков «Библиотечки».

Порой к такому центральному произведению присоединяются сопровождающие материалы — воспоминания об авторе, отзывы о самом произведении, отрывки из других произведений, излагающих конкурирующую точку зрения.

Реже в пределах выпуска соединяются — целиком или во фрагментах — разные сочинения, посвященные одному и тому же вопросу или тексту. Так были построены «Лингвистические портреты стихотворений Пушкина», выпуски о языке Баратынского, Тютчева и Маяковского. Выпуск, подготовленный к 300-летию В. К. Тредиаковского, содержал его стихи, материалы о его языке и о лингвистической деятельности.

Большая часть выпусков содержит комментарий, подготовленный составителем выпуска специально в расчете на учителя и на использование публикуемого произведения в классе. Часто помещаются предисловие и послесловие, рассказывающие об авторе и раскрывающие значение публикуемых произведений.

Ведение «Библиотечки учителя» требовало от ее редактора и от составителей отдельных выпусков решения многих нелегких вопросов. Полностью ли печатать текст? Что именно в нем можно (и нужно) сократить? Что в данном тексте необходимо прокомментировать именно для читателя-учителя? Как комментировать? Чем дополнить

текст? Постепенно сформировались определенные рабочие правила «Библиотечки», о которых, наверное, стоит написать в будущем отдельно. Эти вопросы для своего решения требуют не только ориентации в классическом наследии русистики, но и выработки специальных текстологических и комментаторских приемов.

Ниже помещен полный указатель всего, что уместилось в первых 50-ти выпусках. Сразу после заглавия работы или названия выпуска в указателе даются (полужирным шрифтом) год публикации, порядковый номер выпуска «Библиотечки» (римскими цифрами) и номер газеты в пределах года (арабскими цифрами).

Алфавитный указатель публикаций серии «Библиотечка учителя»

Берковский Н. Я. Из статьи «Ф. И. Тютчев». **2003: XL — № 44**

Бонди С. М. Особенности языка Тредиаковского: (Из работы «Тредиаковский. Ломоносов. Сумароков»). **2003: XXXVI — № 9**

Брюсов В. Я. Гипербола и фантастика у Гоголя: Из доклада «Испепеленный...» **2002: XXXI — № 9**

Брюсов В. Я. Фиалки в тигеле. **2003: XLI — № 48**

Буслаев Ф. И. Из книги «О преподавании отечественного языка». **1997: VII — № 48; 1998: VIII — № 7; 2000: XVI — № 20; 2001: XX — № 9**

Винокур Г. О. Из книги «Маяковский — новатор языка». **2003: XXXVIII — № 25—26**

Винокур Г. О. Пушкин и русский язык. **1999: XII — № 13**

Винокур Г. О. Русский язык: Исторический очерк. 1996: I — № 40, II — № 41, III — № 43, IV — № 46, V — № 47, VI — № 48

Винокур Г. О. Я и ты в лирике Баратынского. **2000: XVa — № 9**

Волков Н. Н. Композиция лирического стихотворения. **1999: XIV — № 20**

Вольнский А. Л. Из «Книги великого гнева». [О двойных эпитетах Тютчева]. **2003: XXXVIII — № 25—26**

Воскресенский В. О. О «Кратком руководстве к первоначальному изучению русского языка» Ф. И. Буслаева. **1997: VII — № 48**

Жинкин Н. И. Психологические основы развития речи. **1999: [XI] — № 3**

Жирмунский В. М. Из статьи «Задачи поэтики». **1999: XIV — № 20**

Иванов Вяч. И. Из статьи «К проблеме звукообраза у Пушкина». **1998: X — № 21**

Катков М. Н. Великое дело в жизни народа установившийся литературный язык... / [Выдержки из статьи «Пушкин»]. **2001: XXII — № 21**

Левин В. Д. «Евгений Онегин» и русский литературный язык. **2001: XXII — № 21**

Лингвистические портреты стихотворений Пушкина. Портрет первый: «Брожу ли я вдоль улиц шумных...». **1999: XIV — № 20**

Лингвистические портреты стихотворений Пушкина. Портрет второй: «Анчар» глазами писателя, философа, лингвиста, литературоведа, чтеца. Фрагменты работ и высказываний *И. С. Тургенева, Г. Г. Шпета, А. И. Белецкого, Г. В. Артоболевского, С. И. Бернштейна*. **1999: XV — № 21**

Лурия А. Р. Очерк психофизиологии письма. **2002: XXXV — № 40**

Маяковский: Стих, синтаксис, стиль. **2003: XXXIX — № 27 — 28**

Миртов А. В. Из книги «Правописание: методы и способы обучения». **1999: [XIII] — № 18**

Общение в поэзии Баратынского. **2000: XV [a] — 9**

Панов М. В. Преподавание языка в школе. Лекция № 3. Зачем нужна фонема? Московская фонологическая теория. **2004: XLII — № 3; Лекция № 4.**

Московская лингвистическая школа. Учителя. 2004: [XLIV] — № 11, [XLV] — № 15, XLVI — № 19 (первая публикация)

Панов М. В. Первый русский фонетист: (Из книги «Русская фонетика»). 2003: XXXVI — № 9

Панов М. В. Русский язык. 2002: XXXII — № 25—26; 2002: XXXIII — № 27—28

Пешиковский А. М. Десять тысяч звуков [фрагменты]. 2002: XXXIV — № 36

Пешиковский А. М. Навыки чтения, письма и устной речи в школах для малограмотных. 2004: XLIII — № 4

Реформатский А. А. (Лингвистические принципы полисемии прописной и строчной букв): Из цикла «Упорядочение русского правописания». 2003: XXXVII — № 16

Реформатский А. А. (Слитное и раздельное написание): Из цикла «Упорядочение русского правописания». 2003: XXXVIII — № 25—26

Реформатский А. А. (Унификация в орфографии: «за» и «против»): Из цикла «Упорядочение русского правописания». 2003: XXXVIII — № 25—26

Реформатский А. А. Техническая редакция книги: (Извлечения из монографии). 2000: XVIII — № 45

Реформатский А. А. Архитектоника и шрифтовая система текстов. (Из монографии «Техническая редакция книги: Теория и методика работы»). 2001: XIX — № 1

Сидоров В. Н. Морфология русского литературного языка [Из книги: *Аванесов Р. И., Сидоров В. Н.* Очерк грамматики русского литературного языка. М.: Учпедгиз, 1945]. 2004: XLVII — № 24; 2004: XLVIII — № 25—26; 2004: XLIX — № 27—28; 2004: L — № 40; 2004: LI — № 40; 2004: LII — № 44 (Публикация продолжается)

Симон К. Р. Термины энциклопедия и свободные искусства в их историческом развитии. 2001: XXIX — № 34

Соболевский А. И. Воспоминания о Ф. И. Буслаеве. 1997: VII — № 48

Симон К. Р. Энциклопедии в дореволюционной России. 2001: XXIII — № 26

Тынянов Ю. Н. Из статьи «Вопрос о Тютчеве». 2003: XXXVIII — № 25—26

Финкель А. М. Эвфоника «Незнакомки». 2002: XXXIV — № 36

Финкель А. М. «Ночная песня странника» Гёте в русских переводах. 2001: XXI — № 13 (первая публикация)

Финкель А. М. Опыт лингвистического анализа стихотворения А. Блока «Незнакомка». 2000: XVII — № 41

Фортуатов Ф. Ф. О преподавании русского языка в школе. 1998: IX — № 14

Шахматов А. А. Буслаев как основатель исторического изучения русского языка. 1998: VIII — № 7

Щерба Л. В. Опыты лингвистического толкования стихотворения. I. «Воспоминание» Пушкина. 1998: X — № 21
Язык Тютчева. 2003: XL — 44

Якобсон Р. О. «Как если бы все слова связывались между собой впервые...»: Из книги «О чешском стихе...». 2003: XXXIX — № 27—28

Якобсон Р. О. Разбор тобольских стихов Радищева. 2002: XXXV — № 40

Якубинский Л. П. Элементы языкознания и истории языка в школе. 2002: XXX — № 5

Л и т е р а т у р а

Винокур 1959 — Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку / Отбор текстов и ред. С. Г. Бархударова. М., 1959.

Карцевский 2000 — С. И. Карцевский. Из лингвистического наследия / Сост., вступит. ст. и коммент. И. И. Фужерон. М., 2000.

Ларин 1977 — Б. А. Ларин. История русского языка и общее языкознание: Избранные статьи. М., 1977.

Пешковский 1959 — А. М. Пешковский. Избранные труды / Подгот. текста, вступит. ст. и прим. И. А. Василенко и И. Р. Палей. М., 1959.

Пешковский 2001a — А. М. Пешковск и й. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М.: Языки рус. культуры, 2001a.

Пешковский 2001б — А. М. Пешковск и й. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2001б.

Русские писатели 1954 — Русские писатели о языке (XVIII—XX вв.) / Под ред. Б. В. Томашевского и Ю. Д. Левина. Л., 1954.

Русские писатели 2000 — Русские писатели XVIII—XIX веков о языке. В 2 т. / Под общ. ред. Н. А. Николиной. М., 2000.

Ушаков 1995 — Д. Н. Ушаков. Русский язык / Вступит. ст., подгот. текста, сост. М. В. Панова. М., 1995.

Фортуна тов 1956 — Ф. Ф. Фортуна тов. Избранные труды: В 2 т. М., 1956.

Чернышев 1970 — В. И. Чернышев. Избранные труды: В 2 т. / Сост. А. М. Иорданский и др.; Вступит. ст. В. В. Виноградова. М., 1970.

Щерба 1957 — Л. В. Щерба. Избранные работы по русскому языку / Отбор текстов, ред. и прим. М. И. Матусевич. М., 1957.

С. И. Гиндин

НОВЫЕ КНИГИ

Отцы и дети Московской лингвистической школы: Памяти Владимира Николаевича Сидорова: Сб. ст. / Отв. ред. С. Н. Борунова, В. А. Плотникова-Робинсон. М.: Ин-т. рус. языка, 2004. 404 с.

Сборник посвящен памяти выдающегося ученого, одного из создателей Московской фонологической школы — Владимира Николаевича Сидорова, 100-летний юбилей которого отмечался в 2003 г. Большое место в сборнике занимает мемориальный раздел. В него входит 23 публикации, дающие представление о В. Н. Сидорове — Ученом и Человеке. Авторы раздела — Р. И. Аванесов, А. А. Реформатский, В. П. Кузнецов, О. А. Державина, О. Н. Комова, С. Н. Борунова, Ф. Д. Ашнин, В. М. Алпатов, Н. А. Янко-Триницкая, С. Б. Бернштейн, О. С. Широков, М. В. Панов, И. С. Ильинская, В. А. Плотникова-Робинсон, Н. А. Янко-Триницкая, А. Б. Пеньковский, В. Г. Демьянов, Р. В. Бахтурина, Г. А. Барина, К. Ф. Захарова, С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова. В большинстве своем это друзья, соратники, ученики В. Н. Сидорова. Среди них те, кто вместе с ним стоял у истоков ряда направлений в языкознании XX в. Тема «В. Н. Сидоров — фонолог» посвящена статье Г. А. Бариновой. В. Н. Сидоров как лексикограф и лексиколог предстает в статье И. С. Ильинской и В. А. Плотниковой, грамматические идеи В. Н. Сидорова отражены в статьях Н. А. Янко-Триницкой, В. А. Робинсон-Плотниковой, В. Г. Демьянова. О вопросах исторической морфологии, разработанных ученым, но не опубликованных им, пишет А. Б. Пеньковский. К. Ф. Захарова отмечает заслуги В. Н. Сидорова в области исторической диалектологии, в интерпретации и решении им многих теоретических и методологически важных вопросов общего языкознания. В разде-

ле представлены и фрагменты из его научного наследия. В воспоминаниях немало страниц посвящено В. Н. Сидорову-человеку, характеристике его незаурядной личности (ср. воспоминания М. В. Панова), подробно освещена его биография, описаны трагические моменты его жизни — арест и заключение (публикация документов из архива ФСБ Ф. Д. Ашнина и В. М. Алпатова). О становлении Московской фонологической школы, основные положения которой сформулировал В. Н. Сидоров, читатели узнают не только из воспоминаний, но также из статьи самого В. Н. Сидорова «О Московской фонологической школе» (ею завершается раздел).

Тематика следующих двух разделов сборника находится в сфере научных интересов В. Н. Сидорова. Во II раздел входят работы по истории языка и диалектологии. История языка представлена исследованиями А. А. Зализняка («Древнерусская графика со смешением *ъ* — *о* и *ь* — *е*»), В. А. Дыбо («Правило Селищева—Вайана в праславянском») и С. В. Дегтева («К лексикографическому описанию переводных памятников славянской и древнерусской письменности»). Вопросы исторической диалектологии освещаются в статьях С. К. Пожарицкой «Особенности семантики и синтаксиса беспредложного творительного падежа в севернорусских говорах» и А. В. Тер-Аванесовой «Отражение флексии *nom.-ass. dualis* в счётной форме существительных *a*-склонения в русских говорах».

Авторы III раздела обращаются к проблемам современного русского языка и языка художественной литературы.

В. З. Санников пишет «О значении союза *пускай/пусть*». Трудные и пока еще недостаточно кодифицированные вопросы русского правописания рассматриваются в статьях: В. В. Лопатина «Буква *Ъ* в современной русской орфографии», С. М. Кузьминой «Заколдованное место русской орфографии (О трудностях кодификации слитного-дельного написания сложных прилагательных)», Л. Н. Булатовой «Существительное с предлогом или наречие?». Изучению языка поэзии посвящена работа М. Л. Гаспарова «Краткие прилагательные на ритмико-синтаксическом посту», язык писателя исследуется в статье Н. А. Кожевниковой «Заглавие и текст». В раздел включены также две заметки: Н. А. Еськовой «О вариантах предлога *о, об, обо*» и Е. И. Голановой «Противоречие или закономерность? (о форме „*колыбелочка*“»).

IV раздел посвящен истории языкознания. В него входят две статьи о

Л. Л. Васильеве, работы которого высоко ценил В. Н. Сидоров: Р. В. Бахтуриной «Леонид Васильев» (собранные автором биографические сведения об ученом публикуются впервые); В. А. Дыбо «Загадка Л. Л. Васильева». В этот раздел включена также публикация О. В. Никитина «Из истории Московской лингвистической школы», в которой представлены документы из Архива РАН и «забытые» работы, существенные для истории науки и настоящего сборника. V раздел составляет Приложение. В нем помещены фотографии семьи Сидоровых и тех ученых, с которыми Владимир Николаевич был связан дружбой и научными интересами. В Приложение входят также материалы из архива В. А. Плотниковой-Робинсон и А. А. Реформатского. Заключает раздел Автобиография Владимира Николаевича, список его трудов и список работ о нем.

Б. С.

Жанр интервью: Особенности русской устной речи в Финляндии и Санкт-Петербурге / Отв. ред. Марья Лейнонен. Tampere: Tampere Univ. Press, 2004. 232 с.

Работа лингвиста в последние годы меняется по характеру, становясь все более инструментализованной, прежде всего за счет привлечения возможностей цифровых средств сбора и обработки данных. Современные грамматики английского, немецкого, французского и многих других языков пишутся на базе примеров реальной речи, собранной и затранскрибированной в целях научного анализа. Исследования в области русского языка отстают от изысканий по этим языкам в чрезвычайно важной для актуальной науки области: исследовании живой звучащей речи. На лингвистических конференциях все чаще раздаются голоса, осуждающие привлечение устаревшего письменного ма-

териала в качестве доказательства правильности тех или иных положений в русистике. Первыми собрали корпуса русской разговорной речи в Уппсале и в Бохуме. При всех недостатках имеющихся данных, других общедоступных сведений по современной русской разговорной речи нет. Финляндский корпус, собираемый в университетах Хельсинки, Тампере и Йозенсуу, имеет шанс стать третьим таким корпусом, если в России не будет предпринято усилий в этом направлении. Изданный сборник посвящен описанию финляндского корпуса и представляет собой уникальное явление в отечественной и западной русистике. Заслугой Марьи Лейнонен является организация этого проекта: она

подобрала материал, добила его расшифровки, привлекла лучшие силы международной славистики для работы над материалом. М. Лейнонен предложила всем участникам посмотреть на один и тот же корпус «со своей колокольни»: каждый взял и проанализировал то, что ему показалось наиболее близким. Финское собрание записей устной речи состоит по существу из двух корпусов. Первый составляют социологические интервью современных жителей Санкт-Петербурга, выполненные социологами и уже обработанные ими для своих целей. Но филологами эти материалы до сих пор не рассматривались. Второй корпус представлен интервью с русскими эмигрантами, собранными в Финляндии. В зависимости от исследуемого материала статьи, представленные в сборнике, условно можно разбить на две группы. Первая группа рассматривает речь русских эмигрантов в Финляндии. Известный специалист в области «эмигрантологии» **Е. А. Земская**, присовокупив к материалам корпуса собственные записи, представила свой взгляд на историю и современное состояние эмигрантской речи («Русская эмиграция в Финляндии»). **А. В. Зеленин** исследовал особенности публицистической речи русской эмиграции («Особенности языка и речи русских в Финляндии (на материале интервью)»). **Г. Е. Крейдлин** («Невербальные элементы в речи русских эмигрантов в Финляндии») на основании проведенного эксперимента высказывает свои предположения относительно жестомимического поведения информантов в момент записи. Тематически завершает этот цикл статья **Н. Башмакофф** «Интервью как способ исследования устной истории». Автор сама проводила беседы с русскими, вспоминающими свою жизнь в Финляндии в 1917—1939 гг., и предполагает, что опора на письменные и устные свиде-

тельства об истории приводит филолога к особому типу создания информационного текста, сохраняющего «дух времени». Материалом для второй группы исследований послужили записи социологических интервью современных петербуржцев, отразившие «дух времени» — начало экономической реформы в России 1992—1995 гг. **М. В. Китайгородская** и **Н. Н. Розанова** в статье «Социальные перемены в зеркале семейного дискурса» рассматривают коммуникативные и языковые характеристики записей, подчеркивая их разговорные особенности, а затем выявляют гендерные различия в текстах интервью, в особенности в сфере семейных ролей и семейных обязанностей. Статья **Р. Ратмайр** посвящена актуальному для российского общества новейшего периода понятию: «Концепт ДЕНЬГИ у петербургского населения в начале 1990-х годов». Методы исследовательницы — поиск словоупотреблений, анализ коллокаций, критический анализ выбранных отрывков дискурса. Различая ассертивные (сообщающие «о плохой ситуации, вызванной недостатком или отсутствием денег») и дезидеративные (описывающие «желание иметь больше денег») акты, Р. Ратмайр анализирует тематику, риторику и прагматику сообщений о деньгах. **С. Курт** в статье «Мы, они и государство» рассматриваются семантические и прагматические особенности употребления личных местоимений *мы* и *они* как показатель взаимоотношений личности с семейным, дружеским кругом и государством. **А. Д. Шмелев** («„Заполнители пауз“ как коммуникативные маркеры»), продолжая анализировать разновидности пауз гезитации в русской речи, выделяет «меканье» лекторское, делимитативное, гезитативное, замедляющее. Кроме того, в поле его зрения попадает *ну* как показатель вынужденного говорения, понуждения, установки

на взаимопонимание и т. д. **К. Мякеля** проводит структурно-синтаксический анализ постпозиции определения в ситуации повтора в устной речи обеих групп информантов, выделяя ее регрессивный и прогрессивный варианты и подчеркивая сугубо русский характер этой речевой особенности («Постпозиция определения в устной речи в ситуа-

ции повтора»). В заключение можно сказать, что данный сборник наглядно демонстрирует, какие богатые научные перспективы открывают перед исследователями записи устной речи университета г. Тампере.

*Е. Протасова,
Хельсинкский университет*

Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Gegenwart. Beiträge zur Konferenz der Internationalen Kommission für slavische Schriftsprachen, Dresden, 25.—28. Oktober 2000 / Hrsg. von Karl Gutschmidt. Dresden: Thelem, 2002. 223 S.

Сборник содержит ряд статей, посвященных функционированию литературных языков (языковых стандартов) и их взаимодействию с нестандартными идиомами в различных славянских странах. Хотя подход авторов сборника к проблемам языкового стандарта и языковой политики не отличается единством, книга в целом является существенным вкладом в разработку теоретического аппарата данной области языкознания применительно к специфике различных славянских языков. В этом контексте следует отметить статьи: Ján Bosák, «Štandardizácia ako aktuálny problém slovanských spisovných jazykov»; Гана Гладкова, «Опыт интерпретации развития современной языковой ситуации» (существенная модификация теорий Пражской лингвистической школы в основном на материале чешского и болгарского языков); Галина П. Нецименко, «Импульсы динамики литературной нормы в современных славянских языках». Для русистов прямой интерес представляют статьи: Helmut Keipert, «‘Allergie’: Entterminologisierung

als Kodifikationsausgabe standardsprachlicher Lexikographie im Slavischen» (на примере слов с корнем *аллерг-* в переносных значениях рассматривается, как данный «европеизм» проникает в различные славянские языки и как эти значения фиксируются в нормативных лексикографических трудах); Валерий М. Мокиенко, «Субстандартная фразеология в современных восточнославянских языках» (анализ ряда тенденций в формировании новых фразеологических единиц в русских средствах массовой информации в сопоставлении с аналогичными процессами в других славянских языках). Для исследователей, занимающихся динамикой русского языка и языковой политикой в постсоветскую эпоху, могут быть весьма полезны работы: Светлана Ермоленко, «Современный украинский язык: динамика литературной нормы»; Нина Б. Мечковская, «Язык в роли идеологии: национально-символические функции языка в белорусской языковой ситуации».

ВЖ

Агрессия в языке и речи: Сб. науч. ст. / Сост. и отв. ред. И. А. Шаронов. М.: РГГУ, 2004. 288 с.

Основу сборника «Агрессия в языке и речи», выпущенного издательством

РГГУ, составляют доклады, прочитанные на одноименной конференции, ор-

ганизованной Институтом лингвистики РГГУ и проходившей в октябре 2003 г., а также статьи, примыкающие по тематике к заявленной проблеме. Сборник включает в себя три раздела: «Стратегии и приемы речевой агрессии», «Средства выявления и описания агрессивности в языке и в поведении», «Агрессия и этикет». Раздел «Стратегий и приемов» открывает статья **Л. Кацлер** «Негативная и позитивная вежливость», в которой рассматриваются основные положения теории вежливости Браун и Левинсона в модифицированной версии К. Кербрата-Ореккиони на примерах речевого поведения русских и французов. В первом разделе также представлены статьи, анализирующие проявления агрессивности в различных коммуникативных ситуациях: **И. Б. Шагуновский** «Риторические вопросы как форма агрессивного речевого поведения»; **И. А. Шаронов** «Приемы речевой агрессии: ирония и насмешка». Социокультурные проблемы речевой агрессии исследуются в статьях **Е. Б. Морозовой** («Агрессия в бытовой коммуникации: ситуация „гость-хозяин“ в русском языке и русской культуре»), **О. В. Сахаровой** («Агрессивная реакция как ксенологическая проблема в коммуникативном пространстве Киева»), **Е. Е. Левкиевская** в статье «Агрессия как форма защитной магии в славянской традиционной культуре» обращается к историческим корням бытовой агрессивности. Описывается одна из форм апотропеической магии — агрессия — как способ магического и ритуального поведения, направленного на защиту человека и его мира от потенциального зла. Материалом для работы австрийской исследовательницы **Р. Ратмайр** «„Пробивные“ стратегии на деловых переговорах как пример „положительной“ завуалированной агрессивности» послужили аутентичные записи деловых переговоров. Во втором разделе представлены статьи, предлагающие различные средства выявления и описа-

ния агрессивности в языке и в поведении. Методы анализа речевой сексуальной агрессии как фрагмента русской языковой картины мира обсуждаются в статье **М. М. Бурас и М. А. Кронгауза** («Сексуальная агрессия в русском языке»). В работе **А. Д. Кошелева** «Об одном классе глаголов с семантикой агрессивности» дается описание характеристического семантического признака глаголов, образованных приставками *о-* и *об-*. **Т. В. Крылова** («Лексическое поле нападения и прилагательное *агрессивный*») рассматривает лексическое поле глаголов нападения в сопоставлении с глаголами защиты, рассматривается также семантическая связь между глаголом *напасть* и прилагательным *агрессивный*. Автор предпринимает успешную попытку провести границу между понятием агрессивности и смежными понятиями в русском языке. Особенности современного сленга рассматриваются в работе **Н. Т. Валеевой** «О деархаизирующей функции жаргонного словообразования в современном русском языке». В статье **Г. Е. Крейдлина** «Мужчины и женщины в диалоге II: невербальная агрессия как тип поведения» показано, что знаковая кинетическая агрессия в русском языке тела в норме передается невербальными единицами, имеющими значение нежелательного для партнера проникновения в его личную сферу. Особое внимание обращается на сходства и различия мужского и женского агрессивного поведения в русской и других культурах. Статья **Е. П. Буториной** «Агрессия в наименованиях торговых марок» представляет собой изложение результатов, полученных в ходе наблюдений за выбором, использованием и восприятием торговых марок. **А. А. Дасько** («Агрессия: штрихи к языковой картине мира») анализирует итоги эксперимента по выявлению особенностей понимания и вербального выражения агрессии студентами университета в возрасте 17—20 лет. Заключи-

тельный раздел сборника освещает тему отношений агрессивного поведения и этикета. В нем представлены статьи **Н. И. Формановской** «Вежливость и толерантность как коммуникативные механизмы снижения речевой агрессии», **Е. Н. Басовской** и **С. Э. Ульянцевой** «Пути преодоления речевой агрессии в современной деловой речи», **Т. В. Базжиной** «Агрессия как маркер слабости позиции». Примеры антиэтикетного поведения стали предметом рассмотрения в работе **Л. Л. Федоровой** «Прямое выражение агрессии в речевом общении». **Е. Протасова** в статье «Передача „Слабое звено“ на российском и финляндском телевидении» рас-

сматривает культурно-языковые различия, проявляющиеся в оценке финской и русской аудиторией однотипной передачи агрессивного характера.

Изданный сборник статей по материалам конференции «Агрессия в языке и речи» представляет собой первый этап единого научного проекта — широкого международного семинара по проблемам эмоций в языке и речи. Вторым его этапом стала конференция «Эмоции в языке и речи», прошедшая в РГГУ в октябре 2004 г., по итогам которой также предполагается выпустить сборник научных трудов.

Н. Г. Семенова

С. А. Мызников. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: этимологический и лингвогеографический анализ. СПб.: Наука, 2004. 492 с.

Книга представляет собой третью монографию С. А. Мызникова (первые две — «Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада», СПб., 2003, 360 с. и «Русские говоры Обонежья: ареально-этимологический анализ лексики прибалтийско-финского происхождения», СПб., 2003, 540 с.), посвященную лексике финно-угорского происхождения в русских народных говорах. Логическим продолжением публикаций С. А. Мызникова станет его «Тематический этимологический словарь русских говоров Северо-Запада. Финно-угорские, балтийские, скандинавские и тюркские заимствования», в настоящее время подготавливаемый к печати. Исследование выполнено на материале, собранном автором в экспедициях 1990—2003 гг. (при сборе материала использовались составленные автором вопросники), материале диалектных словарей, атласов и многочисленных работ, посвященных говорам Северо-Запада. Автор предлагает деление заимствованной лексики в северо-западных русских говорах на

субстратную (вошедшую в русские говоры из прибалтийско-финских диалектов в результате ассимиляции носителей последних) и адстратную (представляющую собой проникновения прибалтийско-финских слов в русские говоры в зоне языковых контактов). Анализируется заимствованная лексика следующих тематических групп: природа, анатомия человека, сельскохозяйственная терминология, прядение и ткачество, рыболовство, охота, названия крестьянского жилища, питание, водный транспорт. Говоря о субстратном языковом ландшафте русских говоров Северо-Запада, автор указывает, что едва ли возможна дифференциация типов прибалтийско-финского субстрата на всей его территории. Типы субстрата легче разграничиваются в говорах той территории, где ассимиляция нерусского населения происходила сравнительно поздно, т. е. в наиболее западных частях рассматриваемого ареала — в Обонежье, в меньшей степени — на территории Новгородской и Ленинградской областей. Однако, если

субстратный ареал находится внутри русскоязычной диалектной области, вымывание субстратной лексики происходит более быстрыми темпами (например, у недавно ассимилированных валдайских карел). Основным критерием для разграничения видов субстрата признается фонетический. Важное место занимает, по мнению автора, и ареальный критерий: его учет, в случае отсутствия фонетических особенностей, указывающих на вид субстрата, позволяет связать этимологизируемую единицу с определенным этносом. Делается попытка соотнести распространение субстратной и заимствованной лексики финно-угорского происхождения с имеющимися опытами диалектного членения. Однако более продуктивным оказывается, как справедливо замечает автор, соотнесение лексических ареалов с «неязыковым» членением территории по данным этнографии, археологии, антропологии и т. п. В работе для анализа неисконного элемента в лексике были выбраны следующие группировки русских говоров: говоры Новгородской обл., белозерские и бежецкие говоры, говоры Обонежья (прилегающие к Онежскому озеру), Беломорья, Каргополья, онежские говоры (по р. Онеге), гдовские говоры и говоры Ярославско-Костромского Поволжья. Для каждой

диалектной группы автор устанавливает состав заимствованной лексики и указывает типы субстрата на территории этой группы (иначе говоря, предлагает этимологию слов и указывает их территориальное распространение). В работе рассмотрено около 2000 диалектных слов (около 1000 этимологических гнезд) финно-угорского происхождения в русских говорах. Примерно для 200 из них впервые автором предложена прибалтийско-финская этимология. Но по каким-то причинам (по-видимому, ареального характера, единичной фиксации в источниках либо в полевых материалах или невхождения в изучаемые тематические группы) лексика финно-угорского происхождения все же представлена в работах автора не полностью. В частности, в словаре М. Фасмера имеются диалектные слова, для которых там предложена саамская либо прибалтийско-финская этимология, не рассматриваемые С. А. Мызниковым). Можно надеяться, что все эти данные будут включены в готовящийся «Этимологический словарь». Обобщающее исследование С. А. Мызникова вносит весомый вклад в русскую лексикографию, этимологию и историю финноугро-русских языковых и культурных контактов.

А. В. Тер-Аванесова

Alan Timberlake. A Reference Grammar of Russian. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004. 503 pp.

Книга представляет собой стандартное руководство по русскому языку, отличающееся своей нестандартностью. Эта нестандартность обусловлена подходом автора к языку, который он рассматривает не как жесткую и законченную абстрактную систему, существующую независимо от носителя, а как упорядоченный набор инструментов речевой коммуникации (трафаретов, templates); этот набор складывается ис-

торически и варьирует в зависимости от условий коммуникации, находясь тем самым в зависимости от культурно-исторических параметров. Как пишет автор о характере предлагаемого им описания, «[данное] представление русской грамматики делает акцент на цельных сочетаниях [трафаретах] и их значимости (включая стилистическую); вместе с тем отходит на второй план задача идентификации минимальных

элементов и построения формализма для правил их комбинирования» (с. 9). Инновативность описания очевидна из того, как в грамматике распределяется грамматический материал.

Книга состоит из семи глав. В первой главе («Russian») формулируется общий подход к описанию, обсуждается используемый в описании корпус примеров и рассматривается графика и орфография современного русского языка (с кратким историческим очерком); стоит отметить, что в грамматике широко используется как Уппсальский корпус, так и интернетные поисковые системы (Google, Яндекс, Rambler); в первой главе обсуждается ограниченная ценность получаемой на этом материале статистики. Вторая глава («Sounds») содержит описание фонетики (с привлечением экспериментальных данных); описание дается в терминах звуков, а не фонем и аллофонов; соотнесенные звуки (традиционно описываемые как принадлежащие одной фонеме) трактуются с помощью понятий набора (set) и серии (series); в этой главе описывается фонологическая вариативность и морфологические чередования. Третья глава («Inflectional morphology») посвящена словоизменению; описывается словоизменение (с разбором акцентных парадигм) глаголов, местоимений, квантификаторов (количественные и собирательные числительные, местоименные квантификаторы типа *сколько*), прилагательных (включая причастия), существительных; в отдельном разделе разбираются особые случаи (несклоняемые существительные, аббревиатуры, словосложения, собственные имена и т. д.). В четвертой главе («Arguments») трактуются аргументы, т. е. существительные и местоимения, а также именные фразы, равно как временные и обстоятельственные аргументы; здесь рассматриваются категории существительных (род, одушевленность,

число, отчасти падеж), структура предложно-падежных сочетаний, квантификаторы, аргументы при именах действия, референция в тексте, дейктические и возвратные местоимения, квантифицирующие прилагательные и местоимения. Пятая глава («Predicates and arguments») посвящена взаимодействию предикатов и аргументов; рассматриваются типы предикатов, именные предикативы и употребление в них падежных форм, квантифицирующие предикаты (бытийные и индивидулирующие) и субъект в род. падеже, квантифицированные дополнения, употребление тв. падежа, залог (диатезы), согласование, придаточные предложения и инфинитивы. Шестая глава («Mood, tense, and aspect») имеет дело с аспектуальностью, темпоральностью и модальностью в их различных морфологических реализациях, связях с лексической семантикой и дискурсивных функциях; в этой главе рассматривается и действие темпоральных наречий. Последняя, седьмая глава («The presentation of information») посвящена трафаретам, употребляемым для упорядочения (иерархизации) сообщаемой информации; здесь кратко трактуются интонация (описание интонационных контуров несколько модифицирует систему Е. А. Брызгуновой), оригинальным образом разбирается порядок слов, рассматривается отрицание и другие операторы.

Как очевидно даже из этого краткого изложения, книга концентрирует в себе целый спектр оригинальных исследований и в силу этого представляет интерес не только для англоязычного читателя, желающего получить те или иные сведения о грамматике русского языка, но и для профессиональных русистов — вне зависимости от того, занимаются ли они фонетикой, морфологией, синтаксисом или семантикой.

Б. А. Успенский. *Часть и целое в русской грамматике.* М.: Языки славянской культуры, 2004. 128 с.

Индивидуализация и деиндивидуализация являются важнейшими семантическими категориями, определяющими в русском языке стратегии носителя языка по многим лингвистическим параметрам (порядок слов, дейктические элементы и т. д.). В книге Б. А. Успенского рассматривается, как эта категория реализуется в морфологии. Наибольшее внимание уделено противопоставлению первого родительного и второго родительного. Согласно автору, второй родительный предполагает вычленение части из целого; целое мыслится как первично данное, его часть — как дериват. Подобные же семантические параметры автор приписывает конструкциям типа *пойти в солдаты*, *быть в гостях* и т. д. С индивидуализацией и деиндивидуализацией связан, на взгляд автора, выбор формы род. мн. типа *сапог — сапогов* или *два солдата — двое солдат*. В одних случаях референтом является аддитивное множе-

ство (индивидуализованное), в других — комплетивное множество (деиндивидуализованное). Большой интерес представляет отдельная глава книги, посвященная этому же семантическому параметру в глагольной морфологии (итеративность как множественность). Автор анализирует здесь итеративы и имперфективы в деловом языке Московской Руси, показывая, что эти же семантические отношения могут наблюдаться и в современном русском языке (придавая, например, перфективное значение глаголам несовершенного вида). Тонкие семантические различия, анализируемые автором, во многих случаях иллюстрируются примерами из русской классической литературы; наблюдения над тем, как классические авторы пользуются данным семантическим потенциалом, представляют особый интерес.

ВЖ

В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус. *Новгородские грамоты на бересте: (Из раскопок 1997 — 2000 гг.).* Т. 11. М.: Рус. словари, 2004. 288 с.

Книга представляет собой очередной том издания берестяных грамот из новгородских раскопок. Основная часть содержит публикацию грамот №№ 776—915, снабженную подробным лингвистическим, палеографическим и историческим комментарием. В комментарии затронут, в частности, ряд существенных проблем русского исторического синтаксиса и лексикологии. В книге также публикуются и комментируются грамоты, найденные в Старой Руссе (№№ 24—36), и грамоты, найденные в Торжке (№№ 1—19). Особый интерес представляют надписи на цилиндрах; при всей

их краткости и стандартности их текстовой структуры они дают уникальный материал для древнейшего периода новгородской письменности (конец X — начало XII в.). Публикация берестяных грамот снабжена словоуказателем. В приложении к изданию представлены три важных исследования. В работе А. А. Гиппиуса «О нескольких персонажах новгородских берестяных грамот XII века» проводится убедительное отождествление ряда авторов и адресатов берестяных грамот с новгородскими боярами, известными из летописных источников; это отождеств-

ление помогает интерпретировать ряд грамот и получить понятие о той административной деятельности, в контексте которой эти грамоты появились. Во второй, весьма обширной работе А. А. Гиппиуса «К прагматике и коммуникативной организации берестяных грамот» речь идет о структуре текста в грамотах-письмах. Многие письма являются «коммуникативно неоднородными», отражающими коммуникативную ситуацию, в том или ином аспекте отличную от канонической (несколько адресатов; совпадение адресата и персонажа, адресата и посылного и т. д.). Реконструкция стоящей за грамотой коммуникативной ситуации позволяет уяснить прагматику сообщения и в этом контексте предложить более адекватные прочтения существенного числа

грамот. Третьим исследованием, публикуемым в приложении, является работа А. А. Зализняка «К изучению древнерусских надписей». В ней обсуждается методика чтения надписей и проблемы их датировки (в частности, на основе «параметрического» метода внестратиграфического датирования, который был обоснован в исследовании А. А. Зализняка, появившемся в предыдущем томе аннотируемого издания). Заново прочитано несколько десятков надписей, фотографии которых были опубликованы С. А. Высоцким и А. А. Медынцева; в этом новом прочтении надписи впервые обретают смысл и прагматическую связь с условиями их написания.

ВЖ

А. А. Зализняк. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М.: Языки славянской культуры, 2004. 352 с.

В книге обсуждается вопрос о подлинности «Слова о полку Игореве» в лингвистической перспективе. Автор доказывает аутентичность памятника от противного. Реконструируется тот круг знаний об истории русского языка, которым должен был бы обладать фальсификатор, и демонстрируется, что вероятность такой эрудиции у филолога конца XVIII в. является бесконечно малой. В этом контексте подробно анализируется ряд лингвистических особенностей памятника в сопоставлении с другими древними восточнославянскими текстами: употребление форм дв. числа, размещение энклитик и в особенности энклитики *ся*, использование релятивизатора *то*, бессоюзие. Автор разбирает также «черты XV—XVI веков» в «Слове», приписываемые исчезнувшей рукописи этого памятника (в частности, диалектные особенно-

сти). Предлагается несколько новых чтений и в этой связи исследуется употребление в древнерусском частицы *нь* и союзного слова *оконо*, ранее историкам русского языка неизвестных. Специальный раздел книги посвящен разбору (скорее, разгрому) работ нескольких австрийских и немецких лингвистов — К. Троста, М. Хендлера и Р. Айтцетмюллера, писавших о том, что «Слово» сочинил Н. М. Карамзин. В отдельной главе рассматривается и опровергается новейшая гипотеза Э. Кинана, приписавшего «Слово» авторству И. Добровского. В приложении дается текст «Слова» с разделением на звенья в соответствии с членением, предложенным Р. О. Якобсоном; публикуемый текст включает авторские эмэндации.

ВЖ

К. А. Максимович. Законъ соудьныи людьмъ: Источниковедческие и лингвистические аспекты исследования славянского юридического памятника. М.: Древлехранилище, 2004. 240 с.

В книге излагаются результаты комплексного историко-филологического исследования одного из древнейших славянских юридических памятников. Автор, рассматривая различные гипотезы, касающиеся происхождения этого кодекса, присоединяется к наиболее распространенной в настоящее время «моравской» теории. Анализируя язык, переводческую технику и юридическое содержание памятника, К. А. Максимович приходит к выводу, что перевод и компиляция принадлежат Мефодию. В отдельной части монографии рассматривается рецепция Закона судного людем на Руси и возникшие здесь редакции этого памятника (включая извод печатной Кормчей 1653 г.). Особый раздел посвящен языку памятника. Подробно разбираются лексические моравизмы памятника, перечисляется ряд синтаксических явлений (их отбор обусловлен желанием показать, что переводчик стремился к ясности текста, избегая калькирования греческих конструкций). В приложении дается описание Устюжской кормчей с определением источников вошедших в нее статей. Монография содержит много ценных наблюдений и сопоставлений.

Выводы автора, однако же, отличаются поспешностью и безапелляционностью, так что создается впечатление, что он не отличает аргументов, обусловливающих относительную привлекательность одной из гипотез, от доказательств, делающих конкурирующие гипотезы невозможными. Так обстоит дело с утверждением об авторстве Мефодия. Все три аргумента автора сомнительны: 1) Мефодий обладал

большим административным опытом (гипотеза, основанная на сведениях, достоверность которых нуждается в отдельном обосновании); 2) Мефодий (в отличие от Кирилла) был епископом, и потому только он имел право на канонические инновации (вопрос неоднозначен даже для византийской традиции; поскольку же Закон судный людем создан под влиянием западных пенитенциалов, необходимость архиерейства проблематична: западные установления идут от ирландских монахов, а не от епископов); 3) техника перевода в «Законе» отличается от техники переводов, приписываемых Константину Кириллу (атрибуция каких-либо известных переводов Кириллу сомнительна; техника перевода может зависеть от жанра). Явно недостаточна аргументация для утверждения о том, что «Закон» появляется на Руси при Ярославе Мудром (только на основе употребления слово *кметь* в этом памятнике и гипотезы о связи с ним всех последующих употреблений данного слова в древнерусских текстах). Столь же неубедительно заключение о исконно славянской природе дательного самостоятельного на том основании, что в славянских текстах встречаются прямые кальки греческого родительного самостоятельного. Не вызывают доверия и «теоретические выводы о характере древнейшего литературного языка славян» (с. 127), базирующиеся на отнюдь не исчерпывающем анализе одного специфического в жанровом отношении памятника.

В. Ж.

Т. И. Афанасьева. Славянская литургия Преждеосвященных Даров XII—XV вв.: текстология и язык. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2004. 214 с.

Книга представляет собой первое лингвотекстологическое исследование славянского перевода одной из трех литургий, употребляющихся в православном богослужении. Введение содержит сведения о происхождении и истории службы, а также о ее греческом оригинале. В первой главе, посвященной текстологии памятника, дается археографический обзор 65 славянских служебников XII—XIV вв., в которых сохранился текст литургии; описывается структура текста литургии и ее варьирование в списках; на основании типологических (состав чинопоследования) и текстологических (различия в тексте молитв) критериев выделяются редакции памятника: 1) древнерусская, представленная в восточнославянских списках XII—XIV вв., 2) пять южнославянских редакций в списках XIII—1-й пол. XIV в. (за исключением пятой, каждая из них сохранилась только в одном списке), 3) Афонская редакция в списках 2-й пол. XIV—XV в., 4) редакция Евфимия Тырновского в списках 2-й пол. XIV—XV в., 5) редакция митрополита Киприана в списках 2-й пол. XIV—XV в., 6) Чудовская редакция в списках 2-й пол. XIV—1-й пол. XV в. Каждая редакция охарактеризована по типологическим и текстологическим признакам.

Автор предполагает, что первоначальный перевод литургии возник в Болгарии в X в. Затем текст редактировался по греческому оригиналу — возможно, в Преславе. На русской почве он был унифицирован и в древнерус-

ских служебниках (в отличие от южнославянских) сохранял свою устойчивость на протяжении XII—1-й пол. XIV вв. Позднейшие редакции — Афонская, Чудовская, Евфимия Тырновского и митрополита Киприана — отражают тенденцию к сближению текста литургии с греческим оригиналом. Предшественником Афонской sprawy является одна из пяти южнославянских редакций, представленная в сербском служебнике Милгоста Грамматика, в свою очередь опирающаяся на текст древнерусской редакции. Чудовская редакция составлена на Руси на основе древнерусской редакции. Редакция митрополита Киприана, созданная на Руси на основе болгарского протографа, близкого редакции Евфимия Тырновского, получила наибольшее распространение в русской письменности и была положена в основу московского печатного издания 1602 г.

Во второй главе рассматриваются языковые варианты, зафиксированные в тексте литургии, в третьей дается лингвистическое описание всех выделенных редакций. Т. И. Афанасьева показывает, что история текста литургии Преждеосвященных Даров связана с историей славянских библейских и богослужебных текстов и основные этапы их эволюции совпадают.

В приложении публикуются тексты всех выделенных редакций, кроме редакции Евфимия Тырновского.

А. А. Пичхадзе

Е. К. Пиотровская. «Христианская Топография Козьмы Индикоплова» в древнерусской письменной традиции. СПб.: Дм. Буланин, 2004. 246 с.

Книга посвящена одному из древнейших переводов с греческого, выполненному, как предполагают ввиду наличия в тексте восточнославянских лексических элементов, в Древней Руси. Собственно исследовательская часть сосредоточена во второй главе книги, где текст отрывков из «Христианской Топографии» в составе разного рода сборников сопоставляется с полным текстом памятника. Приводится перечень и краткое описание 42 рукописей конца XV—XVIII вв., содержащих отрывки из «Христианской Топографии». Отрывки не совпадают по объему, и в разных сборниках одни и те же фрагменты текста могут быть скомпонованы по-разному, однако все они восходят к единому источнику — полному тексту перевода. В приложении публикуется фрагмент рукописи Архива С.-Петербургского Института истории РАН XV—XVI вв., одной из древнейших рукописей с отрывками из «Христианской Топографии».

Остальные разделы книги носят реферативный характер. В них излагается история изучения «Христианской Топографии Козьмы Индикоплова», обсуждается вопрос датировки памятника, проблема текстологических отношений между «Христианской Топографией» и некоторыми другими древнеславянскими переводами, а также использование «Христианской Топографии» в сочинениях старца Филофея в XVI в. и в Азбуковниках XVI—XVII вв. (Е. К. Пиотровская обращает внимание на то, что в Азбуковниках часто представлены сюжеты, наиболее распространенные в сборниках с отрывками из «Христианской Топографии»). Вопреки мнению Е. К. Пиотровской (разделяющей за-

блуждение А. И. Соболевского), приведенный ею же материал показывает, что описание ризы первосвященника в Новгородской кормчей 1262 (1282?) г. текстуально не зависит от описания ризы в «Христианской Топографии» и, следовательно, не может считаться доказательством существования славянского перевода «Христианской Топографии» в XIII в. Равным образом описание ризы в «Христианской Топографии» не зависит текстуально ни от «Иудейской войны» Иосифа Флавия, ни от «Изборника 1073 г.», ни от «Шестоднева» Иоанна экзарха болгарского. Оно заимствовано из «Хроники» Георгия Амартола, на что (как отмечает Е. К. Пиотровская) неоднократно указывалось в литературе. Если описание заимствовано непосредственно в протограф «Христианской Топографии», он не мог возникнуть ранее последней трети X в., поскольку ранее этого времени не мог быть создан перевод «Хроники» Георгия Амартола.

Е. К. Пиотровская отказывается разбирать ключевую для истории «Христианской Топографии» проблему взаимоотношений с Толковой Палеей ввиду ее чрезвычайной сложности. Очень бегло, лишь упомянув некоторые употребляемые в памятнике лексемы, исследовательница касается вопроса о языке перевода, настаивая тем не менее на его древнерусском происхождении.

Приходится констатировать, что существенно продвинуться в изучении памятника по сравнению с началом прошлого века пока не удалось: текстология «Христианской Топографии» по-прежнему не разработана, язык не изучен, время возникновения не установлено.

А. А. Пичхадзе

И. Христова-Шомова. Служебният Апостол в славянската ръкописната традиция. Т. 1. Изследване на библейския текст. София: Унив. Изд-во «Св. Климент Охридски», 2004. 831 с.

И. Христова-Шомова исследует славянский перевод Апостола по 25 рукописям XI—XVII вв. и Острожской библии. Списки, положенные в основу исследования, преимущественно южнославянского происхождения, однако привлекаются и восточнославянские рукописи: Христинопольский апостол XII в., Толстовский апостол XIV в., Чудовский Новый Завет XIV в., Геннадиевская библия 1499 г., Краковский апостол XVI в. В книге приведены и проанализированы наиболее значимые разночтения, зафиксированные в использованных 26 источниках, в объеме полного апракоса. Лексические варианты сведены и прокомментированы в отдельной главе, которую завершает греческо-славянский указатель слов, имеющих разные славянские соответствия в различных редакциях Апостола. В специальном разделе определяется текстологический статус каждого из использованных источников. В заключительной главе характеризуются первоначальный перевод и последующие редакции славянского Апостола с точки

зрения их текстологических и языковых особенностей, а также переводческих приемов и решений; приводятся перечни лексем, специфических для преславской, афонской, чудовской редакций и Острожской библии. Устанавливаются взаимоотношения редакций между собой. Обсуждая дискуссионный вопрос о том, зависит ли чудовская редакция от афонской или наоборот, И. Христова-Шомова склоняется к признанию вторичности чудовской редакции, хотя и не настаивает на своем мнении ввиду отсутствия решающих аргументов. Исследовательница обращает внимание на существование двух преславских версий Апостола: новой редакции апостольского текста (она представлена в Толстовском апостоле XIV в.) и толковой версии, в которой осуществленный в Преславе перевод толкований присоединен к первоначальному, не подвергнутому правке переводу Апостола (эта версия представлена в русском Толковом апостоле 1220 г.).

А. А. Пичхадзе

В. М. Круглов. Русский язык в начале XVIII века: узус петровских переводчиков. СПб.: Наука, 2004. 102 с.

Брошюра начинается с обзора существующих точек зрения на языковую ситуацию Петровской эпохи и на значение петровской языковой реформы (если таковая имела место). Сам автор определенной позиции в этом дискуссионном вопросе не занимает. За указанной теоретической частью следует часть конкретная. Автор исследует язык двух переводов с французского, напечатанных в первой четверти XVIII в. — «Книга о способах, творящих водохождение рек свободное» (1708) и «Рассу-

ждение о оказательствах к миру» (1720). Анализируется ряд морфологических и синтаксических параметров (признаков книжности), в числе которых можно назвать формы аориста и имперфекта, согласованные причастия в деепричастной функции, инфинитивы на *-ти*, конструкции «*да* + презенс» в значении придаточного цели, дательный самостоятельный и т. д. Автор показывает, что такого рода элементов меньше в более позднем издании сравнительно с более ранним и делает отсюда несколько

ко поспешный вывод о динамике литературного языка. Рассматривается также вариативность в словоизменении существительных и прилагательных. Наибольший интерес представляют наблюдения автора над относительными предложениями с местоимением *который*. Следуя схеме, разработанным Г. Хютль-Фольтер, автор рассматривает, как различные типы русских придаточных соответствуют французскому оригиналу. Таким образом обнаруживаются те точки, в которых русский синтаксис подвергся французскому влиянию, равно как и те,

где это влияние не сказалось (не все суждения автора кажутся обоснованными; сомнительно, например, утверждение о французском источнике препозиции *которого, которых* в значении родительного посессивного — типа *от которой дно*). Хотя общие проблемы языковой динамики в Петровское время не получают в брошюре нового решения, материал, собранный автором, представляется ценным вкладом в копилку нашего знания о языке данной эпохи.

ВЖ

А. И. Соболевский. Труды по истории русского языка. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2004. 712 с.

Переиздание трудов А. И. Соболевского подготовлено к печати, снабжено вступительной статьей, комментариями и указателями В. Б. Крысько. В рецензируемый том вошли «Очерки из истории русского языка» и «Лекции по истории русского языка». Первое из этих сочинений не переиздавалось со времени первой публикации (Киев, 1884), хотя содержащиеся в нем сведения о рукописях во многих случаях до сих пор не устарели. Второе несколько раз перепечатывалось при жизни автора (оно переиздается по последнему прижизненному изданию (4-е изд., М., 1907), было переиздано в Голландии в 1962 г., но в России не воспроизводилось. Оба труда классика российской филологии сохраняют актуальность — хотя бы в силу того, что на собранном Соболевским ма-

териале основано едва ли не большинство последующих курсов истории русского языка, часто лишь повторяющих (иногда с ошибками) найденные Соболевским примеры. Комментарии В. Б. Крысько обладают самостоятельной ценностью и имеют критический характер; в них отмечены те утверждения Соболевского, которые поставлены под сомнение позднейшим развитием науки. В издании дается также указатель восточнославянских памятников, упоминаемых в «Лекциях», указатель слов и форм, разбираемых в этом сочинении, а также список трудов А. И. Соболевского. Полезность аннотируемого издания не подлежит сомнению; оно побуждает читателя с нетерпением ждать его продолжения.

ВЖ

Житие Антония Сийского: Текст и словоуказатель / Сост. И. В. Азарова, Е. Л. Алексева, Д. Г. Демидов и др.; Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2003. 312 с. (Памятники русской агиографической литературы).

Житие публикуется во второй редакции (так называемой редакции царевича Иоанна), составленной в 1579 г. и существующей лишь в двух списках.

Публикация текста осуществлена по одному списку (РНБ, ОСПК, Q. I. 22 [XVI в.]) без подведения вариантов по более распространенной редакции Ио-

ны или по второму списку редакции царевича Иоанна. Текстологический анализ в издании отсутствует, публикаторы отсылают к работе Е. А. Рыжовой («Повесть о Житии Антония Сийского» и севернорусская агиография второй половины XVI века. Автореф. канд. дис. СПб., 1993). Аппарат издания включает указатель словоформ без лемматизации и грамматических помет, индекс имен собственных и список ошибочно написанных слов. Указатель словоформ составлен, как кажется, автоматически (похоже, с помощью компьютерной программы) и в отдельных случаях недостаточно выверен (ср. *иначеское потриженіе* вместо, видимо, *иначеское постриженіе*, с. 36 и соответствующее несуществующее слово в указателе, с. 232). Не хватает также указаний на библейские цитаты в тексте жития. Од-

нако каковы бы ни были дополнительные пожелания читателя, публикация и в ее настоящем виде представляет несомненную ценность, в особенности для историков языка. Функционирование гибридного регистра в агиографических памятниках данного периода практически не изучено, а Житие Антония дает образцы многих характерных черт этого узуса (наличие предложений, состоящих из причастных предикативов без личных глагольных форм, редкое употребление форм дв. числа, смешение форм кратких действительных причастий, а также аориста и имперфекта, обильное и нередко грамматически бесвязное употребление дательного самостоятельного).

ВЖ

Жития Дмитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского: Тексты и словоуказатель / Сост. И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, Л. А. Захарова, К. Н. Лемешев; Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2003. 296 с. (Памятники русской агиографической литературы).

В книге изданы жития трех вологодских святых, составленные в конце XV — начале XVI в. Каждое из житий издано по одному из известных списков; выбор списка для публикации специально не обосновывается. Публикация не ставит перед собою цель передачи текстологической истории памятников; подведенные варианты из нескольких других списков не устанавливают текстологических соотношений, а лишь проясняют испорченные или непонятные места основного текста. Издание предваряется обширной текстологической работой С. А. Семячко, в которой устанавливается распределение по редакциям всех трех житий и соотношение ре-

дакций, а также указываются пассажи, заимствованные в жития Григория Пельшемского из двух других публикуемых житий (полный обзор списков отсутствует); автор довольно убедительно пересматривает существующие опыты текстологии публикуемых памятников. В издании содержится указатель словоформ (без грамматических помет), указатель собственных имен и указатель ошибочно написанных слов. Издание, в котором текст публикуемых списков воспроизведен безупречно, представляет большую ценность для филологов-русистов и в особенности для историков языка. Опубликованные тексты являются незаменимым мате-

риалом для исследования истории книжного языка в XV—XVI вв. В лингвистическом отношении они весьма схожи и в совокупности могут рассматриваться как образцы неухищенного (гибридного) книжного языка, близкого языку летописей, хотя и отличающегося от него большей книжностью (ср. практически полное отсутствие бессвязочного перфекта, широкое употребление имперфекта и т. д.). Вместе с тем вполне заметны черты гибридности, более выраженные в рассматриваемых текстах, чем, скажем, в Епифаниевом жи-

тии преп. Сергия Радонежского (ср. такие черты, как соединение причастия и личного глагола с помощью соединительного союза, нарушения в согласовании кратких действительных причастий, некорректное и редкое употребление форм дв. числа, окказиональное и непоследовательное использование *praesens historicum* для выделения описываемого события, появление отдельных «неправильных» форм имперфекта и аориста).

ВЖ

Житие Кирилла Новоезерского: Тексты и словоуказатель / Сост. И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, Л. А. Захарова, К. Н. Лемешев; Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2003. 156 с. (Памятники русской агиографической литературы).

Первоначальный вариант жития Кирилла Новоезерского, основателя Воскресенского Новоезерского монастыря, скончавшегося в 1532 г., был составлен в конце XVI в. (этот первоначальный текст дошел, предположительно, в одном списке). В аннотируемой книге текст публикуется в поздней редакции, второй половины XVII в., по рукописи РНБ, Кирилло-Белозерское собр., 66/1305, конца XVII в. (чем обусловлен выбор этой редакции и этой рукописи, в книге не объясняется). Публикация текста сопровождается статьей Т. Б. Карбасовой «Редакции жития Кирилла Новоезерского», вполне убедительно описывающей историю рассматриваемого памятника (обзор списков, однако, в статье отсутствует). Аппарат издания, как и в других книгах данной серии, включает указатель словоформ, индекс имен собственных и список ошибочно написанных слов. Житие существенно для истории русской агиографии, в частности в силу своей связанности с дру-

гими памятниками севернорусской житийной литературы. Немалый интерес представляет и язык памятника — довольно правильный книжный язык XVII в. (последовательное употребление аориста и имперфекта, почти полное отсутствие неумелых синтаксических построений, характерных для языка агиографической литературы, редкие нарушения в согласовании кратких действительных причастий, окказиональное употребление форм дв. числа). При дальнейшем исследовании целесообразно было бы сопоставить язык публикуемой редакции с языком первоначального жития («стилистика» которого отличалась, по наблюдению Т. Б. Карбасовой, от «стилистики» последующих переработок) и выяснить, в какой степени (и по каким признакам) редакторы XVII в. приводили язык памятника в соответствие с книжным стандартом их времени.

ВЖ

Житие Корнилия Комельского: Текст и словоуказатель / Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2004. 228 с. (Памятники русской агиографической литературы).

Житие св. Корнилия (ок. 1456 — 1538), основавшего монастырь на юге Вологодского края, было составлено во второй половине XVI в. и дошло до нас приблизительно в 50 списках, в основном XVII в. Житие публикуется по наиболее раннему списку Основной редакции (РНБ, собр. Погодина, № 787); варианты, имеющие пояснительный характер, подводятся по еще трем рукописям конца XVI — XVII в. (задача дать полный перечень разночтений, надо думать, не ставилась). Публикация предваряется статьей А. Г. Сергеева «Рукописная традиция жития св. Корнилия Комельско-

го», дающей не столько текстологическое исследование памятника (хотя автор выделяет несколько редакций), сколько обзор существующих списков и проложных обработок. Аппарат издания, как и в других книгах данной серии, включает указатель словоформ, индекс имен собственных и список ошибочно написанных слов. Текст представляет значительный интерес и в историко-культурном, и в лингвистическом отношении (как памятник относительно простого книжного языка второй половины XVI в.).

ВЖ

О. А. Седакова. Церковнославянско-русские паронимы: Материалы к словарю. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. 430 с.

Материалы к «Словарю церковнославянско-русских паронимов», собранные О. А. Седаковой, филологом, поэтом и церковным мыслителем, представляют собой первую в русской лексикографии попытку систематизации особого явления, свойственного близкородственным языкам, — паронимии. Ни в коей мере не заменяя уже существующие словари церковнославянского языка, Словарь под новым углом зрения классифицирует и систематизирует церковнославянскую лексику и ее семантику (по библейским текстам и богослужебным книгам), продолжая и дополняя, таким образом, труд предшественников. Примеры (цитаты), составляющие основной корпус настоящего издания, призваны прежде всего помочь современному русскоязычному читателю, который обращается к церковным бого-

служебным текстам, правильно и исторически точно их понимать. Сложная картина и история параллельного развития и сосуществования двух языков кратко представлена в научном эссе, предваряющем свод словарных статей; там же подробно объяснен принцип их построения. Греческая лексика, которая иллюстрирует значения того или иного слова, приводимая к каждому слову в основном тексте, дополнительно собрана в конце «Словаря» в отдельный указатель греческо-церковнославянских соответствий. К вступительной статье автора приложен список сокращений для отсылки к цитатам из богослужебных книг; список встретившихся слов под титулом с раскрытием и переводом.

С. И.

Редколлегия международного научного журнала Российской академии наук

«Русский язык в научном освещении»

объявляет

международный конкурс

на лучшие статьи по актуальным проблемам русистики.

К участию в конкурсе допускаются не публиковавшиеся ранее статьи, посвященные истории русского языка, диалектологии, истории русской письменности, текстологии и палеографии; взаимодействию русского языка с другими языками; синхронному изучению русского языка во всех его аспектах.

Конкурс проводится по двум номинациям:

1. История и диалектология русского языка;
2. Русский язык в его современном состоянии.

Лучшие статьи будут опубликованы в журнале.

Кроме того, авторам трех лучших статей в каждой номинации будут присуждены денежные премии:

- 1-е место — 700 долларов;
- 2-е место — 500 долларов;
- 3-е место — 300 долларов.

Статьи на конкурс (объемом до 1,5 а. л.) принимаются до 30 сентября 2005 г. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2005 г. и опубликованы в № 2 (10) журнала за 2005 год.

Оформление статей — по образцу публикаций в вышедших номерах журнала.

Для обеспечения анонимности статей при рецензировании просьба не указывать в статье свое имя; необходимые сведения об авторе просим сообщить в сопроводительном письме (название статьи, фамилия, имя, отчество автора, место работы и должность, номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты). При регистрации каждой статье будет присвоен номер, под которым будет проходить ее рецензирование.

Адрес редакции:

119019 Москва, ул. Волхонка 18/2, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, редакция журнала «Русский язык в научном освещении», НА КОНКУРС.

Тел. (095) 201-79-92, факс (095) 291-23-17, e-mail rusyaz@yandex.ru.